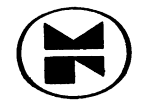


Иван Стаднюк

4









СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ВОЙНА

РОМАН

Книга третья

•

РАССКАЗЫ

•

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ИСТИНЫ

ДРАМА

•

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

МОСКВА · 1985

84 Р7
С76

С $\frac{4702010200-165}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985 г.


Война
РОМАН

КНИГА ТРЕТЬЯ

1

Алесю Христичу казалось, что никогда и не было у него тех давних безмятежных дней сельской жизни с петушиными перекличками в сонливые рассветы, с тихими утренними хлопотами матери у печи, с холодным росным серебром на лугах, с веселыми песенными вечерами... Дослуживал он свой срок в армии, томился по дому, по родному селу, по тем далеким и спокойным дням, как вдруг вломилась в жизнь война. И будто солнце в груди погасло: окутались мраком все мечты и надежды.

Совсем ведь недавно лютует война, но все, что было до нее, чуть-чуть брезжит в мареве усталой и оглушенной памяти. Были у него отец и мать, сестра Варя, было село Иванютичи над тиховодной Свислочью. А теперь Белоруссия под врагом, родное село сожжено немцами, обитавших в нем людей разметало по свету. Одних, кто помоложе, подхватила прокатившаяся лавина фронта, другие подались в партизаны, а кое-кто успел, наверное, вырваться на восток и затеряться в безбрежье воюющей России.

Когда его полк поднялся по тревоге и в железнодорожных эшелонах направился из-под Смоленска на запад, в Белоруссию, Алесь надеялся, что там, у границ, они с ходу разобьют врага и потушат войну. А получилось — страшнее страшного. С тяжелыми боями и потерями стал откатываться полк на восток по родным Алесю местам. Лучше было бы не видеть того, что он видел: спаленные и безлюдные Иванютичи, в синем пепле головешки, оставшиеся от отцовской хаты посреди изрытого воронками, с порушенными изгородями подворья — будто замордованного насмерть и раздетого догола...

Месяца не прошло с тех пор, но на войне, когда каждый день смерть витает вокруг тебя, неделя кажется вечностью. За это время будто все истлело в Алесе, все внутри переплавилось в тоску, в черную ненависть.

И там, у своей сожженной, осиротевшей хаты, он словно сразу повзрослел на десяток лет, а сердце, кажется, навсегда оглохло к радостям, красоте. О фашистах думал с кипящей в груди яростью и ощущал нервный зуд в руках, когда брал мину и опускал ее в пасть миномета... Сколько за эти страшные недели кинул он в ствол мин! Сколько раз его миномет огнем и железом ударил по врагу!

Немало и хлопцев-минометчиков прошло сквозь тяжкие бои за это время с их минометной ротой! Немного осталось из тех, кто впервые встретил врага западнее Минска... Алесь Христич, содрогаясь сердцем от недовольства самим собой, иногда ловил себя на подленькой мыслишке о том, что чувствуется ему в полку спокойнее, если все реже встречает тех, кто был свидетелем его тяжкого и страшного позора, когда он стоял на краю свежевырытой ямы и, будто с холодным камнем вместо сердца в груди, помертвевше смотрел на строй красноармейцев, перед которыми должен был принять смерть. Такое трудно перенести даже в кошмарном сне: его расстреливали за дезертирство и трусость...

А красноармеец Алесь Христич отнюдь никаким дезертиром и никаким трусом не был, и тем тяжелее было расставаться с жизнью, тем невозможнее было смотреть в суровые, темно-серые лица красноармейцев, в их напряженные, таящие недоумение, жалость и ужас глаза... Он уже перестал тогда твердить непослушным языком и заледеневшими губами о своей невиновности, то ли смирившись с неотвратимостью нелепой гибели, то ли не веря, что его действительно расстреляют.

Эта жуткая история случилась в самом начале июля, когда немцы, захватив Минск, рвались к Днепру. Мотострелковый полк Алеся Христича уже не существовал как боевая единица. Штаб полка попал в окружение еще западнее Минска, а мизерные остатки батальонов вливались в подходившие с востока части и вместе с ними вновь вступали в оборонительные бои. Только малочисленную минометную роту никто не решался спе́шить в боевые порядки. В кузовах трех ее уцелевших грузовиков стояли на опорных плитах новенькие минометы, вокруг них вповалку лежали на сене тяжелораненые; к минометам не было мин, а раненых требовалось как можно быстрее доставить в любой госпиталь, и всевозможные заслоны, контрольные посты без промедления отправляли грузовики на восток.

В одну из последних июньских ночей разразилась сильная теплая гроза, в одночасье сделав грунтовые дороги непроезжими. Но минометчикам повезло: они в начале грозы успели зацепиться за шоссейку и, имея в запасе бочку бензина, проехали за ночь под проливным дождем, в грохоте молний столько, сколько можно было проехать. Затем на какой-то железнодорожной станции перенесли в санитарный поезд раненых и нырнули в ближайший лес, чтобы, пока не было для врага летной погоды, развести костры да успеть обсушиться и отоспаться.

Пока минометчики отдыхали, их командир, старший лейтенант Бутынин, уехал на грузовике разыскивать начальство, чтобы получить у него приказ о дальнейших действиях роты, и куда-то запропастился. Скорый на догадки ротный старшина Евсей Ямуга даже предположил, что старшего лейтенанта свалила где-нибудь болезнь. Ведь за последние дни Бутынин ни разу как следует не поспал. Светлый блондин со скромными, стыдливыми глазами, круглолицый и плотный, он уже к концу первой недели войны стал почти неузнаваем. Лицо потемнело и невероятно заострилось — острый подбородок, маленький острый нос, остро выступающие скулы. Кажется, даже характер старшего лейтенанта заострился. Командиры раньше нередко посмеивались над извинительной манерой Бутынина обращаться к подчиненным: «Пожалуйста, пойдите и подшейте свежий подворотничок», «Я вынужден объявить вам два наряда вне очереди», «Очень прошу вас, не опаздывайте, пожалуйста, в строй». И это была не наигранность, не требовательность в конфетной обертке — старший лейтенант Бутынин по-другому просто не мог, не умел. Но когда его рота вступила в бой и полковые связисты опоздали с прокладкой телефонной линии на командный пункт, Бутынин вдруг обрушился на них такой вычурной матерщиной, что оказавшийся рядом старшина Евсей Ямуга не поверил своим ушам и с этой минуты стал побаиваться своего командира роты.

Но предположение старшины о причинах задержки командира роты, к счастью, не оправдалось. В то раннее июньское утро Алесь Христич и подносчик мин красноармеец Захар Завидов находились в охранении, которое представляло собой нечто среднее между сторожевым постом и секретом; их выставил не начальник полевого караула (надобности в карауле не было), а

старшина Ямуга. Впрочем, горстка в два десятка отдыхавших в лесу минометчиков могла и сама считаться полевым караулом, охранявшим самого себя и все неведомое, что находилось у него в тылу. Старшина Ямуга вывел Христича и Завидова на опушку леса и, не сказав, кто из них часовой, а кто подчасок, велел сменить двух сидевших в кустах бойцов.

— Смотрите за речку в оба! — приказал старшина. — В случае чего — шумните... И чтоб не дремать! За сон на посту в таких условиях под расстрел запросто можно угодить...

Старшина и два сменившихся с поста бойца ушли в глубину леса. Рассветало. Утренний воздух был неподвижен и свеж. Впереди, над речкой, ясно белели клочья тумана. Небо заметно просветлялось, отодвигая на запад тусклую непроглядь и зримо наливаясь голубым блеском. Трава и кусты вокруг были осыпаны прозрачными горошинами росы.

Война обозначила приход нового дня своими особыми приметами. Откуда-то с севера накатывался, усиливаясь, грохот орудийной пальбы, и, кажется, лес проснулся только сейчас, шевельнув верхушками деревьев и повторив артиллерийский гул утробным густым эхом где-то в чащобе. А далеко слева, над дымчатой зубчаткой леса, протянулось темное ожерелье немецких бомбардировщиков. «Иду-у-у!.. Иду-у!.. Иду-у!..» — зловеще и басовито предупреждали кого-то самолеты.

— Пора бы нашему комроты вернуться, — встревоженно сказал Алесь Христич, наблюдая, как взошедшее где-то сзади, над лесом, солнце высветляло, будто зажигая, плексигласовые носы плывших в небе «юнкерсов».

— Может, за дезертира там его приняли? — уныло откликнулся Захар Завидов, позевывая. — Жди тогда.

— Все может быть, — вдруг послышался рядом голос старшины Ямуги.

Алесь Христич от неожиданности вздрогнул и испуганно оглянулся. Старшина будто и не уходил отсюда: стоял в двух шагах и смотрел сквозь бинокль в заречные дали.

— Поэтому так и нервничал старший лейтенант,— продолжил Ямуга. — Любое начальство может усомниться, как это мы сумели одни, без полка, без штаба, вырваться на восток... А тут еще санитарный поезд не дал документа, что принял от нас раненых...

— Не дал? — удивился Алесь, но сразу позабыл о

своем вопросе. Он увидел, что на дороге, огибавшей справа лес и спускавшейся к речке, появился грузовик. Не доезжая мостка через речку, грузовик остановился. Из его кабины вышел опоясанный ремнями командир и стал осматриваться. По фигуре, по размашистому шагу Алесь узнал в нем старшего лейтенанта Бутынина.

— А вот и командир роты! — обрадованно и со скрытым облегчением подтвердил старшина Ямуга, глядя в бинокль на дорогу. Тут же он выбежал на опушку леса и зычно завопил: — Мы здеся!..

Всего лишь четверть часа было дано минометчикам на сборы перед построением. Охранение было снято; Христич с Завидовым, услышав команду, поспешили вместе со всеми в строй, на правом фланге которого замер, выпятив грудь, старшина Евсей Ямуга. Перед строем минометчиков стоял старший лейтенант Бутынин, а рядом прохаживался незнакомый младший политрук, приехавший вместе с ним.

Бутынин, выровняв строй и скомандовав «Смирно!», доложил младшему политруку, что рота по его приказанию построена.

Алесь Христич был поражен, а точнее — уязвлен тем, что «их» старший лейтенант тянется перед «чужим» младшим политруком. Что за птица? Почему держит себя будто генерал или, по крайней мере, полковник?

Младший политрук не понравился и остальным минометчикам, не понравилась то ли его какая-то нарочитая строгость, то ли важность, зримо отпечатанная на темном от загара и обилия веснушек худощавом лице; вызывало улыбку и то, что весь он был увешан трофеями: на шее — цейсовский бинокль, за спиной — черный тонкоствольный автомат, на левой руке, будто часы, пристегнут компас. Правда, походка у младшего политрука прямая, чеканная, фигура ладная, плечи и грудь крепкие. Видно, что прошел хорошую муштровку в военном училище.

Повернувшись лицом к строю, младший политрук легко и форсисто, с особым вывертом ладони, вскинул правую руку к пилотке и, возвыся голос, назвал себя:

— Младший политрук Иванюта!.. Представитель политотдела дивизии, в состав которой вливается ваше подразделение!..

Алесю Христичу резанула слух фамилия «Иванюта». Его же родное село — Иванютичи!.. И он уже с меньшей неприязнью наблюдал за младшим политруком.

который тем временем интересовался, кто из бойцов и сержантов члены партии или комсомола. Алеся эти вопросы не касались, он был беспартийным и сейчас думал о том, что такие нагловатые и самоуверенные парни, как этот рыжий индюк Иванюта, нравятся девчонкам, тогда как степенные и неприметные, подобно Алесю, вовсе не нравятся. Поэтому перед службой в армии Алесь не успел обзавестись невестой. Правда, стал писать в село одной девчонке письма — Поле Шинкевич. Не ответила ни разу. Ну и пусть! Придет время, найдется и для него невеста... Где же она теперь, Поля?

При воспоминании о ней будто выключился Алесь Христич из всего, что происходило вокруг. Раздавались команды, шла погрузка на машины, а он, делая то же, что и другие, мыслями и чувствами был в родных Иванютичах, в тех казавшихся далекими временах, когда еще только в сладких мечтаниях видел себя бойцом Красной Армии.

Вспомнилось одно утро. Всходило огромное красное солнце, на кустах, на траве, по обочинам полевой дороги красно искрилась от первых лучей роса, в небе над головой неподвижно стлались перистые облака; такие же белые и легкие облачка тумана зависли над лощинами. По проселочной дороге ехала пароконная телега, полная девушек и парней. Они, свесив ноги с грядок, тесно сидели на сене, щедро набросанном на лубковое днище, и во всю силу молодой страсти пели песню, вкладывая в нее свое веселье, возбужденность от близости друг к другу, от того, что парни в новых рубахах, а девчата в новых платках — по случаю первого дня уборки льна. Алесь сидел между сестрой Варей и Полей. Он только для видимости шевелил губами, а сам не пел и острым слухом выделял из цветистого венка голосов ласковый грудной голос Поли, будто обращенный к нему одному. От песни ли, от пряного запаха сена или от близости Поли у него кружилась голова. Когда телегу толкало на выбоинах, он как бы невзначай теснее прижимался к ее горячему плечу. Поля тут же отстранялась, кося на него загадочный и насмешливый взгляд, а он, испытывая холодок восторга, с замиранием сердца ждал очередной выбоины или бугорка, который бы вновь встряхнул колеса.

Однажды Алесь перехватил Полю, когда она несла от колодца ведра с водой. Десять шагов от колодца до ее двора, и он не успел даже подумать, что надо бы-

ло взять у нее ведра. У калитки Поля поставила их на скамеечку и беспричинно засмеялась, кинув опасливый взгляд в сторону дома, на крыльце которого ее мать вытряхивала половики. Алесь, не зная от смущения, что сказать девушке, наклонился над ведром попить воды, а она, вновь закатившись смехом, резким толчком окунула его голову в холодную купель. Он больно ударился о край ведра, но не подал виду. Поля, заметив, что мать ушла с крыльца, хохотала безудержно, он тоже смеялся, вытирая рукавом рубахи мокрое лицо. Зашагал домой лишь только тогда, когда Полю окликнул из раскрытого окна голос матери. И тут заметил, что до крови разодрал о ведро десну и чуть повредил изнутри верхнюю губу... Уносил с собой боль как бесценную Полину награду.

Когда уходил в армию, до поздней ночи караулил девушку на улице у ее дома. И только утром узнал от сестренки Вари, что Поля уехала за Днепр, в гости к старшей сестре, которая годом раньше вышла туда замуж... А в прошлую зиму Варя написала ему в армию, что и она выходит замуж в то же самое село близ Копыси, где живет сестра Поли. Случилось так, как узнал потом Алесь, что замуж должна была выйти Поля, но Варя неожиданно для себя и для Поли перебежала ей дорожку, переманила жениха, когда тот появился в Иванютичах. Алесь, прочитав письмо сестры, печалился и в то же время таил надежду, что Поля, может, нарочно уступила Варе жениха, а сама дожидается возвращения из армии его, Алеся. Ведь не вернула же Поля его писем, не передала с Варей, чтоб не писал ей. Значит, можно было надеяться, и он надеялся...

Грузовик с минометчиками валко пробирался по ухабистой, в горячих солнечных пятнах лесной дороге, его часто встряхивало, и, может, эти толчки и удары плечом о борт машины вернули Алеся Христича из плена воспоминаний. Будто проснувшись, он с удивлением заметил, что в кузове вместе с минометчиками едет младший политрук Иванюта. И было непонятно, почему он не сел в кабину одной из трех машин. Ведь такой начальник! Алесь догадался: боится, наверное, начальничек бомбежки; из кузова ведь быстрее можно заметить пикирующий бомбовоз и нырнуть на землю.

А тем временем Миша Иванюта вел с бойцами разговор.

— Вот ты твердишь, что в боевой обстановке запас

мин надо возить отдельно от стволов и от минометчиков, — обратился он к Захару Завидову, сидевшему рядом с Алесем Христичем.

— Ничего я не говорю, — сонно ответил Завидов и локтем толкнул под бок Алеся. — Это он мне говорил.

— Я?! — удивился Алесь, не соображая, о чем идет речь.

— Ну, неважно кто, — примирительно сказал Иванюта. — А вот вы слышали, как два кума ездили на базар продавать самогонку?

— Не-е-е... — И кто-то сдержанно хохотнул, предвкушая услышать веселую историю.

— Так вот, едут кум Иван и кум Петро на рынок, каждый на своей телеге, дымят люльками и этак с ленцой перекидываются словами.

«Кум Петро, ты сколько горилки везешь продавать?» — спрашивает Иван. «Три литра...» — отвечает Петро. «И я три литра... А почем будешь продавать?» — интересуется Иван. «По рублю за стакан». — «И я по рублю... Слышь, кум, у меня есть рубль. Налей мне стаканчик попробовать твоей горилки».

Кумовья остановили коней. Иван уплатил Петру рубль, а тот налил ему стакан горилки. Иван выпил... Едут дальше, молчат, курят. Вдруг Петро предлагает: «Кум Иван, а ну и ты продай мне на рубль горилки. Попробую твоей».

Опять остановились. Кум Иван наполнил из своего жбана стакан и спрятал в карман знакомый рубль. Едут дальше, молчат, сосут трубки, потом Иван опять просит: «Продай, кум Петро, мне еще на рубль твоей горилки...»

И так рублишко гулял между карманами Ивана и Петра, пока вся самогонка у того и у другого не была выпита...

Бойцы, слушая младшего политрука Иванюту, вначале посмеивались сдержанно, чтобы не мешать рассказчику, а потом взорвались дружным хохотом, скаля белые зубы и сверкая оживленными глазами. И этот их молодой смех был настолько беззаботным, будто и не было войны, крови, смертей и не надо было постоянно опасаться бомбежки...

Подняв руку, Иванюта дал понять, что рассказ не окончен:

— Так вот приехали кумовья на базар, а продавать

нечего. Но есть у кума Ивана один рубль. «Кум, — предлагает ему Петро, — пойдем в корчму да пропьем твой рубль!»

Сказано — сделано. Пропили и этот рубль.. Приезжают домой чуть теплые, предстают пред ясные очи своих жинок на праведный суд... А на второй день кум Петро, встретив Ивана, спрашивает: «Кум, мы же пропили твой рубль. За что же тогда меня жена так безбожно отходила палкой?» — «Может, ей моего рубля жалко?» — пожал плечами Иван и застонал, вспомнив, как и его молотила жена.

Опять самозабвенный хохот заглушил урчание полуторки.

— А в чем же соль этой байки? — посерьезнев, спросил Алесь Христич.

— В чем? — переспросил младший политрук Иванюта. — Неужели не ясно? — Хотя он и сам не очень понимал, какая особая мораль, кроме веселой нелепости, содержится в анекдоте, но стоял на своем: — Если ты, минометчик, едешь на базар, то есть идешь в бой, держи мины ближе к миномету, а не на телеге у кума. Понял?.. А если едешь с кумом продавать вино, слейте его в одну посудину, и не надо вам двух телег.

— Темновато, однако смешно, — со снисхождением заключил все тот же Алесь Христич, чем вызвал новый взрыв смеха товарищей.

— Очень даже ясно, — вяло возразил Алесю Захар Завидов. — Если едешь на базар, не бери с собой даже рубля!

И вновь сверкают белозубые улыбки на темных от загара лицах.

2

А Алесю Христичу уже было не смешно. Их маленькая колонна, выбравшись из леса, попала на хорошо накатанную грунтовку, пересекла железную дорогу и въехала на мост, соединявший два берега Днепра. К удивлению Алеся, Днепр оказался не таким внушительно-широким, каким он представлял его. Но важно другое: они уже на Днепре! Дальше этого места немцу не пройти — таково было мнение всех и его, Алеся. Значит, здесь собраны могучие силы Красной Армии...

Но пока никаких сил нигде не было видно. За мостом начиналось местечко — зеленое, разбросанное, каких в

Белоруссии много. При въезде в местечко Алесь успел прочитать на указателе: «Копысь». И будто задохнулся от такого знакомого названия... Неужели тот самый городишко, близ которого село Оборье, куда вышла замуж сестренка Варя?.. А ведь здесь могут оказаться сейчас и его отец с матерью! Куда же им еще было убегать от немца, если не за Днепр, к Варе?.. Возможно... да-да, вполне возможно, что и Поля Шинкевич здесь, у своей сестры...

Алесь, кажется, боялся пошевельнуться, чтоб не нарушить течения своих смятенных мыслей, не вспугнуть робкой надежды на какую-то близкую радость... Но откуда ей взяться, радости, если вокруг такая кровавая кутерьма? Их машины уже миновали Копысь, повернули на юг. Обочины дороги изрыты воронками, в воздухе — тошнотворный запах, а вон, справа, вдоль Днепра, людской муравейник: там рыли траншеи — очередной рубеж обороны.

Минутная надежда, поселившаяся было в сердце Алеся, стала сменяться давящей грустью, которая все нарастала, вызывая боль сердца от понимания того, как все сложилось трагично и как он беспомощен сейчас в своей человеческой судьбе.

Совершая марш-бросок за Днепр, минометная рота старшего лейтенанта Бутынина счастливо избежала бомбежек и обстрелов с воздуха, а затем была включена в один из ослабленных полков дивизии полковника Гулыги, которая в составе войсковой группы генерала Чумакова вырвалась из окружения и сейчас, заняв новый рубеж для обороны, приводила себя в порядок. Старший лейтенант Бутынин, как и полагалось в таких случаях, сдал в штаб списки личного состава, заполнил документацию о наличии оружия и имущества. Затем рота получила боевую задачу и занялась окопными работами, спешно готовя основную и запасные огневые позиции.

Алесь делал все как во сне, занятый одной мыслью: где-то совсем рядом могут быть самые родные ему люди, и наверняка там Поля. В этом он убеждал себя все больше и больше.

Необычайное состояние красноармейца Христича заметил старшина Евсей Ямуга, когда на огневую привезли термос с обедом и он, Евсей, самолично накладывал в котелки гречневую кашу с говядиной и соусом.

— Что это у тебя, Христич, будто душа из глаз на волю просится? — спросил Алеся Ямуга, опростав над его котелком половник с кашей.

Христич непонимающе уставился на старшину, беспомощно шевельнул губами, но ничего не сказал.

— Чего, спрашиваю, вареный такой, будто жизнь надоела? — уточнил вопрос Ямуга.

Алесь провел ладонью по лицу, сморщился, словно от боли, затем вдруг спросил:

— Товарищ старшина, а село Оборье далеко отсюда?

Ямуга, озадаченный вопросом, достал из полевой сумки карту, развернул ее и начал рассматривать, отодвинувшись в тень орешника, чтоб не слепил луч солнца.

— А у тебя там что, заноза или уже теща? — И тут же старшина ткнул в карту желтым от махорки указательным пальцем: — Вот оно, Оборье... Километров двенадцать отсюда. — Подняв от карты глаза, он указал рукой: — За тем лесом почти строго на юг.

Алесь еще никогда в жизни никого так не просил:

— Товарищ старшина... Я бегом — туда и обратно! Только увижусь. Разрешите! Век не забуду.

Старшина Ямуга усомнился:

— Ты же, помню, где-то под Минском тоже искал родню?..

— Они сюда бежали, за Днепр. Тут моя сестра Варя замужем! Где ж им еще быть, если не в Оборье?! — Алесь по-собачьи, преданными глазами смотрел на Ямугу, будто решался вопрос о его жизни.

— А если немцы прорвутся?.. А минометчики в бегах?

— Ими еще и не пахнет тут! — доказывал Алесь. — Я мигом слетаю!

— И что же это тебе даст?.. Ну, повидаешься, растравишь душу себе и родным...

— Пусть узнают, что я живой! А то небось похоронили! — Алесь мучительно подбирал новые доказательства, просительно оглядываясь на товарищей, которые, рассевшись под кустами, ели из котелков кашу и молча прислушивались к разговору.

— Если б там девчонка ждала его, можно б и отпустить, — без тени иронии заметил сержант Чернега — темноликий, скуластый, с ухарскими, нагловатыми огоньками в больших воловьих глазах.

— Так в том-то и дело, что и моя Полина там! — с

отчаянием и с последней надеждой воскликнул Алесь. — Другой на моем месте уже самовольно сбежал бы!

Эти последние слова Христича услышал вынырнувший из-за кустов старший лейтенант Бутынин.

— О каких самовольных побегах речь? — Он повернул заостренное уставшее лицо в сторону Алеся и старшины Ямуги.

Все вокруг замерли, даже перестали скрести ложками в котелках. Старшина изложил командиру роты суть просьбы красноармейца Христича.

— Никаких увольнений, — сухо и наставительно ответил старший лейтенант, твердо взглянув на поникшего Алеся. — Война... В любую минуту бой может начаться.

— Точно, я так ему и объясняю! — с готовностью поддержал командира роты старшина Ямуга.

Целый день ныл потом Алесь, доказывая всем, что, не погибни их замполит, тот отпустил бы его. А командиры да старшины, мол, народ без сердца, не понимают бойца, не хотят заглянуть ему в душу.

Под вечер старшина Ямуга не выдержал и, ни к кому не обращаясь, но так, чтоб слышал Христич, досадливо сказал:

— Вот темнота! Война ведь не отменяет уставов! Спросил бы у командира роты разрешения обратиться к командиру батальона...

— А я, как командир отделения, — оживленно откликнулся сержант Чернега, — и заменяющий командира взвода, разрешаю красноармейцу Христичу обратиться к командиру роты.

Через минуту Христич, закинув за плечо карабин, ушел с огневой позиции, а еще минут через пятнадцать он уже появился на командном пункте батальона, разыскав его по нитке телефонного провода.

Окопы командного пункта были вырыты и хорошо замаскированы в мелколесье на высотке, перед которой простирались луг и кудрявые заросли кустарника по берегам Днепра. Первым, кого увидел здесь Христич, был младший политрук Иванюта. В расстегнутой гимнастерке с расслабленным поясным ремнем он сидел в тени на поставленной торчком железной катушке от телефонного провода и что-то записывал в блокнот. Алесь мысленно произнес название своего села — Иванютичи; это помогло ему вспомнить фамилию младшего политрука. Со-

блюдая уставную форму, спросил у него, где можно увидеть командира батальона.

Иванюта, занятый какими-то своими мыслями, скользнул по Алесю отсутствующим взглядом и указал на плечистого капитана в линялой гимнастерке, поверх которой сверкало желтизной кожи новенькое полевое снаряжение. Капитан стоял на бруствере окопа и, приложив к глазам бинокль, смотрел, как впереди, за лугом, окапывались наши пехотинцы.

— Товарищ капитан, с разрешения командира минометной роты обращается красноармеец Христич! — Алесь твердил про себя эти слова с той минуты, как побывал у старшего лейтенанта Бутынина, и тем не менее прозвучали они не бойко, а как-то надорванно, словно сказанные при ощущении мучительной боли.

— Обращайтесь. — Капитан, опустив бинокль, устало посмотрел на бойца воспаленными глазами.

Алесь теми же заученными словами и тем же надорванным голосом изложил командиру батальона свою просьбу, сделав ударение на том, что только часинку побудет у родителей и тут же прибежит на свою огневую позицию. В эту минуту в его лице, в глазах было столько мольбы, надежды и страха, что капитан даже сморщился от чувства сострадания и, помедлив, будто всматриваясь в тоскующую душу молодого человека, коротко сказал:

— Разрешаю. Сбегайте...

И тут Алесь Христич стремглав помчался в сторону леса, за которым была дорога, ведущая в село Оборье. Думал только о близкой встрече с милыми сердцу, дорогими людьми да благодарил судьбу, что послала она ему такого доброго, отзывчивого капитана.

Но верно говорят, что судьба, подобно распутным женщинам, особенно опасна тогда, когда щедро расточает свои ласки. Только вышел Алесь на столь желанную дорогу, надеясь перехватить попутную машину, как услышал сзади тяжелый гул бомбежки. Оглянулся и увидел в той стороне, где занял оборону его новый полк, клубы пыли и дыма над лесом и много самолетов, ходивших в небе по кругу. От увиденного ощутил горькую сухость во рту и почувствовал в груди холодок непоправимой вины. Будто окаменел на пустынной и пугающей этой пустынностью дороге. Как же быть?.. Посмотрел в

сторону еще далекого Оборья. Вдоль дороги бугрился под легким ветерком белесый разлив ржи, вдали, на горизонте, маячила голубая прядка леса.

Не в силах был сделать туда хоть шаг. Стоял на месте и уже понимал, что не увидеть ему отца и мать, сестру Варю и не встретиться с Полей.

Есть разные степени человеческого сознания. Первые и самые важные шаги в высшую его область — это обретение человеком чувства гражданина и чувства сопричастности ко всему, что происходит вокруг него и в обществе в целом. Обретение такого чувства совершает переворот в бытии и мышлении человека, пробуждает в нем всю силу дремлющей энергии. Когда же это касается воина с его обновленнным и возвысившимся внутренним миром, то сила пробуждающейся в нем энергии во сто крат мощнее и целеустремленнее...

Алесь Христич, разумеется, не задумывался, какая сила сорвала его с места и понесла в обратную сторону, туда, откуда прилетели звуки бомбовых ударов. Мыслями он был уже на огневой позиции своего миномета, рядом с товарищами, и бежал так, что хрип рвался из его груди, а липкий пот обливал все его тело.

Однако не суждено было Алесю вернуться в свою роту. Его опередили немецкие танки, появившиеся непонятно откуда, будто упавшие с неба. По счастью, не задела его пулеметная очередь из стальной башни. Успел он нырнуть в лес, чтоб затем бежать уже не разбирая дороги, только бы на восток, спасаясь от бессмысленной смерти или от позорного плена.

На третьи сутки, голодного и измотанного, его задержали у переправы через Сож вместе с десятками других, отбившихся от своих подразделений красноармейцев, сержантов, командиров. Документы у Алеся были в порядке, его рассказ о том, как он неудачно отлучился с огневой позиции, показался старшему лейтенанту — работнику особого отдела — правдоподобным, тем более что тот нашел на карте село Оборье. Алесь уже готовился было стать в строй, чтобы влиться с ним в какую-то новую часть, занявшую оборону за переправой на Соже. И в это время на запруженной машинами дороге он увидел знакомую фигуру старшины Евсея Ямуги. Старшина прохаживался у полуторки, дожидавшейся своей очереди для переезда через мост. Алесь,

обрадовавшись Ямуге, как брату родному, рванулся к нему, но окликнуть не успел. Его опередил чей-то пронзительный и злой голос, раздавшийся из кузова грузовика:

— Вон Христич наш!.. А говорили — к родственничкам... Да он же дезертир!..

Что случилось дальше, Алесь не может вспоминать без мучительного стона. Его там же арестовали и предали суду военного трибунала. Старший лейтенант Бутынин и старшина Ямуга хоть и доказывали следователю, что Христич — исправный, исполнительный боец, но не могли отрицать, что не отпускали его с передовой и что были свидетелями болтовни Алеся о самовольном уходе в село Оборье. А о разрешении командира батальона, которое якобы получил красноармеец Христич, им тоже не было известно, ибо он, как полагалось в таком случае, ничего не доложил своему командиру расчета сержанту Чернеге.

Да, Алесь действительно допустил роковую ошибку — не забежал с командного пункта батальона в роту, не явился к своему командиру. Но ведь может подтвердить его невиновность командир батальона!.. Однако капитана уже не было в живых — его сразил осколок там, на Днепре, и у Алеся не оставалось никаких надежд на спасение, тем более что у переправы он оказался раньше своей батареи — будто и в самом деле сбежал с передовой... Христича готовились расстреливать вместе с двумя другими осужденными бойцами; один из них во время боя струсил и, бросив товарищей, убежал с передовой, а второго уличили в том, что он умышленно прострелил себе руку. Впереди строя замерло с карабинами в руках отделение бойцов комендантского взвода, которым предстояло привести приговор в исполнение.

Алесь смотрел на происходящее налитыми смертным ужасом глазами. Неужели родные, земляки, Поля будут считать его трусом и будут знать о его такой позорной смерти?.. Лучше бы ему на свет не рождаться!..

Алесю хотелось, чтобы скорей кончились муки позора и чтоб не терзали его невыносимо тяжкие мысли...

Подошел с красной папкой в руке немолодой, в командирской форме и с двумя прямоугольниками в каждой петлице человек. Став перед строем и нахмурив худощавое лицо так, что кустистые брови, сбежавшись вместе, почти спрятали его глаза, он раскрыл папку и

начал громко, тягостно-неторопливо читать приговор военного трибунала. Алесь уже не вникал в звучавшие страшным смыслом слова, а, отведя взгляд в сторону, тупо смотрел на недалекую дорогу.

На дороге как раз притормозил ехавший в сторону фронта грузовик со снарядами, и из его кабины вышел по-юношески стройный военный. В его фигуре, в лице, в походке, которой он направился в глубину леса, где размещался какой-то штаб, Алесю почудилось что-то знакомое, а каждый новый знакомый человек сейчас только усиливал его муки, и лучше бы он проходил мимо. Но человек вдруг обратил внимание на строй красноармейцев, прислушался к звучавшим словам приговора и, видимо, поняв, какая тяжкая происходит процедура, замедлил шаг и направился к месту расстрела.

И тут в лицо, в сердце Алеся будто вонзились горячие иглы. Он рванулся всем телом вперед, навстречу приближающемуся человеку. Это был младший политрук Иванюта. Алесь забыл его фамилию, но вспомнил, что она похожа на название его родного села, и тут же, не помня и не слыша самого себя, закричал каким-то дурным, чужим голосом:

— Иванютич! Товарищ младший политрук Иванютич! Вы же знаете!.. Я же при вас!.. — Алесь захлебнулся в рыданиях.

Человек, читавший приговор, будто споткнулся на полном ходу и вдруг умолк, переводя нахмуренный взгляд с осужденного Христича на подошедшего младшего политрука.

Иванюта растерялся, даже оробел, не в состоянии постичь, каким образом он, появившийся здесь совершенно случайно, причастен к этому расстрелу. Как ни всматривался в искаженное рыданиями лицо Алеся Христича, сразу не мог вспомнить его.

Алесь видел, понимал, что младший политрук не узнает его, разглядел даже испуг на лице Иванюты, но не мог овладеть собой, в то же время боясь, что отделение комендантского взвода сейчас вскинет карабины, раздастся залп и он не успеет объяснить все Иванюте.

Из строя вдруг вышел старший лейтенант Бутынин и стал что-то взволнованно говорить младшему политруку. Тот утвердительно закивал и подошел к Алесю вплотную. Мгновение смотрел ему в лицо, затем повернулся к военному с раскрытой красной папкой в руках.

— Товарищ военный юрист второго ранга! Что же

это происходит? — сдерживая волнение, сухо спросил Иванюта.

— Вы можете подтвердить его невиновность? — Юрист строго и будто угрожающе устремил глаза на младшего политрука, сделав к нему несколько шагов.

— В моем присутствии командир батальона капитан Шерстюков разрешил красноармейцу Христичу навестить родных. — Иванюта хладнокровно чеканил каждое слово. Он не слышал, что именно сказал Христичу капитан, но видел сияющее лицо, счастливые глаза бойца, когда тот почти бегом покидал командный пункт батальона.

— Подтвердите письменно! Сейчас же! — Военный юрист даже изменился в лице. — Это же чепе!.. Чуть не погубили невиновного человека... — Он нервно потер рукой подбородок и приказал развязать Христичу руки.

Из-под стражи Алеся пока не освободили — нужно было выполнить какие-то формальности. Но он понял, что спасен. Его отвели в глубь леса, а через минуту сзади раздался ружейный залп. И воображение Алеся с жестокой реальностью высветлило все то, что должно было сейчас с ним случиться...

С тех недавних пор фронтовая жизнь Алеся Христича как бы разделилась на две части: одну — до «расстрела», вторую — после. Первая, оставшаяся позади, текла в его воспоминаниях по каким-то естественным, понятным и привычным законам, когда все происходившее, случавшееся с ним или в поле его зрения, воспринималось как должное; он смотрел тогда на людей, на окружавший мир с полным доверием и открытой душой, бездумно чему-то радуясь, что-то одобряя или осуждая. После же «расстрела» душа его словно обнажилась для печали, будто перешагнул он через какой-то таинственный порог, за которым почувствовал себя другим человеком — заново прозревшим, понявшим, что в жизни не так все просто, не так уж она беспечна и приветлива, не так легко быть в ней человеком.

Это прозрение навалилось на Алеся тяжестью, тираня чувством, что он осквернил свою прошлую жизнь собственным легкомыслием, чуть не приведшим его к роковой черте, и что в тяжкие сегодняшние дни пришел с обедненной душой, оставив все самое дорогое, светлое, греющее сердце там, за черным порогом прозрения, за тем страшным потрясением, которое испытал, стоя на краю собственной могилы.

И в нем просыпалась жгучая потребность вернуть себе ту прошлую, не попранную «расстрелом» жизнь. Ему страстно хотелось чем-то затмить в своей памяти ужас, который испытал он перед лицом однополчан на краю могилы, чтобы в короткие часы сна не метаться в горячечном бреду, а после пробуждения не терзать себя мыслью: не подоспей тогда по счастливой случайности младший политрук Иванюта, залп комендантского взвода грянул бы неотвратно, и уже никто не смыл бы позора с имени Алеся Христича и всего белорусского рода Христичей.

Удивительно, что Алесь после случившегося стал, кажется, увереннее чувствовать себя в повседневных фронтовых передрягах. Его не пугали, как раньше, бомбежки с воздуха, внезапные артиллерийские обстрелы, прорывы немецких танков, обходы и наскоки автоматчиков, будто и в самом деле главная опасность, которая могла подстеречь Алеся на войне, осталась позади.

3

...Эти дни июля выдались особенно сухими и жаркими. Ночь тоже не приносила занявшим оборону бойцам желанной прохлады, хотя впереди их окопов протекала речушка. Ее кочковатый заболоченный берег подступал к самому льняному полю, похожему на широкое озеро, отражающее гаснущую голубизну неба, каким увидели они его вчера перед закатом, прибыв сюда. На краю этого дурманящего запахом цветущего льна поля и окопались минометчики бутынинской роты.

Впрочем, они уже не были минометчиками, ибо не осталось в роте ни одного миномета — их раздавил во вчерашнем утреннем бою прорвавшийся на огневую позицию немецкий танк... Да и от роты осталась горстка бойцов; ее свели во взвод, который возглавил сержант Чернега.

Много минометчиков полегло за эти дни. Убит и старшина Евсей Ямуга, тяжело ранен старший лейтенант Бутынин... А у сержанта Чернеги, пусть и подбил он гранатой немецкий грузовик да вооружил всех уцелевших бойцов вороненными автоматами германского производства, заметно поубавилось прыти. Темное лицо его стало сероватым, еще более скуластым, а в воловьих глазах погасла всем знакомая наглинка. Будто и разговаривать разучился сержант: раньше не в меру

болтлив, мастер на острое словцо, сейчас он объяснялся с солдатами только языком приказа и команд, да так, будто постоянно сердился на всех.

Окопная ячейка Алеся Христича была самой крайней на льняном поле. Вырыл он ее, как и было приказано, в полный профиль, точно по своему росту. Хорошо замаскировал бруствер, выдолбил в передней стенке ниши для гранат и ступеньку для ноги. Справа его окоп не имел соседей, зато слева вытянулись в цепочку окопы товарищей, чуть заметно выступая вперед, к речке. Сержант Чернега, ячейка которого была еще где-то левее, когда все они вчера вечером закончили устилать свежую землю на брустверах стеблями льна, приказал было соединять окопы ходом сообщения — пусть даже мелким, чтоб можно было пробираться по нему полусогнувшись. Но когда, начав долбить сухую землю, сам почувствовал, что сил уже не осталось, отменил приказ, однако строго напомнил — всем быть начеку, хотя находились они не на самом переднем крае, а в тылу, имея задачу прикрывать лес, который темным серпом огибал цветущее льняное поле. В том лесу, по слухам, располагался штаб генерала Чумакова, а воинские части, подчиненные штабу, сдерживали врага в нескольких километрах впереди.

Положив на дно окопа шинельную скатку и вещмешок, постелив сверху свернутую вчетверо плащ-палатку, Алесь удобно устроился для отдыха. Заступать ему на боевое дежурство — наблюдать за берегом речки, за дорогой и прислушиваться к шумам ночи — предстояло под утро, поэтому была возможность поспать. Он мерно задышал, баюкая себя и стараясь не вспоминать о «расстреле», ибо тогда, как это уже не раз было, прощай сон. Стоило даже краешком памяти прикоснуться к тому страшному дню, как сразу же видел себя на краю могилы, а перед собой — бледные, испуганные лица красноармейцев с карабинами в руках. И тогда мысль Алеся начинала судорожно метаться в поисках спасения... Чтобы избавиться от такой муки, да и опасаясь, как бы не тронуться умом, он старался отвлекаться. Сейчас, например, с похвалой думал о Чернеге, который отменил приказ о рытье хода сообщения между стрелковыми ячейками. Ведь все равно задерживаться здесь долго не придется. Сзади них, в двухдневном пешем переходе, — Смоленск. Так зачем войскам торчать в чистом поле, если можно укрыться за каменные сте-

ны города и отбиваться от немцев со всеми удобствами и без больших потерь?

Вскоре Алесь почувствовал, что подогнутые ноги затекли и стали ныть в коленях. Пришлось встать и размяться. А когда выглянул из окопа, увидел, что его сосед, Захар Завидов, разлегся прямо впереди ячейки, положив голову на бруствер. И Алесь последовал разумному примеру. Но когда улегся на верху окопа, война будто приблизилась к нему со всех сторон. То мерцал сквозь закрытые веки свет взлетевшей где-то ракеты, то четче доносились с переднего края пулеметные и автоматные очереди, взрывы снарядов. Постреливали даже в лесу, в котором коротал ночь штаб генерала Чумакова.

Алесь не заметил, как уснул, но будто и не спал. Проснулся от испуга: рядом, на дороге, в предутренних сумерках урчал с нарастающей силой мотор.

— Немцы! — услышал сдавленный вскрик из соседнего окопа и узнал голос Захара Завидова.

«Проворонил!» — обожгла Алеся мысль.

Спросонья Христич позабыл, где он и что с ним. А разглядев в клубах пыли тормозящий на сумеречной дороге броневик, всполошился еще больше. Схватив лежащий рядом автомат, ощутив рукой легшую на сталь росу, нырнул в окоп за противотанковой гранатой и через несколько мгновений уже раздвигал и подминал под себя лен, полз к дороге, где в сторожкой тишине замер броневик. Алесь не чувствовал колчеватости земли, к которой прижимался всем телом, не замечал, что упругие и шершавые стебли льна хлестали его по лицу. Смутно видел сквозь редеющую завесу стеблей остановившийся на дороге бронеавтомобиль, и одно-единственное чувство неудержимо билось в Алесе: страх, что автомобиль сейчас уедет и он не успеет метнуть в него эту зажатую в правой руке тяжелую гранату, начиненную взрывчаткой страшной силы. Алесь знал, что противотанковую гранату надо бросать из укрытия, иначе снесет она и твою голову, но об этом не думал. Напрягшись до окаменения мышц, до огненных сполохов в глазах, все полз и полз... Но что это? Увидел, что над башней броневика появилась голова в черном танкистском шлеме, замаячив то ли в тающих сумерках, то ли в оседающем облаке пыли. Тут же на дороге послышался нарастающий шум, и к броневику плавно подкатили две легковые автомашины в камуфляжной окраске: передняя — длинная и, видать, тяжелая, а задняя поменьше.

Откуда было знать красноармейцу Христичу, что он видит машины, в одной из которых едет главнокомандующий Западным направлением маршал Тимошенко? Появление вслед за броневиком легковых автомобилей еще больше утвердило Алеся в мысли, что на дороге немцы, и, надо полагать, в больших чинах. Но как ему одному справиться с тремя машинами?.. Надо бить гранатой по броневику, а по легковым — из автомата. Потом сержант Чернега, конечно же, скомандует взводу поддержать Алеся огнем из окопов.

Сержант Чернега оказался легким на помине. Алесь услышал, что сзади него кто-то шелестит льном, тяжело ухая коваными сапогами о землю. Это удивило Алеся, и он замер на месте. Тут же сквозь стебли разглядел пробегающего мимо Чернегу.

— Убьют! — сдавленно пропищал ему Алесь.

Сержант от неожиданности отпрянул в сторону, кинул на Алеся недоуменно-сердитый взгляд, но не остановился. Выскочив на дорогу, он откозырял военному, который маячил над башней броневика.

«Свои!» — от этой мысли у Алеся перехватило дыхание, и он почувствовал, как на лбу начали взбугриваться капли пота. Потом его охватило негодование: шляются всякие в расположении обороны на легковых машинах без спросу, а ты пяль на них глаза да угадывай, кто свой, а по ком граната плачет. Эта злость размыла полыхнувший было в груди страх, и Алесь, держа в одной руке противотанковую гранату, а в другой автомат, поднялся и тоже вышел на дорогу. Очень хотелось ему сказать кому-то сердитые слова упрека, а при возможности и матюгнуться для облегчения души.

Сержант Чернега тем временем объяснял начальнику охраны маршала Тимошенко, как проехать в штаб генерала Чумакова. Увидев рядом Алеся Христича, он строго спросил:

— Почему покинул окоп?.. Кто разрешил?!

— Так я же думал, что немцы! — Алесь, встряхнув перед собой противотанковой гранатой, смотрел на сержанта с наивным недоумением. — Мой окоп крайний от дороги, мне первому и бить!

— Разуй глаза! — Чернега свирепо скорчил лицо. — Не отличишь наш Бэ-А-десять от немецкого бронетранспортера?!

— А-а, уже насмотрелись, как под наших работа-

ют! — не сдавался Алесь. — Вы лучше пощупайте да понюхайте их документики!

— Ты что, запулил бы в нас, если б сержант не появился? — нависнув из башни броневика, изумленно спросил у Алеся начальник охраны, указывая пальцем на его гранату.

В изумленности человека, одетого в черный танкистский шлем, Алесю послышалась опасность, мысль его лихорадочно заработала в поисках подходящего ответа, однако язык опередил мысль и сболтнул неопределенное:

— Если б узнал, что свои... Зачем мне бросать?..

— Как бы ты узнал, если тип автомобиля тебе нипочем?! — Голос военного звучал все более угрожающе, и от этого Алесь совсем запутался.

— А может, она и не взорвалась бы. — Он для убедительности встряхнул гранатой и поморщился. — Такое тоже бывает.

— Бывает?! — Начальник охраны хотел еще что-то сказать, но послышался хлопок дверцы легкового автомобиля, и он кинул туда обеспокоенный взгляд.

— Что здесь за митинг? — послышался сзади Алеся хрипловатый усталый голос. — Время не ждет!

Алесь оглянулся и от неожиданности, от невероятности того, кого он увидел, сделал шаг назад. Перед ним стоял во весь свой высокий рост знакомый по портретам каждому военному и невоенному маршал...

4

Любая истина, как свет ума, не принадлежит никому и выверяется временем. Но что такое время? Иные мыслители утверждают, что время спит на поверженных мирах, а мы проходим сквозь его вечную неподвижность, как вода меж гранитных берегов. Другие убеждены, что пульс мира отбивают маятники часов и время летит неудержимо. Согласимся с теми и другими, ибо никто из них не отрицает, что время — неподкупный судья истории. Именно оно, время, поднимает нас на гребень опытности человечества и позволяет с его высоты посмотреть просветленным взглядом на пройденные нами дороги.

Неотрывно мы всматриваемся в кровавые дороги войны, всматриваемся с горячим пристрастием, ибо, от-

дав самих себя на суд времени, хотим его справедливого приговора, хотим знать, как все было.

...Середина июля 1941 года... На Смоленской возвышенности и на прилегающих к ней пространствах в сумятице кровавого сражения решалась судьба Москвы...

Эти июльские дни и ночи слились для маршала Тимошенко в сплошной поток такого мучительного напряжения, выдержать которое, казалось, невозможно смертному человеку. Время, коему одни приписывают стремительность, другие — неподвижность, для маршала ощущалось по-разному: то проносилось оно черной молнией, когда видел, что маховики немецкой военной машины раскручиваются еще быстрее, накатываясь с севера и с юга в обход не только Смоленска, но и всего Западного фронта; то будто время останавливалось, сопротивляясь надеждам маршала, когда он обращался мыслями к подходившим с востока эшелонам советских войск. Крылья бы им!.. Враг уже нависал над районами выгрузки прибывающих резервов! Приходилось перенацеливать эшелоны на более восточные станции или перегоны, и рушились графики, удалялись друг от друга полки и дивизии...

В таких тяжких условиях Ставка Верховного Командования наращивала силы, продолжая восстанавливать и укреплять стратегический фронт обороны. Самое пристальное внимание Москва уделяла Западному направлению. К середине июля в тылу Западного фронта развертывались еще шесть армий, объединенных в Резервный фронт под командованием генерал-лейтенанта Богданова. Это диктовалось грозными событиями: наша оборона по Западной Двине и Днепру в трех местах была прорвана, ослабленные армии, действия которых направлял маршал Тимошенко, непрерывно схлестывались в неравном противоборстве с танковыми группами противника и часто оказывались в столь бесформенном тактико-оперативном построении, что общая картина в полосе фронта не всегда поддавалась ясному осмыслению, не приобретала сколько-нибудь устойчивых очертаний даже на карте. Сражение велось на огромной территории, распадаясь на крупные и мелкие очаги. Наши полки и дивизии то и дело зажимались врагом в клещи; недавние их тыловые районы вдруг становились глав-

ными рубежами схваток и направлениями контратак. Нередко очередное решение Тимошенко устаревало, не успев дойти до войск, ибо их положение менялось с каждым часом. Пространство, замкнутое в треугольник Орша — Смоленск — Витебск, превратилось в своеобразную наковальню. На ней дробились и перемалывались ударные вражеские группировки, несли большие потери и наши войска, оборонявшиеся с невиданной стойкостью и контратаковавшие, как мнилось врагу, с фантастическим безрассудством.

Главные силы Западного фронта не успели к 10 июля организовать прочную и глубокую оборону. В этот день немецко-фашистские войска начали наступление на Смоленск, имея превосходство в танках в четыре раза, в самолетах, в артиллерии и в людях — в два раза. Враг уже предвкушал свою победу и готовился к «венчающему» войну марш-броску на Москву. Немецкое командование рассчитывало к 25 августа не только захватить советскую столицу, но и к началу октября выйти на Волгу, достичь Казани и Сталинграда. А пока группа немецких армий «Центр» выполняла приказ своего командования об окончательном сокрушении советского стратегического фронта на Московском направлении. Враг наращивал удары, чтобы скорее задохнулись наши 19, 20 и 16-я армии, попавшие в оперативное окружение западнее, севернее и восточнее Смоленска... (При этом 19-я и 16-я армии еще продолжали сосредоточивать свои силы.) Гитлеровскому командованию виделся и трагический финал ратных усилий 13-й армии генерала Ремезова, которая была рассечена на две части и продолжала сражаться в окружении, удерживая одной частью Могилев и плацдарм на западном берегу Днепра, а другой пробиваясь из окружения на Кричевском направлении.

Но маршал Тимошенко, ни на минуту не спуская глаз с противника, настойчиво продолжал атаковать, как этого требовала и Ставка Верховного Командования. 12 июля группа немецких армий «Центр» и правое крыло группы армий «Север» возобновили захлебнувшееся было наступление против Западного фронта. К этому моменту Тимошенко, сгруппировав в ударный кулак часть подоспевших сил 19-й армии генерала Конева и силы правого крыла 20-й армии генерала Курочкина, обрушил в районе Витебска неожиданный контрудар по 33-му моторизованному корпусу немцев, выдвинутому из

резерва для развития наступления. Враг не ожидал такой дерзости от зажатых в железные тиски войск и, понеся тяжелые потери, перешел к обороне. В тот же день части 22-й армии генерала Ершакова, удерживавшие Полоцкий укрепрайон, внезапным контрударом разгромили 18-ю моторизованную дивизию противника, а части 21-й армии генерала Кузнецова и 13-й армии генерала Ремезова остановили врага на Рославльском направлении.

Обреченные противником на гибель котлы и полукотлы не гибли, а будто взрывались изнутри и несли смерть ему, противнику. Взрывалась и горела сама земля на путях немецких танковых колонн: это срабатывали мины и фугасы, установленные инженерно-саперными отрядами. Уничтожающее пламя низвергалось на вражескую технику и с неба: авиация днем и ночью сбрасывала на скопление врага и его многочисленной техники бомбы, термитные шары и ампулы с горючей жидкостью.

13 июля войска 20-й армии генерала Курочкина поставили восточнее Орши заслон перед 47-м моторизованным корпусом немцев, уничтожив при этом несколько десятков танков.

Одновременная мобилизация сил для намеченного удара — важный закон войны. Маршал Тимошенко упорно стремился к тому, чтобы в выбранном месте находить возможность оказаться сильнее врага пусть даже на короткое время. Таким местом, по его мнению, было левое крыло фронта. Занимавшая там оборону 21-я армия генерал-полковника Кузнецова получила приказ: 13 июля перейти в наступление совместно с кавалерийской группой генерал-полковника Городовикова. Расчет оказался точным: нацелив острие удара в сторону Бобруйска, 21-я армия и конники вышли на тылы немецких механизированных частей и опустошили их, нанеся врагу большие потери. 66-й стрелковый корпус 21-й армии, пройдя с боями на запад восемьдесят километров, захватил переправы на Березине и Птичи.

Неистовая активность войск Западного фронта, пусть измотанных и обескровленных, их частые успехи в конечном счете связывались в одно целое, которое выражалось в потерях противника. Они были колоссальными! Этому способствовала и большая плотность вражеских сил.

Тем не менее трезвый взгляд на общий ход кровавой

борьбы обнажал горькую правду: Западный фронт к середине июля был рассечен врагом на три части.

Не хотелось Семену Константиновичу верить, что невозможно добиться решительного перелома в ходе событий. И это больше томило его тоской, чем тиранило б душу ожидание собственной трагической гибели. Мучительные поиски новых и более реальных мер до предела изматывали физически и нравственно, ибо непрерывно надо было ставить себя на место командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, чьи части истекали кровью в неравном противоборстве. Он понимал глубину их трагедии, и от невозможности помочь им каменело его сердце...

Ему все-таки казалось, что он вот-вот как-то по особому прозреет и вдруг найдет самое нужное, главное решение. Необходим только какой-то толчок, какое-то озарение. И неистово искал... Не щадил себя, не щадил оперативных работников штаба, разведчиков, офицеров группы связи. Непрерывно вел расчет сил — своих и противника, — расчет времени, расстояний, условий местности. Искал любую возможность, чтобы вынудить немцев ошибиться, замедлить темп наступления, действовать вне законов стратегии. Пристально смотрел на оперативную карту, взглядом охватывая рваную линию фронта от Мозыря до Великих Лук, спотыкался о разграничительные линии между армиями, всматриваясь в открытые фланги своих войск и отыскивая слабые участки у противника. Отдавал приказы на контрудары, понимая, что фланговые охваты малыми силами таят в себе риск оказаться в окружении и его частям. Но при этом учитывал, что фундамент всякого оперативного замысла опирается не только на силы, но и на моральное состояние войск, которое зависит от многих факторов, в том числе и от твердости духа его, главнокомандующего.

Если человек в темноте наткнется на препятствие, ему трудно сделать шаг вперед — надо хоть на мгновение осветить дорогу. Подобную потребность испытывает командующий фронтом или армией, если войска не смогли осуществить его замысел. В эту короткую июльскую ночь маршал Тимошенко побывал на командных пунктах генералов Конева и Курочкина, чтобы на месте разобраться, почему в минувший день контрудар

их армий на Витебском направлении не был развит. Впрочем, маршал понимал почему: враг имел огромное преимущество в силах, особенно в танках и самолетах. Но маршалу нужны были не только арифметические данные неравенства сил, он испытывал острую потребность вникнуть в тяжкие условия противоборства не одной мыслью, а всеми чувствами, чтобы острее ощутить атмосферу, в которой действуют армии, осязательно проверить способность штабных рычагов приводить в движение непростые механизмы войсковых соединений, убедиться, в какой мере командармам, командирам корпусов и дивизий удается влиять на ход боевых операций в столь сложной и изменчивой обстановке. Только после этого, как ему мыслилось, он, главнокомандующий Западным направлением, мог в своих очередных решениях опираться хоть на какую-нибудь реальность.

Под утро маршал Тимошенко еще успел заехать на командный пункт генерал-майора Чумакова, чуть было не попав под удар своих «войск» в лице рядового бойца Алеся Христича...

5

...В автобусе светло от ярко горящей лампочки и душно. Зашторенные окна, прикрытая дверь и предрассветная тишина будто отторгали весь остальной мир. Маршал Тимошенко поднял взгляд от расстеленной на столе карты и посмотрел на сидевшего напротив генерала Чумакова.

— Как же вы не уберегли штаб? — спросил будто и без явной укоризны, но таким тоном, что у Федора Ксенофонтовича заломило в груди.

— Товарищ маршал, оправдываться не в моих правилах. — Потухший голос Чумакова таил боль. — Штабная колонна была рассечена на марше прорвавшимися танками... В мое отсутствие.

— Подробнее.

— Когда севернее Горок создалась критическая ситуация, я сгруппировал все немногое, что было в резерве, — танковый батальон, два дивизиона противотанковой артиллерии, подвижную группу пехоты на десятке грузовиков...

— А свой командный пункт выдвинули в район намечавшегося прорыва?

— Так точно — вспомогательный пункт.

— В этом и состоит ваша ошибка! Нельзя при таком превосходстве противника дробить в ходе операции штаб, иначе нетрудно вовсе потерять управление войсками.

— Да, сейчас это ясно. Остатки штаба после прорыва немцев еле нашел. Место запасного расположения штаба тоже оказалось в районе боевых действий. Несколько часов делегаты связи метались по дорогам, пока не наткнулись на автобусы и крытые грузовики.

— Плохо воюем! — Тимошенко вновь повернулся к карте: — А Смоленск уже рядом... Смоленск — трамплин для прыжка немцев на Москву. Головой будем отвечать за Смоленск!

— Нечем воевать, товарищ маршал, — подал голос сидевший в углу автобуса полковник Карпухин.

— Учитесь у Курочкина! — Тимошенко с открытой досадой посмотрел на Карпухина, лицо которого было налито нездоровой желтизной, и, переведя взгляд на генерала Чумакова, приказал: — Доложите ваши последние решения.

— Остатки штаба армии слил со штабом мотострелковой дивизии полковника Гулыги...

— Решение правильное. Дальше?

— Все части, которые остались по эту сторону прорвавшихся немецких авангардов — две ослабленные дивизии, танковая группа в семнадцать единиц и сводный артиллерийский полк, — развернуты фронтом на юг и держат оборону.

— Какова активность немцев?

— Слабовата... Я иногда слушаю их радиопереговоры. Нетрудно догадаться, что Гудериана беспокоит отставание от танковых авангардов его пехотных дивизий.

— Вы владеете немецким?

— Более или менее. В детстве батрачил у немецких колонистов на юге Украины.

— Мысль об отставании немецких пехотных эшелонов правильная. — Тимошенко вернул разговор в прежнее русло: — Но главная причина ослабшей активности врага перед вами заключается в том, что южнее вас углубляется прорыв... Не пытались установить связь со своими отсеченными дивизиями?

— Все время пытаемся, но безуспешно. Полагаю, что они вошли во взаимодействие с тринадцатой армией генерала Ремезова.

— Если так, то придется насовсем подчинить их Ре-

мезову. — И маршал повелительно кивнул сидевшему у двери автобуса генерал-майору Белокоскову: — В приказ, Василий Евлампиевич!

Генерал для особых поручений при наркоме обороны Белокосков сделал в блокноте запись и выразительно покосился на наручные часы, напоминая маршалу, что пора возвращаться в штаб фронта. Федор Ксенофонтович тоже взглянул на часы и удрученно произнес:

— У меня же ничего не остается... Какая мы после этого армия?

— Дело не в названии. — Голос маршала вновь стал строгим: — Все, что осталось у вас, крепко держите в кулаке, маневрируйте по фронту и прикрывайте в своей полосе Смоленск. Армию постараемся усилить.

Где-то за лесом ударили минометы. Их резкие выстрелы мгновенно развеяли чувство оторванности от мира; салон автобуса уже не казался затишным уголком.

— Товарищ маршал, — в сдержанном голосе Чумакова сквозила боль, — о каком маневре может быть речь с нашими силами? Осталось чуток снарядов, а горючего — только что в баках.

— Где были гарнизоны, там есть и склады. — Тимошенко поискал глазами по карте, но так и не назвал ни единого населенного пункта. — Постараемся помочь снарядами и горючим. Держитесь сколько можете. Идут резервы... — И маршал, подавив тяжелый вздох, задержал твердый взгляд на измученном лице Федора Ксенофонтовича.

Белая повязка, закрывавшая левое ухо и подбородок Чумакова, резко подчеркивала эту измученность, сквозившую в темной серости кожи и в притушенных глазах. Маршал хорошо понимал, как нелегко сейчас Чумакову. Считанные дни командовал он армией, заменив раненого генерала Ташутина; в двухдневных боях на рубеже Орша — Козино немцы рассекли армию, и лучше бы оставшиеся под командованием Чумакова части объединить в корпус, но Тимошенко было известно, что Ставка Верховного Командования готовит приказ о временном упразднении корпусной системы. Вчера Сталин и Жуков советовались с ним об этом. Значит, и корпусом пока не командовать генералу Чумакову... Можно, конечно, слить его группу с соседом — 20-й армией генерала Курочкина...

Федор Ксенофонтович будто прочел его мысли и с грустью сказал:

— Генерал без войск что пушка без снарядов... Да и штаб у меня все равно далек от армейского комплекта... Может, свести нас в корпус и передать генералу Курочкину?.. Только прошу не подумать, что я хочу уклониться от ответственности.

— Не подумаю. — Тимошенко чуть заметно усмехнулся тому, что Чумаков угадал ход его мыслей о корпусе. — Будете пока именоваться войсковой группой фронтового подчинения. Вы лично отвечаете за безопасность Смоленска с этого направления... Головой отвечаете.

Через минуту маршал сидел в своем пуленепробиваемом, испятнанном зеленой и бурой красками ЗИСе. Под охраной броневика, шедшего впереди, и автоматчиков, следовавших сзади в «эмке»-вездеходе, Тимошенко вместе с генералом для особых поручений Белокосковым покинули лес, где в глубине западной опушки размещался командный пункт генерала Чумакова.

«Генерал без войск что пушка без снарядов», — повторил про себя Тимошенко слова Федора Ксенофонтовича. Смежив веки и ощущая толчки машины на ухабах лесной дороги, маршал сквозь дрему думал, имея в виду генерала Чумакова, что в часы величайших тревог и даже перед лицом смерти человек благородной души и обостренного чувства долга стремится быть на самом важном, доступном ему месте, чтобы сделать все посильное и принести предельно возможную пользу, возвысив этим свое дело и украсив свое имя. Отсюда, видимо, и родилась русская поговорка: «Или грудь в крестах, или голова в кустах...»

Человек мирной профессии пробуждается от шума, а военный — от тишины. Сквозь полусон Семен Константинович услышал, что мотор машины приглох, заработал тихо, исчезли толчки — будто машина поплыла по спокойной воде. А ведь асфальтовая дорога еще не близко. И он, озадаченный, с трудом вырвался из вязкого плена дремотности. Открыв глаза, не поверил тому, что увидел: вокруг машины и далеко впереди разлилась голубая ширь, а над ней чуть колебалась прозрачная утренняя дымка тумана. Несколько справа плыл, утопая по днище, броневик охраны, а слева — «эмка» с автоматчиками. Полагая, что это сон, и поражаясь реальности своего ощущения, Семен Константинович что-то невнят-

но пробормотал. И тут же услышал грустноватый голос генерала Белокоскова, сидевшего впереди, рядом с водителем, одетым в темно-зеленый комбинезон:

— Ленок позднего посева. Ни одной соринки!.. Жалко: такую красоту война калечит...

— Лен это? — переспросил Семен Константинович, хотя и сам уже понял, что они едут по ровному полю буйно зацветшего высокого льна. — А мне померещилось, что озеро разлилось.

— У нас на Вологодчине целые моря таких разливов, — со вздохом заметил генерал-майор. — Даже моя фамилия, как говорят, сродни льну: Белокосков — от белых, как лен, волос...

— У тебя, Василий Евлампиевич, больше седины в голове, чем льна. — Маршал тихо засмеялся.

Слева ударили с размашистой гулкостью наши гаубицы, и разговор в машине оборвался. Вслушивались, как просыпался фронт. На голос гаубиц ответил нарастающе-въедливый, слышный даже в машине вой немецких мин. Его поглотили раскатистые взрывы, донесшиеся из уже отдалившегося леса. Взрывы родили в лесу басовитое эхо. Казалось, что оно, прокатившись по росным предутренним опушкам, по полям и кустарникам, окончательно разбудило сторожкую тишину, которая вдруг растворилась в пулеметном клекоте и беспорядочной ружейной трескотне. Было удивительно, что дыхание переднего края ощущалось так явственно уже здесь, по существу, в районе командного пункта армии. Сместились все принятые нормы построения боевых порядков, развеялись привычные понятия... И даже не верилось, что эти приглушенные расстоянием и туманной пеленой звуки войны были грозными предвестниками очередного тарана, который, по данным нашей разведки, подготовили немцы.

Вскоре машины выехали на грейдерную дорогу. Вдоль нее покосились в разные стороны столбы с обвисшими проводами, чернели на обочинах воронки, окаймленные выброшенной торфянистой землей. Дорога кривой саблей устремилась к далекому лесу, похожему на приземлившуюся черную тучу с туманными краями. Над лесом небо было светло-розовым, с застывшей полосой облаков, подпушенных багрянцем. Казалось, кто-то небрежно мазнул по небу серой краской с примесью киновари.

Где-то там тревожно ждал своей участи Смоленск. Маршалу Тимошенко казалось, что не только все его

сегодняшние мысли, вся боль его сердца связаны со Смоленском, но и вся прошлая жизнь слагалась так, чтоб он пришел в сегодняшний день и смог сделать что-то самое главное или захлебнуться в муках от беспомощности, от свирепой необузданности укоряющих мыслей...

Многое пережил за свои сорок шесть лет от роду Семен Константинович, много повидал за двадцать семь лет военной службы. Но ничего даже отдаленно подобного он еще не испытывал. Не мог и предполагать, что ему суждено было со столь жестокой ясностью ощутить смертельную опасность, нависшую над Москвой. А ведь надеялся, верил, что, прибыв на Западный фронт, он проявит всю силу своего характера, опыт, волю, раскованность в мышлении при поисках оперативных решений, употребит свой авторитет и обязательно поправит дела, найдет возможность остановить немцев.

6

Такие надежды маршала опирались не только на его крепкий характер, но и на всю прошлую его судьбу. Достаточно оглянуться на совсем близкое: сумел же Тимошенко в критический момент финской войны показать, что мысль красного полководца не должна знать безысходности. Она не может идти только по прямой, а обязана одновременно искать во всех направлениях.

...Это случилось после того, как советские войска из-за трудных условий местности и бездорожья в лютую зиму 1940 года приостановили свое наступление перед главной оборонительной полосой линии Маннергейма. На Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт, и командовать им Советское правительство поручило Тимошенко. Прежде всего Тимошенко взялся за перестройку и усиление войск, за подготовку исходных районов для наступления, тренировку частей в способах блокирования дотов, дзотов и опорных пунктов неприятеля. Затем в плане готовившейся операции выдвинул идею нанесения главного удара смежными флангами двух армий, сосредоточив здесь больше половины стрелковых соединений, артеллерии и авиации фронта: будто в две руки вложил по могучему молоту. В итоге первоклассная оборона финнов была сокрушена.

Однако финская война принесла еще один итог: дорогую цену победы и горечь обретенного нами опыта. Оказалось, что уровень боевой выучки войск и их штабов надо без промедления повышать и срочно усиливать полки автоматическим оружием, средствами навесного удара и делать многое другое, совершенно неотложное, подсказанное боями в Финляндии и грозным заревом полыхавшей второй мировой войны.

Тогда Тимошенко еще не знал, что именно на его плечи ляжет главная тяжесть этой ноши, с которой ему придется пройти пусть недолгое по времени расстояние, но с препятствиями высочайшей сложности: в мае 1940 года он был назначен наркомом обороны СССР.

Вся деятельность наркома, все его усилия были направлены на выполнение главного требования ЦК ВКП(б) — стремительно вывести части и штабы Красной Армии на новые рубежи боевой выучки, в сжатые сроки добиться полного технического оснащения войск. И в то же время нельзя было позволить немцам заподозрить нас в подготовке к войне. Осторожность и осторожность!

Но для хорошего разбега требовалось временно́е расстояние. Такого расстояния у наркома обороны Тимошенко уже не было, хотя он об этом не знал. К тому же его несколько успокаивали слова Сталина, сказанные ему, а затем его заместителю Мерецкову, что если немцам и удастся втянуть нас в войну, то это может случиться не ранее 1942 года. Поэтому была надежда успеть сделать многое, в том числе и сформировать нужное количество механизированных корпусов. Впрочем, многое и успел сделать. Помимо приказов по армии, которые придавали размах и масштабность процессам воинского совершенствования, к концу 1940 года в Центральный Комитет партии, в Совет Народных Комиссаров СССР был представлен целый комплекс предложений по дальнейшему повышению боевой готовности вооруженных сил и проведению мобилизационных мероприятий. Одним из многих результатов этого представления явилось почти трехкратное увеличение общей численности армии и флота по сравнению с 1939 годом.

И сам Тимошенко ощутил, как растет его авторитет. Это он явственно почувствовал, когда работал над заключительной речью, которую должен был произнести

31 декабря 1940 года в Центральном Доме Красной Армии перед закрытием совещания высшего командного состава. Всматриваясь в утвердившиеся советские военные концепции, он долго размышлял над тем, как можно добиться захвата и удержания стратегической инициативы с началом военных действий, если наступательная доктрина исходила только из идеи ответного удара по агрессору. Если удар ответный, значит, ему должен предшествовать удар противника. Следовательно, стратегическая инициатива все-таки будет за нападающей стороной. Тогда как же быть со стратегической инициативой? Советская военная наука, ранее поставив этот вопрос, не давала на него исчерпывающего ответа. Тимошенко вслед за признанными военными теоретиками принялся формулировать общие принципы наступательных боевых действий Красной Армии, стремясь противопоставить эти пока воображаемые действия современной немецкой стратегии. Маршалу удались уточнения рождавшейся теории глубокой операции. Ее началом должен явиться тактический успех войск с последующим его развитием в оперативный стремительными действиями механизированных и авиадесантных войск при активной артиллерийской и авиационной поддержке. Главное зерно теории глубокой операции — одновременное поражение противника на всю оперативную глубину обороны. Далее маршал Тимошенко уточнил мысль, что фронт становится оперативно-стратегической организацией, которая должна самостоятельно планировать боевые усилия составляющих его армий и должна руководить ими в ходе боевой операции.

Будто бы все просто и очевидно. Однако потребовалось немало поисков и доказательств, чтобы прийти к этой очевидности — новому слову в советской военной науке. По инициативе и при участии наркома обороны был подготовлен документ особой важности. Послав копию документа в Политбюро ЦК, Тимошенко обнародовал его на военном совещании как свою заключительную речь.

На второй день, принимая в Политбюро военных руководителей, Сталин упрекнул маршала, что тот закрыл совещание, не узнав его, Сталина, мнения о присланной бумаге. Тимошенко встревожился, стал давать объяснение, но Сталин его успокоил, сказав, что документ в общем убедительный и серьезный.

Да, тогда все выглядело убедительным. И сам факт, что он, крестьянский сын, стал наркомом обороны первого в мире социалистического государства, придавал ему энергию особого накала. Весь его труд был пронизан чувством радостной и суровой ответственности за все малое и великое, связанное с дальнейшим строительством Красной Армии. Но как сейчас, в эти наполненные грохотом битв июльские дни, далеки те прежние хлопоты и тревоги, надежды и сомнения! Будто и вовсе ничего не было в прошлом — ни боевых маневров, ни крупных штабных оперативно-стратегических учений и мук творчества при создании умозрительных стратегических моделей на случай войны. Война грянула, и многое оказалось не таким, как предполагалось. И все чаще пронзала Тимошенко мысль, что несет он тяжкую и заслуженную кару за свою вину.

Память возвращала маршала в конец сорокового и начало сорок первого года. Совсем ведь недавнее время, но, отторженное от сегодняшнего дня событиями войны, оно уже ворочалось вдалеке, затихая и растворяясь. Тимошенко тогда вырабатывал с Генеральным штабом более или менее точную модель оперативно-стратегических действий наших войск в случае нападения Германии на Советский Союз и с учетом оперативно-стратегических приемов немецкого командования, проявившихся в агрессивных акциях на Европейском театре войны. Нужно было проверить реальность и надежность нашего плана прикрытия страны и доложить об этом Политбюро ЦК и Советскому правительству.

С этой целью после известного декабрьского совещания высшего командного состава армии была проведена в первых числах января 1941 года большая оперативно-стратегическая военная игра на картах, в которой участвовало руководство Наркомата обороны, Генерального штаба, командующие и начальники штабов военных округов и командующие армиями. Игра была тщательно подготовлена самыми опытными генштабистами во главе с генерал-лейтенантом Ватутиным и проводилась в стенах Генерального штаба. Она ставила задачу — предвосхитить события, которые могли развернуться на наших западных границах в случае нападения Германии на Советский Союз, и проверить нашу возможность проведения ответной глубокой операции.

Все огромное пространство от Полесья до Восточной Пруссии было заполнено условными противоборствующими войсками. «Красную» обороняющуюся сторону (Красную Армию) представляли за оперативными картами командующий Западным Особым военным округом Павлов и начальник штаба этого же округа Климовских; они имели под своим командованием свыше пятидесяти дивизий и авиацию. «Синюю» нападающую сторону (Германию) возглавляли генерал армии Жуков, тогда еще командующий Киевским Особым военным округом, и генерал-полковник Кузнецов — командующий Прибалтийским военным округом; в их распоряжении имелось свыше шестидесяти дивизий и также авиация. Руководили «боевыми действиями» и были главными арбитрами он, народный комиссар обороны Тимошенко, и начальник Генерального штаба Мерецков. Они же и «подыгрывали» на картах за Юго-Западное стратегическое направление.

Игра была сложной, многоэтапной, но не складывалась так, как была задумана. Жуков своими дерзкими решениями и рассекающими ударами начисто рушил все расчеты и прежние представления о том, какое превосходство в силах должна иметь нападающая сторона, чтобы взломать столь мощную полосу обороняющихся войск. То и дело создавались неразрешимые драматические ситуации, не оставлявшие сомнений: «красные» терпят поражение...

Многое, что произошло в те январские дни на картах, когда велась условная бескровная война, повторилось после 22 июня, но уже с реальными нашими потерями и большой кровью...

Итоги совещания высшего командного состава армии и результаты оперативно-стратегической военной игры докладывали в Кремле Главному Военному совету, Политбюро и правительству. Здесь же, в зале, рассматривался проект нового Полевого устава. Атмосфера была напряженной. Сталин, зная о поражении «красных», сидел в сумрачной задумчивости. Генерал армии Жуков, ловя недовольные взгляды руководства, чувствовал себя как провинившийся школьник. Неуютно было на трибуне начальнику Генерального штаба генералу армии Мерецкову. Его доклад о проведенных трехнедельных сборах и о венчающей их военной игре на картах явно не клеился. Когда Мерецков, оправдывая неудачи «красных», стал ссылаться на преимуще-

ство «синих» в авиации и танках, Сталин недовольно перебил его, резонно напомнив, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров и войск.

Туго пришлось генерал-полковнику Павлову, который попытался в шутливой форме объяснить свой проигрыш. Сталин внушительно напомнил генералу:

— Командующий войсками округа должен владеть военным искусством, уметь в любых условиях находить правильные решения, чего у вас в проведенной игре не получилось.

Потом выступал Жуков. Притушив волнение в упрямых глазах, он с какой-то виноватостью посматривал с трибуны в сторону сидевшего в скорбной задумчивости маршала Шапошникова (Дед, как величали Бориса Михайловича, изредка подергивал головой, что выдавало его волнение: патриарх штабной службы переживал за просчитавшихся генштабистов). В первой части своего выступления Жуков предлагал ввести в практику военной подготовки высшего командного состава периодические командно-штабные полевые учения со средствами связи под руководством наркома обороны и Генерального штаба. А затем коснулся самого болезненного, о чем в военных верхах велись споры явно и тайно начиная со второй половины тридцать девятого года.

— По-моему, в Белоруссии укрепленные рубежи строятся слишком близко к границе, и они имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе белостокского выступа, — со всей бескомпромиссностью заявил Жуков, вновь оглянувшись на Шапошникова, понимая, что Дед отвечает сейчас за это строительство, хотя является сторонником того, чтобы у границы держать только небольшие силы прикрытия, а главную массу войск располагать хотя бы на линии старой советско-польской границы. И далее продолжил: — Это позволит противнику ударить из районов Бреста и Сувалки в тыл всей нашей белостокской группировки...

Трудно Семену Константиновичу вспоминать все это. Ведь тогда решающее слово было за маршалом Ворошиловым, возглавлявшим Комитет Обороны при Совете Народных Комиссаров, который утверждал планы укрепления в инженерном отношении западной границы. И когда Жуков сошел с трибуны, а Сталин повер-

нулся к Тимошенко, устремив на него вопрошающий взгляд, Ворошилов, сидевший за столом рядом со Сталиным, рывком придвинул к себе микрофон и с раздражением сказал:

— Товарищ Жуков предполагает, что в случае агрессии против нас мы собираемся отсиживаться в укрепрайонах! Эта стратегия не для Красной Армии! Мы будем наносить контрудары и будем бить врага на его территории! А укрепленные районы строятся по утвержденным планам!

В зале раздались редкие хлопки аплодисментов, а когда и Сталин, приподняв над столом руки, тоже хлопнул в ладоши, аплодисменты загремели в полную силу.

Но это не было поражением генерала армии Жукова. Через день центральные газеты опубликовали сообщение о том, что решением правительства он назначен начальником Генерального штаба Красной Армии.

Сороковые годы — исторически сложившаяся пора, в которой люди чувствовали себя взрослее прожитых ими лет; их опыт и деловые качества находились в прямой зависимости от пройденных дорог, преодоленных препятствий и накопленных знаний. В год начала войны Жукову было сорок пять, а Тимошенко — сорок шесть лет! Мера же их ответственности за судьбу государства требовала масштабности даже в малом, требовала обладать той мудростью, суть которой — умение смотреть на вещи со всех сторон и умение объединять мысль и силу. Нельзя сказать, что они не обладали этими качествами. С приходом Жукова в Генеральный штаб было сделано множество необходимого, однако не в пределах возможного. Вот теперь и гнетут маршала Тимошенко мысли об упущенном. Его утомленная и израненная память не дает покоя...

Более всего казнился Тимошенко за те упущенные часы, которые отделяли время подписания первой боевой директивы войскам от начала войны. Надо было вопреки всему сдублировать приказ штабам округов по телефонным аппаратам ВЧ, как это сделал нарком Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов, немедленно приведший флоты в боевую готовность номер один. Все-таки хоть что-то можно было бы успеть сделать... А он же, когда директива еще зашифровывалась в Генштабе, позвонил в Минск Павлову, выслушал его

взволнованный, сбивчивый доклад, что немцы по всей границе явственно готовятся к боевым действиям, и разрешил поднять по тревоге только дежурные подразделения. Внушенное Сталиным опасение поддаться на провокацию туманило разум. «Втолкуйте начальникам штабов, разведчикам, операторам, — приказал он тогда генералу армии Павлову, — чтобы все доклады перепроверяли, а то еще спровоцируем немцев... Огонь без разрешения не открывать...» И с тех пор в его сердце поселилась холодная игла вины. Как только оказывался наедине со своими мыслями, нет-нет да и жалила она, заставляя задавать самому себе укоряющие вопросы, вступать с самим собой в трудную полемику. Будто не себя, а кого-то другого с ожесточением убеждал, что на посту наркома обороны сделал в преддверии вторжения гитлеровских армий все, что только было в его силах.

7

...Подъезжали к Смоленску, когда взошло солнце, напоив небо ясной голубизной. Оно еще было невидимо за семью холмами, на которых раскинулся древний город, да и холмов и города не было видно: дорога шла через сгоревшее и разбомбленное предместье. Над ней густо нависли старые вязы, тополя, березы. А по бокам, за пешеходными дорожками — поваленные штакетники и заборы, руины и пожарища. Возвышались среди фундаментов и груд головешек закопченные дымоходы, беззубо щерились темные и будто раздетые печи, окаменело стояли садовые деревья — черные, с мертвой, опаленной листвой. Только изредка, на задворках или у колодцев, мелькали фигуры женщин и стариков, остро пронизывали душу их испуганные и скорбные взгляды. Казалось, что все здесь в прошлом, жизнь отринула от этих страшных мест.

Потом неожиданно показался город — каменные ожерелья обгоревших и обрушенных домов на возвышенности. Они смотрели на дорогу черными или просвечивающими глазницами пустых окон, будто жалуясь на свою беспомощность и беззащитность. Промелькнул красный, в белых известковых прожилках срез крепостной стены, и тут же, будто прямо из-под нее, заструились трамвайные рельсы, местами заваленные, как и вся ширь улицы, обломками кирпичных стен и камен-

ным крошевом. По эту сторону крепостной стены, несмотря на ранний час, суматошились люди, строившие завалы. Из нескольких машин сбрасывали на булыжную мостовую мешки с песком, а затем на тачках везли их к обозначившемуся валу из таких же мешков — между стеной обгорелого трехэтажного каменного дома и сквером, в котором густо росли старые ясени, — куда-то тащили бревна, волокли вывороченные взрывами бомб из трамвайных путей обломки рельсов, катили вручную полусгоревший грузовик.

Маршал Тимошенко обратил внимание, что среди пестрого многолюдья — мужчин, женщин и подростков — очень мало военных. Это встревожило: без специалистов по-настоящему не подготовить город к обороне, к уличным боям. И в то же время знал: все прибывающие эшелонами воинские части бросаются вперед, навстречу врагу, чтобы погасить наступательную силу немцев на подступах к Смоленску.

Машина маршала в сопровождении охраны выехала на улицу Советскую и понеслась вниз, к Заднепровью. Промелькнула справа Соборная лестница, сверкнул золотыми куполами и дохнул голубизной Успенский собор на горе. Вскоре справа и слева замелькали решетчатые перила моста через Днепр...

Позади бессонная ночь, и не первая. В голове тяжесть, неумолчный гуд, а глаза будто запорошены половой, как это бывало в детстве у отца на току: хотя бы на час забыться во сне. Но тревога и ощущение огромной опасности, понимание логики грозных событий пересиливали усталость. Что делать, где отыскать и куда бросить тот якорь спасения, сдвинуть который было не под силу стихии войны? Никакая сумма правил и истин, из которых можно исходить, намечая план очередных действий, пока не сулила радужных перспектив. Мысль была порабощена сознанием того, что не хватает войск и не хватает для их накопления времени. Вражеские моторизованные части устремляются туда, где слабее преграда, будто по наклону обтекая узлы сопротивлений... Держится частью сил 22-я армия генерала Ершакова в Себежском и Полоцком укрепленных районах, не сдает позиций северо-восточнее Орши 20-я армия генерала Курочкина, хотя на рубеже Копысь — Шклов отступает; обороняет могилевский плацдарм на Днепре, находясь в окружении, корпус генерала Бакунина, стойко удерживает город Могилев диви-

зия этого корпуса, которой командует генерал М. Г. Романов. Многие наши войсковые группы стали своеобразными тяжами, которые привязали к себе немало немецких дивизий, тормозят движение броневой вражеской колесницы, нацеленной на Смоленск и Москву, однако в масштабе оборонительных действий всего Западного фронта они не в состоянии коренным образом повлиять на развитие событий. Обстановка на главных направлениях складывается в пользу врага, что и отметил Тимошенко в последнем приказе войскам фронта, требуя от них еще более решительных действий днем и ночью.

На командном пункте в Гнездове маршала Тимошенко ждали с тревожно-напряженным нетерпением. Только он поднялся на второй этаж в свой кабинет, как тут же появился начальник штаба фронта генерал-лейтенант Маландин. Поздоровавшись с главкомом, Герман Капитонович устало наблюдал, как тот разминал, прохаживаясь вдоль стола, затекшие ноги, расстегнув при этом поясной ремень и воротник гимнастерки.

— Душ, парикмахера и кофе! — бросил Тимошенко выглянувшему из столовой ординарцу, затем остановил утомленный вопрошающий взгляд на Маландине: — Докладывайте, Герман Капитонович.

Генерал Маландин подошел к столу, раскрыл красную папку, которую принес с собой, и повернулся к висевшей на стене оперативной карте с нанесенной вчера вечером обстановкой.

— Что, серьезные изменения? — спросил Тимошенко и, скрывая нарастающую тревогу, потрогал пальцами свой подбородок с пробившейся щетиной.

— Существенные, — подавленно ответил генерал Маландин. — На участках Шклов и Старый Быхов прорыв немцев углубляется.

— Этого надо было ожидать, — сумрачно сказал Тимошенко, кинув взгляд на карту. — Что еще?

— Плохо севернее Смоленска. По неподтвержденным данным, немец занял Демидов.

— Не может быть! — Маршал вплотную подошел к карте, отыскал глазами городок Демидов, нависающий с северо-запада над Смоленском. — Куда же смотрел Конев?!

— Конев докладывает, что через боевые порядки его армии прорвалось около двух танковых и одна моторизованная дивизия.

— Надо перепроверить.

— Скоро вернется воздушная разведка.

Тимошенко сбросил с себя поясной ремень, прошелся по ковру, расстеленному перед столом, затем вновь остановился у карты, глядя на нее суровым, будто ненавидящим взглядом.

— Что же докладывать Сталину? — чуть слышно спросил он у самого себя печальным голосом; можно было подумать, что маршала больше угнетает необходимость информировать Ставку о тяжелом положении войск фронта, чем само положение. Потом привычно-строго спросил: — Каких рубежей достигли немцы восточнее Шклова и Быхова?

Генерал Маландин, взяв на столе маршала синий остро заточенный карандаш, привычно приложился рукой к карте и несколькими штрихами обозначил места и глубину прорывов врага.

— Такое расстояние могли преодолеть за это время только головные силы — танки и мотопехота, — сказал Тимошенко, следя за кончиком карандаша.

— Совершенно верно, — подтвердил Маландин. — Спешат ворваться в Смоленск. — Затем, взяв в папке бумагу, протянул ее маршалу: — Телеграмма... Товарищ Сталин приказывает удержать Смоленск во что бы то ни стало.

— Как будто мы сами этого не знаем. — Тимошенко молча прочитал телеграмму, расписался на углу бланка и поставил время ознакомления. Потом повернулся к карте и, не отрывая от нее взгляда, начал формулировать замысел очередного боевого приказа по Западному фронту: — Надо перегруппировать силы и перехватить горловины прорывов на участках Шклов и Старый Быхов... Всеми средствами, какие только можно мобилизовать, навалиться на прорвавшиеся механизированные группы немцев и уничтожить... — Маршал посмотрел на Маландина и спросил: — У вас есть дополнения?

— Возможно, после раскладки сил будут, — ответил Маландин, продолжая делать запись в блокноте

— Хорошо. Копию приказа — в Ставку... После возвращения воздушной разведки займемся Демидовом. А сейчас вызовите руководство шестнадцатой армии. Надо готовить Смоленск к уличным боям...

16-я армия, прикрывая с севера Смоленск, имела задачу задержать врага на рубеже Каспля, Катынь, не

пропустить его на магистраль Москва — Минск. Командный пункт армии находился недалеко от Гнездова — в небольшом лесу близ совхоза Жуково, за автомагистралью. Маршал Тимошенко успел только принять душ, побриться и позавтракать, как ему доложили, что прибыли вызванные по телефону командующий 16-й армией генерал-лейтенант Лукин, член Военного совета дивизионный комиссар Лобачев и командующий артиллерией генерал-майор артиллерии Власов.

...Семен Константинович, сидя за рабочим столом, пытливо всматривался в знакомое, несколько удлиненное лицо генерала Лукина. Кажется, что война только чуть усушила его и вытемнила кожу, а в остальном оно осталось таким же — добродушно-невозмутимым, с мудрым задором в глубоких, широко поставленных серых глазах, с притаенной твердостью характера в уголках резко отчеканенных губ. Это нравилось маршалу: он давно знал Лукина как человека, неуемно стремящегося к самостоятельности — когда тот еще работал начальником Управления кадров Красной Армии, военным комендантом Москвы, а затем начальником штаба Сибирского военного округа. Первые недели войны Лукин провел на Юго-Западном, возглавил по своей инициативе оборону Шепетовки, где находились главные склады боеприпасов фронта, и выстоял в чудовищно трудных условиях. Неудачи первых недель войны не поколебали Лукина, не повергли в растерянность. На такого командира можно надеяться, хотя располагал он возможностями не очень значительными: армия прибывала на фронт разрозненно, часть ее сил еще находилась в пути, а часть пришлось ввести в бой, в том числе и все танковые, подчинив их 20-й армии.

Два соединения армии Лукина растянулись по фронту на большом пространстве, что не позволяло создать в ее полосе сколько-нибудь глубокую и, следовательно, надежную оборону Поэтому Лукин, присмотревшись к маневренной тактике немцев, создал подвижные отряды, включив в них пехоту, артиллерию и минометы. Во главе отрядов были поставлены наиболее опытные командиры и политработники. Отряды выдвинуты на самые угрожаемые направления и внезапными контратаками, особенно в ночное время, парализуют действия прорвавшихся в глубину нашей обороны частей противника. В трудном положении оказался штаб армии, ибо его батальон связи где-то затерялся при изменении же-

лезнодорожных маршрутов Сейчас Лукин обстоятельно докладывал обо всем этом главкому.

Маршал Тимошенко, сдвинув брови, внимательно вслушивался в сжатые фразы командарма, в его внешне спокойный голос. Лукин сидел напротив, у приставного стола, повернувшись к маршалу вполоборота. Дивизионный комиссар Лобачев и генерал Т. Л. Власов примостились на дерматиновом диване в простенке между окнами, и слепившее из окон раннее солнце не позволяло Семену Константиновичу всмотреться в их лица. В конце своего доклада, подбирая завершающую фразу, Лукин вопросительно, с горьковатой улыбкой посмотрел на маршала, вздохнул и сказал:

— Вот будто и все, товарищ маршал... Сил мало... А насчет моих решений... — Он развел руками.

— Да, мне по долгу службы судить о них. — Семен Константинович тоже вздохнул. — Насчет подвижных отрядов — это то, что нужно. Надо только повысить их мобильность и активизировать работу разведки на них. Замысел действий отрядов — удачный.

— К сожалению, с нашими силами даже самые удачные замыслы не всегда приводят к успеху.

— Зато каждый неразумный замысел всегда и наверняка приведет к неуспеху. — Маршал засмеялся своей не очень веселой шутке.

Сдержанно засмеялись и все, кто был в кабинете.

В последние дни здесь, в Гнездове, уже отчетливо слышалась орудийная пальба, доносившаяся то с запада, то с севера. Временами казалось, что она отдаляется, будто уносимая ветром гроза. А сегодня орудийный рев звучал явственнее, в нем уже различались более гулкие и тупые обвалы. Вот и сейчас мелко задрожал под ногами пол, побежала зыбь по воде в графине. Донеслись тяжкие и звучные удары, точно где-то недалеко рушились горы.

— Бомбят Смоленск, гады, — тихо, словно самому себе, сказал Семен Константинович.

— Там уже и бомбить нечего — одни развалины, — горько добавил Лобачев.

— Смоленск — ворота к Москве, — вдруг сурово произнес Семен Константинович. — Пусть там останутся хоть одни камни, но его надо удержать!.. Это воля Государственного Комитета Обороны — Маршал обвел всех твердым взглядом и продолжил: — Я отдаю сегодня приказ по Западному фронту об упорядочении

управления обороной подступов к Смоленску. Вам, Михаил Федорович, — он остановил взгляд на генерале Лукине, — подчиняю все части Смоленского гарнизона и части, обороняющие подступы к городу.

— И части Девятнадцатой армии? — кажется, с недоверием спросил Лукин, видимо, потому, что этой армией командовал Конев, бывший его начальник.

— Отходящие части! — уточнил маршал и чуть возвысил голос: — Оборона города должна быть в одних руках!.. Все подчиняется вам... И части, которые с востока будут прибывать в Смоленск по железной дороге.

Водворилась напряженная тишина. Стал слышен стрекот телеграфного аппарата на первом этаже, где размещался узел связи. В эти мгновения Лукин и его соратники всей остротой своих чувств и мыслей постигали масштабы ответственности, которая на них возлагалась. Но вряд ли их воображение могло распалиться до той невыразимо тяжкой реальности, которая ждала их впереди... Где-то уже подвозили к немецким передовым частям снаряд, от осколка которого сложит голову генерал Власов Трофим Леонтьевич...

А пока продолжался разговор.

— Я понимаю, — прервал тишину Семен Константинович, — с какими непосильными трудностями вы встретитесь. — Голос маршала зазвучал глухо, глаза его сверкнули из-под нахмуренных бровей болезненно: — Противник забил танковые клинья, охватив вашу, Михаил Федорович, и взяв в клещи отходящую с боями к Смоленску Двадцатую армии. Клещи будут сжиматься. Если смотреть правде в глаза... а мы, коммунисты, привыкли только так, возможно, все вы останетесь здесь на погибель... Но не теряйте самообладания. Смоленск надо держать. А мы будем принимать все меры, чтобы помочь вам...

В это время коротко взгуднул зуммер внутреннего телефона. Маршал Тимошенко взял трубку. Звонил генерал-лейтенант Маландин.

— Вернулась авиаразведка, — докладывал он. — Демидов действительно в руках противника, а главное — под угрозой Духовщина, а значит, и штаб фронта... Разрешите поднять штаб по тревоге...

— Обойдитесь, пожалуйста, без тревоги, — хмуро сказал в трубку маршал, устремив глаза на карту. — Отдайте распоряжение о передислокации штаба... С на-

чальниками оперативного и разведывательного прошу ко мне...

Положив трубку, Тимошенко встал, дав понять присутствующим, что разговор закончен. Прощаясь со всеми за руку, невесело заметил:

— Рвется немец к Ярцеву... — И сообщил последние грозные новости: — Это, сами понимаете, огромный котел во главе со штабом фронта. Будем сейчас принимать меры, а штаб уходит в район Ярцева... Ваша задача — без изменений...

8

Выйдя из кабинета Тимошенко и спускаясь по деревянной лестнице на первый этаж, генерал Лукин мыслями все еще оставался там, рядом с маршалом. Сзади шли Лобачев и Власов, и сквозь тихие взвизги деревянных ступенек под их сапогами Михаилу Федоровичу будто слышались сурово приглушенные слова: «...Возможно... останетесь... на погибель... Но не теряйте самообладания...»

Все предельно ясно по главной сути, однако Лукин не мог вообразить себе, как именно сложатся события. Да и невозможно было поверить, что действительно близится тот страшный час, когда, кроме гибели, не будет другого выхода.

Враг, конечно, могуч: непрерывно давит огнем и моторами с воздуха и на земле, превосходство в силе и инициатива — на его стороне. Но и армия генерала Лукина, пусть ее раздергали по частям, и в ней осталось всего лишь две дивизии, все-таки представляет собой не видимость силы, а силу. Одна 152-я дивизия полковника Чернышева Петра Николаевича чего стоит: в ее полках — металлурги Магнитогорска и тракторостроители Челябинска! С такими людьми можно дьяволу шею свернуть, прежде чем сложат они головы. И смутно надеялся Лукин на самого себя, на свой штаб и на какие-то еще пока неизвестные ему обстоятельства. Ведь как туго пришлось на Юго-Западном фронте в первые недели войны! Не сплоховал генерал Лукин! Хотя основные силы армии так и не вступили там в бой, а были переброшены под Смоленск...

Два генерала и дивизионный комиссар шли цепочкой по асфальтированной дорожке, которая вела к выходу с территории штаба. Дорожка была засыпана

хвойными иголками, забросана мелкими ветками и крошевом земли: где-то поблизости взорвалась бомба. Справа и слева от дорожки, между елями и соснами, виднелись глубокие щели с покрытыми дерном взбугрившимися краями.

Впереди размашисто шагал Михаил Федорович Лукин, стараясь быстрее дойти до машины, чтобы мчаться в свой штаб, в Жуково. Уже на подходе к шлагбауму, за которым стояли в тени деревьев машины, Михаил Федорович обратил внимание на военного в командирской форме, без пояса, сидевшего на краю придорожной канавы; за его спиной, в лесу, виднелась брезентовая палатка с откинутым пологом. Военный сидел как-то неуклюже, вполоборота к дорожке, склонив голову в глубокой задумчивости. Что-то знакомое показалось Лукину в фигуре военного. Чуть в стороне от него топтался красноармеец с карабином в руках, в полинявшей до белизны гимнастерке и с черным от загара широкоскулым лицом.

Михаил Федорович, не успев еще ничего понять, ощутил, как похолодело у него в груди и как тоскливо заныло сердце: в военном он узнал своего младшего брата Ивана — полковника Лукина Ивана Федоровича.

Жаркой волной окатила догадка: что-то страшное случилось с братом.

— Иван! — тихо, но сурово позвал Михаил Федорович.

Военный и не шевельнулся в ответ: только охранявший его красноармеец, вытянувшись в струнку, «ел» глазами начальство.

— Полковник Лукин!

Тот вздрогнул, затем медлительно, будто с неудовольствием, повернул голову на оклик, устремив на Михаила Федоровича застывший сумрачный взгляд. В этом взгляде, затем во всем лице на мгновение зажглась светлинка, но тут же угасла. Иван неторопливо встал, одернул неподпоясанную гимнастерку.

Михаил Федорович заметил на петлицах брата полковничьи прямоугольники и обратил внимание, что на рукавах не спороты золотые шевроны, и от этого почувствовал, что в груди словно чуть ослабла сжавшая сердце тяжесть, хотя по-прежнему ничего не понимал.

А рядом застыли в недоумении Лобачев и Власов.

— Ты что, под арестом?! — изменившимся голосом спросил Михаил Федорович у брата, немигающим взглядом всматриваясь в посеревшее, небритое и вместе с тем такое родное лицо.

— Выходит, что так, — вяло, с безнадежностью в голосе ответил Лукин-младший.

— Струсил в бою?

Лицо Ивана передернулось в гримасе, словно от удара, а глаза потемнели, стали колючими. Он молчал, и от этого молчания Михаилу Федоровичу стало невыносимо тяжело.

— Струсил? Отвечай! — Сам того не желая, Михаил Федорович повысил голос и больше всего боялся услышать от Ивана утвердительный ответ.

Иван переступил с ноги на ногу, окатил старшего брата возмущенно-угрожающим, почти ненавидящим взглядом.

— Ты разве видел в нашем роду трусов? — И глубоко вздохнул, почти всхлипнул.

— Что же случилось? — Михаил Федорович вплотную подошел к брату и как-то неуверенно положил руку на его плечо. — Где твои курсанты?

Незадолго до войны полковник Иван Федорович Лукин был назначен начальником Виленского пехотного училища — об этом Михаил Федорович знал из его письма, полученного еще в Забайкалье.

— Где твое училище? — опять спросил, не дождавшись ответа на первый вопрос.

Иван горестно покачал головой и, глядя в землю, заговорил:

— В первый день войны поднялись по тревоге и с полной боевой выкладкой двинулись к границе... На второй день вступили в бой... Хорошо дрались — оборонялись, контратаковали... Я только теперь знаю, что такое настоящий штыковой бой... Затем в район обороны Литовского батальона, он был во втором эшелоне, пробрались переодетые в нашу форму фашисты... Уничтожили несколько пулеметных расчетов и в критическую минуту, когда немцы при поддержке танков пошли в атаку, ударили из станкачей в спину двум нашим батальонам первой линии...

Далее полковник Лукин поведал, как собирал по горстке курсантов, командиров и пробивался с ними из окружения. Сегодня с группой командиров и преподавателей прибыл в штаб фронта, а здесь кому-то из на-

чальства показалось, что потери училища неоправданны, и его арестовали, грозят судом военного трибунала.

— Кто с тобой беседовал? — строго, словно угрожая кому-то, спросил Михаил Федорович.

Иван ответить не успел. Прямо над верхушками леса послышался знакомый нарастающий свист «мессеров», а затем на землю упала кипящая пулеметная дробь: немецкие истребители, строча из пулеметов, мелькнули желтыми брюхами над деревьями и унесли пальбу и свистящий вой моторов к железнодорожной станции Катынь.

Когда шум стих, генерал Лукин, вспомнив, что ждут его неотложные дела, заторопился:

— Пошли к маршалу Тимошенко! — Он решительно взял брата за локоть. — Расскажи ему все, как было. Где твой ремень?

И тут Михаил Федорович услышал чей-то спокойный голос, обращенный к караульному:

— Принесите полковнику Лукину пояс.

Широкоскулый и темнолицый красноармеец проворно затопал кирзовыми сапогами в глубину леса к недалекой палатке, генерал Лукин с вопрошающим недоумением рассматривал откуда-то подошедшего старшего батальонного комиссара — грузноватого и полнолицего, с дымчатой сединой в висках.

— Старший батальонный комиссар Ивановский, — представился он, благожелательно глядя на генерала Лукина. — Мне думается, товарищ генерал, вы преждевременно обращаетесь к наркому обороны. Мы еще определяем степень виновности полковника Лукина.

— Раз есть степень, то при желании найдется и виновность. Я должен знать все немедленно! — не проговорил, а будто отрезал генерал Лукин. — Ведь вы, товарищ Ивановский, не хуже меня понимаете, что на войне, особенно в таких условиях, как сейчас, суд вершится быстро и без излишних антимоний!

— Но мы еще не готовы докладывать Военному совету дело полковника Лукина, — продолжал урезонивать генерала Ивановский.

— Важно, что «дело» заведено. А чем это кончается, знаем — читали в приказе о бывшем руководстве Западного фронта.

— Это разные вещи, — ответил Ивановский со вздохом: ему, видимо, припомнилось, что когда начинал он

предварительное следствие по делу генерала армии Павлова, то и не предполагал, сколь суровая мера наказания ждала арестованного.

— Не знаю, разные или нет, но я своему брату верю и несу за него ответственность! — стоял на своем Михаил Федорович.

— Тогда разрешите и мне с вами. Я должен доложить маршалу мотивы ареста полковника Лукина.

— Это ваше право, — уже с откровенным чувством недружелюбия ответил генерал Лукин и обратился к дивизионному комиссару Лобачеву и генералу Власову, которые были молчаливыми свидетелями столь неожиданной и необычной встречи двух братьев: — Извините, товарищи, что задержал вас. Иначе какой из меня будет командарм с таким камнем на сердце?

— Я обожду, — откликнулся Лобачев.

— А я, с вашего позволения, поеду давать распоряжения о перегруппировке. — Генерал Власов хлопнул ладонью по планшетке, где у него лежал план боевого распределения артиллерии.

— Езжайте, Трофим Леонтьевич, — согласился генерал Лукин, а затем обратился к Лобачеву: — И ты езжай, Алексей Андреевич. Я скоро буду в штабе.

— Тогда я поеду в направлении Красного, к Буняшину. Там сейчас очень тяжело.

— Хорошо. — Михаил Федорович утвердительно кивнул.

Еще стояло солнечное утро, блестела на растоптанных газонах, на цветах не успевшая испариться роса, откуда-то из-за хозяйственных построек бывшего дома отдыха тянуло дымом — видимо, что-то подожгли недавно пролетевшие «мессершмитты». К недалекому жилому корпусу, где размещались какие-то отделы и службы штаба фронта, подкатывали машины — грузовые, легковые, автобусы. В них спешно грузили ящики с документами и картами, сейфы, чемоданы. Даже неопытный глаз легко мог определить, что штаб фронта перемещается в другое место.

Генерал Лукин, занятый томившими его мыслями и безучастный к окружающему, прохаживался перед парадной дверью двухэтажного дома с мезонином, в котором сейчас решалась судьба его брата Ивана. Сам Михаил Федорович в последний момент раздумал идти

к маршалу Тимошенко. Встретившийся им на пути генерал Белокосков, которому Лукин взволнованно рассказал причину своей задержки в штабе фронта, согласился проводить Ивана и старшего батальонного комиссара Ивановского к маршалу. Какое же решение примет Семен Константинович? И как прозвучат в изложении представителя военной прокуратуры мотивы ареста полковника Лукина? Хотя невозможно в это поверить, но вдруг Иван действительно оплошал в бою — струсил или проявил нераспорядительность? Тогда не миновать трибунала...

Перед законом все должны быть равны. Но как тяжко сознавать, что дорогому тебе человеку грозит суд, а может быть, и расстрел. Легче взять его вину на себя. Росли же вместе... Михаил Федорович на восемь лет старше Ивана, был его наставником в малолетстве и в юности, значит, в ответе за него и сейчас.

В эти тревожные минуты ожидания генерал Лукин будто вернулся в свое детство, в родное село Полухтино, затерянное среди милых сердцу тверских лесов... Их у отца было шестеро, детей. Жили голодно и холодно при трех десятинах земли, одной лошади и одной корове. Вспомнилось, как, будучи подростком, провожал он в Зубцовске отца на поезд, потом бродил по городу, по берегам Волги и впадающей там в Волгу Вазузы, ночевал на пристани... И все размышлял тогда о сказочном Царском Селе, куда отец время от времени уезжал на заработки. Не хватало фантазии, чтобы услышанное от него сложилось в явственную картину. Представлялись улицы с золотыми домами, парки с невиданными деревьями, толпы важных господ, гуляющих с зонтиками в руках и евших мороженое, которое разносил им отец в белом халате и с лотком на груди...

Когда Миша Лукин закончил пять классов сельского народного училища, отец и его увез в Петроград — пристроил на работу «мальчиком» в трактире «Пятерка». Поднаторев там в обращении с посудой и с посетителями, Миша перебрался в ресторан «Золотой колос», где несколько лет работал официантом. Подзаработав денег и приодевшись, подал прошение о приеме в учительскую семинарию. На вступительных экзаменах показал хорошие знания и был принят.

Но закончить семинарию не позволил призыв на военную службу. В 1913 году он уже рядовой Усть-Двинской крепостной артиллерии, а через год, после

прохождения службы в учебной команде, фейерверкер Михаил Лукин участвует в боях...

И будто все это далекое было не с ним: бои, ранения, госпиталь в Москве, школа прапорщиков... В 1917 году поручик Лукин становится красногвардейцем, а через год — курсантом разведки и военного контроля при Полевом штабе Красной Армии... И опять бои — за молодую Советскую Республику... Он уже коммунист... Царицынская эпопея, Польский фронт, на котором командир бригады Лукин опять ранен... Первые награды — два ордена Красного Знамени, серебряный портсигар и золотые часы с монограммой. «Честному воину РККА от ВЦИК», — вычеканено на портсигаре... И пошел шагать по ступеням военной иерархии и аудиториям академических курсов Михаил Федорович Лукин... Начальствовал на командных курсах в Лубнах, затем шесть лет был во главе стрелковой дивизии в Харькове; его полки не только обучались военному делу, но и принимали участие в строительстве тракторного завода, помогали крестьянам в поле... Проходило время, внося поправки в его судьбу. Вот он военный комендант Москвы, а вот уже и командующий армией... Но не гладкой была его дорога. Иногда за взлетами следовали периоды отчаяния: когда ошибался в людях, когда узнавал об измене друзей или подвергался несправедливым наказаниям. Но никогда не опускал рук, не терял веры, не расслаблял волю. И в конечном счете правда и справедливость оборачивались к нему лицом.

Воспоминания роем клубились в голове генерала Лукина, сменяясь одно другим, врываясь в сегодняшний день и вновь унося мыслями в родную деревню, откуда удалось в давние годы вывести брата Ивана на желанную ему стезю военной службы.

Откуда-то из-за Красного бора донеслись гулкие удары, будто там падало на землю само небо. Оттуда же послышались резкие и сердитые выстрелы зенитных орудий. И Михаил Федорович, вырвавшись из плена воспоминаний, ощутил холодок в груди: ему немедленно надо быть северо-западнее Смоленска, оттуда тоже явственно, если прислушаться, докатывался пушечный гром. И в это время его кто-то окликнул:

— Михаил Федорович!

Оглянулся на голос и увидел Ивана, который стоял на нижней ступеньке парадного крыльца. По его смущенной улыбке и какой-то энергичности в лице, по по-

добранности в фигуре понял, что беда миновала. Быстро пошел ему навстречу, всем своим видом выражая нетерпение:

— На чем порешили?

— Дал маршал чертей, но вину снял с меня.

— Куда ты сейчас?

— В отдел кадров к полковнику Алексееву за назначением.

— В мою армию не хочешь?

— Нет, Миша. Будем воевать с немцами порознь.

— Правильно!

Братья обнялись на прощание и расцеловались. Это была их последняя встреча. Скоро Михаил Федорович узнает, что его брат полковник Лукин геройски погиб в бою.

9

В начале дня штаб Западного фронта спешно покинул Гнездово. В бывшем доме отдыха остались только связисты — для демонтажа и погрузки на машины аппаратуры узла связи.

Маршал Тимошенко ехал в своем бронированном ЗИСе один, наблюдая за оживленной и пыльной дорогой, ведущей к Смоленску. Но перед его глазами стояла все-таки не дорога, а оперативная карта, по которой он только что отдавал армиям фронта приказ уничтожить прорвавшиеся группировки противника в районы Демидов, Горки, Быхов и упрочить положение по рубежу рек Западная Двина (в районе Полоцкого укрепленного района) и Днепр. Видимо, так преследуют воображение мастеров кисти создаваемые ими картины, с той лишь разницей, что на картине живописца рождается обобщенная реальность, а карта военачальника символами передает боевые и тоже вполне реальные события, которые пребывают в постоянном движении и таят в себе неисчерпаемый океан человеческих страстей на грани жизни и смерти. И если художник каждым новым мазком кисти приближает картину к завершенности, то на карте последующие обозначения уже будут итогом не только творчества полководца, но и боевых усилий войск — успешных или безуспешных. И это последнее, как грядущий приговор суда, постоянно и немилосердно тиранит душу полководца.

Но по мере приближения автомобиля к Смоленску мысль маршала постепенно переключилась на все то,

что могло сейчас происходить там, в каменном хаосе развалин и пожарищ... Под густой сенью деревьев Лопатинского сада вырыты землянки, где разместился областной комитет партии. По просьбе первого секретаря обкома Попова маршал Тимошенко позавчера присутствовал на заседании бюро, где решался вопрос о создании подпольного обкома партии, а в городе — подпольного партийного центра, об организации боевых подпольных групп и развертывании в области партизанского движения. Пришлось маршалу для этого важного дела выделять из скупых запасов легкие радиостанции, электробатареи, личное и автоматическое оружие...

Автоколонна штаба фронта пробиралась по Заднепровью. Справа раскинулась территория железнодорожной станции. Из окна автомобиля маршал Тимошенко видел клубы дыма, языки пламени, вздыбленные над воронками рельсы, остовы сгоревших вагонов, захламленные междупутья, развалины станционных построек... И встревоженный людской муравейник: железнодорожники восстанавливали пути, грузили на платформы станки, ящики с заводским оборудованием и еще с чем-то, отправляли на восток эшелоны.

А с заднепровских холмов скорбно смотрел Смоленск, укоряюще глядели пустыми глазницами окон каменные глыбы его обгоревших, с обрушенными внутрь крышами домов. Тонули в задымленном небе купола Успенского собора. По днепровскому мосту текла в Заднепровье река беженцев...

За городом, куда с трудом пробилась автоколонна, дорога тоже была запружена машинами, повозками, тачками, детскими колясками, велосипедами. Люди, изнывая от жары, задыхаясь в пыли и гари, несли рюкзаки, чемоданы, узлы, шли по обочинам, по полю вдоль шоссе. В этом пестром и печальном потоке — большинство женщин, детей, стариков. Кое-где виднелись группы раненых красноармейцев, с серыми от усталости лицами и потерявшими белизну повязками. Тяжкое это зрелище: сколько порушено человеческих судеб, сколько выпадет на долю этих людей лишений и страданий; и томило сердце маршала чувство собственной вины за все, что видели его глаза...

Людской поток устремился по старой Смоленской дороге, а автоколонна штаба фронта свернула на север, к недалекой автостраде Москва — Минск. Автострада оказалась почти свободной, и минут через сорок быст-

рой езды машины втянулись в лес — не доезжая Ярцева, близ того места, где с автострадой сливалась шоссейная дорога, идущая от Духовщины. В лесу развернулись радиостанции, настраиваясь на связь с Москвой и со штабами армий. На автостраде встал контрольный пост для остановки и ориентирования наших делегатов связи.

То были тревожные и томительные часы. Ожидались распоряжения Ставки Верховного Командования и возвращение с рекогносцировки квартирьеров, посланных в тыл Западного фронта для выбора нового места под штаб. Намеченный прежде запасной командный пункт в районе Ярцева, известный Ставке, находился в зоне, уже слишком близкой к противнику. И Тимошенко не был готов принять решение: где при создавшейся обстановке лучше расположить свой штаб и КП? Если впереди ранее указанного Ставкой и, наверное, строившегося рубежа Фронта резервных армий, то это бессмысленно: боевые действия вплотную придвинулись и к этому рубежу; в таких условиях нельзя обеспечить сколько-нибудь четкого управления войсками. А уйти за линию Резервного фронта, значит, штаб Западного фронта будет иметь перед собой «чужие» армии, что неизбежно приведет к неразберихе. Да и вообще, хотя резервные армии были только на подходе, складывалось, по мнению маршала, не лучшее стратегическое построение войск: в одной фронтовой полосе образовалось два фронта, управляемых двумя штабами, пусть даже они подвластны одному главкому Западным направлением — ему, маршалу Тимошенко.

Ни указаний Ставки, ни возвращения квартирьеров дождаться в лесу под Ярцевом не удалось. События неожиданно приняли опасный оборот. Только потом узнал маршал, как они начинались.

...С Духовщинского шоссе выскочили на автостраду Москва — Минск два санитарных автобуса с ранеными красноармейцами. В боковой стенке передней машины, почти в том месте, где на белом круге был нарисован красный крест, зияла овальная дыра с рваными закраинами.

На контрольном посту автобусы были остановлены. Из кабины переднего выскочила маленькая рыжеволосая девушка со знаками санинструктора на зеленых петлицах гимнастерки. Ее бледное лицо, трясущиеся губы, помертвевшие серые глаза выражали крайний испуг.

— Сзади нас немецкие танки! — осипшим голосом сообщила она. — Вон попали снарядом-болванкой... Одного раненого надвое перерубило... Кровищи полный автобус. — И девушка навзрыд заплакала.

Тем временем в глубине леса маршал Тимошенко беседовал с начальником войск связи фронта генерал-майором Псурцевым. Они стояли под зеленой ольхой в бликах солнечных лучей, дробившихся в ветвях деревьев. Среднего роста, смуглолицый Николай Демьянович Псурцев немногословно докладывал, что узел связи фронта в Гнездове демонтирован, последние машины с оборудованием уходили оттуда уже под артиллерийским обстрелом врага. В сдержанности голоса Псурцева, в тоскливом выражении глаз угадывались казнившие его душу мысли: обстановка на фронте хуже быть не может... Многое зависит от связистов, а их — кот наплакал. Части связи 3, 4 и 13-й армий понесли потери от 50 до 100 процентов. Прибывшее управление 16-й армии потеряло свой батальон связи при изменении маршрута следования. Части Народного комиссариата связи не отмобилизованы.

2 июля Псурцев дал начальнику штаба фронта генералу Маландину подписать телеграмму в Генеральный штаб, в которой объяснялась необходимость срочно подать из центра четыре линейных батальона связи, восемь линейных батальонов армейских управлений и соответственно плану развертывания — необходимое количество кабельно-шестовых, телеграфно-эксплуатационных и телеграфно-строительных рот. Москва пока не отвечает...

Но сейчас главная боль сердца — сегодняшний день. К прибытию штаба фронта на новое место узел связи должен быть готов к действию... Но куда, в какой пункт посылать машины?..

Они понимали друг друга с полуслова. Ведь и в финскую войну Псурцев был начальником войск связи фронта, которым командовал Тимошенко. А сюда, на Западный фронт, прибыл из Генерального штаба тоже по его приказу сразу же после того, как Военный совет сместил бывшего начальника связи генерала Григорьева с поста и вместе с прежним руководством Западного фронта отдал под суд военного трибунала.

— Надо держаться, — невесело сказал Псурцеву маршал и с нервной нетерпеливостью взглянул на часы. — А насчет узла связи... Видимо, придется потес-

нить в Касне штаб Фронта резервных армий. Там узел задействован... Другого выхода пока не вижу.

И только сказал маршал последние слова, как со стороны автострады послышался чей-то напряженно-высокий и взвинченный голос, от которого у всех дрогнуло сердце:

— Общая команда!.. В ружье-о!.. Приближаются танки противника!.. По машинам!.. Заводи моторы!..

Тут же на просвечивающейся опушке, обращенной в сторону Духовщинского шоссе, в кронах деревьев с ужасающим грохотом начали рваться снаряды.

Когда Тимошенко и Псурцев выбежали на опушку, то увидели, что за дорогой, над недалеким бугром, клубится пыль, поднятая гусеницами и орудийными выстрелами. В живом сером мареве виднелись движущиеся темные сгустки. Сомнений не было: немецкие танки — наверное, разведка одной из тех двух дивизий, — которые прорвались со стороны Демидова.

По танкам из подступающего к автостраде угла леса ударила батарея сорокапяток, охранявшая штаб...

— Товарищ маршал, машина подана! — взволнованной скороговоркой доложил подбежавший начальник охранной группы. И наверное, для убедительности добавил: — Товарищ маршал, ранен осколком генерал Белокосков!

— Тяжело ранен? — встревоженно спросил Семен Константинович.

— Тяжело. — Начальник охраны кивнул головой в глубину леса: — Там ему оказывают помощь.

Взглянув еще раз в сторону танков, маршал сумрачно бросил:

— Штабу фронта, конечно, здесь делать нечего. — Затем повернулся к торопливо подошедшему генерал-лейтенанту Маландину, требовательно посмотрел в его серое от недосыпания лицо, распорядился: — Сориентируйте по радио Лукина, где находятся эти танки. Надо прикрыть автостраду. Пусть выдвигается сюда и сто десятая мотострелковая.. А из Резервного фронта... Какая танковая поближе?

— Шестьдесят девятая, — ответил Маландин.

— Наметьте рубеж развертывания шестьдесят девятой танковой... По речке Вопь занять оборону сорок четвертому стрелковому корпусу генерала Юшкевича. Задача — прикрывать Ярцево. Все подходящие по автостраде части — тоже на Вопь...

10

В живой, полной сил армейской среде встречаются столь одаренные военачальники, коим в определенное время становится тесно и скучно в штабах и за оперативными картами, в академических аудиториях и даже на полях крупных войсковых учений. Их опыт и их знания как бы рвутся на волю, стремясь обрести голос и практическое действо. Это потому, что, когда дремлют громы войны, когда царит мир, армия живет жизнью, уложенной в строгие границы предписаний. И как бы ни были широки эти границы, как бы ни наполненно пульсировали артерии, соединяющие Генеральный штаб через нижестоящие штабы с войсковыми организмами, творческая мысль, которая постоянно обогащает существующую науку о войне, на каком-то этапе неизменно теряет упругость и активность, жрецы этой мысли, где бы они ее ни извлекали — на академической ли кафедре, находясь ли во главе войскового соединения или оперативного объединения, — устают оценивать умозрительно созданное ими и выверять его в условных обстоятельствах. Точнее — у военачальников мирной поры мало возможностей испытывать синтезирующие способности своего полководческого интеллекта, ибо, как известно, без анализа нет синтеза. А мышление людей, в том числе и военных, состоит из разложения специфических объектов сознания на их элементы и слияния родственных между собой элементов в единое целое.

Короче говоря, истинные способности любого военачальника в полной мере проявляются только на кровавой арене войны. Более того: война, сия страшная, хотя в значительной мере управляемая, стихия, несущая народам тяжкие бедствия, является повивальной бабкой многих полководцев; именно война раздувает искры их таланта в бешеное пламя. Она же становится и беспощадным гробовщиком тех, кто ошибся в своем призвании.

Для человечества не было б никакой трагедии, если б ни одному народу никогда не понадобилось пробуждать военные таланты. Пусть бы они оказались неродившимися сыновьями мифологического бога войны Марса и не увидевшими на себе сверкающего венца ратной славы.

Но коль призывно загудел над мирной землей черный набат войны, все сущее и дремлющее, все подспуд-

ное, в чем есть хоть проблески силы, должно проснуться и укрепить народную рать, встающую под знамена борьбы. Так и случилось на советской земле после внезапного вторжения в ее пределы войск фашистской Германии. И первые же недели и месяцы войны высветлили на командных высотах сражающейся Красной Армии десятки одаренных творцов и носителей передовой военной мысли, витавшей до этого в ледяной области отвлечений. Война изобличила и неспособных... Вихрь баталий втянул тех и других в свои огненные эпицентры, полностью развязав для действия руки и раскрепостив мысль.

Разумеется, тем, кто утвердился, пришлось бессменно стоять на смертном пороге, испытывая великое бремя долга, невыносимое напряжение и горечь утрат. Никого из полководцев, когда разлилось море страданий, не прельщала ни слава, ни власть; тяжелейшая ноша ответственности за жизнь и судьбу родного народа подавляла все земные чувства. Сила духа, глубина мысли, твердость воли — все, что составляет величие человека, без остатка было подчинено одному: остановить врага. И никаких полумер, полурешений; они в военном деле, как и в политике, всегда ведут к пагубным последствиям!..

С каждым июльским днем штаб Западного фронта все прочнее овладевал сложившейся обстановкой, все четче ставил сражающимся армиям задачи, хотя ему пока не удавалось сколачивать из прибывающих резервов сильные группировки, способные достигнуть решительного перевеса на направлениях ответных ударов. Сказывалась раздробленность вступавших в бой войск, сказывались слабые артиллерийское обеспечение и авиационная поддержка. И тем не менее главнокомандующий Западным направлением маршал Тимошенко чутко определял колебания чаш весов противоборства. 13 июля в приказе войскам фронта, основываясь на первичных сведениях, он писал, что «в результате двадцатидневных упорных и жестоких боев с превосходящими силами врага соединения Красной Армии уже разгромили большую часть лучших фашистских бронетанковых и моторизованных дивизий». Группа немецких армий «Центр» действительно уже потеряла значительную часть своих ударных сил и лишилась возможности наступать на Москву своими пехотными эшелонами, тогда как войска Красной Армии вышли из шокового

состояния и начали вести упорные оборонительные бои.

В том же приказе маршала Тимошенко отмечалось: «Где танковые и моторизованные дивизии немцев наталкиваются на организованный и решительный отпор наших войск, они бросают эти направления и переключаются на другие, отыскивая слабые места в обороне». Исходя из этого, маршал решительно требовал: «Во всех частях и соединениях армий развить наибольшую активность перед передним краем обороны, для чего вести непрерывную разведку и высылкой небольших отрядов и групп, дневными и ночными налетами не давать покоя противнику, уничтожая его группы танков, мотоциклистов и тылы, тем самым связывать его маневренность перед фронтом наших войск».

На Смоленской возвышенности развернулось уже не только противоборство сил при явном превосходстве врага на суше и в воздухе, но и началась яростная схватка умов, началось сражение двух военных доктрин. Нравственное потрясение советских воинов, как следствие глубокого вторжения врага в просторы России, Белоруссии, Украины и Молдавии, постепенно ослаблялось. И все явственнее усиливалось нравственное потрясение гитлеровского генералитета, видевшего, как неотвратимо рушатся его расчеты на молниеносную, триумфальную победу над Красной Армией.

Самые короткие и желанные для немецко-фашистских войск дороги к Смоленску перекрыла 20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина Павла Алексеевича. Этот сорокалетний генерал и оказался одним из тех командиров, которые в опасные для Родины времена, кажется, превосходят самих себя, искусно управляя войсками и рождая новые принципы сражений. Наиболее яркой стороной одаренности генерала Курочкина явилось его четко осмысленное, а порой, возможно, интуитивное умение постигать, что конкретно надо сделать в каждый острокритический момент при постоянной нехватке сил, при открытых флангах и при слабой связи.

Интуиция... Это не мистическое понятие, не озарение, ниспосланное свыше, а слившиеся воедино мышление, чувство и ощущение. Интуиция в боевой деятельности полководца занимает особое место. Можно хорошо усвоить всю множественность и сложность знаний, составляющих военную науку, но не всем дано ощущать их в гармонии. А кому дано, у того мысль всегда жаж-

дет обобщений и часто опирается в своем постижении на интуицию. Дано чувствовать полную гармонию знаний только тем, кто в многолетнем радении копил их последовательно, ощущая радость познания, и кому совершенно чужд дилетантизм.

К таким военачальникам относился не один генерал Курочкин. В те июльские дни только на Западном фронте разгорался военный талант Рокоссовского, Конева, Черняховского, Лукина, Маландина, Соколовского, Захарова, Масленникова, Руссиянова, Галицкого, Крейзера, Лизюкова, С. П. Иванова, Плиева... Много их на великой Руси! Разгорался талант не на пустом месте. Тот же Павел Алексеевич Курочкин после окончания двух академий и адъюнктуры немало потрудился на академической кафедре тактики, а затем в высоких войсковых штабах. А в финскую войну именно его стрелковый корпус вышел по льду Финского залива в тыл выборгской группировке противника и в значительной мере обеспечил успех операции.

Судьбе было угодно, чтобы сейчас генерал Курочкин воевал на родной Смоленщине. Деревня Горнево, где он родился и вырос, недалеко от Вязьмы. Там такая же овражистая земля и такие же леса, как этот, раскинувшийся по берегу речушки Жереспея. Отсюда штаб 20-й армии и руководил боями своих частей.

20-я армия — это пять стрелковых и три танковые дивизии. Но одно название, что дивизии: в трех танковых осталось всего лишь шесть десятков машин, да и те старых образцов. А воевать надо, держаться за землю хоть зубами... Пусть неравенство сил, пусть открыты фланги, но надо было поначалу хоть частично оправдать тяжкий труд смолян, построивших оборонительные рубежи в бассейнах Днепра и Западной Двины. Этот подвиг творили студенты смоленских вузов, школьники, старики и женщины, жители районов области, призванные областным комитетом партии. Главное их оружие — ненависть к врагу, придававшая силу держать в руках лопату, кирку, лом, топор, пилу. Рыли траншеи, противотанковые рвы, делали лесные завалы... На огромном пространстве созидательно копошился почти трехсоттысячный людской муравейник, несмотря на артиллерийские налеты, на бомбежки, на обстрелы с воздуха. Это было торжество непокорности народного духа.

Но долго держаться в обороне с открытыми флангами ни 20-я армия, ни ее соседи не смогли. И генерал

Курочкин начал активную маневренную оборонительную борьбу, частично восполняя по приказу фронта тающие силы за счет некоторых дивизий 16-й армии генерала Лукина, разрозненно прибывавших к Смоленску, и вливая в свои ряды подразделения, которые выходили из окружения. Командарм все чаще начал ставить противника в зависимость от своей воли. Пусть на время, но верх все-таки брали его искусство и доблесть войск. Их усилия, возбуждаемые приказами командарма, направлялись на то, чтобы оборона занималась частью сил на второстепенных рубежах, перед которыми устраивались различные заграждения. Немцы, наткнувшись на огонь, на лесные завалы или мины, вынуждены были развертываться в боевой порядок, вводить в действие танки и авиацию, а тем временем обороняющиеся выходили из-под удара и занимали главный рубеж с хорошо подготовленной системой огня, где намечалось дать врагу настоящие оборонительные бои с отражением атак и обязательным переходом в контратаки. Много было таких главных рубежей...

В полосе действий 20-й армии наступление немецко-фашистских войск заметно затормозилось, и германское командование решило обойти ее, устремив 3-ю танковую группу генерал-полковника Гота на Демидов, Духовщину, Ярцево, чтобы, смяв подходившие войска 19-й армии генерала Конева, обогнуть Смоленск с севера, а левое крыло 2-й танковой группы генерал-полковника Гудериана бросить на Красное, Горки, Починок, чтобы замкнуть кольцо с юга. Июль клонился на вторую половину, когда клешня немецких моторизованных войск, охватив Смоленск с севера, дотянулась до Ярцева, что в трети пути между Смоленском и Вязьмой. Там спешно создавался еще один оборонительный рубеж советских войск по Вопи — притоку Днепра; на его восточном берегу и раскинулось Ярцево, которому судьба уготовила быть до самой осени ареной и свидетелем кровавого противоборства двух армий.

Труднее давалось пространство частям 47-го механизированного корпуса из танковой группы Гудериана. Пятившиеся к Смоленску войска использовали каждый рубеж, чтобы оказать немцам жестокое сопротивление, выиграть время и нанести врагу как можно больший урон. Тяжелые бои велись за дороги, речки, речушки, за господствующие высоты и населенные пункты, распадаясь на самостоятельные баталии — крупные и малые.

Алексей Алексеевич Рукатов не уставал возвращаться мыслями к тому недавнему дню, когда его вызвали в палатку начальника штаба дивизии подполковника Дуйсенбиева и находившийся там полковой комиссар Жилов, не тая во взгляде презрения, спросил: «Как вы могли написать о Федоре Ксенофонтовиче такую подлую ложь?» Этот вопрос напугал Рукатова до такой степени, что последовавшее за ним возмездие — прочитанный Дуйсенбиевым приказ маршала Тимошенко о разжаловании его из подполковника в майора — не показалось тяжелым. Алексей Алексеевич, расписавшись на приказе, утверждая этим, что ознакомлен с ним, трясущейся рукой сорвал со своих петлиц на гимнастерке по одной шпале — прямоугольнику, покрытому красной эмалью, и молча вышел из палатки.

Только ночью, когда группа генерала Чумакова начала теснить немцев в сторону Борисова, а он, Рукатов, начальник артиллерии дивизии, направлял по телефону и через связных взаимодействие дивизионов с пехотой и танками, до него внезапно дошел весь смысл происшедшего. Уязвленное самолюбие начало будто вспухать, шириться, разгоряченная голова заполыхала от негодующих и мстительных мыслей. Ведь еще вчера воображал себя в чине полковника, фантазия не раз возносила его на такие начальственные вершины, что сердце плавилось от сладкой гордости, а тут вдруг... Нет, он не мог слышать, чтобы к нему обращались: «Товарищ майор!» И тайком сорвал с петлиц оставшиеся шпалы, зная, что на петличном сукне, выцветшем до серости, останутся черные прямоугольники — следы трех шпал. Пусть зовут как кому хочется...

Во всех своих бедах Алексей Алексеевич винил генерала Чумакова, и теперь, помимо страха перед ним, прибавилась еще и такая ненависть, что невозможно было заглянуть себе в душу. Да и остальное начальство стало враждебно Рукатову. Тот же полковой комиссар Жилов со своим обжигающим взглядом повергал Алексея Алексеевича в ужас. Был страшен и полковник Карпухин, всегда способный уличить в каком-либо должностном упущении. А своего тестя, командира дивизии полковника Гулыгу, Рукатов стал презирать сам.

Гулыга, узнав о понижении в звании Алексея Алексеевича, успокоительно шепнул ему на ухо: «Сносить бы в этой войне голову, а при каком звании — все равно».

И посоветовал не торчать без надобности на командно-наблюдательных пунктах дивизионов, а когда идет вперед, не забывать, как будет возвращаться обратно. За этими словами тестя Алексей Алексеевич почувствовал его растерянность перед происходящим, после того как их контрудар в сторону Борисова до конца не удался и войсковой группе Чумакова, понесшей тяжелые потери, пришлось вновь пробиваться на восток.

Особенно трудно стало Рукатову, когда штаб полковника Гулыги слился с остатками штаба бывшей ташутинской армии, которую принял генерал Чумаков. Полковник Гулыга теперь командовал сводным мотострелковым полком — все, что осталось от дивизии, а он, майор Рукатов, как начальник артиллерии всей войсковой группы должен постоянно находиться при генерале Чумакове. Вроде бы и повышение по службе, но радости никакой. Более того, в каждом приказе генерала Рукатову мнилось желание унизить его, поставить под удар и подчеркнуть недостаточную профессиональную подготовку. Даже тогда, когда он, Рукатов, по подсказке минометчиков предложил Федору Ксенофонтовичу усилить кузова нескольких грузовиков специальными рамами, чтоб на них закреплять опорные плиты 82-миллиметровых минометов и прямо из грузовиков вести по врагу огонь, ему не послышалось одобрения в голосе генерала Чумакова. Поправив у левого уха бинты, Федор Ксенофонтович с холодным спокойствием сказал Рукатову:

— Проверьте практически. Если стрельба по целям будет точной, создавайте из таких машин подвижной огневой резерв.

Резерв Рукатов создал, но его взял в свое распоряжение генерал Чумаков...

До Смоленска оставалось всего лишь несколько десятков километров. Войсковая группа Федора Ксенофонтовича прикрывала левый фланг 20-й армии, не имея с ней локтевой связи. Бои велись днем и ночью. Сформированные из остатков полков батальоны, усиленные артиллерией и танками сопровождения, заставляли немцев развертываться в боевые порядки на каждом возможном рубеже. На наиболее выгодных батальоны закапывались поглубже и держались до последних сил, изнемогая и истекая кровью.

Уцелеть казалось немыслимым. Опасность подстерегала на каждом шагу, погибших хоронили наспех — в

воронках, окопах, траншеях. А когда терпели поражение и с трудом отрывались от противника, то и вовсе не хоронили...

Алексей Алексеевич Рукатов, не веривший раньше в бога, теперь то и дело горячо и исступленно умолял всевышнего уберечь его от гибели, искренне каялся в своих прежних прегрешениях, клятвенно обещал никогда не повторять их. Он согласен был на ранение, пусть даже тяжелое. Алексею Алексеевичу не жалко было лишиться руки, лучше левой, или ноги, но только бы выскользнуть из этого ада...

А вчера майору Рукатову пришлось пережить такое, что не увидишь и в кошмарном сне...

11

Если посмотреть на топографическую карту, то даже не искушенному в военном деле человеку ясно, что от местечка Красный до Смоленска — один дневной переход и при столь очевидной слабости на этом направлении наших сил нет возможности задержать бронированные колонны немцев надолго. Но маршал Тимошенко требовал от генералов Курочкина и Лукина ни на день не снижать активности своих войск, чередуя маневренную оборону с нанесением контрударов.

14 июля генерал Чумаков через офицера связи 20-й армии был ориентирован в обстановке, но конкретной задачи для своей группы войск не получил, ибо связь со штабом фронта нарушилась.

Левый фланг армии генерала Курочкина по-прежнему сдерживал немецкие механизированные части, рвавшиеся к Смоленску по довольно густой сети дорог, что между Дубровно и Горками. Севернее, северо-западнее и юго-западнее Смоленска эту задачу, находясь пока во втором эшелоне, решали шесть подвижных отрядов, сформированных из двух дивизий 16-й армии генерала Лукина. Генерал Чумаков принял решение использовать рубеж речушки Лосвинка, петлявшей с юга к Днепру, и приказал подразделениям своих частей окопаться на склонах оврагов и по опушкам леса над Лосвинкой, заминировать танкоопасные направления, поставить на прямую наводку пушки, в том числе и гаубицы, закопать в землю отдельные танки, побольше сделать лесных завалов и попытаться закрыть образовавшуюся брешь после прорыва противника 13 июля

на участке Копысь, Шклов. По примеру маневренных действий 20-й армии, в трех километрах перед основным рубежом частей генерала Чумакова были наспех оборудованы по обе стороны магистральной дороги ротные опорные пункты и позиции для отдельных орудий, чтобы огневым ударом вынудить противника развернуть там свои войска для атаки, а затем отойти на главный рубеж, где были приготовлены к бою все наличные силы и средства.

Самая трудная задача, как полагал майор Рукатов, досталась ему. Генерал Чумаков приказал Алексею Алексеевичу устроить артиллерийскую засаду впереди Лосвинки, взяв под контроль дорогу, по которой, по всей вероятности, устремится к Смоленску обнаруженная нашими разведчиками танковая колонна левого крыла 47-го механизированного корпуса немцев. Дорогу надо было держать до тех пор, пока с командного пункта тремя зелеными ракетами не будет дан сигнал для отхода — с учетом боевой обстановки в центре оборонительного рубежа. Федор Ксенофонтович дважды напомнил ему о ракетах, и Рукатову виделся в этих напоминаниях злой умысел: ракет можно и не заметить, можно и забыть пульнуть ими в небо, а отойдешь без приказа — потом не оправдаешься. Тут и слепому ясно, что генерал Чумаков хочет подвести его, Рукатова, под трибунал.

Ожесточившись до крайности, Алексей Алексеевич решил держать ухо востро.

Генерал Чумаков на восходе солнца отдавал боевой приказ у тригонометрической отметки 238, торчащей на самой макушке высоты, склоны которой были исполосованы оврагами и промоинами, заросшими бузиной и боярышником. С небольшой плеши бросовой земли, где одиноко маячила эта почерневшая от времени деревянная вышка, открывалась широкая, но не радующая глаз панорама. Смоленская возвышенность курилась в пожарищах. Косой и рваный столб бурого дыма поднимался над местечком Красным, уже занятым врагом. Оттуда отчетливо доносилась перебранка пулеметов и пушечная стрельба: это наши подвижные отряды, оседлав ведущие из Красного дороги, старались не выпустить оттуда немцев. Далеко справа, в низине, за темным и холмистым лесом, прятавшим Днепр и станцию Гусино, тоже валил в небо дым. Его черные клубы время от времени пронизывались острыми языками пла-

мени: было ясно, что там горела то ли нефтебаза, то ли полыхали бензоналивные цистерны.

Но всех, кто был на высоте, особенно настораживали отзвуки далекого боя, временами докатывавшегося со стороны Монастырщины, Хиславичей и Починка. Федор Ксенофонтович, ставя задачу собравшимся командирам и слыша приглушенную расстоянием пальбу, кажется, не решался посмотреть им в глаза, зная, что всех томит один и тот же вопрос: если немцы огибают Смоленск с юга, а приказа об отходе нет, значит, войсковую группу Чумакова опять ждет окружение?..

Рукатову же казалось, что Федор Ксенофонтович только из-за него одного не отдает такого приказа. Эта мысль злым червем сверлила ему мозг даже тогда, когда он и майор Быханов, заменивший погибшего в окружении под Оршей командира артиллерийской бригады полковника Москалева, поехали выбирать место засады. От бригады осталось всего лишь два дивизиона, и одним из них командовал сам Быханов — кадровый командир, умевший, как твердила молва, первым снарядом, без пристрелки попадать в закрытую цель, если на топографической карте точно обозначены место цели и место огневой позиции орудия, из которого майор должен стрелять. Быханов был крупнолицым, крупноруким и плечистым. На его добродушном губастом лице часто светилась улыбка, но не без хитрецы в глазах. Эта хитреца как бы подчеркивала превосходство майора в артиллерийских делах перед всеми остальными.

Они ехали на полуторке по ведущему на юго-запад грейдеру навстречу людскому потоку: это уходили от врага смоляне, бывшие на окопных работах, и отступали на новый рубеж обороны поредевшие батальоны... Справа грейдера тянулся лес — тучный, заматерелый, а слева, в низине, за поросшим кугой болотом, блестело спокойной водой узкое и длинное озеро, теснившее грейдер к лесу. За озером горбатилась возвышенность, покрытая молодым ельником.

Ельник за озером — это и было намеченное по карте место артиллерийской засады. Майор Быханов, к своему удовольствию, быстро определил, что с грейдера танкам нигде нельзя перебраться на возвышенность: мешало не только озеро, но и протекавшая через него чахлая речушка, заболотившая берега до полной их непроходимости. Зато была возможность доставить

туда пушки, если километров пять проехать назад, к Смоленску, а затем за хутором Буяково свернуть на полевую дорогу, которая по оврагам вихляет прямо к возвышенности, что над озером.

Во второй половине дня уже все было готово к встрече врага. Несколько артиллерийских батарей окопались и замаскировались на склоне в ельнике для стрельбы прямой наводкой через озеро по грейдеру. Взвод саперов за поворотом дороги приладил особым образом к двум десяткам вековых сосен толовые шашки, чтобы при появлении немецких танков взорвать их и свалить точно на дорогу.

Свой наблюдательный пункт артиллеристы отнесли метров на триста вверх по склону, откуда из окопчиков хорошо просматривалась в оба конца дорога. Здесь пришлось немного расчистить ельник, убрав деревца, мешавшие обзору и подъезду с тыла. Рукатов привел сюда и свою штабную полуторку, чтоб в любую минуту можно было умчаться на командный пункт генерала Чумакова, разместившийся близ хутора Буяково, а точнее — чтоб в случае опасности исчезнуть отсюда.

На войне редко бывает, когда события развертываются так, как тебе желается, тем более при столь большом неравенстве сил и уверенных действиях немцев и при смятенности духа обороняющихся, вокруг которых со всей очевидностью захлопывался капкан. Но все-таки немцам были продиктованы условия, выработанные генералом Чумаковым. Минированием дорог, лесными завалами, артиллерийско-минометными огневыми нападениями чумаковские части заставили колонну мотомеханизированных войск врага вползти в теснину между густым лесом и озером, за которым, метрах в четырехстах от дороги, приготовились к бою артиллеристы. По сигналу майора Быханова, когда огромная вереница немецких танков, дымя и грохоча, вытянулась вдоль озера, следуя за оравой своих мотоциклистов, саперы взрывной машинкой дали искру заряженным толовым шашкам, и гулкий взрыв в конце озера за поворотом большака бросил на его проезжую часть могучие сосны, отгородив завалом мотоциклистов от танков.

Рукатов, вдоволь насмотревшись из окопчика на мотоциклистов и на головные танки, в десять раз приближенные стереотрубой, уступил место у треноги майору

Быханову, а сам, перебравшись в соседний окоп, продолжал наблюдать за развитием событий в бинокль.

Бой начался сразу же, как рухнули на дорогу подорванные деревья. Это был первый бой, так близко виденный Рукатовым, и напряжению Алексея Алексеевича не было предела. Когда загорелись от прямых попаданий снарядов два передних танка, а затем закружила на одной гусенице подбитая машина далеко слева, где-то почти в хвосте колонны, фантазия Рукатова взметнулась к самым облакам. Он уже мысленно докладывал генералу Чумакову о чудовищных потерях, нанесенных немцами артиллерийской группой под его, Рукатова, командованием, писал обстоятельное донесение в штаб артиллерии фронта и видел себя в чести и славе. Первые минуты бой действительно складывался для немцев трагически. Полтора десятка наших орудий, расположенных побатарейно на склоне возвышенности, прямой наводкой в упор расстреливали вражеские танки. Почти вдоль всего озера вспыхнули чадящие костры. Некоторые танки, перевалив кювет, безуспешно пытались укрыться в глубине леса, а отдельные, развернув башни в сторону батарей, начали отстреливаться.

К сожалению, танков было очень много — свыше полусотни, и, попав в западню, те из них, что еще не были расстреляны, начали бить из своих пушек и из пулеметов через озеро по совсем близким орудиям, перед которыми предательски плавала взвихренная выстрелами пыль, смешанная с сизым пороховым дымом. И хотя внезапное огневое нападение поначалу дало большие преимущества артиллеристам майора Быханова, но минут через пять сказалось численное превосходство немецких танков. Правда, Рукатов уже успел насчитать девятнадцать подбитых и подожженных крестастых машин, мысленно прибавил к ним десятку — для внушительности предстоящего доклада. Но в это время чуть выше наблюдательного пункта с таким страшным грохотом разорвался снаряд, что Алексей Алексеевич и не успел опомниться, как втиснулся в окопчик с головой, прижавшись ко дну. Затем взрывы, сотрясая вокруг склон, стали следовать один за другим. Жестко и нервно зататакали из танков пулеметы, хлестко защелкали над окопом пули, сшибая елочные ветки Рукатову на голову.

Частые пушечные выстрелы, оглушающе-резкие

взрывы снарядов, забористо-злой клекот десятков немецких пулеметов сливались в сплошной рев, и обезумевшему от страха Алексею Алексеевичу, ощущавшему телом, как вздрагивали стенки и дно окопа, казалось, что наступил конец его жизни. Он слышал, как в соседнем окопе майор Быханов надрывно кричал в телефонную трубку, приказывая кому-то бить по хвосту колонны вдоль дороги, где танки стоят сплошной стеной и промашки не будет, кому-то грозился за медлительность, кого-то грубо бранил.

Теснина между озером и лесом начала заволакиваться дымом горящих танков, пороховыми газами и пылью. Необъяснимо, по каким законам природы вся эта взметнувшаяся в воздух муть плыла с обеих сторон к воде и вставала над озером непроглядной пеленой. Артиллеристам майора Быханова все труднее было вести прицельный огонь, и пальба стала заметно редеть. Ослепленные немецкие танкисты тоже перестали стрелять из пушек, продолжая, однако, наугад пускать длинные пулеметные очереди. Но вскоре ослаб и пулеметный огонь.

Артиллерийская засада свою задачу выполнила, и майор Быханов приготовился было отдавать приказ дивизиону сниматься с огневых позиций и толкать пушки к стоявшим на дороге в ельнике грузовикам. Но тут случилось непредвиденное: сказали свое слово прорвавшиеся вперед немецкие мотоциклисты, о которых в пылу боя забыли.

Мотоциклисты, после того как сзади них рухнули на дорогу могучие сосны, вначале нырнули в лес, чтоб, обойдя завал, вновь оказаться вместе с танками. Но когда из-за озера ударили пушки и один за другим танки начали вспыхивать, мотоциклисты поспешно вернулись на дорогу, проехали по ней дальше, обогнули озеро и, бросив на берегу мотоциклы, вброд перешли речушку, имея при себе автоматы и ручные пулеметы. Правда, пока они успели зайти в тыл артиллерийской засаде майора Быханова, бой уже затихал...

Майор Рукатов, не веря еще, что уцелел в этой оглушающе ревевшей огненной кутерьме, и видя, что майор Быханов выбрался из своего окопа и отдает какие-то распоряжения сержанту-связисту, надевающему за спину катушку с телефонным проводом, кинулся вверх по косогору к своей стоявшей в глубине ельника полуторке, чтоб немедленно уехать подальше от этого

ужасного места. Где-то глубоко в нем обжигающе тлела мысль о зеленых ракетах, которые должны были взлететь над лесом по ту сторону дороги как сигнал для отхода. Но за дымной пеленой не было видно ни леса, ни неба, и у Алексея Алексеевича сквозь неостывший страх толчками пробуждались мстительные мысли, обращенные к генералу Чумакову: легко тебе, мол, отдавать приказы, отсиживаясь в тылу, а понюхай сам пороху, побудь под прицелом врага...

Вскарабкавшись по склону к стоявшей на взлобке машине, Рукатов обмер от неожиданно страшного зрелища. Он увидел, что его шофер — молоденький боец-первогодок, навзничь лежал на сиденье кабины, свесив вниз к подножке окровавленную голову и поджав к уже выбеленному смертью лицу руки, словно пытаясь закрыться ими. Вся машина была иссечена пулями и осколками, скаты колес обмякли, переднее стекло — в дырах и трещинах.

Содрогаясь от ужаса и ощущая приступ тошноты при виде все еще стекавшей по лицу шофера крови, Рукатов не успел постигнуть мыслью случившееся, как вдруг из глубины ельника, в нескольких десятках метров от него, с гулкой въедливостью застрочили немецкие автоматы и ручные пулеметы. Десятки светлячков-пуль замелькали перед самым лицом Алексея Алексеевича, и он камнем рухнул на горячую от солнца и пахнущую хвоей землю. Заскулив от напряжения и страха, он пополз вниз по склону, да так проворно, как еще никогда не ползал. А сзади, совсем близко, раздались резкие гортанные вскрики-команды, продолжали неистово строчить очереди, хищно и громко щелкали над головой разрывные пули.

Продолжая в паническом беспамятстве ползти вниз, Алексей Алексеевич наткнулся лицом на колючие ветви приземистой елки, широким окружьем раскинувшиеся по самой земле. Даже не успел опомниться, как юрко забрался под них. Мелькнула нелепая мысль: когда он с Зиной ходил в лес по грибы, всегда зыркал таким елкам под подол, надеясь найти боровик, а сейчас сам нырнул всем телом под зеленую юбку ели.

Мысль тут же угасла, уступив место новому приливу ужаса: у него над самой головой вдруг оглушающе застучал немецкий автомат и на его плечи, на шею брызнули сквозь ветви горячие стреляные гильзы, от ко-

торых приторно запахло сгоревшим порохом. Рукатов, кажется, перестал дышать, перестал ощущать себя. Автоматная очередь казалась нескончаемой, нестерпимо жгла упавшая за воротник гимнастерки гильза и устрашающе воняли гуталином и пылью сапоги немца, примявшие лапчатые ветки у самого лица Алексея Алексеевича.

А со стороны огневых позиций батарей доносились какие-то возгласы, истеричные крики, истошные вопли. И вдруг весь этот гвалт перекрыла взвинченная и в то же время властная команда:

— Противник с тыла-а!.. Развернуть орудия!.. Картечью, заряжа-ай! Огонь по наблюдательному пункту-у!

Рукатов узнал голос майора Быханова и удивился, что командир дивизиона еще живой, и тут же вновь ужаснулся: сейчас развернут в эту сторону пушки и ударят картечью!.. Ударят прямо по нему, Рукатову, начальнику артиллерии!

А немецкий автоматчик, не зная, что ему сейчас грозит гибель, все стоял у Алексея Алексеевича над головой и, заменив опустевший магазин, вновь посылал в сторону батарей очередь за очередью.

Чудовищный страх сжал ледяными тисками тело Рукатова. Затылок его будто налился холодным свинцом. Где-то глубоко вдруг завопила мысль-мольба. Рукатов торопливо и горячо стал кого-то умолять, чтобы на этот раз пощадил его, каялся в своих грехах, горячо заверял, что повинится во всем перед Чумаковым, перед его женой и их дочерью Ириной... Только бы остаться живым!.. Живым!.. Живым!..

С ужасающей силой обрушился на склон ельника залп сразу двух ближайших к наблюдательному пункту батарей, командиры которых услышали команду Быханова. Под картечным шквалом вздрогнул и протяжно загудел косогор, густо посыпались на землю ссеченные ветки, тревожно закачались вокруг молодые деревья, будто под дуновением порывистого ветра. Рядом с Рукатовым рухнул на траву сраженный насмерть немецкий автоматчик, и на немца тут же упала сшибленная свинцом верхушка ели, той самой, которая прятала под своим зеленым подолом Алексея Алексеевича Рукатова.

Достаточно было еще одного залпа картечью, и тылы артиллерийской засады оказались очищенными от врага.

12

Небо к вечеру нахмурилось, солнце садилось за багровую тучу. Не сегодня-завтра можно было ждать дождя. Жара всем уже была невмоготу. Пыль, поднятая войной, не успевала за ночь осесть, хотя ночи были росными. Война словно нарушила законы природы.

Но дождь, если он будет, — тоже не в радость. Полковник Гулыга, сидя на шуршащем под ним душистом сене и подсвечивая себе трофейным электрическим фонариком, пытливо всматривался в топографическую карту, изучая по ней дороги, ведущие к Смоленску. Не видел ни одной шоссейной в полосе его сводного полка! Большаки к Сырокоренью и Хохлову — вот и весь простор для марша и маневра. Так что если придется отходить, то по полевым дорожкам да по целине — через поля, леса и овраги, — как былинным рыцарям. А отходить придется — не зря генерал Чумаков под вечер объезжал командные пункты своих частей и был мрачен, как никогда. На прощание сказал полковнику Гулыге:

— Если собьют немцы нас с рубежа и расчленят, действуйте самостоятельно. Сзади нас до самого Смоленска никого, кроме слабенького подвижного отряда из Шестнадцатой армии, нет... В случае захвата врагом Смоленска будем пробиваться из окружения...

В широко распахнутую двустворчатую дверь старого овина, наполовину забитого сухим свежим сеном, вползала желанная вечерняя прохлада. Овин стоял на краю хутора Буяково, и Гулыга занял его со своими штабистами. Метрах в ста от овина, на высотке, были вырыты окопы командно-наблюдательного пункта. Высотка хорошо была видна в проем двери на фоне багровой с темными подпалинами тучи, за которую зашло солнце. Там, на высотке, дежурил сейчас со связистами подполковник Дуйсенбиев — ныне начальник штаба мотострелкового полка, собранного, как говорят, с бору по сосенке.

Гулыга сложил карту, спрятал ее в полевую сумку и спросил у Рукатова, лежащего рядом на расстеленной поверх сена плащ-палатке:

— Ну как, Алеша, не полегчало? Болит голова?

Рукатов не откликнулся.

— Значит, контузия серьезная. — Гулыга горестно вздохнул и тоже прилег на сено.

У Рукатова было скверно на душе. Он мысленно корил себя не столько за малодушие, сколько за неосмотрительность. Там, на склоне ельника, он чудом не попал под огонь зашедших им в тыл немецких автоматчиков, а затем и под картечные залпы своих батарей. А все из-за того, что зачем-то поторопился выскочить из окопа и оторваться от майора Быханова... Как все же было потом?.. Лучше не вспоминать, не травить душу. Впрочем, и вспомнить трудно. Все будто в бредовом сне.

После того как орудия в упор ударили картечью по косогору, события развернулись столь стремительно, что Алексей Алексеевич не успел прийти в себя. Он слышал, как командиры батарей отдавали приказы орудийным расчетам убирать с огневых позиций неразбитые пушки, слышал, как майор Быханов несколько раз тревожно окликнул его, Рукатова, а затем распорядился осмотреть ельник, поискать раненых и собрать оружие убитых немцев. А Алексею Алексеевичу легче было помереть, чем подать голос и на глазах у артиллеристов вылезти из своего укрытия. А пока красноармейцы торопливо осматривали все вокруг, он, затаившись, продолжал лежать. Только услышав, как в стороне лесной дороги заурчали моторы машин, он будто проснулся, выполз из-под густого лапника и с криком «обождите!» кинулся вверх по склону. Но шум моторов, а может, и его крик услышали за озером немцы и вновь наугад ударили по ельнику из танковых пушек и пулеметов.

Вокруг Рукатова коротко и пронзительно взвизгивали пули, проносясь, кажется, у самой его головы целыми роями, с шипением вспарывали землю осколки, прочерчивая рваные дымные дорожки, но он будто перестал их бояться и, задыхаясь, продолжал бежать вверх, царапая о ветки лицо. Но не успел: когда выскочил на уступ, по которому шла лесная дорога, артиллеристов там уже не было.

Опасность грезилась ему из-за каждой ели, и он с новой прытью устремился по заросшей дороге, где виднелась примятая трава — свежие следы прошедших здесь грузовиков и буксируемых ими пушек. Вскоре бежать стало легче — дорога запетляла по склону вниз, а потом пошла по влажному лугу, вдоль речушки, вытекавшей из озера. Тут он заметил за речушкой сгрудившихся на большаке красноармейцев. Это было, как

потом оказалось, отделение саперов, которое перед началом боя делало лесной завал. Выполнив задание, бойцы уходили из опасной зоны и наткнулись на два десятка стоявших на обочине большака немецких мотоциклов с колясками. Но только двое из всего отделения умели управлять этими нехитрыми машинами. Увидев бегущего человека в форме командира Красной Армии, саперы обрадовались ему, хотя и встретили настороженно.

Рукатов торопливо перебрался вброд через речушку и без лишних слов ухватился за мотоцикл, начав заводить мотор. Он сразу догадался, чьи эти мотоциклы, и опасливо оглядывался по сторонам, боясь, что кто-нибудь из немецких мотоциклистов уцелел и где-нибудь рядом прячется.

Сержант, возглавлявший отделение, одернув на себе линялую гимнастерку и щуря цепкие зеленоватые глаза, спросил у Рукатова:

— Подполковник? А почему шпалы сорвали с петлиц?

— Не твоего ума дело! — зло ответил Рукатов, но, взглянув на посуровевшие лица саперов, миролюбиво добавил: — Давайте скорее мотать отсюда, пока немцы хвост не прищемили! Садитесь ко мне двое, а то и трое!

— А мотоциклы немцам вернем? — В голосе сержанта прозвучала въедливость.

— Рубаните по ним зажигательными! — требовательно произнес Рукатов, видя у некоторых саперов немецкие автоматы. — Бейте по бензобакам.

В коляску мотоцикла Рукатова почему-то никто из саперов не сел, и он рванул машину вперед, надеясь все-таки догнать колонну майора Быханова и вместе с ней вернуться в расположение частей генерала Чумакова. Однако не догнал. Наткнулся на сторожевой пост перед своим рубежом обороны и вскоре был на командно-наблюдательном пункте полка, откуда подполковник Дуйсенбиев указал ему недалекий овин на краю хутора.

Мотоцикл, как назло, перестал заводиться, и Рукатов, столкнув его в овражек, пошел к овину пешком. Когда приблизился к растворенным в обе стороны дверям, увидел в косом луче заходящего солнца широкую спину майора Быханова и услышал глуховатый, но четкий, как всегда, голос генерала Чумакова.

— Неужели более двух десятков танков размолоти-

ли? — с веселым удивлением спрашивал он у командира дивизиона.

— Насчитал двадцать восемь, а потом стреляли на авось: дым мешал наблюдению и стрельбе, — отвечал Быханов.

— Где же вы потеряли Рукатова? — Это интересовался своим зятем полковник Гулыга, и голос его подрагивал от волнения.

— Ума не приложу. Бой начали вместе, он стоял рядом, на наблюдательном пункте, а потом вдруг налетели автоматчики, и началось такое...

Рукатов зашел в овин, прервав своим появлением разговор, и, будто не замечая Быханова, громко доложил, обращаясь к Чумакову:

— Товарищ генерал, ваш приказ артиллерийская группа под командованием майора Быханова выполнила! Уничтожено тридцать восемь фашистских танков!

— Двадцать восемь, — неуверенно поправил его майор Быханов.

— Уничтожено тридцать восемь немецких танков! — так же громко повторил Рукатов, не удостоив Быханова даже взглядом.

— Где задержались? — Федор Ксенофонтович смотрел на Алексея Алексеевича с удивлением и озабоченностью.

— И сожжено по моему приказу около двух десятков мотоциклов. Отличился сержант — командир саперного отделения. Фамилии не знаю. Три мотоцикла взяты в качестве трофеев! — Рукатов не спускал с генерала глаз, в которых светилось чуть ли не безумие.

— Вы что, контужены? — догадался Чумаков.

Рукатова такая версия вполне устраивала, и он вновь ответил невпопад:

— Один мотоцикл я взял себе, чтобы оторваться от противника!

— Ты что, не слышишь? — в самое ухо закричал ему Гулыга.

— Я ничего не слышу, — спокойно ответил Рукатов, будто догадавшись о сути вопроса полковника. — Снаряд разорвался рядом, и я не знаю, сколько был без сознания.

Задумчиво посмотрев в бесстрастное исцарапанное лицо Рукатова, Федор Ксенофонтович перевел спокой-

ный взгляд на майора Быханова и с легкой укоризной спросил:

— Вы понимаете, в чем ваша ошибка и почему сами понесли большие потери?

— Так точно, — с тенью удрученности ответил Быханов. — Надо было ставить батареи ближе к завалу, чтоб сразу не создалось такое большое огневое преимущество немецких танкистов.

— Вот именно! — согласился Чумаков. — А чтобы закупорить дорогу, достаточно было одного орудия... Но в целом — операция удалась...

Рукатов больше не вступал в разговор и с таким мученическим видом смотрел то на Чумакова, то на Быханова, что Федор Ксенофонтович после паузы сказал:

— В общем, все молодцы. Родина оценит... — Потом повернулся к Быханову: — Пока майор Рукатов придет в себя, вам поручаю возглавить артиллерию... Назначьте за себя командира дивизиона, и поедем в штаб. Полковник Карпухин вооружит вас всеми сведениями...

Чумаков и Быханов вскоре отбыли, а Алексей Алексеевич выпил из фляги Гулыги несколько глотков водки, открыл банку бычков в томатном соусе и начал закусывать с каким-то яростным аппетитом. Но вдруг его замутило, он прытко выбежал из овина.

Сейчас Рукатов почивал на сене и с огорчением размышлял над тем, что зря он притворился контуженым и уступил майору Быханову командование артиллерией войсковой группы. Теперь Быханов будет давать полковнику Карпухину для оперативной сводки, а полковому комиссару Жилову для политдонесения сведения об уничтоженных немецких танках. Быханов наверняка занизит их количество и вполне может не упомянуть об участии в этой героической операции Рукатова. Ведь, по существу, он, Рукатов, и отвечал за организацию засады, выбирал огневые позиции по карте, а затем на местности... Такое может больше никогда не повториться.

Не заметил, как и уснул — тяжким, беспробудным сном. Проснулся от автоматной стрельбы и глухих выкриков, донесшихся со стороны рубежа обороны. Пробудился и полковник Гулыга. Приподнявшись на сене, он стал настороженно прислушиваться. На Рукатова же столь жиденькая стрельба после вчерашнего не произвела особого впечатления. Спустя минут десять в овин вбежал запыхавшийся подполковник Дуйсенбиев. Гулы-

га направил на него луч электрического фонаря, и было видно, что широкоскулое степное лицо Дуйсенбиева светилось восторгом, словно у мальчишки, а сквозь узкие щели глаз сверкали озорные огоньки.

— Акулу поймали, товарищ полковник! Увязалась за нашим начальником клуба Рейнгольдом и в сети влетела! — Дуйсенбиев хохотал, разводя в стороны руки и показывая, какой величины акула. — В чине немецкого полковника!

— Толком докладывайте! — прикрикнул на Дуйсенбиева Рукатов, позабыв, что он глухой от контузии и что ему, майору, повышать голос на старшего по званию неприлично.

Но Дуйсенбиев в своем веселом возбуждении не придал значения интонациям голоса Рукатова и со смехом доложил:

— Младший политрук Рейнгольд привел за линию нашего охранения немецкого полковника! На легковушке влетел фашист к нам!.. В сопровождении двух мотоциклистов!

— Задержали?! — обеспокоенно спросил Гулыга, вскочив на ноги.

— Мотоциклистов и шофера срезали из пулемета, а полковника везут сюда в клубном автобусе.

— Отыскалась клубная машина?! — неожиданно послышался басовитый голос полкового комиссара Федулова. — А младший политрук Рейнгольд?

Федулов стоял в дверях овина, закрыв своим тучным телом почти все предрассветное небо. Судьба начальника дивизионного клуба Левы Рейнгольда и исчезнувшего автофургона с кинорадиоустановкой волновала полкового комиссара.

— Рейнгольд же и везет немца! — уточнил подполковник Дуйсенбиев...

С младшим политруком Рейнгольдом случилось не совсем обычное. Несколько дней назад, когда мотострелковая дивизия полковника Гулыги еще и не была преобразована из-за малочисленности людей и техники в полк, часть ее штаба, в том числе и политотдел, расположилась на кирпичном заводе, недалеко от деревни Лутовня. Длинные, продуваемые со всех сторон соломенные навесы для сырого кирпича, ожидавшего обжига в печах, надежно прятали от воздушного наблюдения машины, да и все живое. Поставил под навес клубную спецмашину и Лева Рейнгольд, уже второй

день сам сидевший за рулем вместо погибшего во время бомбежки шофера. Предполагалось, что задержаться на кирпичном заводе придется до ночи, и Лева подался в соседний лес, где находились остальные отделы штаба. Он надеялся в «четвертой части» (так именовался отдел, ведавший распределением пополнения) вытребовать себе водителя машины. Перейдя вброд речушку, за которой раскинулся лес, и прошагав минут тридцать по лесной дороге, вдруг услышал в стороне завода беспорядочную стрельбу. И Лева помчался во всю силу своих длинных ног обратно...

С опушки леса открылась за речушкой панорама кирпичного завода. Там уже было пусто. Под ближним, насквозь просвечивавшимся навесом сиротливо стоял в одиночестве его автофургон. Чуть слева, на лугу, виднелось скопище немецких грузовиков и мотоциклов, а в речке купалась солдатня. Этим и воспользовался Лева Рейнгольд, хорошо владевший немецким языком. Впрочем, язык ему пока не понадобился. Он забрался в кусты, разделся догола, тщательно спрятал свою «комиссарскую» форму и побежал к речке. Нырнув в воду, поплескался среди немцев, затем выбрался на берег, взял среди одежды чей-то пятнистый комбинезон и ленивой трусцой вернулся в лес.

Затем он появился на территории кирпичного завода, куда начала въезжать какая-то немецкая автоколонна. В маскировочном комбинезоне, с сигаретой в зубах, Лева с нахальным видом подошел к своей машине, сорвал номера, сел в кабину и без малейшего препятствия выбрался на дорогу...

Немало опасных часов пережил младший политрук, особенно на следующий день, коротая светлое время в лесной пуще. А сегодня перед рассветом, когда он держал курс на Смоленск в надежде наткнуться на свою часть, за ним увязались два немецких мотоциклиста, сопровождавшие легковую машину с каким-то важным чином. Обогнав Леву, мотоциклисты остановили его и, увидев, что за рулем русской машины свой, немец, спросили, не знает ли он, где находится штаб 29-й моторизованной дивизии генерала фон Больтенштерна.

«Следуйте за мной. Я туда и еду», — на чистом немецком языке ответил Лева, сообразив, что в такой компании ехать ему по занятой немцами территории будет безопаснее...

Вот так и препроводил младший политрук Рейн-

гольд немецкого офицера и охранявших его мотоциклистов в расположение полка Гулыги.

Спать уже никому не хотелось, и все, заинтересованные вестью о пленении фашистского полковника, вышли на воздух. Близился рассвет. Трава вокруг овина, кусты жимолости, стоявшие живой изгородью между гречишным полем и огородами хутора, — все было покрыто тяжелой росой. Высоко в небе пластались рваные облака, вдали, за желтизной ржи на буграх, чуть виднелся сквозь серую дымку темный лес. День обещал быть пасмурным.

На недалекой дороге послышался шум моторов, и через минуту к овину подкатили немецкий мотоцикл с коляской и клубный автофургон. За рулем мотоцикла восседал знакомый Рукатову сержант — командир того самого саперного отделения, которое делало лесной завал.

Заглушив мотор, сержант одним ловким движением соскочил с мотоцикла и в то же время выхватил из коляски желтый, небольшого размера саквояж. Подошел к стоявшему у овина начальству четким строевым шагом и, остановив взгляд на Гулыге, начал докладывать:

— Товарищ полковник, доставлены пленный и документы...

— Документы мне! — К сержанту подскочил Рукатов и решительно взял у него саквояж.

— Почему вам?! — протестующе спросил подполковник Дуйсенбиев. — Наш пленный — наши документы!

— А я чей, бабушкин? — Рукатов недобро засмеялся и с опаской взглянул на полкового комиссара Федулова.

Но внимание Федулова, как и всех остальных, было занято другим: из кабины спецмашины выскочил счастливо взволнованный и крайне измученный всем пережитым за прошедшие полтора суток Лева Рейнгольд. С непокрытой головой, одетый в зелено-коричневый пятнистый комбинезон, он щелкнул каблуками сапог и застыл по стойке «смирно», собираясь с духом, чтобы доложить начальству о своем прибытии.

— Потом все расскажешь. — Федулов подбадривающе подморгнул младшему политруку и перевел взгляд на распахнувшуюся заднюю дверцу машины, из которой вышел в сопровождении двух красноармейцев немецкий полковник.

В новенькой отутюженной форме из серой шерсти, полковник был высок и костист. Его тонкое, классически правильное арийское лицо, бледное и потное от волнения, в то же время было полно достоинства и сдержанности. Остановившись перед командирами Красной Армии, полковник поднял на них серые глаза, в которых застыло то ли недоумение, то ли досада.

— По-русски разговариваете? — спросил у немца полковник Гулыга.

Немец что-то гортанно заговорил.

Лева Рейнгольд тут же перевел его слова:

— Он утверждает, что попал в плен по недоразумению, и армии цивилизованных государств должны в таких случаях освобождать пленных.

Собравшиеся у овина дружно, хотя и не очень весело, засмеялись, а Федулов, обратившись к Рейнгольду, приказал:

— Спроси у него: он бы в подобной ситуации отпустил нас?

Полковник ответил, что занимается специальной штабной работой и с пленными иметь дело ему не приходится.

Рукатов и Гулыга тем временем советовались: допрашивать полковника здесь или отконвоировать его к генералу Чумакову. Немец, прислушиваясь к их словам, будто догадался, о чем идет речь, и, глядя на Леву Рейнгольда, спросил, какой генерал командует войсками, к которым он попал в плен; при этом пояснил, что в штабе генерал-полковника Гудериана, в котором он имеет честь служить, известны фамилии многих советских генералов, в том числе Курочкина, Чумакова, Лукина, Конева, чьи войска противостоят группе немецких армий «Центр» фельдмаршала Бока.

— Объясните ему, что он в плену у Красной Армии, — холодно приказал Рейнгольду Рукатов, чувствуя себя здесь представителем вышестоящего штаба. — А какая здесь часть — не его собачье дело!

— О да, вы правы, — согласился полковник, когда Лева перевел ему слова Рукатова. — Но я надеюсь на чудо, хотя большевики в чудеса не верят... Меня интересует фамилия Чумаков. Я ношу образ человека с такой фамилией здесь. — Он хлопнул себя по левой стороне груди. — У меня есть в России друг — полковник Чумаков. — В немецком произношении фамилия прозвучала «Тшумаков».

Федулов и Гулыга озадаченно переглянулись, а Рукатов смотрел на пленного с изумлением, уже томясь в догадках.

— Вполне может быть, что это наш Чумаков, — сказал он после паузы, загадочно посмотрев на полкового комиссара Федулова. Затем, почти дружелюбно, с какой-то надеждой спросил у пленного: — В тридцать седьмом ты, конечно, был в Испании? Оттуда и знаешь Чумакова?

Лева не успел перевести вопрос, как пленный ответил, перемешивая немецкие и русские слова:

— Нихт Спаниен!.. Русланд был, Москау был, Киеф был... Полковник Фиодор Тшумаков унд Курт Шернер, — пленный ткнул рукой себя в грудь, — гросс фройнд!..

— Значит, точно Федор Чумаков?! — Рукатов всем телом подался к немцу, устремив на него немигающие и будто испуганные глаза.

— Я, я! Фиодор фон... товиш... — Полковник, напрягая память, сжал рукой высокий покатый лоб.

— Федор Ксенофонтович? — почти шепотом подсказал ему Рукатов

— Я, я! — воскликнул полковник, и по его бледному лицу скользнула растерянная и в то же время выражающая надежду улыбка. — Фиодор Сено-фон-товиш... — И он рубленой скороговоркой стал что-то объяснять.

Когда полковник умолк, Лева Рейнгольд о чем-то переспросил его, затем, пожав с недоумением плечами, неуверенно сказал, обращаясь к полковому комиссару Федулову:

— Полковник утверждает, что он и наш генерал Чумаков будто бы кровные братья...

Лева еще что-то хотел объяснить, но в это время послышался вой мин, и взрывы начали взметать землю недалеко от овина.

— Увозите пленного в штаб группы! — приказал полковник Гулыга и, кинув укоризненный взгляд на Дуйсенбиева, оставившего командно-наблюдательный пункт, тяжелой трусцой побежал к недалекой высотке.

За Гулыгой устремился, тут же обогнав его, подполковник Дуйсенбиев.

— В машину пленного! — скомандовал майор Рукатов красноармейцам-конвоирам, а затем младшему политруку Рейнгольду: — Поехали! — И, молча взяв

у сержанта-сапера немецкий автомат, уселся рядом с Левой в кабину.

С этой минуты будто образовалась пропасть между Рукатовым, ехавшим сейчас с деловым и озабоченным видом в машине, и тем Алексеем Алексеевичем Рукатовым, который вчера лежал в не защищенном от пуль и осколков укрытии и страстно молил судьбу о пощаде, задабривая ее покаянными мыслями о своей вине перед Федором Ксенофонтовичем Чумаковым. Будто и не было грозившей ему смертельной опасности и вообще ничего, кроме подбитых и сожженных немецких танков, не было. Сейчас Рукатов мучительно напрягал память, воскрешая в ней страницу за страницей личное дело генерала Чумакова, хранящееся в Москве, в Управлении кадров. Ведь Алексей Алексеевич так хорошо знал это «дело», столько раз вчитывался в каждую содержащуюся в нем запись и фразу! Но ничего настораживающего не бросилось тогда в глаза. Ни намека не было на родство с немцами! Даже языка немецкого Чумаков как следует не знает. В анкетах, заполненных рукой Федора Ксенофонтовича, в графе, спрашивающей: «Какими языками владеете?», везде написано: «Владею немецким. Пишу со словарем». Ну и он, Рукатов, в своих анкетах заполняет эту графу точно так же. Правда, раньше он писал: «Читаю со словарем». Но потом такая формулировка показалась ему несолидной, ибо со словарем, как он предполагал, можно читать на любом языке; и в его последних анкетах везде теперь значится: «Владею немецким. Пишу со словарем», хотя писать Рукатову по-немецки приходилось давно — в вечерней школе, а потом на академических курсах, да и не писать, а списывать с доски или из учебника.

Ничего не выудив по памяти из анкет, когда-то заполненных Чумаковым, Рукатов тем не менее стал ощущать, как сквозь его мятущиеся мысли пробивается надежда на что-то очень важное для него. Во всяком случае, в нем стало таять чувство собственной вины перед генералом Чумаковым и все больше вспухало злобой сердце, обращенной особенно к полковому комиссару Жилову. Рукатов почему-то именно с Жиловым связывал позор своего понижения в воинском звании.

А теперь все может повернуться по-иному. Ведь совершенно ясно, что его, Рукатова, классовое чутье не обманывало, и не зря подозревал он в чем-то генерала

Чумакова. Возможно, и этот немецкий полковник Курт Шернер не случайно ворвался именно на позиции частей Федора Ксенофонтовича...

Впереди, где далеко за лесом и за холмами ждал своей участи Смоленск, небо наливалось краснотой, все больше окрашивая алым цветом нижние кромки сизых облаков, будто окаменевших на горизонте. Дорога, по которой мчалась клубная машина, была пустынной, а пустынность на войне всегда загадочна и опасна. Поэтому Рукатов не снимал со своих коленей трофейного автомата. И в то же время его дразнил желтый саквояж немецкого полковника, лежавший у ног на дне кабины. Что в нем?.. Не устояв перед любопытством, он сдвинул на клапане кнопку запора, и саквояж открылся.

Первое, что увидел в нем, — белая, в темно-красном ободке, головка бутылки, обложенной какими-то кубиками в цветных обертках. Рукатов вынул бутылку — черную, широкую в корпусе, похожую из-за длинного горла на противотанковую гранату; наклейка на ней тоже черная, в золотом обрамлении, с тисненным золотом гербом и медалями, рассыпанными полукружьем ниже герба.

— Старый французский коньяк, — пояснил Рейнгольд, скользнув взглядом по надписи на наклейке.

— Живут же, гады! — завистливо пробурчал Рукатов и, вздохнув, засунул бутылку обратно на место.

Когда расстегнул металлическую «молнию», которая закрывала потайной отсек саквояжа, в глаза бросились какие-то бумаги, карты, зеленая папка.

— А за это и Москва может спасибо сказать. — Рукатов довольно ухмыльнулся, пощупал бумаги, пощелкал от удовольствия языком и почтительно задернул «молнию». Затем достал один кубик, напоминавший оранжевой оберткой кусок туалетного мыла, понюхал его и уловил такой дразнящий ягодный аромат, что заныло в желудке, а рот наполнился голодной слюной: ведь вечером консервы не пошли Рукатову впрок, и он уже не ел целые сутки.

— Что это за хреновина? — Рукатов протянул Леве кубик, на упаковке которого что-то было написано угловатой готической вязью.

Лева взял правой рукой кубик, держа левую на руле машины, пробежал глазами по надписи и разорвал зубами жесткую пропарафиненную обертку; под ней

оказались разноцветные кубики, уже совсем крохотные — сантиметр на сантиметр, запеленатые в тонкие прозрачные бумажки.

— Сухой лимонад, — заключил Лева, вернув Рукатову пачку, а себе оставив несколько кубиков. Сорвав с одного обертку, он положил его в рот и с хрустом начал разгрызать. Объяснил: — Бросают такой кубик в стакан с водой, и получается лимонад. Пенится, как шампанское, в нос шибает, в лицо брызжет... Цистерну можно выпить, так вкусно!

— Всухомятку не опасно? — Рукатов покосился на жующего Леву и положил кубик себе в рот. Вначале пососал, а потом, почувствовав приятный кисло-сладкий вкус, тоже начал жевать.

— У меня желудок все перетирает, — бахвалился между тем Лева. — Только один раз осечка вышла, когда кусок стекла...

— Проглотил стекло?! — ужаснулся Рукатов, бросив себе в рот еще пару лимонадных кубиков и так захрустев ими, что в висках заломило.

— В поезде было дело... В первый свой отпуск ехал. Купил в буфете несколько бутылок «Жигулевского», выпил одну и вдруг вижу, что на горлышке нет куска стекла. Гляжу в стакан — нет, на столике тоже не видно. Весь пол вокруг руками облапал...

— И не почувствовал, как проглотил? — Рукатов не переставал жевать, достав из саквояжа еще один пакет.

— А в животе как заколет! Потом резь появилась! Ну, думаю, Лева, будет тебе отпуск на больничной койке, если не хуже. Бутылка-то из белого стекла — не так легко отыскать в желудке прозрачный осколок.

— Кошмар! — посочувствовал Рукатов и вдруг перестал жевать: — Воды у тебя нет? Пить хочется, будто солонку проглотил.

— И у меня огонь в животе, — пожаловался Лева. — Точно как тогда, когда стекло искал.

— Так чем кончилось? Резали живот?

— Обошлось... Обломок стекла, оказывается, приклеился к жестяной крышке бутылки.

— А сразу не посмотрел на крышку?

— Если б я был таким умным до, как после... Хорошо еще, что сообразил искать крышку. Весь мусорный ящик перерыл. А так бы резали...

Рукатов сдержанно засмеялся и, ощущая горячее удушье, заполняющее грудь, тоскливо посмотрел на пересохшее руслице ручья, через который был перекинут бревенчатый мосток, простучавший под колесами машины.

— Хитра Европа на выдумки, — стонуще сказал он и поднес к глазам полупустой пакет от лимонадных кубиков, — а печатно предупредить, что есть эту заразу без воды не рекомендуется, — ума не хватило.

Впереди за синевато-туманным простором уже виднелся лес. Лева прибавил газу и погнал машину на предельной скорости. Перед лесом дорога свернула в крутой овраг, разветвлявшийся на мелкие овражки, которые курчавились орешниками. Здесь, на дне оврага, Лева увидел опущенный над дорогой шлагбаум, сделанный из ствола молодой березки, а рядом, в кустах, маячил щупловатого вида красноармеец с немецким автоматом на груди. Рукатов сразу приметил на поясе красноармейца флягу в брезентовом чехле.

Когда машина остановилась, чуть не упершись радиатором в березовую жердь, Рукатов, открыв дверцу кабины, почти вывалился на траву. Покачиваясь и сжимая рукой горло, хрипло попросил:

— Воды!.. Скорее воды!

Красноармеец (это был Алесь Христич) послушно снял с ремня флягу и протянул ее командиру, которого он уже не раз видел на территории штаба. В это время младший политрук Рейнгольд кинулся за флягой к другому красноармейцу, вышедшему из кустов, — Захару Завидову, постоянному напарнику Христича во всех нарядах.

Рукатов, запрокинув голову, выливал из фляги себе в рот воду, глотал ее жадно и ненасытно. Вода шумно булькала в горлышке фляги и будто уносила это журчание в алчущее нутро Алексея Алексеевича, усиливала его там, превращала в глухое рокотание. Одним духом осушив флягу, Рукатов бросил ее на землю и обеими руками схватился за живот. Алесь, взглянув в его лицо, передернулся от ужаса: глаза Алексея Алексеевича выпучились, лицо налилось синевой, почерневший рот искривился в мучительной гримасе, и вдруг из него мощно ударила многоцветная пенная струя... По другую сторону машины, повергнув в ужас Захара Завидова, надрывно замычал Лева Рейнгольд. Наклонившись, он тоже исторгал из себя пенный водопад, но не

столь могучий, как Рукатов, съевший намного больше кубиков сухого лимонада.

На Рукатова страшно было смотреть. Он упал на траву, живот его вздулся так, что пряжка ремня не выдержала и с треском расстегнулась. А изо рта, из ноздрей его продолжала валить пена — оранжевая, зеленая, желтая — всех цветов, в какие была окрашена содержащаяся в лимонадных кубиках масса. Он кашлял, задыхался и с яростью сбивал с лица шапки цветной пены.

— Беги за врачом! — заорал Алесь Христич своему напарнику.

Захар нырнул под шлагбаум, но тут же столкнулся с сержантом Чернегой, бежавшим на шум.

— Что случилось?! — Воловьи глаза Чернеги, кажется, готовы были выскочить из глазниц, когда он увидел вздутый живот Рукатова. — Мужик рожает?! Не может быть!

— Да нет, товарищ сержант, вода, кажись, отравлена! — панически закричал Алесь Христич, подняв с земли свою флягу и встряхнув ею над головой. — Я брал воду из родниковой кринички! Там! — И он указал рукой куда-то в глубь оврага.

— И я оттуда! — испуганно поддержал друга Захар Завидов, отняв свою флягу у младшего политрука Рейнгольда, который устоял на ногах и, усмирив поток пены изо рта, сейчас вытирал платком лицо, странно хрюкая, кажется, сдерживая приступ хохота.

— Мать моя! — взвыл Чернега. — Мы же сейчас слопали завтрак, сваренный на той воде!..

13

Блиндаж содрогнулся от недалекого снарядного взрыва, да так, что скрипнули жердевые нары на козлах, и генерал Чумаков с трудом вырвался из удушливого плена тяжкого, урывочного сна. Сразу не мог и понять, действительно ли с визгом колыхнулись под ним жерди, или снаряд взорвался там, во сне: ему прямо в лицо обжигающе дохнуло пламя, разверзшее громовым ударом башенную броню, за которой он сидел у орудийного прицела. И это снилось не впервые... Какой уже раз корчится его сердце в муках перед очевидностью неотвратимой гибели. Он будто сидит в не-

послушной, прижатой к опушке темного леса тридцатьчетверке и видит, как широко раззявились на него орудийные стволы немецких танков. Все почти так и было в действительности под Борисовом: во главе своего резервного танкового батальона он пятился к лесу, нанеся опустошительный удар по тылам танкового клина немцев; надеялся, что успеет уйти под прикрытие артиллерийской бригады полковника Москалева. Но немецкие танки перехватили батальон, и Федору Ксенофонтовичу ничего не оставалось, как принять неравный бой...

Да, он тогда скрежетал от отчаяния зубами, что должен погибнуть в самом начале сражения, обезглавив своей гибелью доверенную ему войсковую оперативную группу. Что может быть горше для боевого генерала?.. Все сложилось именно так, и Федор Ксенофонтович, погасив яростью и мстительным азартом сумятицу укоряющих мыслей, ринулся тогда навстречу смерти, посылая по скопищу немецких машин снаряд за снарядом. И судьба будто удовлетворилась страданиями, которые перенесло его сердце в эти мгновения, или словно вняла его кричащим мыслям. Немцы неожиданно начали отступать, а затем вышли из боя... И теперь в сновидениях воскресает пережитое, но почему-то уродливо, рождая суеверный ужас, от которого цепенеет тело.

Но не цепенеет, не гаснет его, Федора Ксенофонтовича, мысль в этом сверхчеловеческом напряжении и бушующем кровавом шторме. Она — эта воспаленная мысль — есть его верховный судья, повелитель. Когда под Борисовом смерть дохнула ему в лицо, то потом, размышляя над происшедшим, он тешил себя надеждой, что хозяйка войны хоть на время перестанет витать над ним. Однако, как оказалось, то была тщетная надежда. Вокруг вершилось такое, что любой день, каждый час могли оказаться последними в жизни Федора Ксенофонтовича. А вчера, когда на командный пункт прорвались немецкие автоматчики, он уже сам приготовился было последнюю пулю пистолета разрядить себе в висок. Но пронесло. Надолго ли?..

Нет, не страх перед возможной гибелью потрясал все естество генерала Чумакова и приводил в отчаяние, а холодящая ясность того, что силы Западного фронта иссякли и Смоленск обречен. Это значило, что

автомагистраль Минск — Москва в ближайшее время станет главным направлением битвы: немцы с падением Смоленска устремят к Москве несметное количество мотомеханизированных войск под мощным прикрытием авиации. Удастся ли их сдержать? И почему маршал Тимошенко в беседе с ним упоминал только 47-й механизированный корпус, когда на Смоленск правее 47-го наступает еще и 46-й и 24-й механизированные корпуса немцев?

Федор Ксенофонтович, разумеется, знал, что Ставка подтягивает свежие армии, создает новые оборонительные рубежи. Жаль, что при встрече с маршалом Тимошенко не решился подробнее расспросить его, удовлетворившись сообщением наркома, что «идут резервы». Но не повторят ли свежие части Красной Армии судьбы соединений, которые в приграничных сражениях пусть и нанесли немцам тяжкие потери, но сами в конечном счете потерпели поражение: многие из них перестали существовать? Сумел ли Генеральный штаб извлечь опыт из первых недель войны и использовать его в постановке задач войскам? Ведь срочно надо вносить поправки в Боевой и Полевой уставы Красной Армии, по-другому располагать войска в обороне и в наступлении, стремясь к тому, чтобы постоянно, с максимальной силой использовать все их огневые средства и чтоб сами они несли меньше потерь от снарядов и мин противника. Для Федора Ксенофонтовича, как, видимо, и для других зрелых командиров, стала совершенно очевидной неприемлемость ранее принятого поэшелонного построения в глубину боевых порядков подразделений и частей, до дивизии включительно! При первой возможности он попробует обосновать это на бумаге. Война показала, что наши уставы пришли в несоответствие с современными способами ведения боя...

И надо наконец создавать возможности, чтобы действия штабов и войск, сражения в целом, пусть даже при превосходстве врага в силах, приобретали с нашей стороны все более четко выраженную разумность, как даже в эти последние дни подвижной обороны. Силу немцев и их искусство можно активнее гасить нашим военным искусством. Ведь обороняться легче, чем наступать. Нешаблонное мышление, находчивость каждого красного командира — тоже сила... Взять хотя бы его, генерала Чумакова: сколько он упражнял свой

разум в оперативно-тактических приемах действий! А случилось так, что сейчас образовалась целая пропасть между тем, что он умеет, и тем, что делает. И не один он, в ком без должного применения дремлет многое из того, чего достигла за последние годы советская военная наука. А немцы, пока царствует на поле боя их хорошо используемая материальная сила, берут верх, хоть и несут невиданные потери. Управлять войной должен разум, оплодотворенный наукой. Право одной силы — преходящее право, ибо даже нравственная атмосфера в советских войсках — тоже сила, а источники ее неистощимы.

Нынешняя война — это не только дуэль между двумя армиями, это строжайшая проверка социально-нравственной атмосферы двух разных миров. Это смертельная схватка между фашизмом и социализмом; и победит социализм, коему принадлежит будущее, ибо по законам жизни оно принадлежит добру и справедливости.

Где добро и чувство доброты, там просветленность ума, ясность перспектив. В то же время Федор Ксенофонтович горячо разделял суждения своего покойного академического учителя профессора Романова, постоянно твердившего, что история человечества во многом есть история войн. Следовательно, горький военно-исторический опыт, веками накапливавшийся с неумолимой последовательностью, в конечном счете уточнил и возвысил человеческую мысль о способах ведения войны до подлинного искусства. И хотя войны были и будут для человечества проклятием, все-таки полководцу надлежит быть если не всегда талантливым (ибо талант — редкость), то обязательно всесторонне образованным и глубоко знающим высшие достижения военного искусства, понимая при этом, какими путями, какими победами и поражениями достигалась эта высота. Он, Федор Ксенофонтович, долго собирал и складывал в копилку памяти все то, что обогащало его профессиональные знания. И пусть сейчас эти знания были похожи на деньги, только частью купюр вошедшие в употребление, он верил: это временно, по причинам каких-то ошибок и трагически-неудачно сложившихся обстоятельств. Скоро все должно измениться. Будущее подтвердит эту его веру...

Да, но ведь война неумолима: будущего у него, Чумакова, как и у тысяч других, может и не быть...

Странная это для Федора Ксенофонтовича мысль. Она от невозможности охватить почти чудовищную грандиозность всего ныне творящегося. Она же и от зыбкости мостков, связывающих его прошлое с сегодняшним. Готовил себя к делам полководческим, а приходится выполнять роль, в общем-то, командира средней величины, и порой не лучшим образом.

Удрученное настроение духа иногда почти затмевало прежнюю, совсем недавнюю жизнь. Вспоминал о ней как о далекой и чужой, видел себя в ней как другого человека. Будто взглядом со стороны, даже с некоторым безразличием всматривался в клочковатую, пусть пронизанную солнцем, хмарь прошлого. Каждое его тогдашнее дело, каждая забота воспринимались как самое главное и необходимое в жизни.

И ему, генералу Чумакову, в сумеречности нынешнего настроения многое вспоминалось, может, не таким, каким оно было, и виделось не таким, каким бы стал творить его сам, если б свершилось чудо и он вернулся во вчерашний день. Но случись даже чудо, ничего бы, наверное, что связано с рождением нового человека, с воспитанием воина, не придумал бы нового. Раньше тоже верил, что советский воин при защите Родины проявит высокую стойкость и верность. Но чтобы именно так: в полный рост идти с гранатой на танк... вставать в атаку с песней, понимая, что это, может быть, последние шаги по земле... драться до последнего патрона в самом безвыходном положении... Да, все-таки прошлое было подлинно великим, если оно родило столь великого Человека, наделенного новым общественным содержанием.

Нет ничего легче, как бранчливо судить о прошлом, ибо налицо все его сильные и слабые стороны, все порушенное и созданное им. А каждый новый прожитый год — очередная ступень, с которой прошлое видится все в более главном. Но точно ли видится? Не бывает ли внушенного обмана зрения? Ведь историю делают люди, значит, они и судят ее. Творя сегодняшний день, они ревниво оглядываются в прошлое, стараясь внести что-то свое, новое, важное, заметное. А их деятельность, направляемая ими политика и экономика, культура и общественная жизнь зависят от многого — от их знания, опыта, глубины ума и темперамента, от чувства времени и чувства истории вообще, от логичности отвержения одних законов и принятия других, от нали-

чия или отсутствия честолюбия, от множества непредвиденных обстоятельств, связанных и с тем, кто и как плодотворно вершит государственные и политические дела...

Рой мыслей — мимолетных, чуть прикоснувшихся к сердцу или наваливавшихся глыбой — вплетался в пеструю ленту тревог и надежд, болей и сомнений, уносил Федора Ксенофонтовича в прошлое и вновь возвращал в сегодняшний день... Подумалось и о том, что ведь существует связь между государством и отдельной личностью, между деятельностью правительства и усилиями одного человека. Не в этом ли значение и сила государства?

Эх, проснуться бы да испытать радость, узнав, что вся его боль — след дурных сновидений. Но нет: в углу блиндажа зашевелился телефонист и послышался сдавленный голосок:

— Я — «Орех»!.. Ей-богу, не сплю!..

Федор Ксенофонтович, будто освободившись от сковывавших тело обручей, повернулся на озябшую спину, даже не сдвинув сползшую на расстегнутом ремне кобуру с пистолетом и больно вмявшуюся в бок. Где-то недалеко обвально разорвался снаряд. Спиной ощутил, как дрогнула земля, и ждал, что сейчас посыплются в лицо крошки, но вспомнил, что связисты распяли вчера на потолке блиндажа немецкую топографическую карту. После взрыва наступила окаменевшая тишина, столь непривычная для этих июльских фронтовых ночей, что в груди родилась тревога. Федор Ксенофонтович начал дремать, стараясь ни о чем не думать. Но мысли непостижимым образом вспыхивали в глубине мозга, будто крохотные искры, и вскоре разгорались, продолжая жечь его сердце. Вот он вдруг подумал о себе как о затерявшемся маленьком и беспомощном человечке; будто взглянул с высоты поднебесья на изломанную, исполосованную землю. Там, где-то далеко внизу, за пеленой дымки, среди изрытых окопами буераков, между блиндажами и просто кротовыми норами, выдолбленными в крутостях оврагов, замаскирован блиндаж, в котором прикорнул на зыбких нарах генерал-майор Чумаков. Спит не спит, а казнится, копается в своих мыслях, как жук в песке, страдает, будто он один и ответствен за все, что происходит на белом свете. Тьфу!..

Федор Ксенофонтович резко поднялся с нар и нео-

жиданно для самого себя зло выматерился, позабыв, что в блиндаже телефонист.

— Что за ерундовина?! — с досадой спросил сам у себя. — Страдаю, как гимназистка, потерявшая невинность! Хватит!

— Виноват, товарищ генерал! — испуганно вскочил в углу блиндажа боец с прибинтованной к уху телефонной трубкой. Он был чуть различим в отсветах пожара, падающих в блиндаж сквозь входной проем. — На секунду задремал!

— Ладно, — бросил ему Чумаков, опомнившись.

Привычно переобувал на ощупь сапоги и уже утешал себя тем, что не так плохи их дела, если вчера артиллеристы во главе с Рукатовым и Быхановым кинжальным ударом из засады расчерепашили больше двух десятков немецких танков. Правда, и сами подставились под прямой удар, понесли потери, однако наступление врага со стороны Красного затормозили. Надолго ли? Конечно же, не позже чем сегодня воды Лосвинки окрасятся кровью... Подоспело бы горючее, обещанное маршалом Тимошенко... А Рукатов и Быханов — молодцы! Надо будет Рукатова восстановить в прежнем звании, а Быханова — к ордену представить, да пока не та обстановка.

Федор Ксенофонтович вышел из блиндажа в теплую полутьму, пахнущую смолой хвои. Выбрался из траншеи и оглянулся вокруг. Далеко впереди и слева полыхал пожар. Облачное небо румянилось от него, как от зарницы. В отсветах пожара полосатилась в медленных волнах багрово-белесая рожь, подступая к изрезанной оврагами возвышенности — командно-наблюдательному пункту генерала Чумакова.

— Товарищ генерал, попейте чаю, — услышал сзади себя тихий и какой-то ладный голос ординарца Саши Косова. — Только заварил.

Федор Ксенофонтович одобрительно посмотрел в смущающиеся глаза, в темное от загара юное лицо бойца и взял у него дымящуюся алюминиевую кружку.

Косов — проворный и расторопный малый, как и полагается быть ординарцу, — перешел к Чумакову по наследству от раненого генерала Ташутина. Понравился он Федору Ксенофонтовичу тем, что старался быть полезным не только ему одному, а и полковнику Карпухину, и полковому комиссару Жилову. Они охотно принимали заботы Косова — посылали его на кухню,

заказывали чай, поручали при переездах укладывать в машины свое нехитрое имущество.

Отхлебывая душистый, заваренный в котелке чай, Федор Ксенофонтович увидел торопливо приближающегося полковника Карпухина. Полы его плащ-палатки, накинутой на плечи, уже были мокры от росы.

— Вы что, Степан Степанович, с утра за девчатами по кустам бегаете? — усмешливо спросил генерал.

— Спускался на узел связи, — недовольно ответил Карпухин, кивнув в сторону оврага и потирая рукой небритую щеку. — Телефон в вашем блиндаже не отвечает.

Федор Ксенофонтович окликнул стоящего рядом ординарца:

— Саша, полковнику чаю!

Взяв у Косова обжигающую пальцы кружку, Карпухин укоризненно взглянул на генерала и заговорил о другом:

— Федор Ксенофонтович, у меня такое впечатление, что полковник Гулыга умом тронулся.

— Что случилось? — встревоженно спросил Чумаков, угадывая за всегда точными словами начальника штаба что-то чрезвычайное.

— Вам он не дозвонился, а мне наплел такой чепухи, что повторять неловко. — Карпухин вдруг как-то болезненно засмеялся и продолжил: — Или, может, так шифровал разговор на случай, если немцы включились в линию?

— Что же он нашифровал?

— Пленного везет сюда Рукатов. Большой чин. Называет себя вашим родственником.

— Кто называет?!

— Пленный немец.

— Немец — мой родственник?!

— Я и говорю, что Гулыга очень устал и несет ахинею.

— Позвольте, а что Гулыга вам передал? — удивлению Федора Ксенофонтовича не было предела.

— Пленный, как я понял, полковник. Откуда-то знает, что здесь командует генерал Чумаков, и просит доложить вам, что он Курт... кажется, Шернер. — Карпухин на мгновение задумался, а в это время к ним стремительно подошел чем-то расстроенный полковой комиссар Жилов. — Да, Курт Шернер! — повторил Карпухин. — Гулыга докладывает, что этот Курт яко-

бы утверждает, будто он является вашим, Федор Ксенофонтовичем, кровным братом.

— Этого еще нам не хватало! — с угрюмой усмешкой воскликнул Жилов, а затем сделал неожиданный для всех вывод: — Небось опасается их фашистское свинородие, что по дороге в штаб ему красноармейцы сделают свинцовую примочку. Вот и прет околесицу: «Не расстреливайте, мол, я родня вашему генералу!»

— Курт Шернер... — будто про себя задумчиво повторил Федор Ксенофонтович.

— Дела есть поважнее! Неотложные! — Жилов оглянулся в сторону дороги, прятавшейся за кустами на дне оврага. — Горючее прибыло!

— Слава богу! — обрадованно воскликнул генерал Чумаков.

— Да, но нас ограбили! — опять перебил его Жилов. — Какой-то бандюга-майор у переправы за Днепром с группой красноармейцев под угрозой оружия завернул к себе в лес автоцистерну с дизельным топливом и еще бензозаправщик.

— Силой забрал?! — подавленно переспросил генерал Чумаков, а затем, сдерживая негодование, приказал: — Надо немедленно вернуть горючее, а этого мерзавца расстрелять!

— Даете мне такие полномочия? — Жилов, кипя злостью на незнакомого самоуправца, уже был готов действовать. — Прибывшие шоферы сказали, где надо искать этого майора.

— Ищите! Возьмите с собой людей.

Чумаков задумчиво смотрел вслед полковому комиссару Жилову, торопливо скользившему по травянистому, покрытому росой склону к дороге. Затем приказал Карпухину уточнить количество привезенного горючего и немедленно начать заправку, в первую очередь танков и артиллерийских тягачей, а сам вновь вернулся мыслью к захваченному в плен немецкому офицеру.

«Курт Шернер... Шернер...» — мысленно повторял Федор Ксенофонтович, чувствуя, что вот-вот вспомнит, где и когда слышал он эту фамилию.

В памяти всплыло село близ Большого Токмака на юге Украины. Там, еще до революции, мальчишкой три года батрачил он у немецких колонистов... Нет, среди них не было Шернеров. А фамилия, несомненно, что-

то ему напоминала. Курт Шернер... Кто же он? Где встречал его?..

Федор Ксенофонтович начал вспоминать, когда и с кем в последние годы приходилось ему разговаривать по-немецки, и вдруг словно молнией осветило затерянный уголок памяти...

Был сентябрь 1935 года. В районе городов Бердичев, Сквира, Киев шли большие маневры. На них присутствовали высшее руководство Красной Армии, представители военных округов. За действиями советских войск наблюдали и иностранные гости — военные делегации Франции, Италии и Чехословакии.

На маневрах выявлялись возможности взаимодействия механизированных и кавалерийских корпусов при столкновении с крупными подвижными войсками «противника», а также боевые возможности механизированных соединений при их действиях на флангах армии и в глубине обороны «противника». Сложные задачи решала авиация, в том числе выброску авиадесанта в составе целого парашютного полка, — таких масштабов еще не видела мировая практика. Полк имел задачу нанести удары по тылам и резервам «противника».

Во время десантирования батальонов на огромном поле близ Борисполя, что восточнее Киева, случилась беда с одним из членов делегации чехословацкой армии. Все иностранные гости вместе с представителями высшего командования Красной Армии стояли на дощатых настилах вышек, сооруженных у края поля близ дороги, и наблюдали, как из плывшей по небу армады самолетов вывалились черные точки, над которыми затем вспыхивали белые купола парашютов. Сотни десантников с оружием приземлялись на поле, иные прямо перед наблюдательными вышками. Одного красноармейца порывом ветра бросило на вышку. Он не сумел натянуть стропы, чтобы уйти в сторону, и, залетев на настил, ударил сапогами чешского полковника, прильнувшего в это время глазами к стереотрубе...

Полковник получил серьезные повреждение кости правой ноги с открытым переломом. Когда его укладывали в санитарную машину, чтобы везти в госпиталь, начальник генерального штаба чехословацкой армии генерал Крейчи, возглавлявший делегацию, высказал пожелание, чтобы при его полковнике был пере-

водчик. Но свободного переводчика, знавшего чешский язык, рядом не нашлось. Тогда чех обмолвился, что его устраивает переводчик, знающий немецкий.

В группе посредников оказался комполка Чумаков Федор Ксенофонтович, сносно владевший немецким. Его опеке и поручили чешского полковника — немца из Судетской области, Курта Шернера...

В госпитале, во время операции, у раненого наступил травматический шок. Потребовалось немедленное переливание крови, а нужной группы под рукой не было. И Федор Ксенофонтович предложил чешскому коллеге свою кровь, оказавшуюся, к счастью, совместимой.

Сейчас все вспомнилось Федору Ксенофонтовичу до мельчайших подробностей. Действительно, когда полковник Шернер пришел после операции в себя, он со слезами благодарности называл Чумакова: «Мой кровный брат Фиодор...»

Федору Ксенофонтовичу пришлось пробыть в Киевском гарнизонном госпитале при Курте Шернере несколько дней, пока ему на подмену не прислали кого-то, говорящего по-чешски. До приезда переводчика они объяснялись с Шернером на немецком. Разговаривать же им было интересно: одногодки (обоим тогда исполнилось по тридцать девять лет), оба с высшим военным образованием, а в мире нарастала тревога, рождавшая много вопросов.

Когда Курт Шернер узнал, что Федор Ксенофонтович выходец с Украины, а немецкий знает потому, что в детстве был пастухом у богатых немцев-колонистов, он проникся к нему особым интересом. Даже доверительно спросил, не чувствует ли себя офицер-украинец в Красной Армии пасынком, не обходят ли его чинами, должностями, наградами. Нелепость вопросов так развеселила Федора Ксенофонтовича, что он шутки ради ответил: «Всякое бывает. Видели вы на маневрах среди начальства такого высокого, как каланча? Тимошенко его фамилия. Только на год старше меня, а уже командарм — четыре ромба носит. А я всего лишь комполка!» — Чумаков полагал, что чешский офицер знает об украинском происхождении Тимошенко.

Но Шернеру важно было продолжить этот разговор, и он, даже разобравшись потом в шутке Чумакова, стал жаловаться на свое непрочное положение судетского немца в чешской армии, будто в оправдание со-

общил, что в Чехословакии поэтому и существует судето-немецкая партия со своим фюрером, ее создателем, Конрадом Генлейном, и что, с точки зрения его, Курта Шернера, Генлейн и Гитлер близки в своих взглядах на будущее Европы.

«Но ведь Гитлер, кажется, к этому будущему надеется прийти через войну, через порабощение целых народов!» — Федор Ксенофонтович стал подозревать о принадлежности чешского полковника к генлейновской партии.

«А вы разве исключаете войну как рычаг прогресса человечества?» — удивился Шернер.

«Конечно! Разрушение не может быть основой созидания, как смерть не является залогом жизни. Следовательно, война человечеству не нужна!»

«Тогда почему вы избрали себе профессию военного? Зачем Советскому Союзу мощная армия?»

Федор Ксенофонтович понимал, что наивность Шернера притворна, но все же сказал:

«Если б мы постоянно не укрепляли свою армию, мы бы обрекли себя на исчезновение. А что касается мысли о войне как рычаге прогресса, то это продукт, главным образом, немецкой философии восемнадцатого-девятнадцатого веков. Вы не хуже меня знаете Гегеля, Ницше, Канта, Фихте, Шеллинга...»

«Верно, — согласился с некоторым удивлением Шернер. — Но вы же не отрицаете их вклада в развитие человеческой мысли?»

«Не отрицаем. В то же время мы помним, что на развитие человеческой мысли влияют и заблуждения мыслителей».

«Но ведь вы не скажете, что Гегель заблуждается, рассматривая историю как «прогресс духа в сознании свободы», приписывая этот прогресс отдельным народам, сменяющим друг друга по мере выполнения своей миссии?..»

«А вы полагаете, как я понял, что вновь пришла пора начать выполнять свою миссию немецкой нации?» Федор Ксенофонтович, не желая обидеть собеседника, придал своему голосу шутливый тон.

«Если вы под миссией подразумеваете войну, то я не смею говорить утвердительно...» Слова Шернера прозвучали фальшиво.

«Я имею в виду суждения Гегеля о том, что война якобы сохраняет нравственное здоровье народов, пред-

охраняет человеческое общество от гниения, подобно как движение ветров не дает загнивать озеру».

«А вы не судите о великой философии Гегеля, глядя на нее сквозь чужие и притом слабые очки! — обидчиво воскликнул Шернер. — Вы почитайте его в оригинале, и вам ничего не останется другого, как согласиться с тем, что война и сопровождающие ее бедствия действительно развивают нравственные силы. Если бы не было войн, то такие качества человека, достойные восхваления, как храбрость, терпение, твердость, самоотвержение, презрение к смерти, — все это исчезло бы с лица земли!»

«Вы забыли начать с того, что мир как состояние общества, — едко заметил Чумаков, — ведет к роскоши, роскошь развивает чувственность, а чувственность рождает изнеженность и эгоизм».

«Верно! — Шернер не уловил иронии Чумакова. — Народ со своей цивилизацией может дойти до такого распада, разврата, что только крайняя опасность государству в состоянии пробудить его силы! Гегель это доказывает всем строем своих неоспоримых мыслей, всеми средствами логики!»

«Тут вы не совсем точны. — Чумаков снисходительно засмеялся. — Я вам пересказал суждения, правда, подражающие Гегелю, Фридриха Ансильона, одного из прусских министров, последователей Меттерниха в международной политике. Впрочем, в нашем споре князь Меттерних ни при чем».

«Да, Меттерних был врагом России... Но вы читали Жана Пьера Фридриха Ансильона?!» — Шернер был, кажется, не столько изумлен, сколько уязвлен, ибо осведомленность русского офицера в тех проблемах, которые занимали умы философов и дипломатов прошлого века, не вязалась с его, Шернера, представлениями о русских вообще.

«Нет, на чтение доктринерства Ансильона не стоит тратить времени, — ответил Чумаков. — Я почитывал идеалиста Пьера Прудона, который, размышляя над мудрствованиями Ансильона, все-таки доказывал, что человечеству не нужна война».

«Вы согласны с Прудоном?»

«Мы, большевики, согласны с Марксом, который утверждает, что война выносит окончательный приговор социальным учреждениям, которые утратили свою жизнеспособность».

«Значит, большевики не отрицают войны?!» Курт Шернер обрадовался, будто загнал своего соперника в угол.

«Конечно, не отрицают, — согласился Чумаков. — Но мы, не отрицая справедливой войны, предпочитали бы, чтоб государства разрешали конфликты не на поле брани, а за круглыми столами мирных переговоров. А если уж соперничать, то соперничать в мудрости и дальновидности правительств и в прогрессе, процветании народов».

«Фиодор, брат мой кровный, будьте реалистом! — с досадой воскликнул Шернер. — Приближается час, когда мудрость правительств будет выражаться в войне».

«Это будет не мудрость, а безумие тех, кто развяжет войну».

«Время нас рассудит», — с приятной улыбкой закончил спор полковник Шернер.

Это было в Киеве, в сентябре 1935 года...

Солнце всходило за облаками, и утро было тусклым. Вот-вот немцы напомнят о себе артиллерийско-минометным обстрелом, и на командно-наблюдательном пункте генерала Чумакова все притихло, притаилось. Командиры оперативной группы тихо переговаривались, сидя на ящиках из-под снарядов в окопе с наспех сделанным из бревен противоосколочным козырьком. Приготовились к тяжкому, полному неизвестностей дню связисты, наблюдатели, посыльные.

Генерал Чумаков не торопился в окоп. Прилег на расстеленной под кустом орешника плащ-палатке и изучал документы, взятые из саквояжа полковника Шернера. Рядом, присев на одно колено, держал в руке облегченный саквояж младший политрук Лева Рейнгольд, надеясь, что потребуется его помощь в прочтении немецких документов.

Развернув топографическую карту и взглянув на нее, Федор Ксенофонтович окликнул полковника Карпухина, который рядом в блиндаже напоминал по телефону артиллеристам, что на дороге, ведущей из Сырокоренья в сторону Красного, могут появиться механизированные подразделения 20-й армии, получившие задачу выбить противника из Красного.

— Полюбуйтесь, Степан Степанович! — сказал Чу-

маков вышедшему из блиндажа Карпухину, указывая на разрисованное красными и синими карандашами полотнище. — Полная и самая свежая обстановка в полосе действий сорок седьмого механизированного корпуса немцев! — Чумаков скользил пальцами вдоль синих стрел, словно прощупывая их, остановился на черте, вдоль которой было по-немецки написано: «Задача дня на 16 июля 1941 года». Черта проходила в десяти километрах восточнее Смоленска, включая магистраль Минск — Москва, а стрелы целились в Смоленск со стороны Красного и Досугова, рассекая левый фланг полосы обороны, которую занимали сейчас части войсковой группы генерала Чумакова, а также со стороны западнее Монастырщины.

— Надеются фашисты завтра быть в Смоленске, — будто сам себе сказал Чумаков и, дав Карпухину возможность подробнее ознакомиться с оперативной картой немцев, сам раскрыл папку с бумагами.

— Разрешите, я переведу, — предложил генералу свою помощь младший политрук Рейнгольд.

— Спасибо, я сам справлюсь, — ответил Федор Ксенофонтович и приказал Рейнгольду: — А вы отнесите пленному саквояж. Чтоб все было в целости.

— Коньяк тоже отдать?! — ужаснулся Лева. — Ведь французский!

— Откуда знаете, что там коньяк? — спросил полковник Карпухин с некоторой иронией.

— Ну... мы с майором Рукатовым поинтересовались, что везем.. Вдруг мина с часовым заводом.

— А где же Рукатов? — спросил Чумаков.

— Там, в овраге, — смущенный Лева неопределенно махнул рукой. — Медпункт ищет.

— Не прошла у него контузия?

— Контузия?.. А разве... Ах нет, не прошла! — В глазах Левы вспыхнули веселые огоньки. — Товарищ генерал, пленный требует встречи с вами.

— Пусть ждет. Сначала изучим бумаги...

Откозыряв начальству, Рейнгольд ушел, унося саквояж, а Федор Ксенофонтович, вчитываясь в какой-то документ, озадаченно сказал полковнику Карпухину:

— Очень важно! Приказ командиру дивизии, которая нацелена на Смоленск... Генералу фон Больтенштерну... — И процитировал, переводя на русский: — «Примите все необходимые меры для захвата мостов через Днепр в Смоленске, не допустив их взрыва. Смо-

ленск без мостов при наличии магистрали, проходящей севернее города, в значительной мере теряет свое стратегическое значение...»

— Да, но Смоленск еще надо взять! — язвительно воскликнул Карпухин.

Чумаков ничего не ответил, однако будто сам себе сказал:

— Интересная мысль... — Заметив удивленный взгляд Карпухина, пояснил: — Говорю, что любопытно оценивают немцы Смоленск без днепровских мостов... Что-то есть в этой оценке, над чем надо подумать.

Карпухин, нахмурившись, вновь придвинул к себе карту; некоторое время молча рассматривал на ней Смоленск и его окрестности, затем уверенно произнес:

— Даже при взорванных мостах это крепость! Из Смоленска можно держать под обстрелом магистраль Минск — Москва на широком участке!

— При условии, что Смоленск будет в наших руках, — с горькой усмешкой уточнил Чумаков.

— Надо надеяться, там принимают меры, чтоб не пустить немцев, — удрученно заключил Карпухин.

— Во всяком случае, этот приказ вместе с пленным следует немедленно отправить под надежной охраной в штаб фронта.

— Без допроса пленного? — удивился Карпухин. — Мы сами себя обкрадываем! Да и в дороге с пленным может всякое случиться...

— Вот вы с Рейнгольдом и допросите! Только вначале я с ним поговорю...

14

На железной дороге, ведущей к Смоленску, лежал в пустынной заброшенности разбомбленный разъезд. Небольшое кирпичное здание рядом с песчаной платформой жалко смотрело на мир чернотой выгоревших окон. Крыша его рухнула внутрь, а фасадную стену от верхнего угла к низу дверей косо перечеркнула ломаная трещина, из которой струйками текла белая известковая мука, смолотая взрывом фугаски.

Железная дорога из-за разбитых мостов через мелководные притоки Днепра не работала, и жизнь будто бы совсем отхлынула от этого искалеченного и обожженного уголка, переместившись на не очень дале-

кую автомагистраль, по которой тек прерывистый, словно иссякающий ручей повозок, машин и пеших. Все стремились к Смоленску, навстречу редким тягачам с пушками и груженым автомобилям; они двигались в сторону фронта с какой-то дерзкой надменностью, пользуясь тем, что наконец-то в небе стали появляться краснозвездные машины и прыть немецких самолетов поубавилась.

Пустынность железнодорожного разъезда таила какую-то загадку. Это сразу отметил, появившись здесь, старший лейтенант Иван Колодяжный. Началось с того, что из лесозащитной посадки, прижимавшейся к железнодорожным путям напротив разбомбленного здания полустанка, вышел красноармеец с заспанным лицом. При ружье и с противогазом он напоминал ротного дневального.

— Вы не хозяйство Кучилова ищете?! — издали спросил красноармеец, позевывая.

— Нет, — неосмотрительно поторопился ответить Колодяжный. — А что за хозяйство?

— Обыкновенное. — Красноармеец потерял всякий интерес к старшему лейтенанту и поплелся назад в посадку.

— Постой!.. А ну ко мне! — Голос Колодяжного зазвучал резко. — Бегом!

Красноармеец подбежал ленивой трусцой:

— Прибыл по вашему приказанию...

— Фамилия?!

— Красноармеец Сиволапов!

— Что здесь делаете?

— Я — «маяк». Встречаю своих, чтоб послать на хутор. — Сиволапов кивнул головой куда-то в сторону, настороженно осматривая сердитого командира.

Исхудавшее от недосыпания и переутомления лицо Колодяжного, совсем недавно приводившее в восторженный трепет девушек-медсестер, было почти черным, а маслившиеся глаза и рот с сухими губами будто увеличились. Зато на Иване были надеты новенькая гимнастерка из серого шевиота и синие габардиновые галифе, плотно облегающие икры ног, на которых сверкали новизной хромовые сапоги. Всем этим почти парадным великолепием старший лейтенант Колодяжный обогатился вчера, случайно наткнувшись среди большой лесной поляны на кем-то брошенный грузовик без горючего в баке; кузов грузовика был завален тюками интендант-

ского имущества. Его хватило, чтобы приодеть почти всех поизносившихся за три недели войны штабистов, начиная с генерала Чумакова и, разумеется, дружка Колодяжного — Миши Иванюты.

Генерал Чумаков, увидев на Колодяжном и Иванюте выходную танкистскую форму, прочел им нотацию за легкомыслие, но другого обмундирования у ребят не было. Вот теперь и щеголяют они в праздничных нарядах. Правда, Колодяжного подводила его худоба: воротник шевиотовой гимнастерки даже с толстым подворотничком почти не прикасался к шее, и голова Ивана будто выглядывала из гнезда. Впрочем, ремешок трофейного бинокля немножко прижимал к шее заднюю часть воротника. Но все одеяние в целом топорщилось на Колодяжном, словно под ним гулял ветер, хотя до предела были подогнаны на полевом снаряжении портупеи, а пояс, затянутый на последнюю дырку, как бы скреплял единство старшего лейтенанта с надетым на него обмундированием. А если еще учесть, что сапоги на ногах были в самый раз, то в общем Иван чувствовал себя героем, хотя на заспанном лице этого Сиволапова, который лениво разглядывал старшего лейтенанта, улавливалось какое-то недоуменное пренебрежение.

— И давно здесь бока отлеживаешь? — с неприязнью спросил у него Колодяжный.

— Меняют через каждые шесть часов.

— А что за часть? Какой род войск?

— Езжайте на хутор, начальство скажет...

Колодяжный с досадой сплюнул и отпустил бойца. Сразу не мог решиться на что-то и вопросительно посмотрел в сторону переезда, где стояли его трофейный мотоцикл и грузовик с бойцами, над которыми начальствовал младший политрук Миша Иванюта.

Трофейными мотоциклами обзавелись некоторые командиры штаба, в том числе Колодяжный, когда под Красным попала в засаду немецкая мотоциклетная рота. Иван уже успел так освоить управление трофейной машиной, что самостоятельно садился за руль и, испытывая в душе тихий восторг, ехал, куда велела служебная нужда, да еще сажал в коляску бойца с ручным пулеметом.

На этом заброшенном разъезде старший лейтенант Колодяжный появился не случайно. Сегодня ночью у понтонной переправы через Днепр какой-то майор-артиллерист с группой красноармейцев, остановив ав-

токолонну, везшую горючее частям оперативной войсковой группы генерала Чумакова, под угрозой оружия конфисковал одну автоцистерну с дизельным топливом и один бензозаправщик. Как утверждали водители других машин, пропажу надо искать в лесу, что рядом с переправой — между Днепром и автомагистралью; там они видели грузовики со снарядами и тягачи с пушками. А найти надо было во что бы то ни стало, ибо штаб фронтового тыла выделил генералу Чумакову горючего ровно столько, сколько полагалось для одной заправки имевшихся в его распоряжении автобронетанковых средств. И полковой комиссар Жилов, клокоча от негодования, вызвался ехать на розыски разбойного майора-артиллериста, чтобы арестовать его и попытаться вернуть автоцистерну и бензозаправщик.

Иван Колодяжный еще не видел таким полкового комиссара. Необузданной яростью сверкали глаза Жилова, когда отдавал он приказание садиться в грузовик взводу охраны и младшему политруку Иванюте, получившему у начальника особого отдела чистый бланк ордера, а у военного прокурора «добро» на задержание и арест неизвестного майора. Сам Жилов, учитывая опасность обстановки, не решился оставлять свою «эмку» в штабе, а поехал на ней, пустив вперед по маршруту мотоцикл старшего лейтенанта Колодяжного с пулеметчиком в коляске. Так началась в войсковом тылу небольшая «боевая операция».

Но лес за переправой, овражистый и тучный, уже опустел. Поостывший Жилов, с досадой оглядываясь по сторонам, спорым шагом прошелся по опушке, остановил несколько машин, ехавших к переправе, побеседовал с водителями, но ничего выяснить не сумел. Затем приказал Колодяжному:

— Возглавляй группу и действуй от имени командования. — Усевшись в «эмку», добавил: — Постарайся добыть горючее. Любым путем!.. Но без применения силы.

Вот и колесил Иван Колодяжный по ближней прифронтовой полосе, пока не оказался на этом железнодорожном разъезде. Ничего не добившись от бойца-«маяка», он побрел вдоль запасной ветки, где стояли остовы сгоревших вагонов и платформ. Обратил внимание на теснившийся к ним длинный полусгоревший штабель шпал, скрепленных железными скобами, увидел выстеленный досками съезд со штабеля и понял: здесь

сгружали с эшелона какие-то машины. Может, горючее?..

Укрыв грузовик с бойцами под началом Миши Иванюты в тени посадки за переездом, Колодяжный направил мотоцикл по умятым колеям, ведшим через буйно заросшую сурепкой полосу отчуждения к неприметному проселку. Проселок же привел Ивана и сидевшего в коляске мотоцикла пулеметчика — белесого паренька в линялой пилотке и в новеньком, вчера добытом обмундировании — на небольшой хуторок из пяти-шести разбросанных по буграм, неогороженных дворов. Бугры высились над глубоким оврагом, заросшим мелколесьем. Единственная улица хутора сливалась с накатанной дорогой, которая, нырнув в зеленый омут зарослей, юлила под ними в сторону магистрали, местами просматривавшейся с хуторских бугров.

В зарослях оврага и были замаскированы автомашины, сгрузившиеся два дня назад с железнодорожных платформ. А в их кузовах — стандартные металлические бочки с бензином, лигроином и маслом. Разведав все это, Иван Колодяжный уже сгорал от нетерпения скорее завладеть хоть частью обнаруженного богатства. Помотавшись на мотоцикле по холмам хутора, потолкавшись в овраге среди шоферов и складской обслуги, понял, что тыловики подавлены и даже напуганы грозной обстановкой и неизвестностью. Они с напряженным интересом слушали рассказ Колодяжного о том, что делается там, откуда накатывался давящий душу ступенчатый гул. Охотно, но тайком от начальства, заправили «под завязку» его трофейный БМВ.

Но как же прибрать к рукам горючее? Суматошно размышлял над разными планами, прислушиваясь с нарастающей тревогой к тому, что орудийная пальба и клекот пулеметов будто приближались. И в непрерывном напряжении держали вновь появившиеся стаи немецких самолетов. Они ползали в задымленном небе и пикировали то над магистралью, то за лес, то в сторону Днепра.

Колодяжному удалось выяснить, что два дня назад на разъезд, где с грузовиком и с бойцами остался ожидать его младший политрук Иванюта, прибыл эшелон, с которого сгрузились авторота подвоза и склад пункта снабжения, принадлежащий ДОПу[1] какой-то дивизии

[1] ДОП — дивизионный обменный пункт.

16-й армии. Эшелон должны встретить представители тыла дивизии и указать место развертывания пункта горюче-смазочных материалов. Но получилась жуткая неразбериха: полки дивизии, ее штаб и тылы разгрузились из эшелонов где-то в других местах, и уже второй день начальник пункта военинженер третьего ранга Кучилов посылает во все концы посыльных, выставляет на дорогах указатели и «маяки». Кучилов и его подчиненные опасались, что на их склад наткнется кто-либо из высокого начальства, подчинит его какой-нибудь другой воинской части, и тогда прощай, родная дивизия!..

Вооруженный всеми этими сведениями, Иван Колодяжный форсисто подлетел на мотоцикле к крайней ветхой, старой избе, одиноко маячившей над самым оврагом. В стороне от нее стоял хлев под соломенной крышей и навес над сложенными в штабель наколотыми дровами. В этой избе обедал со своим заместителем и командиром автороты инженер третьего ранга Кучилов. Когда Иван заглушил у избы мотор мотоцикла, колыхнулась белая занавеска в открытом окне и послышался требовательный голос:

— Прячь тарахтелку под навес!

Из окна дохнул на Ивана запах свежего борща, и у него заныло в желудке от голода. Но мысль о еде вспугнул пронзительный свист вырвавшихся из-за леса на бреющем полете двух желтобрюхих «мессершмиттов». Они разом ударили из пулеметов по какой-то цели, только им видимой, и исчезли за холмами. Иван и не опомнился, как оказался с мотоциклом под соломенным навесом, где, к немалому своему удивлению, увидел 76-миллиметровую пушку, упершуюся стволом в дощатую стену, а рядом, на колотых дровах, лежали три снаряда-патрона. Тут же опять донесся нарастающий свист немецких истребителей, и Иван сквозь рваную дыру в соломенной крыше увидел, как мелькнуло в небе крыло с черным крестом.

Рядом, в сарае, замычала корова, где-то в бурьяне закудахтала курица, а из открытого окна донесся недовольный баритон:

— Пожрать не дадут!

И Колодяжный не понял, к кому это относится — к нему или к «мессершмиттам».

Пряный и теплый аромат борща особенно густо плавал в сумрачной комнате, куда зашел Иван. Не видя со света, а только угадывая сидящих за столом людей,

он прямо с порога будто закукарекал — требовательно и громко:

— Старший лейтенант Колодяжный! Прибыл по приказанию командарма Чумакова!

— Не слышали такого, — пробасил из-за стола крупный мужичище, на черных петлицах которого зоркий глаз Ивана стал примечать по шпале, и Иван догадался, что это и есть военинженер третьего ранга Кучилов, который между тем продолжал: — Наш командарм — генерал Лукин.

— Я выполняю приказ генерал-майора Чумакова! — нагнетая слова и почему-то раздражаясь, уточнил Колодяжный, строго всматриваясь в носатое и скуластое лицо Кучилова. — Мне приказано получить у вас... — Иван быстро удвоил в уме емкость исчезнувших автоцистерны и бензозаправщика, — шесть тысяч четыреста литров бензина и шесть тысяч четыреста литров дизельного топлива!

— И конечно, без документов? — с откровенной издевкой спросил Кучилов, скосив на вошедшего серые, чуть выпученные глаза.

Колодяжный неотрывно глядел в лицо Кучилова, видя, однако, только его широкий, в синих прожилках нос. Даже сквозь полыхнувшую в груди злость, вызванную насмешливостью в голосе военинженера, Иван испытывал неловкость, что не в силах отвести взгляда от его носа.

— Там люди дерутся до последнего и перед гибелью поджигают и взрывают свои танки и машины, чтоб фашистам не достались! — В прочувствованном голосе старшего лейтенанта послышалась искренняя слеза. — А вы тут сидите на горючем да борщами обжираетесь?! Верно, нет у меня накладных! Документы получит ваш представитель, когда доставит генералу Чумакову горючее! Там сейчас не до накладных!

— Слушай, старший лейтенант. — Кучилов все-таки вышел из-за стола и, почти упираясь головой в черный дощатый потолок, навис над Иваном сердито дышащей глыбой. — Ты всерьез или дурочку валяешь?! Пункт ГСМ [1] — составная часть ДОПа дивизии! Понял?! У меня есть своя дивизия, для которой мне дадено горючее!

— Протрите очки! — Натиск Колодяжного не

---

[1] ГСМ — горюче-смазочные материалы.

ослабевал. — Откуда возьмется здесь ваша дивизия? Ваш эшелон случайно сюда проскочил! А дивизию сгрузили где-то перед Смоленском! Она давно воюет и обходится без вас! Ее другие гэсээмы снабжают горючим!

— Не бери на пушку, старший лейтенант! — В голосе Кучилова все-таки поубавилось уверенности. — Вчера вечером один майор тоже брал! На настоящую!.. Прикатил с целой бандой орудие, загнал снаряд в ствол и орет: «Давай горючее, а то стреляю!..» Вижу, чокнутый!.. Пришлось бочку дать в долг. Вон орудие в залог оставил. — И военинженер нервно засмеялся. — А ты что, мотоцикл оставишь?

— Майор-артиллерист? — заинтересовался Колодяжный, пропустив мимо ушей другие слова Кучилова.

— Такой же падкий на чужое, как и ты!

— Значит, не дадите?

— Не имею права.

— Будете сидеть на горючем, пока немцы не пожалуют?

— Буду сидеть, пока не получу письменный приказ, как полагается...

— Прошу, товарищ военинженер третьего ранга, засечь время. — И Иван, поправив на груди бинокль и автомат, стал смотреть на наручные, тоже трофейные часы. — Чтоб потом было ясно, как долго по вашей вине задержана доставка горючего ведущим бой частям.

Но на темном циферблате часов Иван никак не мог разглядеть стрелки и, подняв глаза, скользнул взглядом по бревенчатой стене комнаты, надеясь увидеть ходики с гирей. И вдруг его словно кто-то встряхнул, заставив вмиг позабыть обо всем на свете. Он увидел под стеклом, среди разных снимков, заключенных в одну общую деревянную раму, мучительно знакомую коллективную фотографию. Такая фотография была и в дорогом его сердцу фотоальбоме, сгоревшем вместе с чемоданом в машине еще там... близ границы. На фотографии — группа выпускников их военного училища под знаменем. Вот и он, в новенькой лейтенантской форме, большеглазый, сосредоточенно-важный.

Словно отторгнутый от всего, что его сейчас окружало, Иван не заметил воцарившейся в домике тишины, не расслышал, как к нему подошла от печи и застыла рядом, тоже устремив взгляд на фотографию, хозяйка дома — старушка с маленьким темным лицом,

будто печеным, столь обильны были на нем морщины.

То, что случилось, уже поняли все и напряженно ждали развязки.

— Кто здесь из ваших? — тихо спросил Колодяжный, заметив рядом с собой женщину.

— Вот, сынок, мой младшенький, — почему-то шепотом ответила она, ткнув пальцем в длинношеего, стриженного, как и все, лейтенантика.

— Дима Старостенков?! — Колодяжный обрадованно засмеялся, будто воочию увидел своего лопоухого, остроносенького однокурсника, который в строю всегда тянул ногу и с которым время от времени обязательно что-нибудь случалось. — А вот я, почти рядом с ним!

— Господи! Где он сейчас, сердешный? — вдруг заголосила старуха. — Живой или, может, ранятый?! — Она смотрела на Колодяжного со смешанным чувством радости, тревоги и надежды.

Ивану стало жалко эту одинокую, пригнутую возрастом и трудной жизнью бабку, но ничего утешительного о сыне ей сказать не мог: ведь третий год пошел, как закончили они училище и разлетелись по разным военным округам. Разве что рассказать, как ее Дима однажды на стрельбище, находясь в оцеплении, по глупости взглянул в бинокль на солнце и чуть не ослеп. Долго носил потом темные очки, не хотел с ними расставаться, так как удобно было при темных стеклах незаметно дремать на занятиях.

— Живой Димка! — с вдруг родившейся в нем уверенностью сказал Колодяжный. — На Юго-Западном фронте дает прикурить фашистам!

— Живой?! Воюет?! — Женщина метнулась к печи, загремела железной заслонкой. — Сейчас же садись к столу да рассказывай, а я тебе свеженького борща налью!.. Курицу зарежу!

— Рассказывать больше не о чем, — извинительно ответил Иван и метнул негодующий взгляд на застывшего посреди комнаты Кучилова. — А борщом да курятиной кормите этих тыловых... Им спешить, как видно, некуда. — И решительно вышел, надеясь в глубине души, что Кучилов его остановит.

Военинженер не окликнул старшего лейтенанта. Не сводил с него задумчивого взгляда сквозь окно, когда тот вместе с пулеметчиком выталкивал из-под навеса свой БМВ. Взревев мотором, мотоцикл куда-то унес своих седоков, а Кучилов удрученно сказал:

— Черт его знает, как быть! — поскреб пятерней в могучем затылке, беспомощно взглянув на молчаливо нахохлившихся за остывшим борщом командира автороты и своего заместителя.

— Нельзя так, начальник! — вдруг накинулась на него хозяйка дома. Ее быстрые глаза и тонкие губы выражали ум и какую-то силу. — Я борщ варю всем, кто есть попросит... Не пытаю — с наших ты краев, аль с хохлацких, чи московских! Все наши, все красные! Все бьют супостата, как и сынок мой!..

— Мамаша, борщ, конечно, тоже горючее. — Кучилов похлопал ладонью по своему выпиравшему из-под ремня пузцу. — Была бы ты лет на сорок моложе, приписал бы тебя к своей части, и тогда борщ варила б только для нас, а не для всего фронта. — Затем военинженер измерил жестким, требовательным взглядом командира автотранспортной роты — хмурого воентехника в синем комбинезоне: — Надо, чтоб хозяйство было на колесах. Одну машину выделите для снятия «маяков»... Предупредите людей: из расположения склада — ни на шаг!

— Есть быть на колесах! — Воентехник, выбравшись из-за стола и надев пилотку, тут же побежал выполнять приказание.

15

А старший лейтенант Колодяжный тем временем примчался на уже знакомый железнодорожный разъезд, где в зарослях посадки изнывали от безделья приехавшие на полуторке с Мишей Иванютой бойцы. Младшего политрука Иванюту он увидел сидящим в кабине грузовика с блокнотом на коленях и карандашом в руке. Колодяжному и в голову не могло прийти, что инструктор политотдела по информации Михайло Иванюта, будто и не вскипала вокруг опасность, сочинял стихи о любви.

Да, да! Именно о любви к юной медсестре Оле, которая вчера перевязывала ему задетую осколком бомбы левую руку. К сожалению, Оля наложила такую аккуратненькую повязку, что на нее налез рукав гимнастерки. И никто даже не догадывался, что младший политрук Иванюта получил боевое ранение и остался в строю. Зато какие родились стихи, какие чувства!..

О, твои черные девичьи очи
Сердце мое пленили навечно!..

Дальше, хоть убейся, строчки не шли, сколько Миша ни ломал голову. Может, потому, что он точно не помнил, действительно ли черные глаза у Оли?.. И вдруг перед самым появлением Колодяжного его словно прорвало. Стихи, первые в жизни Миши на русском языке, сами полились на бумагу:

И теперь я не сплю ни днем ни ночью:
Значит, люблю тебя очень сердечно!

Колодяжный, сойдя с мотоцикла, бесцеремонно взял из рук Миши блокнот, внимательно прочитал написанное и, заметив, с каким нетерпением ждет дружок его мнения, снисходительно хмыкнул:

— Курам на смех!! Кому нужна такая любовь: «Не сплю ни днем ни ночью»? Какой же из тебя будет вояка?.. Лучше вот как. — И, на ходу сочинив свои стихи, трагически продекламировал их:

Днем не сплю — кусают мухи!
А ночью жалят комары!
Моя любовь страшней засухи,
Моя тоска сильней жары!

— Ну, ну, ты не очень умничай! — обиделся Миша.

— Брось эту глупистику, — миролюбиво посоветовал Колодяжный и, посерьезнев, спросил: — Тебе бланк ордера на арест майора дали?

— Да.

— С подписью и печатью?

— Да.

— Вместо майора вписывай фамилию военинженера Кучилова!

— Какой состав преступления?

— Не дает горючего!.. Ты понимаешь: целый склад горючего, а войск нет... У нас войска — нет горючего! Дураком надо быть, чтоб не принять разумного решения!

— Только в рамках закона, — нарочито холодно ответил Иванюта, все еще переживая обиду, нанесенную ему Колодяжным.

— У войны один закон: громи врага! — наседал Колодяжный.

— В огороде бузина, а в Киеве дядька, — отпарировал Миша и с такой твердинкой в глазах посмотрел на

Колодяжного, что тот опешил. — С законами не шутят и на войне! — продолжил Иванюта.

— Время же не терпит!.. Ну хрен с тобой! Тогда есть еще один план... Надо вспугнуть оттуда этот склад в сторону переправы! За Днепром мы голыми руками возьмем его!

И тут старший лейтенант Колодяжный раскрылся на всю глубину своего озорного коварства. Он предложил Мише ехать на грузовике с бойцами к хутору, миновать его и направиться в сторону автомагистрали по дороге, идущей через овраг, где разместилось хозяйство Кучилова. А сам Колодяжный в это время вернется в дом, где, наверное, почивает после обеда военинженер, и продолжит с ним переговоры. Мише Иванюте надо было сделать самое простое: отъехать километра два от оврага, поднять стрельбу, кинуть несколько гранат и что есть сил мчаться обратно, сея панику: прорвались, мол, немецкие танки!

— А если паника перекинется дальше? — забеспокоился Миша.

— Куда? Больше никого там нет!

Иванюта хоть и с сомнением, но согласился.

К хутору они ехали вместе — Колодяжный с пулеметчиком впереди, а Иванюта на полуторке сзади, соблюдая приличную дистанцию, чтобы не глотать поднятую мотоциклом пыль.

Когда выехали на высокий холм, за которым на холмах поменьше раскинулся хуторок, увидели, что в нескольких километрах в небе над низиной, где размахнулась влево от автомагистрали черная зубчатка леса, ходили по кругу немецкие бомбардировщики. Над краем леса, подступавшего к дороге, самолеты по очереди круто ныряли вниз и исчезали в дымной пелене, высоко поднявшейся над землей.

У Колодяжного тоскливо заныло сердце. Не прошло и двух часов, как покинули они командный пункт генерала Чумакова. Что там могло случиться за это время? По всему чувствовалось, что немцы ищут слабо прикрытые направления и рвутся вперед. Ему, старшему лейтенанту Колодяжному, «начальнику разведки», как почти всерьез именовал его полковник Карпухин, надо было быть на командно-наблюдательном пункте или в одной из частей, а он занят весьма сомнительным делом. Впервые Иван почувствовал ту тревогу, которая граничит со страхом. Он, этот страх, был вызван не-

знанием обстановки, утратой «чувства противника» — профессионального чувства истинного военного, который меньше испытывает беспокойства на виду у врага, чем где-то в тылу, когда на глаза будто надета повязка.

Но дело начато, а Колодяжный был не из тех, кто не доводит начатое до конца. Подъехав к хутору, он пропустил полуторку Иванюты вперед, а сам свернул к знакомой хатенке. Поставив мотоцикл на прежнее место под навес и приказав пулеметчику не отлучаться, направился к раскрытой двери дома. На пороге задержался, прислушался: бомбежка стихла, гула самолетов тоже не было слышно. И шагнул за порог, мучительно размышляя над тем, как повести сейчас разговор с военинженером Кучиловым.

В комнате, у стола, увидел Кучилова и его заместителя — воентехника второго ранга, почти юношу, очень важного и деловитого в своей сосредоточенности. Глядя на карту, воентехник чертил на чистом листе бумаги какой-то план-маршрут.

— Разрешите? — спросил Колодяжный, войдя в комнату.

— Разрешаем, — не отрываясь от дела, ответил Кучилов. — Но горючего все равно не дадим... Вот найдем штаб Шестнадцатой армии, доложимся, узнаем, где дивизия... — Кучилов выпрямился над столом и почему-то повернул голову в сторону раскрытого окна, а Колодяжный уже не мог оторвать глаз от его носа, на котором зажег красноту косой луч солнца. Не нос, а стоп-сигнал!..

Теперь и Иван услышал, что к дому подъезжала машина. Тоже посмотрел в окно, что поближе к двери, и увидел резко затормозивший у навеса грузовик с несколькими красноармейцами в кузове.

— За пушкой приехали! — высказал догадку Кучилов и первым заторопился к двери. — А как же бочка бензина?

Из кабины грузового ЗИСа проворно выскочил, будто выпал из распахнувшейся дверцы, сержант с перебинтованной головой, приземистый, заметно колченогий. Отбежав, словно откатившись, от машины, он молча, знаками обеих рук, стал показывать шоферу, как развернуть и подать машину назад, чтоб с ходу взять на буксир пушку. Спрыгнувшие с кузова бойцы (это был, оказывается, орудийный расчет) в какой-то нервной

спешке стали быстро выталкивать орудие из-под навеса.

Все уловили в суматошности артиллеристов некую угрозу. Помолчав, военинженер Кучилов не очень уверенно спросил:

— Эй, братва, а где же бензин?

Будто ему в ответ, откуда-то вдруг докатился то ли пушечный выстрел, то ли взрыв, затем еще один. Донеслась приглушенная расстоянием длинная пулеметная дробь. На нее откликнулись короткими и сердитыми, как собачий лай, очередями автоматы.

«Младший политрук Иванюта начал «спектакль», — с одобрением, но не без тревоги подумал Колодяжный. Он чувствовал, что не в силах справиться с сумбурностью нахлынувших мыслей. Ведь приехавший за пушкой артиллерийский расчет может привести к майору-артиллеристу, взявшему чужое горючее. Воспользоваться этим и найти майора? Но какие будут результаты? Наверняка цистерны уже пусты, а из баков машин бензин не откачаешь. Арест же майора никому радости не принесет.

И тут увидел в облаке пыли вывернувшуюся из-за холма свою полуторку. Она приближалась на предельной скорости, и ее колеса высоко подпрыгивали на ухабах, будто обжигаясь на них.

«Во дает Миша!.. Неужели для пущей убедительности оставил за оврагом бойцов, чтоб бросали гранаты и вели пальбу?» Но эту догадку Колодяжный откинул, приметив острым взглядом, что людей в кузове не уменьшилось.

— Немцы!.. Танки и мотоциклисты! — донесся из приближающейся машины надорванный голос Иванюты, и Колодяжный рассмотрел его побелевшее лицо со сверкающими, возбужденными глазами.

Колодяжный, пряча мстительную усмешку, скосил взгляд на военинженера третьего ранга Кучилова, который, кинувшись было к пушке, чтоб не позволить ее увезти, замер на месте, словно вдруг окаменев. Весь облик его больше выражал недоверие, чем испуг. Однако голос Иванюты, звенящий неподдельной взволнованностью, смутил и Колодяжного. Когда полуторка, не доехав до двора, остановилась у стожка сена, словно прячась за него, Иван встревоженно посмотрел в сторону чуть видневшейся с бугра магистрали и схватился за бинокль... В восемь раз приближенная линзами ма-

гистраль поразила его своей пустынностью, зато он увидел высыпавшую из прогалины, что была между дорогой и лесом, черную стаю мотоциклистов и выползающие на луг, поросший мелким курчавым лозняком, танки — маленькие дымящиеся коробочки. Одна, две... пять... девять... Донесся или только почудился их дрожащий с подлязгиванием гул, вновь прилетела пулеметная дробь — ровная, упругая...

— Внимание! Всем слушать мою команду! — протяжно-стенящим и чужим для самого себя голосом приказал Колодяжный. — Пункту ГСМ под командованием военинженера Кучилова броском выйти из-под удара к переправе! И — за Днепр!..

— Есть за Днепр! — с торопливой готовностью откликнулся Кучилов и растерянно оглянулся на своего заместителя — молоденького воентехника, видимо собираясь послать его в овраг поднимать по тревоге роту подвоза.

Но на дороге, идущей из оврага, уже показались первые машины — торопливые, вспугнутые промчавшимся мимо них на полуторке Иванютой.

— Младшему политруку Иванюте оставить гранатометчиков, а самому вести колонну к Днепру и обеспечить порядок на переправе! — резким голосом продолжал отдавать распоряжения Колодяжный, ощущая давящую тревогу при мысли, что немецкие бомбардировщики именно в такие моменты обрушивают удары по переправам. И томила неизвестность: как там, за Днепром? На месте ли штаб генерала Чумакова, ждут ли их с бензином или махнули рукой? А если там немцы прорвались?..

Дорога, пересекавшая хутор, петляла меж холмами, и, может, именно это делало грузовики автороты подвоза невидимыми со стороны врага. Набирая скорость, они повалили из оврага густой колонной, вздымая при этом пыль, которую не могли не заметить наступающие немцы. И Колодяжный опять посмотрел в их сторону сквозь бинокль.

Танки растекались из прогалины между лесом и магистралью двумя ручьями. Основной, Иван даже не смог сосчитать в дымном чаду количество танков в нем, тек вслед за тучей мотоциклистов, разливаясь вдоль магистрали, а второй, поменьше, с видневшимися на броне черными фигурками десантников, двигался прямо на хуторок, видимо имея задание выйти к Днепру.

— Сейчас наши врежут, — услышал рядом с собой чей-то спокойный голос Колодяжный. Повернув голову, увидел колченогого сержанта с перебинтованной головой. Он держал в руках орудийную панораму и, прижавшись глазом к ее окуляру, рассматривал низину, дымящуюся выхлопными газами танковых майбаховских моторов. — Теперь нам к своему дивизиону не прорваться.

— Где дивизион?! — взволнованно спросил Колодяжный, как будто от его осведомленности могло сейчас что-нибудь зависеть.

— На огневой позиции! Где ж ему быть? — Сержант не отнимал от лица панораму. — Видишь, боятся немцы лезть на дорогу, по обочинам прут... Знают, что шоссе под прицелом.

Бронированные стада окончательно разделились. Танки с десантниками, шедшие в сторону хутора, их было ровно шестнадцать, образовали самостоятельную группу. А основная, следовавшая за мотоциклистами, растеклась по низине вдоль автомагистрали и уходила из поля видимости за холмы. Вслед за ней потянулись грузовики с пехотой и тягачи с пушками.

Иван Колодяжный не впервые видел, как развертывается в боевой порядок и как нацеливает свой ужасающей силы удар по узкому месту обороны наших войск немецкий танковый клин, чтобы, пронзив оборонительные рубежи, врубиться в глубь территории настолько, насколько подсказывал сделанный в штабах здравый расчет, а затем охватным маневром соединить фланги с группой своих войск, наносящих удар где-то в другом месте. Но наносится ли сейчас этот смежный удар? И где именно? Ведь Смоленск можно охватить и с севера и с юга... Впрочем, сии вопросы томили Колодяжного подспудно, ибо даже точные ответы на них никак не облегчали его положение: ведь от него, старшего лейтенанта, кажется, ничегошеньки не зависело. Разве что Иванюта действительно сумеет вывести колонну Кучилова за Днепр, в тылы частей генерала Чумакова... Как там нужно сейчас горючее! Пусть на несколько часов, на день, на сутки, но задержали б продвижение врага к Смоленску в своей полосе обороны. Значит, Колодяжный любой ценой должен остановить эти немецкие танки, иначе колонне с горючим не уйти за Днепр.

А сзади, на дороге за избой, все гудели тяжело груженные ЗИСы, взбираясь на холм, чтобы тут же ныр-

нуть в низину, набрать скорость и, вылетев на очередной бугор, мчаться дальше по грунтовке, через всхолмленное поле, над которым гуляют маленькие вихри. Она выведет их на задымленную переправу...

Итак, от него, Колодяжного, тоже что-то зависит.

— Снаряды есть?! — торопливо спросил он у сержанта, который, не зная, что делать, ибо путь к батареям его дивизиона перехвачен немецкими танками, с тревожной вопросительностью смотрел в лицо Колодяжному.

— Есть снаряды, товарищ старший лейтенант! — Сержант указал на высившиеся в кузове ЗИСа деревянные ящики. — Но мы здесь как вша на пупе! После первого выстрела засекут и сотрут снарядами в порошок. А окоп рыть некогда.

— Орудие, к бою! — скомандовал вместо ответа Колодяжный, оглянувшись на танки; расстояние до них было около двух километров.

Бойцы орудийного расчета, стоявшие у станин с откинутыми прави́лами и у колес пушки, с готовностью повиноваться глядели на сержанта.

— Тогда укажите и огневую позицию, — с укоризной сказал старшему лейтенанту командир орудия.

— Огневая позиция здесь, под навесом! — Голос Колодяжного все больше наливался уверенностью. — Вышибить три доски в стенке, обращенной к противнику!

Бойцы, кто взяв полено с поленницы, кто выдернув из чехла саперную лопатку, начали выламывать доски из стенки, в которую почти упирался ствол орудия.

— Это дело! — воскликнул сержант, окатив Колодяжного похвальным взглядом. — Только надо подальше откатить пушку от амбразуры, а перед стволом полить землю водой, чтоб пыль не поднималась. — Он огляделся по сторонам и увидел четырех гранатометчиков, оставленных умчавшимся к переправе Иванютой: — Братва, тащите сюда воду!

Бойцы как раз совещались, где им лучше залечь, чтобы наверняка бросать противотанковые гранаты и бутылки с горючей жидкостью. Получив приказ сержанта, они все вместе бросились к недалекому колодцу-журавлю...

В это время хозяйка избы с панической поспешностью выводила из хлева свою пятнистую коровенку.

— Возьмите себе мою Маньку, а то идолам доста-

нется, — почти требовательно обратилась она к Колодяжному, протянув ему налыгач.

— Уведите корову! И сами отсюда марш! — закричал на нее старший лейтенант. — Сейчас стрелять начнут!

— А ты не шуми, — спокойно ответила ему женщина и, сняв с рогов коровы веревку, хлестнула ею животину.

Корова лениво потрусила по склону к зелени оврага, а хозяйка стала сзывать кур.

— Утикайте скорее, да подальше! — накинулся на старую женщину сержант. — И не ругайте, что стожки сена подожжем! — Он указал на аккуратно сложенные копенки сухой травы на солнцепеке. — Чтоб пламя выстрелов маскировать!

— Палите хоть хату, если надо! — Женщина безнадежно махнула рукой и вытерла пальцами скорбно глядящие глаза в окаемке бесцветных ресниц.

— Хату?.. — Сержант озадаченно оглянулся на деревянную избу. — На фоне хорошего пожара можно б все танки перещелкать, а вспышек пушки и не заметят...

— Разговорчики! — прикрикнул на сержанта Колодяжный. — Командуйте расчетом!

— Есть командовать!.. Снять с машины снаряды!.. Машину в укрытие!.. Установить прицел!.. Поджечь сено!.. — Сержант протянул панораму подбежавшему к нему наводчику, темнолицему пареньку с разорванным воротом гимнастерки.

Водитель грузовика проворно подавал из кузова ящики со снарядами, бойцы подхватывали их, тащили к навесу и складывали у стенки, предварительно срывая верхние крышки и обнажая тускло блестевшую латунь огромных гильз. Еще несколько мгновений, и грузовик умчался за бугорок, туда, куда пулеметчик еще раньше откатил мотоцикл Колодяжного, а справа и слева неогражденного подворья начали дымиться подожженные стожки сена. Потом вокруг все замерло, затаилось. Колодяжному, стоявшему за штабелем дров у орудия с раздвинутыми станинами, то ли от бессонной ночи, то ли от волнения мнилось, будто в нем до невероятности туго что-то натянулось и надо было напрягать все силы, иначе оно оборвется и располосует ему грудь, надо предусмотреть все, что может случиться. Быстрее бы начался бой... Скорее бы первый выстрел...

И вдруг... Нет, не пушка выстрелила. Донесся раска-

тистый грохот, будто стопудовые молоты сразу ударили по чему-то огромно-железному.

— Наш дивизион бьет! — воскликнул сержант, и в его молодом голосе послышались радость, азарт, нетерпение. — Вон, глядите!

Сквозь щель в деревянной стене было видно, как над лесом, за который уползла наступавшая армада немецких танков, вспухало и расплывалось темно-сизое облако. Клубясь и поднимаясь вверх, оно, несмотря на дневное время, озарялось снизу частыми вспышками от снарядных взрывов, сливавшихся в неумолчно рокочущий гром.

— Пора и нам! — приглушенно, сдерживая нервную дрожь, сказал Колодяжный.

— Пусть ближе подставятся, — въедливо ответил сержант.

Что-то побудило Колодяжного оглянуться на недалекую избу. И то, что он увидел, будто ударило его в самое сердце, и в груди действительно словно лопнула какая-то струна, родив в голове звон и взвихрив перед глазами радужную пелену. В этой пелене будто проплыли виденные им в избе фотографии в раме на простенке — знакомые лица ребят — однокашников по училищу, очень серьезные глаза невесты в подвенечном платье и озорные — жениха, чьи-то похороны, ребенок на самодельных качелях... Может, на тех снимках вся история и судьба этого дома, хутора, этих приднепровских холмов — острогов Смоленской возвышенности. Здесь ведь начались дороги в большую жизнь не одного Димы Старостенкова, и, наверное, не один он где-то сердцем помнит порог родной хаты, видит дорогие места в весеннем убранстве... А сейчас... Сейчас Иван Колодяжный увидел, что пожилая женщина — мать Димы, приставив к темной соломенной стрехе своей избы лестницу-стремянку, выплескивала из оплетенной бутылки... Да, керосин!.. Отбросив в сторону пустую бутыль, она перекрестилась, достала из кармашка на фартуке спички и дрожащими руками зажгла...

Крыша запылала, огласив сухим треском все вокруг. А женщина с побелевшим лицом неторопливо зашла в горевший дом и вскоре вышла из него за порог, неся с собой, прижав к груди, старую темную икону с божьей матерью и такую же темную раму со знакомыми Ивану фотографиями.

«Мама!..» — непроизвольно плеснулось болью в Ива-

не. Вмиг он перенесся мыслью в родное село, где, может, и его мать в эту минуту благословляет кого-то на смертный бой. Колодяжный не слышал, как сержант отдал команды расчету. Резкий, больно ударивший по барабанным перепонкам выстрел пушки вернул его взгляд к тому, что делалось впереди. Даже без бинокля он увидел, как с переднего танка во вспышке взрыва снаряда слетела и кувыркнулась в воздухе башня, смахнув на землю черные фигурки десантников...

Начался поединок замаскированного пожаром одного-единственного орудия с танковым немецким батальоном.

16

Вчера немцы понесли большие потери в танках не только от кинжального удара из засады артиллерийского дивизиона майора Быханова. Выполняя приказ генерала Курочкина, танковые дивизии полковников Грачева, Корчагина и Мишулина, действуя северо-западнее района, где оборонялись части генерала Чумакова, решительными контратаками тоже сбили наступательный темп механизированных войск противника, а в районе Литивля заставили их попятиться. Сегодняшние попытки наших частей контратаковать в направлениях Рудковщина, Горки, Ленино и Красный вновь смешали карты немецкого командования. В первой половине дня вражеским войскам вместо запланированного наступления пришлось отбивать контратаки 20-й армии, вести разведку ее флангов и наносить бомбовые удары по нашим тылам.

Все это, вместе взятое, дало небольшую передышку войсковой оперативной группе генерала Чумакова и позволило ей основательнее закрепиться на оборонительном рубеже вдоль восточного берега Лосвинки. Федор Ксенофонтович, воспользовавшись затишьем, поспешил в овраг, чтобы увидеть пленного полковника Курта Шернера.

И вот они сидят друг против друга в штабном автобусе. Между ними столик, а на столике, ближе к Шернеру, его серая фуражка с высокой тульей, черным лакированным козырьком и фашистским знаком на кокарде; этот знак покрывал собой изображение земного шара, в который вонзил когти орел с распростертыми крыльями. Полковник Шернер еще отутюженный, па-

радный, источающий чуть уловимый аромат французских духов. На его красивом, с правильными чертами лице будто появилось успокоение, но в серых колющих глазах — пытливость и настороженность. Чумаков внешне проигрывал Шернеру. Спать приходилось в обмундировании, и оно, несмотря на неизношенность, выглядело помятым, глаза Федора Ксенофонтовича светились душевной болью, коричневое от загара лицо с перебинтованной щекой было мрачным и усталым.

В автобусе, кажется, никогда и не было оконных стекол, а в стенах будто всегда светились рваные дыры — следы осколков; из посеченных сидений белыми клочьями топорщилась вата. Шернер, окинув все это коротким взглядом, остановил колючие зрачки на Чумакове. А Федор Ксенофонтович все переживал про себя едва не допущенную оплошность: когда он спустился в овраг и подошел к сидевшему на пне Курту Шернеру, с любопытством вглядываясь в лицо пленного, узнавая и не узнавая своего старого знакомого, тот вскочил и кинулся к нему с такой прытью, что охранявшие его два красноармейца опешили.

— Здравствуй, мой дорогой Фиодор! — по-немецки залопотал Шернер, протягивая Чумакову обе руки.

Федор Ксенофонтович от неожиданности чуть было тоже не протянул навстречу руку, даже качнулся вперед, но все-таки успел сдержать себя и суровым, почти злым взглядом остановил фашиста.

— Ведите себя как полагается пленному врагу! — резко, с трудом переходя на немецкий, сказал Федор Ксенофонтович. — Я для вас генерал Красной Армии, и только! — Затем повернулся к красноармейцам, изумленно наблюдавшим эту сцену, и поодаль от них увидел майора Рукатова в каком-то растерзанном виде, почему-то с опухшим лицом, слезящимися глазами. Задержав на майоре вопросительный взгляд, ощутил зреющую, какую-то тревожащую мысль, но сосредоточиться на ней не смог и приказал караульным: — Проводите пленного в автобус! — и первым зашагал к машине, стоявшей под молодыми соснами в кустах орешника.

В автобусе гулял легкий сквознячок, разнося ароматный дым сигареты, которую закурил с разрешения генерала Чумакова полковник Курт Шернер. Он же первый и начал разговор:

— В плен я попал по оплошности сопровождавшей меня охраны. Но это перст судьбы: она милостиво пред-

оставила мне возможность отблагодарить вас, господин генерал, за вашу кровь, которая течет во мне.

— Я отдавал кровь не врагу, а офицеру дружественной моей стране Чехословакии! — оборвал Шернера Чумаков.

— Полагаю, вы не будете раскаиваться, что приняли меня на маневрах Красной Армии не за того, кем я был. — Шернер с вкрадчивостью посмотрел в хмурые глаза Федора Ксенофонтовича. — Верно, уже тогда мой ум, мое сердце принадлежали великой Германии... И, между прочим, именно после моего пребывания на киевских учениях была сформирована первая часть особого назначения германских военно-воздушных сил под командованием моего старого друга генерала Курта Штудента. Затем мы пошли дальше вас! Кроме парашютно-стрелковых полков, у нас родились парашютные батальоны — истребительно-противотанковый, артиллерийский, саперный, связи... И все это, повторяю, родилось после того, что я увидел в России в тридцать пятом году! — Шернер выглядел очень довольным, будто и не находился в плену.

— Я догадываюсь, что идея механизированных корпусов и способ их применения тоже украдены фашистами у Красной Армии, — недобро произнес Чумаков.

— Не надо грубых слов! — Шернер поморщился. — При чем здесь воровство? Если велосипед изобретен, умному глазу достаточно увидеть его со стороны... Такие вещи, как механизированные корпуса или десантные операции, подобно той, которую мы с вами наблюдали шесть лет назад восточнее Киева, под колпак не спрячешь...

— Если б я тогда знал ваше истинное лицо... — Чумаков, кажется, даже скрипнул от досады зубами, вспоминая проведенные вместе с Куртом Шернером дни в Киевском гарнизонном госпитале.

— Тогда бы вы сейчас не имели такой счастливой возможности, какая вам представляется! — воскликнул Шернер, глядя на Чумакова как на неразумного ребенка.

— Какой возможности? — удивился Федор Ксенофонтович.

— Прекратить бессмысленное сопротивление и сдаться на милость победителей. — Лицо Шернера вдруг сделалось строгим и будто вытянулось. — Вам лично гарантирую полную безопасность и самое прекрасное отношение немецкого командования.

— Кто это вас уверил, что вы победители?! — Слова Чумакова прозвучали с подчеркнутой резкостью, может, потому, что его дразнил запах сигаретного дыма; ему очень хотелось курить, а папиросы он забыл в блиндаже.

— Не будьте слепцом! — Шернер стишил голос, как заговорщик: — Оглянитесь вокруг!.. Красная Армия в агонии — она разгромлена по частям! Вы же профессионал высшего класса и понимаете, что произошло: в приграничных районах мы разгромили не приведенные в боевую готовность первые эшелоны ваших армий прикрытия. Затем нанесли встречные сокрушающие удары по вторым эшелонам этих армий. Не так ли?.. А сейчас в глубине вашей территории мы заканчиваем уничтожение войск второго эшелона ваших приграничных округов. Кто это может оспорить?!

Чумаков удрученно молчал не потому, что пленный говорил страшную правду; его поразило четкое мышление Шернера и ясный в своей простоте и в понимании рисунок происшедшего — грандиозно-трагического, но, конечно же, не окончательного.

— Подобной катастрофы еще не знала история войн! — возвысив голос, патетически продолжал Шернер. — По нашим сведениям, за первые десять дней войны русские потеряли свыше трех тысяч самолетов!.. Такие потери можно восполнить только за несколько лет!.. А танки? Ведь у вас к началу войны было по количеству превосходство в танках! Правда, если учитывать машины старых образцов, у вас не было превосходства в ударной танковой силе. Но главное: мы сумели так сгруппировать свои войска, что на том же Брестском направлении у нас танков оказалось вдвое больше, чем у вас! Значит, и превосходство в оперативном маневре на нашей стороне?.. Так что, господин генерал, ваша карта бита!

— Война не картежная игра!

— Нет, игра. Только более сложная. Игра умов. Борьба доктрин! С кем вы хотите соперничать в этой войне? С немецкими генералами, которые уже с пеленок постигали военную науку?! А вы, простите меня, как и все ваши маршалы, до зрелого возраста в пастухах или в трактирных мальчиках ходили, а то, чему научились потом, — верхушки науки, знания для первой необходимости... Не сердитесь, я говорю откровенно, веря в ваше благоразумие... Ведь мы хорошо изучили Красную Армию, прежде чем решиться на войну. Что касается

вас как личности, то вы — исключение, я помню наши споры в госпитале. — Шернер в запале не замечал, что впадает в противоречие. — А вокруг вас дикари, порождение чуждой нам жизни... Сегодня из окна машины, на которой меня привезли сюда, я наблюдал, как ваш офицер, наевшись сухого лимонадного концентрата из моего саквояжа, напился воды и чуть не взорвался! Ужас!.. Зрелище такое, что с ума можно сойти! Вы отстали от Европы на столетие! Вам не на кого опираться, и сейчас нет другого выхода, как покориться судьбе и довериться мне...

— Я бы и вовсе не стал с вами встречаться, — перебил Шернера Федор Ксенофонтович. — Но у меня выдалась минута времени, да и побудило к встрече элементарное человеческое любопытство: хотелось узнать, почему это бывший полковник чехословацкой армии оказался в фашистском мундире... И коль мы с вами заговорили, у меня есть потребность ответить на ваши вопросы и аргументы, возможно, ответить даже не столько вам, сколько самому себе... Многое, о чем вы сказали, полковник Шернер, правда... Да, а почему до сих пор вы полковник? Помнится мне, вы жаловались, что в чехословацкой армии вас обходили чинами...

— Быть полковником германского вермахта выше, чем фельдмаршалом в чешской!

— Ну, это еще бабка надвое ворожила. — Чумаков едко засмеялся. — Вам это кажется в угаре первых побед. Но война, полковник, только начинается. Наши главные силы не здесь, а там, в глубине. — Он кивнул головой на восток. — Москва только поднимает их, и победы вам не видать.

— Москва не сегодня-завтра будет у наших ног!

— Не знаю, дойдут ли немцы до Москвы, но в Берлин мы придем! — Чумаков опять засмеялся — уже с горечью: — Чтоб научить вас наконец уму-разуму.

— Господин генерал... Фиодор Сенофонтовиш!.. Вы что, действительно не понимаете своей обреченности? — Шернер смотрел на Чумакова почти с испугом, и лицо его покрылось испариной. — Вы же истинно военный человек! Сегодня мы возьмем Смоленск! Вы в мешке!.. И никуда вам отсюда не уйти!.. — Пленный как-то умоляюще протянул к Чумакову руки.

— Ну что ж, тогда в Берлин придут другие русские, а мы достойно умрем на поле брани. — В словах Чумакова звучали спокойствие и сила.

— Зачем умирать?! — Шернер начал терять равновесие. — Вы будете первым большевистским генералом, проявившим благоразумие! Вам поставят памятник за сохранение жизни ваших и наших солдат!

— Памятников за предательство не ставят! — Чумаков поднялся, чтобы покинуть автобус.

В глазах Шернера метнулся ужас. Он тоже вскочил на ноги и, прижав ладони к груди, панически спросил:

— Тогда как вы поступите со мной?!

— Сейчас вас допросят как военнопленного.

— Вам ничего не дадут мои сведения! Через час здесь будут наши войска!

— Если до прорыва немецких войск мы не успеем отправить вас в тыл, я вынужден буду отдать приказ о расстреле... Законы войны неумолимы. — Чумаков пошел к открытым дверям, сквозь которые были видны стоявшие недалеко Карпухин, Рейнгольд и Рукатов. — Можете приступать к допросу! — крикнул им Федор Ксенофонтович и шагнул на ступеньку.

— Это же безрассудство! — истерично закричал вслед ему Шернер. — Вы все равно погибнете! Все погибнете!..

Уже отойдя от автобуса, Чумаков повернулся к пленному:

— Вот вы, Шернер, хвалились, что постигали науки с пеленок... А помните слова Фемистокла, обращенные к афинянам? — Видя растерянность в глазах Шернера, Федор Ксенофонтович вновь подошел к автобусу, уже вместе с Карпухиным, Рейнгольдом и Рукатовым, и с удивлением спросил: —Вы не знаете, кто такой Фемистокл? Это было в четыреста восьмидесятом году до нашей эры, когда у острова Саламин... Слышали о таком?.. В Эгейском море... Восемьсот персидских кораблей царя Ксеркса напали на греческий флот в триста пятьдесят триер под командованием Эврибиада, который действовал по плану афинского стратега Фемистокла. И греки победили, казалось, в абсолютно безвыходном положении... Ну, не помните?

Шернер, стоя в глубине автобуса, молчал, взволнованно раздувая побелевшие ноздри.

— Вот тогда, после этой удивительной победы греков над могущественным врагом, Фемистокл сказал своим афинянам: «Мы погибли бы, если б не погибали!..» Вдумайтесь в эти слова, полковник Шернер!..

Не успели полковник Карпухин и младший политрук Рейнгольд в присутствии майора Рукатова приступить к допросу пленного немецкого полковника, а генерал Чумаков отойти от автобуса и двух десятков шагов, как по оврагу из конца в конец тревожно пронесся сигнал «Воздух!» — звон подвешенной снарядной гильзы, по которой били чем-то железным. И тут же послышался близкий и густой рев моторов. Отражаемый крутостями изломанного оврага, он будто наплывал со всех сторон.

— Сюда, товарищ генерал! — позвал Федора Ксенофонтовича боец в замусоленном синем комбинезоне, указывая на вырытый у замаскированного грузовика ровик.

Генерал Чумаков подбежал к ровику, столкнул в него бойца и сам спрыгнул на дно. Затем приподнялся и увидел невысоко в небе приближающуюся уже на развороте шестерку «юнкерсов». Сомнений не было: немцы заметили в овраге машины, и вот уже первый бомбардировщик круто нырнул вниз, оглашая все вокруг устрашающе-стенящим, нарастающим воем. За ним пошел в пике второй, третий бомбовозы... Чумаков кинул тревожный взгляд в сторону автобуса и увидел, как из его дверей с панической поспешностью ныряли прямо в щель Рукатов и Рейнгольд... И тут же земля тяжело колыхнулась, и ужасающей силы взрыв помутил сознание Федора Ксенофонтовича.

— «Пятисоткой» угостил, — услышал будто из-за стенки хриплый голос бойца, с которым сидел рядом на дне ровика...

Земля под ними опять колыхнулась, потом мелко затряслась, словно телега на булыжной мостовой, а взрывы бомб слились в тяжелый, давящий до помутнения в голосе грохот. Он ворвался в ровик горячим ураганным ветром, стремясь, кажется, вышвырнуть оттуда людей как соломинки...

Пробомбив с первого захода овраг, «юнкерсы» сделали разворот в сторону дороги Красное — Гусино и исчезли из поля зрения. Но тут же они вновь напомнили о себе донесшимся гулом бомбежки.

Когда Чумаков выбрался из ровика, то увидел сквозь оседающую пыль, что вокруг действительно прошелся чудовищной силы ураган: дымящиеся воронки, сваленные деревья, засыпанные мелкой земляной крошкой и пылью листья кустов и деревьев... Услышал крики раненых людей, ржание искалеченных лошадей, треск огня

над полыхающей разбитой автоцистерной... И едкий смрад сгоревших взрывчатки и краски.

Там, где только что был автобус, особенно густо клубилась пыль, смешанная с гарью. Рядом, у полусваленной березы, стоял Рукатов. Из ровика с трудом выбирался, будто переломленный пополам, младший политрук Рейнгольд. У него из носа и ушей текла кровь.

Вдоль оврага вдруг подул ветерок, оттеснив дымную пелену, и генерал Чумаков увидел широкую, двухметровой глубины, воронку. В ее покатые стенки чудовищной силой взрыва были втиснуты куски жести, обломки железа, ошметки дерматина. Можно было только догадаться, что это остатки их штабного автобуса. Ни от полковника Карпухина, ни от пленного Курта Шернера — ни следа. Только на ветвях молодых сосен, устоявших при взрыве, висели какие-то обрывки да покачивалась на сучке продырявленная немецкая фуражка с высокой тульей и фашистским знаком на кокарде.

17

На дорожных выбоинах под Мишей Иванютой жестко встряхивалась коляска мчавшегося во всю силу мотоцикла, и он ухватисто держался за ее железную скобу. Упругий, прогорклый от дыма и пыли ветер хлестал Мишу по лицу, слепил глаза, с шипением врывался в уши. Управлял мотоциклом широколицый курносый лейтенант из пункта сбора донесений — офицер связи, еще несколько дней назад именовавшийся «делегатом связи». Лейтенант вез в штаб фронта пакет от генерала Чумакова — важные документы, изъятые у пленного немецкого полковника Курта Шернера. Штаб фронта надо было искать где-то в окрестностях Вязьмы — путь неблизкий, а Миша Иванюта останется в Смоленске, где он должен будет раздобыть газетной бумаги и напечатать в областной типографии хотя бы несколько сот листовок с последними сводками Совинформбюро — таков приказ полкового комиссара Жилова.

Тревожно и знобко на душе у Иванюты. Эта тревога родилась в нем, когда получал задание от Жилова. Крупное суровое лицо полкового комиссара было гладко выбрито, и под его задубелой кожей часто взбухали желваки. Не глядя на Мишу, Жилов взял у него трофейный автомат и сказал:

— Обходитесь наганом, а мне, может, больше приго-

дится. — Затем снял с шеи Иванюты бинокль, тоже трофейный, и протянул его проходившему мимо майору Думбадзе: — Возьми, майор!

— Благодарю, товарищ полковой комиссар! — Думбадзе обрадовался биноклю, как мальчишка. Ведь восьмикратный!

— Это грабеж, — несмело запротестовал Иванюта, укоризненно глядя на Жилова. — Я в бою добыл...

— В тыл едешь! — Полковой комиссар вдруг посуровел, но эта его суровость показалась Мише притворной. — Лучше проверь, не потерял ли адрес, который тебе дал. И помни, о чем договорились...

Последние слова Жилова полоснули по сердцу младшего политрука Иванюты тревогой. Миша не забывал, что жена и двое детей полкового комиссара Жилова остались где-то западнее Минска и что комиссар надеется только на чудо или на счастливый случай, которые могут вернуть ему семью. Недавно Жилов попросил Мишу записать новосибирский адрес родителей его жены, и, если с ним, Жиловым, что-либо случится или война разбросает их с Мишей в разные стороны, Миша, когда начнет без перебоев работать полевая почта, должен будет написать в Новосибирск о Жилове и его семье все, что знает...

Мотоцикл мчался, не сбавляя скорости, и Смоленск открылся неожиданно. Миша слышал, что немецкая авиация сильно разбомбила и сожгла город, но увидеть такое скопище руин не ожидал. По заваленной упавшими стенами, битым кирпичом, стеклом, щебенкой и бревнами улице мотоцикл поехал тише. Тротуары были загромождены, и люди ходили по мостовой.

Миша узнавал и не узнавал Смоленск. Многие кирпичные дома выглядели вроде и целыми, но были без крыш, и внутри их сквозь пустые, обгорелые окна и двери зияла черная пустота, вдоль фундаментов домов сверкали раскатившиеся круглинки оплавившегося стекла, словно застывшие отплаканные слезы.

У Миши мелькнула беспокойная мысль: может, также обрушено и здание типографии; тогда он напрасно примчался в Смоленск.

Когда мотоцикл у очередного поворота притормозил, Иванюта крикнул бородатому дядьке, везшему на тачке ножную швейную машинку:

— Папаша, областная типография цела?

— Кажись, цела.

— А Дом Красной Армии?!

— Нет... Вся Советская улица от угла Ленинской вниз почти сплошняком разбита.

— А училище военно-политическое?.. Рядом с бывшим штабом Белорусского округа?!

— Не знаю!

Миша попросил лейтенанта свернуть вправо и провезти его по знакомой улице мимо родного училища. Сколько по этой мостовой отмаршировал он в ротном строю, готовясь к парадам!.. Еще издали увидел в тупике у знакомых железных ворот человека в гражданской одежде и с карабином в руке, приметил блестевшие на солнце и перечеркнутые наклеенными крест-накрест бумажными полосами стекла в окнах учебного корпуса... Цело училище!.. И вдруг подумал: «Не разбомбили... Для себя берегут, под какой-нибудь фашистский штаб?»

Мотоцикл свернул налево и через минуту вынес своих седоков на перекресток улиц Ленина и Советской. Здесь Иванюта выбрался из коляски и попрощался с неразговорчивым лейтенантом.

Лейтенант погнал мотоцикл по наклонившейся к Днепру Советской улице навстречу своей скорой гибели, а Миша Иванюта, расправив под ремнем гимнастерку, оглянулся на угол дома, где должны были висеть знакомые часы. Они оказались на месте, но, судя по обвисшим стрелкам, стояли. Под эти часы приходил Миша однажды на свидание с Валей Красновой, студенткой пединститута. Это было после того, когда из села ему написали, что его Марийка вышла замуж. Правда, с Валей он познакомился еще до замужества Марийки — на встрече литкружковцев пединститута и их училища. Лобастенькая, остроносенькая, Валя не поразила особой красотой Мишу, но уж очень хорош был взгляд ее серых глаз, оттененных длинными ресницами и тоненькими шнурочками бровей, и голос у Вали был мягкий, тревожащий...

Валя пришла тогда к нему на свидание со своей подружкой Женей, которая с первого взгляда ужалила сердце Миши своей миловидностью. Девушки сразу же предложили идти в кино — на «Светлый путь». Но лучше б не ходили. В зал зашли с опозданием, когда погас свет; билетерша на ощупь посадила их на места, а Миша, севший между девушками, в темноте перепутал, с какой стороны была Валя. И начал прижиматься к плечу Жени, взяв пальцы ее руки в свою ладонь. А

когда вспыхнул свет, Валя уже не хотела знаться ни с ним, ни с Женей: надув губы, первой заторопилась к выходу. За ней устремилась и Женя, насмешливо помахав Мише ручкой: мол, за двумя зайцами, мальчик, не гонись.

Сейчас Миша вспоминал об этом как о забавном случае, а тогда напереживался. Больше не звонил Вале в студенческое общежитие. Однако свой новый рассказ назвал «Валя», дав это имя придуманной им героине, которая поссорилась и порвала со своим возлюбленным, но, когда узнала, что он лишился на финском фронте обеих рук, помчалась к нему в госпиталь, в далекий Ленинград. На очередном занятии литкружковцев показал свое сочинение сотруднику газеты «Рабочий путь» поэту Николаю Грибачеву, который руководил их кружком, и вскоре рассказ, сильно отредактированный, появился на литературной странице «Рабочего пути».

Миша очень надеялся, что Валя Краснова, прочтя рассказ, устыдится своей обиды на него и хотя бы напишет ему письмо. Но не дождался, а вскоре закончил училище и уехал к месту службы.

И вот он вновь в Смоленске, искалеченном, но живом. Миша заторопился к зданию редакции и типографии газеты «Рабочий путь», чувствуя, как под легкой повязкой, скрытой на левом предплечье рукавом гимнастерки, заныла осколочная рана. И Миша стал думать о том, с каким бы бравым видом явился он сейчас в «Рабочий путь», если б повязка была на виду! За этими мыслями Иванюта не заметил, что на противоположной стороне улицы остановился грузовик; из его кузова начали вылезать юноши, подростки, женщины.

— Миша! — вдруг послышался девичий голос.

Иванюта оглянулся на зов и обомлел: к нему спешили с узелками в руках Валя и Женя — обе до черноты загорелые, в светлых косынках, в спортивных трикотажных костюмах синего цвета и в тапочках. Нетрудно было догадаться, что девушки возвращались с окопных работ.

Так и оказалось: Валя и Женя, запыленные, усталые, приехали из-под деревни Нижняя Ясенная, где рыли противотанковые рвы. Сейчас они торопились в свое общежитие, еще не зная, уцелело ли оно от немецких бомб, и вдруг увидели своего старого знакомого, теперь младшего политрука, Иванюту.

Поздоровавшись, обрушили на него ворох вопросов:

«Где воевал?», «Далеко ли немцы?», «Был ли, как и они, под бомбежками?» И в эти вопросы девушки вкладывали недоумение и даже скрытую насмешку, ибо на Мише было совсем новенькое, еще не обмятое обмундирование — серая шевиотовая гимнастерка и галифе синего габардина — все из того же интендантского склада, найденного в лесу Колодяжным.

Миша, не улавливая истинного смысла вопросов Вали и Жени, отвечал им спокойно, степенно, с этакой ироничностью человека, которому уже все нипочем после того, что успел он пережить, увидеть и перечувствовать. Выбирая удобный момент, чтоб сказать девушкам о своем пусть и легком, но все-таки ранении, Миша решил немножко проводить их.

У Лопатинского сада столкнулись с патрулями.

— Товарищ младший политрук, предъявите ваши документы.

Миша увидел перед собой невысокого капитана с черными петлицами артиллериста на линялой гимнастерке и двух красноармейцев, держащих карабины в руках. Лицо у капитана огрубелое, глаза сонные, неохотно раскрывающиеся; в их черных зрачках вспыхивали недобрые огоньки.

— Почему так грозно, товарищ капитан? — Уязвленный Иванюта задал этот вопрос с надменным смешком, чувствуя свою защищенность имевшимися у него документами. — Документов много! Времени мало!

— А с девками шляться по городу времени хватает? — въедливо спросил капитан. Он уже придирчиво, будто проснувшись, рассматривал Мишины документы. — Там кровь льется, каждый человек на счету.

— Кто вам дал право так разговаривать со мной?! — взорвался Миша, чувствуя, как у него запылали щеки: стерпеть такое обращение с собой при девушках он не мог. — Я только сейчас с фронта, из-под Красного!

— Оно и видно, что человек прямо из окопа. — Капитан скользнул колючим взглядом по новенькому обмундированию Иванюты.

— Конечно, из окопа! — Миша кипел от негодования. — Это вы тут отсиживаетесь по подвалам и от безделья фронтовиков шельмуете.

— Прекрати разговоры! — Капитан почти закричал на Иванюту, обдав его уничтожающим взглядом. — Документы-то липовые!.. Листовки ему поручено отпечатать... В Красном мог печатать!

— В Красном уже немцы!

— Что?! Ты еще и панические слухи?!

В это время рядом с ними затормозила черная «эмка».

— Что тут у вас? — спросил из нее, распахнув дверцу, майор в форме войск НКВД.

— Кажется, дезертир и провокатор, товарищ майор! — как-то буднично ответил капитан.

Мише легче было провалиться сквозь землю, чем вытерпеть все это при девушках, тем более что Валя и Женя уже сами смотрели на него с недоверием. Он готов был схватиться за наган, но патрульные красноармейцы натренированно заломили ему за спину руки, смахнули с плеч портупеи полевого снаряжения, сняли вместе с наганом и сумкой ремень. Миша с обмершим сердцем понял, что сопротивляться бесполезно и что никакие объяснения сейчас не помогут.

— Садись-ка, голубок, в машину! — строго приказал майор Иванюте.

Капитан отдал майору документы, оружие и снаряжение задержанного, а Миша, потрясенный всем происшедшим, беспомощно, с невыносимым стыдом посмотрел в сторону девушек и сел, как ему было велено, на переднее сиденье «эмки» рядом с шофером. Только и сказал, чтоб услышали Валя и Женя:

— Товарищ майор, этот капитан сумасшедший или... — Он не успел найти еще какое-то слово, как машина рванулась с места.

По дороге младший политрук Иванюта, несколько поостыв, повернувшись к майору и умоляюще глядя в его тощее и веснушчатое лицо, рассказал, как и зачем появился в Смоленске, почему на нем новое обмундирование, объяснил также, что с девушками, которые сейчас были свидетелями его позорного задержания, он дружил еще до войны, когда был курсантом.

— Назови фамилию начальника училища, — потребовал майор, изучая тем временем взятый в полевой сумке блокнот Миши.

— Полковой комиссар Большаков! — с готовностью ответил Иванюта и заодно торопливо назвал фамилии других начальников — политотдела, учебной части, боепитания, перечислил знакомых командиров и преподавателей...

— Стишками балуешься? — ухмыльнулся майор, наткнувшись в блокноте на стихи, сочиненные Мишей сего-

дня утром, когда он на полустанке ждал Колодяжного, искавшего бензин и солярку.

И тут Мишу осенило:

— Товарищ майор! Заедем на минутку в газету «Рабочий путь»! Там меня знают два всем известных Николая — поэты Грибачев и Рыленков!.. Вот увидите, что я свой!

Ссылка на местных поэтов наклонила чашу весов в пользу Миши.

— Я же печатался в «Рабочем пути»! — Миша почувствовал колебания майора. — Последний мой рассказ в этом году был, кажется, в январе! Назывался «Валя»!

— Это не про девушку, которая поехала к бойцу в госпиталь, узнав, что его сильно покалечило?

— Точно! На финском фронте хлопец потерял обе руки!

— Дерьмовенький рассказ. — Майор снисходительно заулыбался. — Сопли-вопли! Ни характера парня, ни натуры девушки.

— А Грибачев хвалил на литкружке! — соврал Миша от отчаяния. — Очень даже похожа девушка на настоящую Валю. Это одна из тех двух, что сейчас стояли...

— Серьезно? — заинтересовался майор. — Какая же?

— Та, что менее красива. Я когда-то ухаживал за ней.

— Почему ж красивую не выбрал?

— Не по зубам. — Миша искренне вздохнул. — У нее старший лейтенант был из артучилища.

Машина сбавила ход и повернула к открытым воротам, перед которыми был опущен полосатый шлагбаум. Усатый часовой, стоявший у вереи, торопливо поднял шлагбаум и пропустил машину во двор — просторный, зеленый. В углу двора, в тени стены обрушенного бомбой соседнего дома, сидело на бревнах десятка два-три мужчин разного возраста — военных и гражданских, тоже, видимо, задержанных на улицах города.

— Мы на гауптвахту приехали? — уныло спросил Иванюта.

— Все тут — комендатура, гауптвахта, сборный пункт, — ответил майор, первым выходя из машины.

— Товарищ майор, — Миша придал своему голосу

жалостливый тон, — зачем же меня с таким позором: без ремня, будто я преступник...

— Ладно, надевай свою амуницию. — Майор кинул ему на колени снаряжение вместе с полевой сумкой и кобурой с наганом. — И документы держи... Верю! Но все-таки позвоню в «Рабочий путь». Смотри, если что...

Миша проворно надел ремни и вместе с майором направился в двухэтажное каменное здание. Миновали лестничную клетку и прошли в коридор, мимо часового, отдавшего майору честь: «по-ефрейторски на караул». Миша увидел по одну сторону коридора длинную шеренгу дверей, а в конце — окно с железной решеткой.

— Обожди тут, — приказал майор и, пройдя по коридору, исчез в каком-то кабинете.

Время тянулось томительно медленно. Миша успел перечитать на стене все инструкции по гарнизонной службе, изучить разные плакаты, прошагать много раз от часового у дверей до окна с решеткой, а майор все не появлялся. Стала беспокоить мысль: «Вдруг ни Грибачева, ни Рыленкова нет в Смоленске? А если есть, то как они могут подтвердить по телефону, что я именно и есть тот самый литкружковец Иванюта?»

Проходя вновь к дальнему окну, Миша, столкнулся с вышедшим из крайнего кабинета щуплым военным в пилотке, хлопчатобумажной гимнастерке, подпоясанной брезентовым ремнем; на рукавах — звезды политработника, а в петлицах — по две шпалы.

«Батальонный комиссар из призванных», — отметил про себя Миша и небрежно сделал шаг в сторону: он скептически относился к некадровым военным.

Батальонный комиссар задержался в открытых дверях и кому-то сказал в комнату:

— Не поверю, чтоб военинженер Кучилов не дал о себе знать в комендатуру!..

«Вместо майора вписывай фамилию военинженера Кучилова!» — вдруг вспомнилась Мише фраза, сказанная ему сегодня утром старшим лейтенантом Колодяжным: это для того, чтоб он, Миша, заполнил чистый бланк ордера на арест несговорчивого начальника склада ГСМ.

— Еще раз посмотрите, может, где отмечено, кто и когда разыскивал штаб Шестнадцатой армии! — продолжал с порога батальонный комиссар. — Запомните фамилию: «Кучи-лов!.. От слова «куча»! — И он, хлопнув дверью, зашагал к выходу.

— Товарищ батальонный комиссар, минуточку! — окликнул его Миша, еще не зная, что сейчас скажет.

Батальонный комиссар остановился уже у часового и, щурясь на приближающегося младшего политрука, недовольно спросил:

— Что вам?!

— Вы ищете военинженера Кучилова?.. Такой огромный, красноносый?..

— Совершенно точно!

Несмотря на царивший в конце коридора сумрак, Миша заметил, как в маленьких глазах батальонного комиссара полыхнули огоньки.

— Вам что-нибудь известно о Кучилове?! — Батальонный комиссар с надеждой взял Мишу за руку повыше локтя.

— Осторожно, тут рана. — Иванюта поморщился, погладил повязку под рукавом и снисходительно сказал: — Да, могу дать полную информацию. Карта у вас есть?

— Есть карта! Пойдем во двор, на свет! — Они прошли мимо отступившего в сторону часового, и во дворе Иванюта рассказал батальонному комиссару, что сегодня утром, когда к хутору, где в овраге стоял на колесах дивизионный склад ГСМ, подошли немецкие танки, он, младший политрук Иванюта, лично провел колонну Кучилова через днепровскую переправу в расположение тылов войсковой оперативной группы генерал-майора Чумакова. И показал на карте тот самый хуторок, место переправы и район войсковых тылов, куда прибыла автоколонна склада ГСМ.

Подрагивающим в руке цветным карандашом батальонный комиссар торопливо делал на карте пометки и, будто испытывая жгучую боль, причитал:

— Ах ты, мать родная, совсем рядом был!.. Чего его черти занесли в ту сторону?.. Ах, головотяп! Ах, пареная репа!

— Но получить горючее не надейтесь, — уточнил на всякий случай Иванюта.

— Это как же?! — испуганно, почти шепотом, спросил батальонный комиссар. — У меня приказ самого члена Военного совета товарища Лобачева: из-под земли достать!

— Горючее раздали по частям и разлили в баки машин и танков!

— Но за такое самоуправство полагается трибунал!.. Как, говоришь, фамилия генерала?

Слова о трибунале смутили Мишу, и он, прежде чем ответить на вопрос, счел нужным сделать разъяснение:

— Горючее могло попасть к немцам, и у Кучилова другого выхода не было! Только отдать его ведущим бой частям... Иначе сам пошел бы под трибунал!

— Как фамилия генерала?!

— Чумаков, — неохотно ответил Иванюта.

Сделав запись на чистом поле карты, батальонный комиссар резко повернулся и почти побежал обратно в здание.

— Разрешите мне быть свободным?! — крикнул ему вдогонку Иванюта, кося загоревшимся глазом на часового у недалекого шлагбаума. Но входная дверь уже захлопнулась за батальонным комиссаром, и Миша еще громче отчеканил: — Есть быть свободным!

Почти строевым шагом подошел младший политрук Иванюта к часовому — усатому мужику в тесном обмундировании; не удосужив его даже взглядом, с напускной деловитостью и замирающим сердцем от опасения, что его остановят, нырнул под шлагбаум.

Оказавшись на улице и чувствуя на своей спине растерянный взгляд усача, Миша заставил себя остановиться. Взглянув на руку, словно на часы, которых он сроду не имел, затем озабоченно поскреб затылок, будто на что-то решаясь, и зашагал прочь.

За углом дома Иванюту ждало потрясение: в десятке шагов впереди он вдруг увидел патрулей, которые задержали его у Лопатинского сада. На счастье, патрули обратили внимание на Мишу лишь после того, когда он уже успел несколько совладать с собой и принять беспечный вид. Низкорослый капитан-артиллерист, узнав младшего политрука, тут же умерил шаг и нацелил в его лицо изучающе-настороженный взгляд.

— По вашей милости, товарищ капитан, я потерял много времени, — миролюбиво сказал ему Миша, поравнявшись с патрулями. — Скажите, пожалуйста, который час? Может, я еще успею...

Капитан молча достал карманные часы, отщелкнул крышку и поднес циферблат к глазам младшего политрука. Но Миша от скрытого волнения не мог разобраться в римских цифрах и на всякий случай встревоженно воскликнул:

— Опаздываю!.. По вашей милости! — И во всю

прыть кинулся бежать по улице, мысленно повторяя понравившееся ему выражение «по вашей милости», которое он часто слышал на занятиях по тактике от хорошего старика — преподавателя полковника Чернядьева...

Удирая подальше от комендатуры, Иванюта размышлял о том, что после стольких переживаний, какие выпали сегодня на его долю, ему должна наконец сопутствовать удача. Иначе кто же выдержит такую жизнь на белом свете даже во время войны? Судьба обязана хоть немного быть справедливой и знать меру, сколько сдюжит беды каждый человек. А ведь Миша хлебнул ее сегодня через край. Испытать такое унижение перед девчатами!.. Да и не исключено, что Валя и Женя действительно поверили дурацким подозрениям капитана из комендатуры! Хорошо, что не успел Миша выхватить наган. Подумать страшно, чем бы все могло кончиться...

Очень хотелось сейчас же появиться в общежитии пединститута, разыскать Валю и Женю, показаться им, объяснить, что произошло недоразумение и что с ним, Мишей, все в порядке... Но время, время!.. К утру надо успеть напечатать листовки! Дерущимся с врагом войскам нужны последние сводки Советского информбюро! А младший политрук Иванюта мечется, как муха на сквозняке... Прав был капитан: там кровь льется, люди стоят насмерть, а он тут за девчонками увязался, да еще страдает — видите ли, его незаслуженно оскорбили, заподозрили в дезертирстве. Позор тебе, Михайло Иванюта!.. Ведь бойцы, даже умирая, хотят знать, что они успели сделать, какая обстановка на других фронтах, чем живет народ, верит ли, что Красная Армия спасет его от рабства...

Эти укоряющие мысли терзали Мишину душу, и он, продолжая беспощадно бичевать себя, все петлял по улицам и закоулкам Смоленска, стараясь быстрее оказаться в типографии, но в то же время рискуя быть вновь задержанным.

Вдруг завыла сирена — в одном конце города, другом... Донесся прерывисто-пронзительный паровозный гудок: на Смоленск шли самолеты. Сигналы воздушной тревоги и тут же начавшаяся стрельба зениток будто встряхнули улицы — по ним забегали во всех направлениях люди, водители заторопились спрятать в тень деревьев и во дворы машины. Теперь бежавший по тротуа-

ру младший политрук Иванюта ни у кого не мог вызвать подозрений.

Пересекая перекресток улиц, Миша увидел, как в небе, среди разрывов зенитных снарядов, выстраивались в гигантский круг «юнкерсы», начиная водить свой страшный хоровод, роняющий на землю смерть. По привычке Миша сосчитал самолеты, и ему стало не по себе: сорок бомбардировщиков нырнут сейчас один за другим из поднебесной выси на город!.. Нет, уже меньше! Вон один «юнкерс» вдруг превратился во вспухающее черное облако с клубящимся в нем пламенем: из черноты облака и всплесков пламени метнулись, словно молнии, огненные стрелы и начали падать кувыркающиеся обломки: бомбардировщик взорвался на собственных бомбах от прямого попадания зенитного снаряда... А вот и соседний самолет, задетый, видать, осколками бомб, вывалился из круга и косо пошел к земле, оставляя за собой в воздухе туго натянутую, рыжеватую вожжу дыма. Чудилось, будто эта вожжа пытается удержать самолет в небе.

Улицы опустели, затаились. Мише тоже надо было искать укрытие. Но не полезет же младший политрук, как вон тот рыжебородый дворник, в канализационный колодец и не станет спрашивать у мечущихся женщин, где бомбоубежище...

Самолеты исчезли из поля его зрения, но рев моторов и завывание включенных при пикировании сирен подсказали опытному слуху Миши, что «юнкерсы» начали свою «работу». А вот и послышался свист вывалившихся из фюзеляжей бомб — вначале тихий, даже нежный, как шелест молодой листвы на ветру. Но постепенно он набирал силу и переходил в пронзительный, устрашающе-стенящий рев. Воющие бомбы — смерть с психологической начинкой... Миша шарахнулся во двор ранее разбомбленного двухэтажного дома, упал на траву рядом с цветочной клумбой, перевернулся на спину и стал смотреть в небо. По-прежнему он не видел самолетов, но фугаски уже кромсали кварталы города, стало меркнуть от пыли и гари солнце в мелеющем небе. Почувствовал, что земля под ним задергалась сильнее и застонала явственнее — значит, бомбы ложились все ближе; и казалось, что именно этот страшный, так больно бивший по барабанным перепонкам, по сердцу, по каждой клетке тела грохот взвихрял воздух и затмевал свет солнца.

Миша раньше и не догадывался, что бомбежка в городе так ужасна. За домами не видишь, куда пикирует самолет, не знаешь, где взорвется бомба, можешь попасть не только под нее, но и под падающие стены, под кирпичи, бревна, куски рваного железа... Нет, легче в поле, в окопе, даже когда вражеский летчик целится прямо в тебя.

Взрывы начали перемещаться в Заднепровье, и младший политрук Иванюта, покинув двор, помчался дальше, тревожась, что сейчас увидит типографию в развалинах. Вокруг полыхали пожары, хотя казалось — уже нечему гореть в этом каменном хаосе; были слышны взволнованные людские голоса, крики, вопли, чьи-то команды.

Иванюта прибежал к огромному и мрачноватому зданию «Рабочего пути» на верхней части Советской улицы, когда бомбежка уже стихла совсем. Цело здание!.. Не стал подниматься на второй этаж в редакцию, хотя влекло его туда, как домой, а сразу кинулся в типографию, убедив старушку вахтершу, что дело у него военное, самое наиважнейшее.

Пожилой усатый метранпаж, очень похожий на часового, стоявшего при входе на территорию комендатуры, прочитал бумагу, которую предъявил ему младший политрук Иванюта, куда-то попытался позвонить, но телефон был глух, и он, махнув рукой, крикнул через весь наборный цех, загроможденный высокими реалами со шрифтами:

— Цыбизов, срочная работа для фронта!

Из глубины цеха прибежал парнишка с испачканным типографской краской лицом — большеротый, большеглазый, с оттопыренными ушами, на которые налезали давно не стриженные белокурые волосы.

— Слушаю, дядя Вася! — Голос у Цыбизова неожиданно оказался басовитым.

— Вынь из сегодняшней первой полосы набор последних известий и разверстай на три колонки, — приказал дядя Вася.

— Считайте, уже выполнил...

— Когда примут вечернюю сводку, пусть сразу делают два набора. — Метранпаж объяснил подручному, как надо сверстать потом листовку. — А ты, молодой человек, — обратился он к Иванюте, — помаракуй, какую шапку дать листовке. Надо что-то вроде: «Хоть круть, хоть верть, а врагу смерть!»

— Придумаем покрепче! — пообещал Миша с той уверенностью, за которой чувствовалось нечто большее, на что может быть способен простой смертный.

— Поэтов наших попроси. — Метранпаж указал пальцем в потолок, где находилась редакция. — Мастера! Собачий хвост с постным маслом зарифмуют.

— Рыленков и Грибачев здесь?! — Иванюта радостно заволновался.

— А где ж им быть: днем сочиняют, ночью шпионов ловят... А сейчас в бомбоубежище вместе забавлялись считалкой-гадалкой: «попадет — не попадет...».

Для Миши Иванюты, мечтавшего о литературном будущем, каждое печатное слово, каждая строка были священны. А тут сразу два «всамделишных» поэта, которые уже имеют свои книги, печатаются в московских журналах! Миша даже мог читать на память из их сборников немало строк. Вот из «Видлицы» Грибачева:

Ой, Ладога, Ладога,
Полночь фазанья,
Рассвета
Дымок и прозрачность сквозная,
Лесные тропинки,
Седые сказанья,
Легенды,
Что бродят, дороги не зная,
Край песен текучих,
Край ветров певучих,
И света,
И тени,
И золота в тучах!

Написалось бы такое у него, Миши Иванюты, — никто бы в жизни не поверил, а он, наверное, и не выжил бы после этого: помер бы от восторга.

Но если уж говорить правду, больше всего Мишу волновало то счастливое обстоятельство, что он знал обоих поэтов лично, здоровался, случалось, с ними за руку, а Грибачев даже был его наставником в училищном литературном кружке и первым редактором его неопытных, наивных литературных начинаний. И это знакомство Миши с известными поэтами как-то по-особому будоражило его, возвеличивало в собственных глазах и даже толкало на дерзкие помыслы: если настоящие поэты ничем чрезвычайным не отличаются от обыкновенных людей, то почему бы и ему, Мише, тоже не попробовать свои силы в поэзии?..

Младший политрук Иванюта устремился по пыльной,

усеянной обрывками бумаг лестнице на второй этаж. Обычно людный коридор оказался пустым, а двери кабинетов закрытыми.

«Да тут и нет никого!» — с недоумением подумал Миша.

Торопливо прошагав по затемненному коридору, ощущая под сапогами хруст упавшей с потолка штукатурки, он почти ворвался в угловую комнату отдела культуры. И тут увидел картину, полную безмятежности: два Николая были заняты каждый своим делом. Рыленков, в массивных очках, на которые свесился темный чуб, закрывая лоб, расслабленно сидел в старом кресле и перелистывал какую-то книгу; к его толстым губам будто приклеилась незажженная махорочная самокрутка. Грибачев с бритой загорелой головой и резко очерченным худым лицом склонился за столом над рукописью. Их кабинет, раньше казавшийся Мише каким-то празднично-загадочным, сейчас был захламленным: углы завалены скомканной бумагой, на полу белое, размятое подошвами обуви крошево известки и осколки битого стекла, вышибленного волной взрыва из оконной рамы.

К огорчению Иванюты, оба Николая встретили его без особого интереса. На «здравие желаю!» младшего политрука Грибачев сонно кивнул головой, дописывая какую-то фразу, а Рыленков, подняв прищуренный взгляд и вынув изо рта самокрутку, заулыбался, обнажив крупные, чуть редковатые прокуренные зубы, с надеждой спросил:

— Спички есть?

Миша, доставая из кармана спички, увидел на столе Рыленкова раскрытую, полную махорки жестяную коробку из-под леденцов и с разочарованием подумал: «Поэты и... махра?!»

Рыленков с жадностью раскурил самокрутку, встал с кресла и, спрятав в карман своих широких брюк коробок со спичками, протянул Мише для пожатия руку. Обмениваясь рукопожатием, Иванюта заметил, что в кресле, где сидел поэт, лежала смятая в блин шляпа. Он глухо хихикнул, но сказать Рыленкову о шляпе не решился, да и не успел, ибо в это время Грибачев спросил у него:

— Ну что, брат Михайло, не можешь без нас с Рыленковым сдержать немцев? — Он обдал Иванюту взглядом серых глаз — пронзительным, несколько иро-

ничным и, кажется, уже наперед с чем-то не соглашающимся, чему-то возражающим.

— Да нет, пока держим, — с неуместной бодрецой ответил Иванюта. — Вот попутно забежал к вам...

— Попутно куда? — Грибачев остановил на нем насмешливый, с горчинкой взгляд. — На Берлин или... на Москву?

Миша уловил ядовитую шутейность в словах Грибачева и с раздражением подумал: «Нашел время для острот... Побывал бы в моей шкуре», но не решился ответить колкостью, зная прямолинейность и резкость его характера: Грибачев ведь тоже обкатан войной — участвовал в освобождении Западной Белоруссии, был на финском фронте, сиживал там в окружении, подморозил ноги. Такому растолковывать о том, что видел и пережил, бесполезно.

Грибачев словно догадался о смятении Мишиных чувств и, закурив папиросу, миролюбиво сказал:

— Ладно, пошутил... Смоленск теперь для многих стал попутным городом: с запада беженцев и раненых — будто плотину прорвало... А ты, кажется, еще не нюхал боя, судя по твоей парадности?

Миша только сейчас начал понимать, какого свалял он дурака, позарившись вчера на новое обмундирование, предложенное ему старшим лейтенантом Колодяжным.

— Нюхал, — ответил Иванюта, пересилив досаду. — От самой границы нюхаю! — Расстегнув гимнастерку, он стал сдвигать ее воротник с левого плеча, пока не забелела на руке повязка. И пояснил как о пустяке: — Вчера пришлось переодеться, а то осколки и пули живого места на обмундировании не оставили.

— Так уж и живого! — В словах Грибачева опять проскользнула ирония.

— В танке даже пришлось гореть! — с отчаянием соврал Миша, не зная, как рассказать правду обо всем том тяжком, страшном, что успел пережить за эти три недели войны. И тут же, устыдившись своего вранья, перевел разговор на другое: — Да, мало не позабыл! Вот один чудак всучил мне свои стихи. — Миша торопливо достал из полевой сумки блокнот, раскрыл его в нужном месте и протянул Грибачеву. — Взгляните, пожалуйста, Николай Матвеевич.

Грибачев взял блокнот и, увидев знакомый почерк Иванюты, с ухмылкой спросил:

— Что же это за чудак?

— Один штабист наш, — с деланным безразличием уточнил Миша.

Пробежав глазами по строчкам стихов, Грибачев хмыкнул, затем вздохнул и сокрушенно покачал головой:

— Посоветуй своему штабисту писать прозу, если не хочет быть битым... А лучше — заметки в газету. И не просто заметки, а чтоб это была литература!.. — Для убедительности он встряхнул перед собой рукой с зажатой в пальцах папиросой.

— А не полезнее ли штабисту своим прямым делом заниматься? — спросил Рыленков, взяв у Грибачева блокнот со стихами. — А то со стороны Красного к нам на окраину немецкие танки уже прорывались. Три или четыре.

Иванюта на мгновение даже дыхание задержал — вот бы выглядел он остолопом, если б стал расписывать им обстановку на фронте. Оказывается, в редакции тоже кое-что знают о ней. Между тем Рыленков вчитывался в Мишины стихи, шевелил добрыми полными губами, затем шумно вздохнул:

— Деды говорили: поэт — это музыкальный инструмент, посредством которого глаголют боги. А тут вот рифма: «любовь — ночь». Не божественный глагол!

— И не от дьявола, — подхватил Грибачев. — Тот хоть и пройдоха, но изобретательный. А ты, Михайло, мог бы, между прочим, и сам сказать об этом автору, все же в моем литкружке учился.

— Я для него не авторитет, — розовея сквозь загар, пытался оправдаться Иванюта. — Да и разве сейчас, когда война, про любовь надо писать?

— Ну ты того, — заволновался Рыленков, — ты все же думай, что говоришь... Вон у Толстого в «Войне и мире»...

Неизвестно, что б сказал он еще, но сквозь вышибленное окно в кабинет ворвался нарастающий вой сирен. Миша насторожился, уже познав, сколь неприятна бомбежка в городе, но сделал вид, что сирены его не волнуют. Оба Николая тоже решили не идти в бомбоубежище. Рыленков, досадливо сморщив лицо, махнул рукой:

— Не набегаешься. — И специально для Миши рас-

толковал: — Ночью мы или охотимся за немецкими сигнальщиками, или в подвале отсыпаемся. А днем, если каждый раз бегать, ничего не успеешь сделать.

— «Рабочий путь» регулярно выходит? — поинтересовался Миша, с облегчением пряча в сумку блокнот со стихами.

— Ежедневно! — ответил Грибачев не без гордости. — Правда, форматом поменьше. — Потом пояснил: — Часть типографии бомбой поковыряло, да и людей в армию забрали — редакционных и типографских. А нам велено пока делать газету... Но, думаю, скоро и нас позовут... — Глубоко затянувшись табачным дымом, он помолчал и спросил, кинув на Иванюту оценивающий взгляд: — Смоленск-то не собираются наши сдавать, как думаешь?

— Это высокая стратегия, — уклончиво ответил Иванюта.

— Смоленск — ключ от Москвы, — с оттенком назидания сказал Рыленков. — Издревле так считается. Вон Грибачев недавно поэму «Осада» опубликовал. Не довелось читать?

— Читал.

— Там живая история... Воевода Шеин почти два года держался в осаде против польского короля Сигизмунда. А у того войска было больше раз в двадцать. Чего только город не перенес — пожары, подкопы, голод. Ни одной вороны, ни одного воробья не осталось — поели... Ну а за это время Белокаменная кликнула клич по всей Руси, собрала рать, и остался Сигизмунд на бобах. Вот это была стратегия!

Грибачев, закончив правку какой-то заметки, закурил очередную папиросу и обратился к Иванюте:

— Так, говоришь, заголовок к листовке тебе нужен?.. Сам сделай! Или хочешь чужим умом жить, в интеллектуальные иждивенцы подаваться?.. Ну, если не получится — поможем...

Но Иванюта не расслышал Грибачева. От близких взрывов бомб дом задрожал и, кажется, загудел. Миша встревоженно выглянул в окно на опустевшую улицу и увидел на противоположной стороне, у сквера, знакомого капитана и двух красноармейцев: это были патрульные, которые обезоруживали его у Лопатинского сада. Запрокинув головы, они смотрели то ли в небо, откуда доносился грозный рев самолетов, то ли на верхние этажи здания редакции.

18

В эти июльские дни среди генералов и старших офицеров, руководивших боями в первом оперативном эшелоне на Смоленском и Витебском направлениях, пожалуй, не было такого, который смятенными мыслями не возвращался бы в 1812 год, когда здесь же, на этих пространствах, велось ожесточенное сражение с наполеоновскими войсками. Не оказался исключением и Михаил Федорович Лукин. Получив приказ возглавить оборону Смоленска, он, как и следовало ожидать, вновь начал подсчитывать свои силы, прикидывать возможности, размышлять над разными вариантами действий. Томила обида, что его 16-я армия, с которой он прибыл к началу войны с востока, здесь, под Смоленском, была раздергана по частям. Особенно был недоволен генералом Курочкиным, который, с его точки зрения, буквально «ограбил» главные силы 16-й, забрав у Лукина все танковые и механизированные соединения и оставив ему только две стрелковые дивизии. Михаил Федорович знал, что Курочкин сделал это по приказу высшего командования, понимал также вынужденную разумность таких мер: враг неистово взламывал нашу оборону, и каждый день нужны были свежие силы. Но все-таки не мог усмирить рассерженные, ревнивые чувства. Тешил себя лишь надеждой, что все-таки сдюжит. «Нехватку сил восполним военной хитростью, крепостью русского характера и, может, используем непредвиденные обстоятельства и просчеты врага», — думал он. В то же время напрягал память, чтобы воссоздать в воображении картину действий русских армий в Отечественную войну 1812 года — авось тоже пригодится.

Каждому, кто когда-нибудь прикоснулся к истории войн и военного искусства, запомнился несложный и в своей простоте коварный замысел Наполеона по овладению Смоленском в начале августа 1812 года. Тогда его двухсоттысячная армада приближалась к Рудне, находившейся в шестидесяти километрах северо-западнее Смоленска, а навстречу наполеоновским войскам спешили 1-я и 2-я русские армии. Казалось, все решит встречное сражение. Но Наполеон вдруг скрытно повернул свои силы на юг, переправил их в районе деревни Россасна через Днепр и устремил по дороге на Ляды, Красный, Смоленск, намереваясь не только с ходу захватить город, но и выйти в тыл русским армиям. Впереди главных

сил Наполеона шли маршем пятнадцать тысяч кавалеристов Мюрата, а из района Орши, что чуть южнее, спешили по этому же направлению корпуса маршалов Жюно и князя Понятовского.

Врагу, угрожавшему Смоленску, а значит, и Москве, перекрыла путь 27-я дивизия генерала Неверовского, состоявшая из отряда пехоты, шести полков кавалерии и имевшая только двенадцать орудий. Генерал Неверовский, послав донесение командованию русской армии о переправе наполеоновских войск через Днепр, выбрал удобную позицию в районе Красного и дал бой коннице Мюрата. Сорок пять атак отразила его дивизия, задержав на целые сутки наступление армии Наполеона и этим обеспечив возможность двум русским армиям успеть возвратиться к Смоленску и занять оборону.

Сейчас обстановка складывалась сложнее во сто крат! Опасность Смоленску грозила со всех сторон, со всех ведущих к нему дорог. Однако враг, переправившись через Днепр у Копыси и Шклова, наиболее упорно рвался к городу с юга — со стороны Красного, Мстиславля, Хиславичей. Поэтому именно под Красный бросил генерал Лукин все немногое, что можно было бросить: подвижной отряд подполковника Буняшина (батальон пехоты на грузовиках, две роты саперов со взрывчаткой и минами и два дивизиона артиллерии; они могли оседлать и на какое-то время удержать магистральную дорогу); снял также с северного участка обороны Воскресенск — Ополье, куда подошли отступавшие под напором врага подразделения 19-й армии, и устремил в направлении Красного часть сил бригады полковника Малышева, надеясь соединить фланги оборонявшихся там частей левого крыла 20-й армии и оперативной группы генерала Чумакова.

Бригада Малышева тоже не отличалась монолитностью. В ее состав входили батальон смоленской милиции и три батальона добровольцев; из оружия в бригаде только карабины да два станковых пулемета. И ни одного орудия! Но Михаил Федорович надеялся, что Малышев пополнится за счет групп, которые все еще кое-где пробивались из окружения. Хватка у полковника, как успел разгадать генерал Лукин, цепкая. Когда Малышев Петр Федорович возглавил Смоленский гарнизон, именно он сумел решительными мерами привести в порядок расстроенную массированными бомбежками противовоздушную оборону города, плотно прикрыть

вокзал и другие главные объекты. А сколько в Смоленске выловлено и расстреляно немецких диверсантов, ракетчиков, провокаторов! И немалая заслуга Малышева в четкой отправке на восток промышленного оборудования, ценностей, гражданского населения: он оказался правой рукой у первого секретаря обкома партии Дмитрия Михайловича Попова, руководившего эвакуацией города. Бритоголовый, полногубый, со строгим, требовательным взглядом, полковник своей энергичностью как бы притягивал к себе людей, заставлял их повиноваться с охотой и верой. Так что и на Малышева была надежда.

Но уж если говорить без обиняков, Михаил Федорович Лукин в глубине души надеялся, что немцы все-таки не очень будут рваться в Смоленск по старым наполеоновским дорогам, а коль будут, то скорее для отвода глаз советского командования. Ведь если посмотреть по топографической карте, как растекаются от Шклова и Копыси — мест переправы через Днепр — войска Гудериана, то рождается мысль, что у них нет оперативной необходимости пробиваться к Смоленску. Проще и разумнее устремиться всеми тремя механизированными корпусами строго на восток — к Ельне, Дорогобужу и автомагистрали Минск — Москва. В итоге клещи вокруг войск Западного фронта захлопнутся немедленно.

Предположения генерала Лукина опирались на очевидность. Действительно, южнее Смоленска оперативная обстановка сложилась таким образом, что Гудериан имел возможность более коротким путем устремиться на Москву. Но то ли предостерегала генералов вермахта немеркнущая в истории слава Смоленска, который при всех нашествиях на Россию с запада вонзал во врагов орлиные когти, то ли томили их другие страхи, связанные со Смоленском, ибо они спешили как можно скорее захватить его.

Тревожная весть прилетела в штаб 16-й армии сегодня, 15 июня. Штаб располагался километрах в двенадцати севернее Смоленска, близ совхоза Жуково, что за автомагистралью Минск — Москва. В небольшом лесу, на возвышенности, окаймленной речушкой, спрятались его землянки, палатки, шалаши, замаскировались среди густого подлеска машины, кухни... Землянка генерала Лукина, вырытая метрах в двухстах от опушки, хорошо хранила прохладу, и Михаил Федорович в середине

дня, изнемогая от духоты, от неподвижности паркого лесного воздуха, обычно покидал штабной автобус и перебирался в землянку. Тут же вспыхивала под бревенчатым потолком, густо пахнущим хвоей, электрическая лампочка, получавшая энергию от танкового аккумулятора, оживали телефоны, и все военные тревоги и заботы перемещались сюда. Вот и сегодня: не успел Михаил Федорович дойти до землянки, как уже у входа красноармеец-связист с деловой почтительностью протянул ему телефонную трубку.

Звонил полковник Шалин, начальник штаба армии, с которым только сейчас совещались в автобусе.

— Михаил Федорович, получены радиодонесения фронтовой авиаразведки... — В сдержанности Шалина угадывалось что-то тревожное.

Через несколько минут Шалин появился в землянке вместе с дивизионным комиссаром Лобачевым — членом Военного совета армии. Оба взъерошенные, взволнованные, словно после драки.

— Плохие новости, Михаил Федорович! — объявил Лобачев, присаживаясь на нары и вытирая платком взмокшую шею. — Посылал я в штаб фронта инструктора нашего отдела политпропаганды. Не пробился...

— Почему? А дорога через Дорогобуж? — Лукин недоумевал, чувствуя, как тоскливо заныло в груди.

— Перехватили немцы автомагистраль и железную дорогу не только у Ярцева, а и ближе к нам — в пятнадцати километрах западнее Ярцева...

— Может, диверсанты? — Михаил Федорович не хотел верить услышанному, ибо, если слова Лобачева соответствовали действительности, то теперь невозможен не только подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия (через леса и болота много не навозишь), но и оказались в оперативном окружении сразу все три армии — его, Курочкина и Конева.

— Ошибки нет, — подавленно ответил Лобачев, закуривая папиросу. — Машину политотдела обогнал и влетел прямо к немцам какой-то наш мотоциклист... Боюсь — офицер связи... По нему пальнули из танка и схватили, а наши развернулись и ушли. Успели заметить колонну танков и мотопехоты.

Никто из присутствующих в землянке не знал, что мотоциклист был послан в штаб фронта генералом Чумаковым с документами, изъятыми у пленного немецкого полковника Курта Шернера...

— Потом по дороге расспросили беженцев, которые тоже возвращались после неудачных попыток пробиться на восток. Узнали от них, что и железнодорожная станция Пришельская захвачена, — продолжал Лобачев, посасывая папиросу так, что сухой табак потрескивал в ней. — А у нас в ближнем тылу никаких войск — гуляй немцы где хочешь, переправляйся через Днепр на юг и замыкай кольцо вокруг войск Западного фронта сплошняком.

Генерал Лукин развернул на грубо сколоченном столе карту, пробежался глазами от Смоленска на восток к Ярцеву, затем на северо-восток и юго-восток. Невозможно было поверить, что в квадрате, замкнутом линиями Рославль, Смоленск, Ярцево, Спас-Деменск, Рославль, на площади почти в одиннадцать тысяч квадратных километров, нет сил, способных создать линию обороны... Куда же смотрит штаб фронта, о чем думает маршал Тимошенко?..

— А что авиаразведка доносит? — обратился Михаил Федорович к полковнику Шалину, молча стоявшему у стола.

— Хорошего мало, — осипшим голосом ответил Шалин. Он открыл папку, которую держал в руках, и положил поверх карты лист бумаги с радиодонесением.

Разведка сообщала, что сегодня в шесть часов утра замечена большая группа немецких танков на дороге между Василевичами и Красным; это в шестидесяти километрах на юго-запад от Смоленска. Еще ближе к городу, между Красным и Ливнами, в семь утра обнаружена движущаяся колонна танков и бронемашин — около трехсот единиц. Сообщалось также, что контратаки частей левого крыла армии Курочкина в направлении Красный, Зверево, Ленино отражены противником. Сейчас немецкие мотомеханизированные части теснят войсковую группу генерала Чумакова, бригаду Малышева и отряд Буняшина в сторону Смоленска, а наша авиация наносит бомбовые удары по танкам противника. Немцы тоже бомбят непрерывно.

Вторая шифрограмма извещала Лукина, что в силу реальной угрозы Смоленску главком Западным направлением маршал Тимошенко приказал командующему 19-й армией генерал-лейтенанту Коневу срочно передать 16-й армии две стрелковые дивизии — 158-ю и 127-ю, которым уже велено занять рубеж южнее Смоленска по

реке Сож (от Смоленска до деревни Гринево), создав мощные узлы противотанковой обороны.

— Это уже кое-что! — с надеждой в голосе заметил Михаил Федорович.

— Успеют ли? — с сомнением спросил дивизионный комиссар Лобачев, вглядываясь в карту.

— Попробуем до их подхода удержаться своими силами, — ответил Лукин.

Но сил у него было очень мало. Недавно мощная 16-я армия, прибывшая из Забайкалья на Украину, а оттуда сразу же под Смоленск, сейчас будто бы растворилась: командование фронта оставило в ней всего лишь две дивизии — 46-ю и 152-ю. Да и то три батальона 46-й сгрузились из эшелонов где-то в районе Рославля, и их там же влили в соединения 13-й армии. Остальными батальонами дивизия оборонялась в районе Демидова, прикрывая Смоленск с севера. А 15-я, защищавшая город с северо-запада — от Каспли до Витебского шоссе, выделила пять батальонов с артиллерией для действий в подвижных отрядах, и у нее больше взять нечего.

20-я армия Курочкина пока надежно заслоняла Смоленск с запада, упорно обороняясь и контратакуя на Малой Березине. А вчера дивизия генерала Пронина из 20-й армии неожиданным контрударом вышибла немцев из города Рудня и увязла там в тяжелых боях.

Михаил Федорович видел на карте, как глубоко охватили вражеские войска 20-ю армию, и, будь он на месте генерала Курочкина, отвел бы соединения армии к Смоленску и засел в оборону на ближних подступах к нему. Но сказать об этом вслух даже своим соратникам не посмел, ибо приказы гласили: оборонять каждую пядь советской территории.

Генерал Лукин, как только возглавил оборону Смоленска, приказал начальнику отдела политпропаганды бригадному комиссару Сорокину немедленно разослать политработников на близлежащие к городу железнодорожные станции в поиски застрявших — вдруг такие окажутся — эшелонов с резервами. Встретили три эшелона 46-й стрелковой дивизии: два эшелона зенитного дивизиона и один — гаубичного артиллерийского полка. А сегодня железные дороги, идущие с востока, уже перерезаны врагом. Одновременно распорядился искать склады военных училищ, которые были в городе до войны, — артиллерийского, стрелково-пулеметного и двух

военно-политических; надеялся, что там сохранились запасы хотя бы винтовок и пулеметов... Склады нашли, однако их уже успели опустошить начальник гарнизона Малышев, вооружая свою бригаду, и работники областного управления НКВД, создающие по решению обкома партии партизанские отряды, подпольные и диверсионные группы.

Оставалось надеяться на силы, имеющиеся в городе, — три сводных батальона под общим командованием майора Фадеева Евгения Ильича, секретаря парткома управления НКВД, — и еще на те части, которые, возможно, отступят к крепостным стенам в случае прорыва немцев.

Лукин присел на складное березовое кресло, его широко поставленные серые глаза будто видели нечто доступное только ему одному; в них светились горечь и ожесточение. В такие минуты Михаил Федорович обычно был грубоват, горячливо-резок. Поэтому Лобачев и Шалин выжидательно молчали, понимая тайный смысл его душевной работы: у командарма зрело какое-то решение. Наконец он хлопнул рукой по карте на столе и негромко позвал в раскрытую дверь землянки:

— Миша!

Тут же входной проем заслонила, отторгнув землянку от леса, ладная фигура старшего лейтенанта Клыкова, адъютанта генерала Лукина. Бывший кавалерист Михаил Клыков на днях заменил погибшего от пули немецкого снайпера лейтенанта Прозоровского и ревностно усваивал свои новые обязанности «рук командарма». Лукин так и объяснил Клыкову его роль при командарме: «Если я считаюсь головой армии, то ты, дорогой тезка, должен быть моими руками — крепкими, работящими, надежными...»

— Выводи на дорогу машины — едем в Смоленск, — приказал Михаил Федорович адъютанту и прислушался к тому, как где-то за лесом учащенно заахали автоматические зенитные пушки, а затем донесся тяжелый гул бомбежки.

Сегодня с самого утра немецкая авиация непрерывно бомбила и обстреливала леса и дороги вокруг Смоленска, а это был признак того, что надо ждать новых таранных ударов врага в направлении города.

— Разрешите выполнять? — напомнил о себе Клыков, не дождавшись каких-либо дополнительных распоряжений.

— Минуточку, — остановил его Лукин и спросил у Лобачева: — Ты, Алексей Андреевич, после вчерашнего нашего участия в заседании бюро обкома общался с первым секретарем?

— Поздоровался, и связь оборвалась. — Лобачев сердито хмыкнул.

— И сейчас нет связи. — Лукин тоже чертыхнулся.

— Пусть подают и мою машину, — сказал Лобачев адъютанту командарма.

Старший лейтенант Клыков побежал выполнять распоряжения, а генерал Лукин вновь обратился к Лобачеву.

— Прежде чем ехать, прикажи бригадному комиссару Сорокину назначить в распоряжение начальника штаба несколько наиболее боевых работников отдела политпропаганды. — И Михаил Федорович тут же устремил повелевающий взгляд на полковника Шалина: — Сколотите, Михаил Алексеевич, из командиров и политработников оперативную группу и сейчас же отправляйте в Смоленск! Задача: мобилизовать все, что возможно, для устройства завалов на путях противника и для подготовки каменных домов к длительной обороне. Второе: прикажите по радио полковнику Малышеву немедленно отвести свою бригаду к Смоленску и занять оборону на южной и юго-западной окраинах. Пусть ставит в оборону все силы гарнизона... Место Малышева сейчас в Смоленске!

Первого секретаря Смоленского областного и городского комитета партии Попова Дмитрия Михайловича одолевали те же самые заботы. Они и вынудили его срочно выехать из города в штаб 16-й армии, чтобы встретиться с генералом Лукиным и дивизионным комиссаром Лобачевым, хотя только вчера на бюро обкома виделся с ними. Непрерывные бомбежки Смоленска и близлежащих к нему дорог и лесов, а также тайные старания немецких диверсантов часто приводили телефонные линии в негодность, и приходилось неотложные задачи решать при помощи связных, радио и при личных встречах. Вот и сейчас у Дмитрия Михайловича столько тревог и вопросов, к которым без военного командования не подступишься. А тут еще настойчивые предупреждения работников НКВД и военной контрразведки о том, что засланные в город фашистские

агенты имеют строгий приказ ликвидировать его, первого секретаря, и командующего 16-й армией генерала Лукина. Это подтвердили и два переодетых в нашу военную форму немецких диверсанта, пойманных при попытке проникнуть под видом офицеров связи в Лопатинский сад, к блиндажам, где помещался, после того как Дом Советов был разбомблен, обком партии. Диверсанты «развязали» языки, когда их разоблачили и повели на расстрел.

И теперь в городе проверяют почти всех военных, появляющихся на улицах. Но тут же начали поступать в обком жалобы на патрулей, на дежурных по пропускным пунктам и военную комендатуру: в поисках вражеских шпионов, диверсантов, радистов часто задерживаются свои люди, выполняющие срочные задания. И Дмитрий Михайлович вынужден был распорядиться, чтобы шпионо-диверсантоманию умерили. Словно в оправдание строгих проверок, ему доложили, что у Лопатинского сада задержан еще один подозрительный — молодой человек, любезничавший с двумя девушками, видимо, тоже «залетными птицами». Он был одет в форму младшего политрука и предъявил документы о том, что является секретарем газеты мотострелковой дивизии. А когда привезли его в комендатуру, он, воспользовавшись оплошностью часового, сбежал. Теперь ищут на улицах города не только «младшего политрука», но и двух его сообщниц.

Сместилось все течение жизни, сдвинулись все ее русла. Может, поэтому уже никто ничему не удивлялся, даже особенно не давали воли состраданию при виде трагедий: словно чувства у всех окаменели. Впрочем, нет. Невозможно было привыкнуть к нарастающему свисту бомб, клекоту пулеметов, рушащимся стенам, человеческим воплям, крови, детскому плачу, шипению огня, к давящей холодной пустоте в груди от неуверенности в завтрашнем дне.

Вопросы и загадки громоздились друг на друга закономерно и случайно. Неизвестность томила всех попавших в страшный, необузданный вихрь войны. Что ждет впереди? Как на фронте? Какие меры принимает Москва?.. Вокруг творилось невообразимое. Ушел вчера человек домой, а сегодня не появлялся и будто вычеркивался из жизни. Куда исчез? Погребен ли под развалинами, сгорел ли или сражен осколком?.. В тяжких заботах, тревогах подчас и не замечали, что обры-

валась чья-то судьба. Люди исчезали бесследно, и никто не знал, наступит ли время искать их и будет ли кому искать...

Всю эту смятенность, как никто другой, ощущал Дмитрий Михайлович Попов. Областной комитет партии, будто сквозь увеличительные стекла, всматривался и в тысячи мембран вслушивался во все происходящее вокруг; секретари обкома, члены бюро, работники облисполкома, разъехавшись по районам области, находили возможность поддерживать связь с обкомом, не говоря уже о том, что райкомы партии, парткомы стали активно действующими боевыми штабами и ежедневно информировали обком о проделанном.

Дмитрий Михайлович не переоценивал своей роли во всем ныне творящемся — огромном, важном и многотрудном, но и не преуменьшал. Помнил: сила отдельных личностей тоже есть мерило силы народа. Исчезни сейчас вдруг он, и город, область, будто гигантский живой организм, тут же почувствуют это, ибо лично от него, от неутомимо пульсирующей, направляемой им деятельности областного комитета партии большевиков зависят целеустремленность усилий, разумность и активность действий всех остальных в городе и области людей — партийных и беспартийных. Такова природа обкома, такова роль его первого секретаря, держащего руки на рычагах, которые приводят в действие народную мощь — духовную, мыслительную, мускульную... Обком действует, первый его секретарь на посту, значит, борьба продолжается.

Трудно было Дмитрию Михайловичу привыкнуть к такого вида борьбе, хотя в его сорок лет он полон сил, энергии, жажды деятельности. Со светлым и зрелым умом, доброжелательный, ищущий, верящий, что в каждом человеке есть добрые начала, до этого он знал борьбу только созидательную — за план предприятий, за урожай, за количество окончивших вузы, за строительство очагов культуры, увеличение площадей осушенной земли, умножение поголовья скота — за все, из чего складывалась жизнь области и ее центра. Шутка ли: только Смоленщина давала в год почти семь процентов мирового урожая льноволокна, чем смоляне непрестанно гордились!..

А теперь шла борьба за опустошение Смоленщины... Все дальше на восток уходили по железным дорогам груженные промышленным оборудованием эшелоны,

двигались по большакам и проселкам колонны тракторов, брели в облаках пыли табуны лошадей и несметные стада коров, быков, молодняка. Будто прорвало плотину, и текли, текли богатства области в глубь страны. Ничего врагу! Только пулю, гранату, снаряд и пустошь, как на осеннем поле! Парни и молодые мужики земли смоленской уже в бою. Их много — можно укомплектовать свыше двадцати дивизий! Только коммунистов и комсомольцев шестьдесят тысяч!..

И еще борьба тайная — опять же не во имя созидания. Тайно сколачиваются подпольные окружкомы и райкомы партии, тайно назначаются руководители диверсионных групп, партизанских отрядов, оборудуются в лесных глухоманях партизанские базы, закладываются склады с оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами... Смоленщина приготовилась начать жестокую битву с захватчиками... Да что там: уже начала! К сегодняшнему дню в районах, захваченных врагом, действуют тридцать два районных комитета партии, сто тринадцать парторганизаций, девятнадцать партизанских отрядов.

Дмитрий Михайлович ехал в штаб 16-й армии в неприметной, замызганной «эмке», следуя за милицейской машиной. Он сидел на дряблом заднем сиденье и смотрел сквозь лобовое стекло на почти безлюдную, откипевшую потоками беженцев дорогу. Впереди, рядом с водителем, примостился милицейский радист — крепкий, рыжеволосый парень в темно-синей форме. Высунув в открытое окно штырь антенны, он держал на коленях портативную рацию, поддерживая связь с передней машиной и обкомовским радистом в Лопатинском саду.

Углубившись в мысли, Попов и не услышал, как засигналила радиостанция. Увидел только зеленые глаза повернувшегося к нему милиционера и протянутую трубку. На связи был оперативный дежурный по обкому партии. Сдерживая волнение, он докладывал, что «гости» уже «отобедали» в Хохлове и с музыкой следуют на Лубню. Это означало, что немцы захватили деревню Хохлово, после чего с боями движутся дальше на Смоленск. Хохлово в пятнадцати километрах от города.

Отметив про себя нелепость и ненужность столь упрощенного кодирования радиопереговоров и испытывая мучительное желание немедленно возвратиться в обком, Дмитрий Михайлович передал открытым текстом:

— Доложите обстановку товарищу Фадееву Евгению Ильичу! Пусть командует всем своим хозяйствам «В ружье!» и выводит их на позиции!..

В восемнадцатом-двадцатом Попов был на фронтах гражданской войны и в военном деле разбирался. Сейчас он представил себе, как майор внутренних войск Фадеев звонит в подчиненные ему батальоны, перешедшие несколько дней назад на казарменное положение.

Первый звонок, наверное, в милицию Красноармейского района; к аппарату зовут командира батальона старшего лейтенанта Суслова или политрука Хомича... У них батальон крепенький — рота курсантов областной школы милиции во главе с ее начальником майором милиции Михайловым, и две роты укомплектованы рабочими типографии, служащими различных учреждений...

Второй батальон состоит из служащих Сталинского района. Командует ими коммунист Сидоренко. Сегодня же надо побывать в этом батальоне...

Вчера вечером Попов был в третьем батальоне Заднепровского района. Говорил перед строем ополченцев речь, всматриваясь в их сосредоточенные лица — рабочих заводов, комбинатов и швейной фабрики. Рядом с Дмитрием Михайловичем стояли командир батальона Евгений Сапожников и комиссар Абрам Винокуров... Трудная это была для него речь. Он призывал рабочих оглянуться в исторические дали, где на берегу седого Днепра, на семи холмах, уже гордо возвышался древний город русской славы Смоленск — старший по возрасту брат Москвы, ровесник Киева и Новгорода. В первой половине тринадцатого века смоляне не пустили в город разбойничьи орды Батыя, разгромив татаро-монгольские полчища на дальних подступах к Смоленску; не покорились они два века спустя и литовским феодалам; выдержали двадцатимесячную осаду польских интервентов в семнадцатом веке; устояли под напором шведской армии Карла XII в петровские времена; внесли героической обороной в 1812 году большой вклад в разгром армии Наполеона... Сейчас смолянам предстояло выдержать новые, невероятно тяжкие испытания...

Будто и прочувствованно говорил Дмитрий Михайлович, вкладывая в речь немалый свой дар оратора, знание истории (ведь за спиной у него коммунистический университет и институт красной профессуры) и искреннее волнение. Но в груди тлел уголек, обжигая сердце

и возвращая мысль к совсем недавнему первомайскому военному параду на площади перед Домом Советов. Вдоль трибуны проходила стоявшая в Смоленске 64-я стрелковая дивизия со своей артиллерией, проходили военные училища... Несметная сила!.. После их торжественного марша командир дивизии Иовлев и начальники училищ тоже поднялись на трибуну и, глядя на колонны демонстрантов, тихо подзуживали друг друга, споря, чьи батальоны и полки прошли лучше. Особенно усердствовали командир дивизии полковник Иовлев и начальник Военно-политического училища полковой комиссар Большаков.

Где они сейчас? Иовлев со своей дивизией в последних числах июня героически защищал Минск, а курсанты Большакова в конце мая получили воинские звания и разлетелись по военным округам, как и выпускники других училищ. И теперь гарнизон представляют три батальона плохо вооруженных ополченцев...

Когда «эмка», на которой ехал первый секретарь Смоленского обкома партии, пересекла вслед за милицейской машиной магистраль Минск — Москва и впереди уже хорошо был виден лес, где замаскировался штаб 16-й армии, их обогнал военный мотоцикл с коляской. В коляске сидел, судя по блеснувшим в петлицах кубикам, лейтенант, одетый поверх обмундирования в зеленый расстегнутый комбинезон. Мотоцикл свернул с Демидовской дороги в лес и исчез. У Дмитрия Михайловича мелькнула мысль, что это помчался офицер связи с донесением о прорыве немцев к Смоленску с юга. Так и оказалось. Потеряв несколько минут времени перед шлагбаумом контрольно-пропускного пункта, Попов подъехал к землянке генерала Лукина и увидел Михаила Федоровича вместе с членом Военного совета и начальником штаба у мотоцикла, остановившегося на лесной дороге рядом с подготовленными к отъезду легковыми машинами. Командарм, перед которым застыл по стойке «смирно» офицер связи, читал какую-то бумагу, а полковник Шалин, держа в руках развернутую карту, что-то показывал на ней Лобачеву.

Приезд секретаря обкома отменял поездку Лукина и Лобачева в Смоленск. Тут же, у машин, они вместе начали обсуждать обстановку. Настроение у всех было столь подавленным, что с трудом находились нужные слова. Офицер связи, кроме оперативного донесения, привез тяжелую весть: смертельно ранен осколком снаряда

начальник артиллерии армии генерал-майор Власов Тимофей Леонтьевич. Из донесения командира подвижного отряда подполковника Буняшина было ясно, что генерал Власов руководил устройством засады в деревне Хохлово и примыкающем к ней лесу. В северо-восточной части деревни были вырыты рвы, между домами сделаны завалы, а пушки, минометы и пулеметы отряда расставлены таким образом, чтобы получился огневой мешок. В него и влетел мотоциклетный полк 29-й мотодивизии немцев и был поголовно истреблен.

Буняшин также сообщал, что в первой половине дня пехота противника при поддержке танков, артиллерии и самолетов еще трижды пыталась взять Хохлово. Только после четвертого вражеского штурма отряд Буняшина не устоял и, неся потери, начал отходить к деревне Лубне...

Через минуту в сторону Смоленска умчалась санитарная машина, чтобы вывезти из отступавшего отряда Буняшина умирающего генерал-майора Власова, а еще через небольшой промежуток времени из леса выехал грузовик, в кузове которого сидели на лавочках командиры и политработники — им предстояло готовить Смоленск к уличным боям, — затем умчались мотоциклисты в 19-ю армию с приказами командирам 158-й и 127-й дивизий, переданных в подчинение генерала Лукина, ускорить ввиду критически обострившейся обстановки занятие рубежей южнее Смоленска.

Разговор Попова, Лукина и Лобачева продолжался в землянке, за чаем. Все понимали, что выдвижение войсковых резервов из глубины страны не успело набрать нужного размаха, бомбовые удары немцев по нашим железнодорожным узлам, станциям, мостам и по движущимся воинским эшелонам сделали свое дело. Время для организации настоящей обороны Смоленска, для устройства уличных баррикад, для расстановки в городе огневых средств упущено. Но приказ есть приказ. Смоленск врагу не сдавать! Во имя этого надо превозмочь даже немыслимое. Вся ответственность за выполнение приказа лежала в первую очередь на генерал-лейтенанте Лукине.

Ощущая неодолимую тяжесть ответственности и трагическую невозможность предпринять что-либо еще такое, чтобы отвести угрозу захвата города врагом, Михаил Федорович чем-то напоминал сейчас человека, который разбежался для прыжка через барьер и вдруг

увидел перед собой высокую стену. А прыгать надо, ибо от этого зависит больше, чем жизнь...

Отодвинув стакан с недопитым чаем, генерал Лукин встал из-за стола и зашагал по землянке: три шага вперед, три — назад. Зло чертыхнувшись какой-то своей мысли, он остановился у стола и, скосив широко поставленные глаза на Попова, сказал:

— Дмитрий Михайлович, перебирайтесь с обкомом к нам в лес. Хоть с воздуха прикроем зенитным огнем... А в Лопатинском саду я прикажу разместиться штабу сто двадцать седьмой дивизии.

— Нет, — после короткого раздумья со вздохом ответил Попов. — Вы, генералы, вольны для маневра. Можете выбирать высоты для командных пунктов, рубежи для боя, где считаете нужным и выгодным. А у меня выбора нет. Смоленск для меня что окоп для бойца: покинуть не имею права. Там моя высота, мой командный пункт, мой рубеж борьбы. Там моя жизнь, и, если другого выхода не будет, там моя смерть... А уж коль придется сдавать город, то обком партии частично останется в подполье, а частично уйдет с последними красноармейцами, но уйдет так, чтоб потом каждый угол города стрелял по врагу, чтоб взрывался под ногами захватчиков каждый камень мостовой...

Это было время, когда в человеческом сердце будто и не осталось места для радостей — все оно переполнилось горем и жаждой борьбы.

19

Надрывно взвыла сирена, предупреждая о приближении немецких самолетов...

Маршал Тимошенко, услышав сирену, поднялся из-за своего рабочего стола, подошел к открытому окну с выбитыми стеклами. Посмотрел на солнце, на перелески, окружавшие поклеванные осколками авиабомб дома бывшего поместья князей Волконских... Раннее солнце в задымленном и запыленном поднебесье выглядело тускло-бледным, с четко очерченными краями, как у меркнущего месяца при рождении дня. Будто уменьшилось светило в объеме. Мнилось, что это вовсе не его лучи прорывались сквозь клочковатую хмарь и гигантскими белесыми мечами косо падали куда-то за каснянский лес, видневшийся из окна залы, в которой помещался кабинет Семена Константиновича.

Только позавчера, во второй половине дня, штаб Западного фронта занял это место, находящееся в двадцати пяти километрах севернее Вязьмы, а казалось, что прошло уже много времени.

До начала заседания Военного совета оставалось несколько минут; Семен Константинович не отходил от окна, вдыхая еще не раскалившийся воздух с влажным болотным запахом, который источали сохнущие водоросли, выброшенные взрывом немецкой авиафугаски на берег из речушки Касня.

Вновь где-то за шлагбаумом подала голос сирена — коротко, будто с неохотой: это уже был отбой воздушной тревоги. Обошлось без беготни в укрытие. Маршал, вернувшись мыслями к сиюминутным делам, посмотрел на часы и направился к рабочему столу. День разгорался, суля новые трудные и нескончаемые заботы.

...Первым слушали на Военном совете начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Маландина. По всему чувствовалось, что Герман Капитонович измотался до крайности. Тонкие черты его мужественного, по-особому красивого лица как-то размылись, будто на них упала да так и осталась густая неподвижная тень, белки глаз отдавали из-под красных прожилок нездоровой желтизной, а зрачки казались потухшими. Усталым голосом он знакомил собравшихся с директивным письмом Ставки Верховного Командования, в котором подводились итоги за три недели войны и давались указания о некоторой организационной перестройке войск. Ставка предлагала, использовав удобные военные ситуации, расформировать механизированные корпуса, выделить из них танковые дивизии как отдельные единицы, подчиненные командующим армиями, а мотострелковые дивизии преобразовать в стрелковые, имеющие в своем составе танки. Освободившиеся грузовики предлагалось передать в армейские автобатальоны. Далее директива, опираясь на опыт боевых действий, отмечала, что наличие громоздких армий с большим количеством дивизий и с промежуточным корпусным управлением затрудняет организацию и ведение боя, особенно если иметь в виду молодость и малоопытность многих штабов и командного состава. Исходя из этого, Ставка предлагала сократить состав армий до пяти-шести дивизий без корпусных управлений, стрелковым дивизиям придать по роте средних или легких танков, а по возможности и по взводу тяжелых танков. Затем давались указания о

лучшем использовании кавалерийских и авиационных соединений. Ставка предлагала расформировать и авиационные корпуса, в авиационных дивизиях сократить количество полков с трех до двух, а численность самолетов в них уменьшить вдвое.

Следующей директивой Ставка приказывала в целях обеспечения стыка Западного и Юго-Западного направлений развернуть строительство оборонительных рубежей по реке Сож и к югу от Гомеля, по реке Снов от Щорса до Чернигова, по рекам Судость и Десна от Почепа до Чернигова.

Многое виделось маршалу Тимошенко за этими распоряжениями: и созревающая у Ставки Верховного Командования ясность, что оборона в условиях сегодняшнего дня пока главный вид действий Красной Армии и что нужно высвобождать командные кадры с боевым опытом для свежих полков и дивизий, что необходимо усиливать командное влияние армейских штабов, максимально укорачивая при этом каналы, направляющие боевую реакцию нижестоящих штабов и войск в сложной обстановке; и также было ясно, что Советское правительство готовит страну и армию к длительной и тяжкой войне.

Семен Константинович сидел за своим рабочим столом, заставленным по левую руку телефонными аппаратами, бритоголовый, с осунувшимся лицом и ввалившимися глазами, в которых, казалось, застыл какой-то неразрешимый, неизвестно к кому обращенный и кого-то укоряющий вопрос.

Генерал Маландин затем докладывал обстановку на Западном фронте, ссылаясь на вечерние армейские сводки и показывая на карте, развешанной на деревянной крестовине в переднем углу кабинета. Карта неумолимо свидетельствовала, что Смоленск обречен. Со стороны Орши танковая группа Гудериана своим левым крылом заняла Горки, Красный и протаранивала бреши к городу. Был охвачен Смоленск и с северо-востока: танковая группа Гота двумя дивизиями прорвалась в район севернее Ярцева, оседлала железную дорогу и автомагистраль Москва — Минск. Для развития успеха враг выбросил близ Ярцева и в Духовщинском районе авиадесанты с боевой техникой. Ситуация катастрофическая для войск, защищающих подступы к Смоленску...

Генерал Маландин, излагая оперативную обстановку

на других фронтах, нацеливал свою деревянную указку на огромную карту, распластанную на стене за спиной у маршала Тимошенко. На ней жирно пестрели красные и синие стрелы, линии, флажки и треугольники командных пунктов, цифры, обозначавшие номера немецких и советских войсковых соединений, заштрихованные овалы — места, где наши части попали в окружение. Для людей, собравшихся в этой просторной зале старого дворянского дома, оперативная карта фронтов обладала громоподобным голосом, вещавшим страшную правду о происходящем.

Крупная фигура маршала Тимошенко заслоняла нижнюю часть карты, а бритая голова доставала до Киева, и казалось, что именно в нее нацелились и замерли в неподвижности синие стрелы немецких бронированных колонн. Когда в залу вошел маршал Шапошников, только что приехавший из Москвы, а Тимошенко, чуть посветлев лицом, поднялся ему навстречу и протянул для пожатия руку, голова его закрыла Смоленск, и тут же будто вонзились в нее синие стрелы, простершись застывшими молниями со стороны Могилева, Витебска и Орши. Спина главкома бросала тень на карту, и слева красными арапниками отчетливее обозначались полосы армий нового, Резервного фронта; они, взяв начало у озера Ильмень, струились вниз, через Осташков, Ельню к Брянску и впадали в Десну.

Маршал Шапошников здоровался со всеми за руку. Эти несколько дней, проведенные им в Москве, куда Бориса Михайловича вызывали для участия в переговорах с английской миссией, возглавляемой Стаффордом Криппсом, видимо, показались ему в водовороте событий вечностью. И он радовался встрече со своими боевыми соратниками, хотя события на фронте совсем не давали повода для радости.

У длинного стола, приткнувшегося к безоконной, с лепными украшениями стене, сидел новый член Военного Совета Народных Комиссаров СССР. Он выглядел еще свежо, лицо его с острой бородкой было оживленным, военная форма, пока без знаков различия, сохраняла следы недавней утюжки. Оказавшись против Булганина, маршал Шапошников от неожиданности замер на месте, даже забыв протянуть руку.

— Николай Александрович? — с удивлением спросил он.

— Ваш покорный слуга. — Булганин встал и, улыба-

ясь, подал Борису Михайловичу руку. — Будем воевать вместе...

Следующим обсуждали вопрос о связи. Докладывал генерал-майор Псурцев. Он стоял у окна, освещенный поднявшимся над каснянским лесом солнцем, держал перед собой раскрытую планшетку с документацией и, сверкая строгими глазами, кратко и четко излагал сведения о нехватке в войсках полевого кабеля и аппаратуры, о боевых потерях, приводил примеры небрежения многих штабов и военачальников к радиосредствам, говорил о нарушении правил оперативных переговоров по телефону. С хорошим знанием дела генерал предлагал разгрузить шифровальные органы от второстепенной документации, которую можно передавать при помощи переговорных таблиц и кодированной карты, ставил вопросы об укомплектовании узлов связи фронта и армий аппаратами Бодо [1] и об улучшении организации связи как в оперативных, так и в тактических звеньях управления.

Вслушиваясь в уверенный, чуть осевший голос Псурцева, маршал Тимошенко отвлекся мыслью к тому, как сложен войсковой организм и сколько надо иметь светлых голов, чтобы обеспечить хотя бы элементарную его жизнедеятельность. Тот же Псурцев: прошел гражданскую войну, закончил Высшую школу связи Красной Армии, поработал на ответственных должностях в войсках, затем вновь продолжил учебу — в Военно-технической академии. Но это было только опорной ступенью для дальнейшей поступи, пролегшей после окончания академии через один из отделов Главного управления связи Наркомата обороны, через апартаменты Наркомата связи, где Псурцев возглавлял Главное телефонно-телеграфное управление, потом одиссея финской войны... В итоге — эта деловая уверенность, умение обнажить сердцевину дела и целеустремленно искать в ней главные изъяны. Ведь все то, о чем докладывал сейчас генерал Псурцев, касалось не только Западного, но и остальных действующих фронтов: связь — их кровеносная и их нервная система.

Когда генерал Псурцев закончил доклад, маршал Тимошенко благодарственно кивнул ему и раздумчиво произнес:

— Николай Демьянович, все, о чем вы говорили,

---

[1] Бодо — буквопечатный телеграфный аппарат.

прошу изложить на бумаге в форме приказа наркома обороны... И включите, пожалуйста, вот что. — Тимошенко медлительно перевел взгляд на раскрытое окно. — Армейские и фронтовые радиостанции, хотя бы по два комплекта, надо смонтировать на бронетранспортерах.

— Очень правильно! — с радостной поспешностью согласился Псурцев, делая запись в блокноте. — И надо бы защитить от пуль и осколков дивизионные и остальные армейские рации.

— Как это можно сделать? — спросил Тимошенко.

— Использовать броневые щиты...

На стене залы, противоположной окну, все больше разгоралось солнечное пятно. Его край, обретя контур головы и чуть сутулой спины, закачался — это перекрыл луч солнца вставший член Военного совета Булганин. Говорил он о том, что грозный опыт войны достигается ценой больших жертв и тяжких испытаний и что настало время решительно обратить его против врага...

Вслушиваясь в густоватый голос Булганина, Тимошенко подумал о Мехлисе, которого тот заменил на посту первого члена Военного совета. Подсознательно Семен Константинович связывал приезд на Западный фронт Мехлиса с тем до сих пор гнетущим его сердце жестким разговором в Наркомате обороны, когда туда приезжал Сталин с членами Политбюро. И маршал с прибытием в штаб фронта Мехлиса внутренне ощетинился, даже ожесточился. Что это, надзор за ним? Недоверие?.. К счастью, множество ежеминутных забот и грозных тревог отвлекали от этих мыслей. Потом они развеялись вовсе, когда Ставка назначила маршала Тимошенко главкомом Западным направлением и он убедился, что Москва изо всех сил помогает ему овладеть обстановкой на Западном фронте, неустанно создает на направлениях прорывов немецких войск новые рубежи стратегической обороны. Да и верно: можно ли соизмерить мимолетную, пусть глубокую, обиду со всем тем неизмеримо-трагичным, что происходит?.. А Мехлис носился по армиям, налаживал работу политических органов, точно формулируя их задачи в сложнейших условиях, всей силой своего резкого и неуемного характера стараясь влиять на ход событий. Казалось, никакие опасности не могли удержать на одном месте армейского комиссара первого ранга... Если б только не эта

его подозрительность и резкость в обращении с людьми!..

Когда в штабе Западного фронта началось дознание, а затем предварительное следствие по делу генерала армии Павлова и других арестованных видных генералов, Мехлис вдруг заявил на Военном совете, что подозревает Павлова в сговоре с фашистами. Это так ошеломило Тимошенко, что ему при его пониженном слухе подумалось, что будто он ослышался. С испугом посмотрел в сторону маршала Ворошилова и маршала Шапошникова. Заметил, что они даже изменились в лице, и понял — не ослышался... А ведь тревожное подозрение удручает подчас больше, чем доказательство.

«Вы так и меня можете причислить к пособникам Гитлера! — горячливо заметил Тимошенко, устремив на Мехлиса негодующий взгляд. — Павлов ведь мои выполнял распоряжения!»

«Разве по вашему распоряжению Павлов не управлял фронтом и дал возможность немцам уничтожить главные силы нашей авиации, колотить наши армии по частям, захватить наши склады?» — спросил Мехлис. Ни иронии, ни едкости в его голосе не прозвучало, а только укор, что Тимошенко не хочет с ним согласиться.

«Не играйте в слова! — сердито ответил Тимошенко и спросил: — Какие у вас доказательства измены Павлова?»

«Надеюсь, что Павлов сам запираться не будет». — Мехлис обвел многозначительным взглядом всех присутствующих на Военном совете.

Тогда Тимошенко вызвал исполнявшего обязанности начальника особого отдела фронта Бегму. Тот явился не один, а вместе с приехавшим из Москвы начальником Управления особых отделов Наркомата обороны бригадным комиссаром Михеевым.

«Какие показания дают арестованные?» — сумрачно спросил у них маршал, не поднимая глаз от стола.

«Вину свою отрицают, — ответил Михеев. — Кроме Павлова».

«А что Павлов?!»

«Ругает себя... Признает, что виноват в неподготовленности войск округа, в потерях авиации на приграничных аэродромах, в потере штабом округа связи с армиями... Но категорически отрицает предательство».

«А у вас есть основания задавать Павлову такие вопросы?»

Михеев кинул озадаченный взгляд на отвернувшегося Мехлиса, затем на Бегму и после паузы ответил:

«Мы обязаны всесторонне ставить вопросы...»

Мехлис, предупреждающе подняв руку и требовательно посмотрев на Михеева, заставил его умолкнуть, а сам продолжил, вкладывая в слова всю свою убежденность:

«Мы ведь должны подумать и о том, как объяснить нашему народу и всему миру, почему Красная Армия отступает...»

Мехлиса бесцеремонно перебил Ворошилов:

«На каком основании вы делаете Павлова фашистом?! И в чем, по-вашему, Павлов не будет запираться?!»

«Павлов часто впадает в невменяемость, — бесстрастно сказал Михеев, повернувшись к Ворошилову. — В такие минуты он может подписать любое обвинение...»

Наступила недобрая тишина. Мехлис даже потемнел лицом от негодования, что его не могут понять в таких, с его точки зрения, элементарных вопросах.

В это время из Ставки позвонил Сталин. По охрипшему голосу Тимошенко, по его сдержанным интонациям он, видимо, понял, что маршал крайне взволнован.

«Докладывайте, что там еще стряслось?» — донесся по проводам встревоженный голос Сталина.

«Мехлис подозревает, что Павлов и бывшие руководители его штаба — предатели, имели сговор с немцами! — запальчиво сказал в телефонную трубку Тимошенко. — Я считаю, что это вздор, а Мехлис требует от следователей добиваться у арестованных признания!»

Телефонная трубка какое-то время молчала, и в эти мгновения в мыслях Тимошенко — горячий вихрь: неужели Мехлис делает то, что приказал ему Сталин?..

В трубке послышался вздох, затем глухое покашливание, и Сталин спокойно попросил передать Мехлису, что он неплохой практик, а политик недальновидный... Нельзя, мол, наши общие ошибки, наши просчеты и нашу беду, то, что не хватило у нас времени, сваливать на военных... Пусть военные отвечают за свои ошибки, которых у них немало. А насчет предательства, Сталин возвысил голос, передайте Мехлису, что Гитлер ему скажет огромное спасибо за такую мысль. После паузы Сталин добавил, что Гитлер с нетерпением ждет не дождется каких-нибудь фактов, чтобы оповестить мир о

том, будто в СССР поднимается его агентура — «пятая колонна»... Это, мол, был бы лучший клин между нами и нашими союзниками в борьбе с гитлеризмом...

На второй день новая стычка с Мехлисом.

...У Тимошенко тоска и усталость на дне души. Все в нем было напряжено, как готовая лопнуть струна. Постоянное ожидание обнадеживающих вестей как следствие его решений, а вместо них навал дурных, трагических. Поспешная выработка новых серьезных решений, поиск контрмер и, прежде чем дать им силу приказа, необходимость выверять их в Генеральном штабе, а также доказательно обосновывать перед Верховным. А время не ждало. И в одну из минут, когда Тимошенко, зная, что осуществление каждого оперативного замысла может иметь различные вариации, остановился на наиболее, с его точки зрения, приемлемой, Мехлис вдруг предложил свой вариант и начал его упорно отстаивать, но без убедительных мотивировок.

Верно: Тимошенко не очень тактично оборвал Мехлиса, грубовато напомнив ему, что стратегия и оперативное искусство — не детская игра в солдатики. Мехлис же не менее запальчиво ответил, что политический деятель коммунистического завтра не дитя малое и тоже обязан кое-что смыслить в военном деле... Тимошенко не нашел в себе сил спорить дальше и, к удивлению Маландина, Лестева и Мехлиса, покинул кабинет. Спустился на первый этаж, где размещался узел связи (это было еще в Гнездове), зашел в комнату генерала Псурцева и попросил его связаться по ВЧ со Сталиным. Крайне озадаченный Псурцев был свидетелем нервного доклада маршала Тимошенко Сталину о том, что он не может дальше работать с Мехлисом, который без знания дела вмешивается в оперативные вопросы, тормозит их решение да еще доказывает, что как политический руководитель коммунистического завтра тоже смыслит в военном деле. Мембрана в трубке хорошо резонировала, и Псурцеву было слышно, как Сталин, выслушав маршала, протяжно и, кажется, с веселым удивлением произнес:

«Да-а, нашла коса на камень». Потом, вздохнув, не без иронии попросил напомнить Мехлису, что в коммунизм поодиночке не ходят, что для этого должно созреть все общество в целом. «Как арбуз!..» Помолчав, Сталин вдруг тихо засмеялся и сказал: «Вы с Мехлисом лучше бы немцев грызли, а не друг друга...

«Товарищ Сталин, я привык работать с политическими руководителями в согласии, — с отчаянием в голосе произнес Тимошенко. — Да и нет у меня времени для дискуссий с Мехлисом!..»

«Это вы верно сказали, товарищ Тимошенко, — вдруг строго перебил маршала Сталин. — Насчет согласия... Мужество создает победителей, согласие — непобедимых... Хорошо, мы еще подумаем».

Маршал Тимошенко понял, что убедил Сталина.

Будучи добрым человеком, он вернулся в кабинет с чувством виноватости перед членом Военного совета. И это ввело Мехлиса в заблуждение. Не без иронии армейский комиссар первого ранга заметил:

«Товарищ Сталин не любит, чтоб ему навязывали новые точки зрения на того или иного партийно-политического деятеля, которого он хорошо знает».

Семен Константинович вновь взорвался, хотя говорил сдержанно:

«Я ничего товарищу Сталину не навязывал, а просто доложил, что у нас на Западном фронте завелся «кабинетный стратег», который охотно критикует проведенную, особенно неудавшуюся, операцию, ничего не смысля в оперативном искусстве... Воображаемыми армиями, товарищ Мехлис, руководить легче, чем реальными; воображение и знание — вещи разные...»

Это были последние слова, сказанные маршалом Тимошенко Мехлису. Потом он поехал на командный пункт 20-й армии, а когда возвратился, узнал, что Мехлиса отозвали в Москву.

И вот теперь Булганин — уравновешенный, спокойный...

Требовательно зазвонил телефонный аппарат ВЧ прямой связи со Ставкой.

— Прошу тишины, — обратился Семен Константинович ко всем и снял трубку. — Слушает Тимошенко!

— Здравствуй, Семен Константинович! — послышался густой знакомый голос начальника Генерального штаба Жукова.

— Здравствуй, Георгий Константинович! — В голосе Тимошенко прозвучала радостная нотка.

— Ну как там, жарко под Смоленском?

— Жарко — не то слово... Кромешный ад! Гот и Гудериан вот-вот сомкнут внутренние фланги.

— Знаем, оперсводку получили, — Жуков подавлен-

но вздохнул. — Не давай обнимать себя, а то так приголубят...

— Да, приголубят... Отбиваемся от их объятий из последних сил. — Тимошенко покосился на оперативную карту фронта.

— Слушай, Семен Константинович, что у вас там за эвакуационные настроения насчет Смоленска? — с беспокойством и сдержанной строгостью спросил Жуков.

— Эвакуационные? — удивленно произнес Тимошенко, ощущая, как в нем вспыхнуло раздражение. — Кто это поставляет Москве такую информацию?!

Жуков помедлил с ответом, потом осведомился более мягко:

— Неправильная информация?

— Странный вопрос, — обиженно проговорил Тимошенко. — Разве надо тебе объяснять, что мы попираем элементарные понятия об оперативном искусстве?.. Вот ты говоришь: не давай себя обнимать. Мы стараемся не давать, бьем их по клешням и в то же время не уходим из мешков, рвем изнутри коммуникационные линии немцев, перемалываем их живую силу и технику, отсекаем пехотные дивизии от моторизованных и танковых, тормозим развитие операций... А по классическим образцам стратегии надо бы, оставив часть сил на съедение врагу, главные вывести из-под удара на заранее подготовленные позиции... Мы не идем на это, спасаем Смоленск и будем защищать его до последнего...

— Ладно, хватит дискуссий, — нетерпеливо, но будто с облегчением перебил Жуков маршала. — Я не зря поставил перед тобой вопрос о Смоленске. Товарищу Сталину стало откуда-то известно, что вы собираетесь сдавать город, несмотря на его телеграмму.

— Чушь! — сдерживая вспыхнувшую ярость, внешне спокойно бросил в телефонную трубку Тимошенко.

— Очень хорошо, что чушь, — совсем смягчившимся голосом сказал Жуков. — Тем не менее уже передают тебе по телеграфу новый приказ Государственного Комитета Обороны. В нем товарищ Сталин предостерегает командование Западного фронта от эвакуационных настроений по отношению к Смоленску, приказывает организовать мощную оборону города, драться за Смоленск до последней возможности. В приказе так и говорится: не сдавать врагу Смоленск и не отводить части от Смоленска без специального разрешения Ставки.

Оборону Смоленска поддерживать активными действиями частей всего Западного фронта. Ответственность возлагается лично на тебя и на члена Военного совета Булганина...

— Ясно, — протяжно сказал Тимошенко, чувствуя, что его грудь будто придавила холодная глыба. Слова приказа будто размыли его уверенность в том, что Смоленск удастся удержать. Ему почудилось, что Ставке известно нечто большее, чем ему, и там, в Москве, пользуясь этой осведомленностью, трезвее оценивают создавшуюся в районе Смоленска обстановку. Стараясь подавить в себе остро вспыхнувшую тревогу, Тимошенко вдруг охрипшим голосом продолжил: — Будем выполнять приказ... Будем держать Смоленск... Но у нас нет достаточных сил для прикрытия направления Ярцево, Вязьма, Москва. Главное — нет танков.

— Сформулируй это на бумаге и давай шифровку на имя товарища Сталина, — посоветовал Жуков.

— И надо подбросить эрэсов... Могучая вещь! Одним залпом батарея уничтожает сотни фашистов, десятки танков и машин!

— Это тоже включи в шифровку... У меня все.

Услышав в трубке частые гудки, Тимошенко положил ее на аппарат и, взяв карандаш, начал торопливо делать для памяти краткие записи на чистом листе бумаги. При этом чувствовал на себе напряженные взгляды всех, кто присутствовал в кабинете. Стояла такая тишина, что слышно было, как где-то высоко в небе завывали на виражах истребители, роняя оттуда глухое татаканье длинных пулеметных очередей. И в этой тишине неожиданно зазуммерил полевой телефонный аппарат в темно-коричневой кожаной оболочке. Маршал неторопливо снял трубку, и она, щелкнув контактами аппарата, будто всхлипнула.

— Слушаю!..

Звонил с командного пункта своей армии генерал-лейтенант Лукин по линии, ночью проложенной через леса и болота на Дорогобуж, в обход Ярцева...

— Товарищ маршал, — непривычно потерянным голосом докладывал он, — немцы захватили южную часть Смоленска... Рвутся через Днепр в северную часть...

Семену Константиновичу показалось, что он ослышался, хотя мыслью, сердцем успел охватить трагическую глубину происшедшего.

— Повторите! — изменившимся голосом и громче обычного приказал в телефонную трубку маршал.

По этому изменившемуся голосу главкома, по лицу, вдруг постаревшему и ставшему бледным, все, кто присутствовал на Военном совете, поняли: случилось что-то чрезвычайное. Но никто не мог предположить самого страшного...

— Немцы в Смоленске! — безжалостно повторила телефонная трубка приглушенным голосом генерала Лукина.

Тимошенко обвел всех невидящим взглядом, беззвучно пошевелил почерневшими губами и с каким-то зловещим спокойствием сказал в микрофон:

— Михаил Федорович, я не слышал вашего доклада... Сгруппируйте все силы, которые у вас под рукой, прикажите артиллерии жестоко обработать участки за Днепром перед мостами... Что?.. Не слышу!..

Воспользовавшись паузой, генерал Псурцев, поднявшись со своего стула, с чувством неловкости сказал маршалу:

— Семен Константинович, пожалуйста, не забывайте о правилах оперативных переговоров...

— Смоленск взят! — вспылил вдруг Тимошенко, и в его голосе будто послышалась горькая жалоба на кого-то. Затем он вновь повторил в трубку: — Засыпьте снарядами подступы к мостам за Днепром и ворвитесь на ту сторону!.. А мы поддержим авиацией!.. Сегодня же надо вернуть Смоленск!

— Товарищ маршал, мосты через Днепр взорваны. — Донесшийся голос Лукина показался Семену Константиновичу бесстрастным.

— Взорваны?! Кем взорваны мосты?! Кто приказал?!

— Мосты взорваны по приказу начальника... — Голос Лукина вдруг исчез, мембрана телефона заглохла.

— Ал-ло! Какого начальника?! — по инерции переспросил Тимошенко. Потом, поняв, что связь оборвалась, положил на аппарат трубку, обвел всех кричащим от смятенных мыслей взглядом и остановил его на генерале Псурцове.

Николай Демьянович порывисто встал.

— Сейчас приму меры! — сказал он, упреждая распоряжение маршала, и стремительно вышел из кабинета.

— Запросите, по чьему указанию уничтожены мосты

через Днепр! — сурово крикнул ему вдогонку маршал Тимошенко.

Потрясение Семена Константиновича было столь сильным, что он, казалось, на какое-то время позабыл, где находится.

— Что происходит?! — задал ни к кому не обращенный вопрос Тимошенко. — Кто у нас тут еще командует фронтом?.. — Потом он вдруг посмотрел на маршала Шапошникова, будто надеясь услышать от него ответ, и спросил: — Кто мог посметь без приказа взорвать мосты?

Борис Михайлович сидел у стола, непривычно сгорбившись и нервно постукивая длинными пальцами белой суховатой руки по расстеленной на столе карте.

— Неужели сработано в пользу немцев? — подавленно высказал догадку Маландин. — Так, что ли, надо понимать?

На его слова тоже никто не откликнулся, но они ужалили всех своей казавшейся очевидностью.

В зале наступило молчание, столь томительное и напряженное, будто все ждали взрыва. Потом из коридора послышались приближающиеся торопливые шаги, и в залу вернулся запыхавшийся генерал Псурцев, держа в руках папку. Подойдя к столу маршала Тимошенко, он, хмуря кустистые брови, открыл папку и сдержанно доложил, передавая бумаги:

— Приказ Государственного Комитета Обороны, запрещающий сдавать Смоленск... И вот телеграмма от начальника инженерных войск Шестнадцатой армии.

Семен Константинович придвинул к себе влажный от клея бланк с покрывавшими его обрывками телеграфной ленты, пестрящей ровными рядками крупных печатных букв, пробежал по ним глазами, постигая смысл слов, которые уже слышал от маршала Жукова, а затем взял второй бланк — всего лишь с несколькими полосками телеграфного текста. Подавленно прочитал вслух:

— «Мосты через Днепр взорваны по приказу и в присутствии начальника Смоленского гарнизона полковника Малышева».

И опять тягостная тревожная тишина. Малышев... Фамилия знакомая: в последние дни она мелькает в оперативных сводках, поступающих из 16-й армии.

— Кто он, этот безумец? — тихо спросил маршал Тимошенко, сдерживая кипевший в нем гнев.

— Начальник Смоленского гарнизона, — напомнил генерал Псурцев, указывая рукой на телеграмму.

— Чем он командовал?!

— Он был заместителем по строевой части у командира шестьдесят четвертой стрелковой дивизии, — послышался голос генерал-лейтенант Маландина. — У полковника Иовлева. Дивизию бросили защищать Минск, а Малышеву было поручено развернуть в Смоленске дивизию военного времени из запасников... Потом мы перенесли место формирования под Вязьму... Поручили полковому комиссару Гулидову, а Малышев возглавил гарнизон в Смоленске.

Маршал Тимошенко положил телеграмму в папку и сухо приказал генералу Псурцеву:

— Телеграфируйте Лукину, пусть этого Малышева арестуют и доставят сюда, в штаб фронта!

Псурцев вздохнул, понимая щепетильность своего положения: от своего имени отдавать такой приказ он не имел права. Поразмыслив, спросил у маршала:

— Прикажете передать ваше распоряжение прокурору фронта?

— Да, прошу вас. — Семен Константинович поймал себя на мысли, что это «прошу вас» он перенял у маршала Шапошникова, и взглянул в его сторону с чувством неловкости.

А Борис Михайлович будто ждал, когда Семен Константинович вырвется из плена бесплодных сейчас размышлений о Малышеве, и тут же спросил:

— Так что будем предпринимать, товарищ нарком обороны?

Семен Константинович уловил в вопросе Шапошникова скрытый упрек: мол, арестами дело не поправишь... Но упрек не уязвил его: сложилось все слишком серьезно, обстановка обострилась до крайности, до абсурда.

— Будем воевать! — сумрачно бросил Тимошенко.

— Верно, голубчик, — как-то буднично и устало произнес маршал Шапошников. — Надо выбить фашистов из Смоленска.

Все расходились из кабинета Тимошенко молча, не глядя друг на друга. Семен Константинович, оглушенный вестью о падении южной части Смоленска и взрыве мостов через Днепр, заспешил вместе с генералами Маландиным и Псурцевым на узел связи, еще не зная,

какие новые распоряжения отдать командующим армиями, действующими на Смоленском направлении, и тая в глубине души надежду, что доклад Лукина по какой-либо случайности не совсем соответствует истине.

Член Военного совета Булганин попросил у Тимошенко разрешения сесть за его стол, чтобы по телефону ВЧ связаться с Политуправлением РККА. И когда Булганин остался в кабинете один и взялся за телефонную трубку, аппарат зазвонил: на проводе был Сталин. Услышав голос Председателя Государственного Комитета Обороны, Булганин покрылся холодным потом, поняв, что именно ему выпала тяжкая участь сообщить в Политбюро о том, что враг уже в Смоленске...

20

Как же все случилось?

Полковник Малышев Петр Федорович был высокообразованным в военном отношении человеком, и, несмотря на круговерть суматошных дел, которые непрерывно мяли и давили его как начальника гарнизона, он в отрывочные минуты отдыха или сидя в мчащейся машине пытался объемно постигнуть происходившее. Да, были неразбериха, сумятица, даже паника, через Смоленск непрерывно лилась река беженцев и раненых, а на запад шли маршевые роты войск, двигались колонны техники; город жестоко разбомблен с воздуха; немецкая авиация продолжает налеты днем и ночью; госпитали и больницы набиты битком искромсанными пулями и осколками, изломанными в обрушенных домах людьми; железнодорожный узел непрерывно отправляет на Вязьму и на Спас-Деменск составы с ценными грузами, а с востока принимает воинские эшелоны. Словом, война как война — начальнику гарнизона прифронтового города надо постоянно быть как патрону в патроннике ружья со взведенным курком. Забота о противовоздушной обороне, охрана объектов города, вылавливание вражеских диверсантов и радистов, задерживание и приведение в боевое состояние отбившихся от своих частей красноармейцев и младших командиров, пресечение паники, дезертирства, трусости — все на нем, как на боге, творящем жизнь.

И в этом адском кипении военной повседневности Малышев пытался заглянуть вперед и угадать, как все сложится и что ждет его хотя бы в ближайшем буду-

щем. Появление в районе Смоленска новых армий уже само по себе говорило ему о многом (по долгу службы он обязан был знать, где разместились их штабы и где выставлены «маяки», обязан был ведать о приходе воинских эшелонов и принимать меры не только к их быстрейшей разгрузке, но и к отправке людей и техники в нужные места). Становилось ясно главное — советское командование стремится успеть разгромить врага на Немане, Друти, Соже... Днепр поначалу виделся Малышеву недосягаемой для врага преградой... В своих размышлениях он приходил в конечном счете к выводу, что Смоленск пока в безопасности, а лично ему, полковнику Малышеву, опять чертовски не повезло (он давно считал себя невезучим в военной службе по сравнению с товарищами, с которыми учился в академии). Дивизию, стоявшую в Смоленске (он был заместителем по строевой части ее командира полковника Иовлева), подняли в первые дни войны по тревоге и бросили на оборону Минска, а ему и полковому комиссару Гулидову приказали оставаться в городе и формировать новую дивизию из «приписного» состава. Вначале это несколько утешило Петра Федоровича — перед ним открывалась перспектива стать командиром дивизии.

Но, как говорят, бог задумал, а черт загадал — по его и вышло. После того как немецкая авиация превратила центр Смоленска в развалины и разбомбила казармы военного городка, поступило распоряжение — полковому комиссару Гулидову ехать в Вязьму и там, а не в Смоленске развертывать новую дивизию, а полковнику Малышеву оставаться в городе начальником гарнизона и тянуть немыслимо тяжелую телегу нескончаемых военных дел.

А гарнизон-то — всего лишь три батальона ополченцев и батальон милиции и курсантов милицейской школы, не считая нескольких батарей противовоздушной обороны. Лавров славы с таким войском не пожнешь. Но полковнику Малышеву в высшей степени было присуще чувство долга, и он со всей энергичностью, правда, может, с чрезмерной суровостью (на службе он всегда был строгим и сурово-требовательным) взялся за наведение и поддержание порядка в прифронтовом Смоленске.

И вдруг в одном из поступивших приказов части Смоленского гарнизона стали именоваться стрелковой бригадой, а ее командиром значился полковник Малы-

шев Петр Федорович... Бригада, конечно, не дивизия, но все-таки воинское соединение, и если оно будет, как полагал Малышев, укомплектовано людским составом и техникой согласно штатному расписанию военного времени, то это тоже внушительная сила, способная решать серьезные боевые задачи.

Не сбылись надежды Петра Федоровича. Никакого пополнения ему никто не дал. Бригада так и осталась в четырехбатальонном составе, а если смотреть правде в глаза, то, вместе взятые, эти батальоны могли бы сойти всего лишь за один более или менее полнокровный батальон, но очень слабо вооруженный. Правда, полковнику удалось сколотить для патрульной и охранной служб крепкую комендантскую команду из выздоравливавших легкораненых или отставших от своих частей, задержанных на контрольных постах, дотошно проверенных бойцов и сержантов.

Когда гарнизон полковника Малышева стал именоваться бригадой, поступил приказ о том, что бригада как войсковое соединение вливается в состав 16-й армии генерал-лейтенанта Лукина. Затем же начали следовать боевые приказы и распоряжения, в которых ставились конкретные боевые задачи по прикрытию подступов к Смоленску. Это встревожило Петра Федоровича: что могла значить в нынешнем составе его «бригада» в сравнении с армиями, которые прикрывали город? С запада и юго-запада вела упорные оборонительные бои 20-я армия, с северо-запада и севера защищались 19-я и 16-я армии, с юго-запада и с юга контратаковали 13-я армия да еще отдельная войсковая группа генерал-майора Чумакова. И хотя полковник Малышев знал, что 19-я армия генерала Конева и 16-я генерала Лукина только-только прибыли в район Смоленска и бросались навстречу врагу разрозненно, а 13-я армия состояла главным образом из штабов и штабных подразделений, ему стало ясно, что его четыре батальона не могли заметно повлиять на сложившуюся в районе Смоленска обстановку. В самом городе для них хватало дел — не только по прикрытию мостов через Днепр, охране электростанции, железнодорожного узла и многого другого, но и по подготовке города к уличным боям.

Однако, как говорят, начальству виднее, тем более что действительно бывают на фронте моменты, когда самый небольшой перевес в силах на отдельном участке в конечном итоге меняет всю обстановку в пользу до-

бившихся этого перевеса. И полковник Малышев, как и полагалось истинному военному, приказы выполнял неукоснительно (бригада стала даже фигурировать в боевых донесениях, поступавших из 16-й армии в штаб фронта: то ставили ей задачу держать оборону севернее автомагистрали Минск — Москва, то перебрасывали на юг — прикрывать шоссе Красный — Смоленск). А ведь своего штаба у Малышева не было. Управлял он бригадой при помощи связных, посыльных и порученцев. Сам метался на автомобиле или мотоцикле между городом и командными пунктами батальонов...

Прежние надежды Малышева на то, что противнику из-за стольких водных рубежей да при таком активном сопротивлении наших армий не дотянуться до Смоленска, стали развеиваться окончательно. Реальную угрозу, нависшую над городом, подтвердил приказ командующего 16-й армией генерала Лукина, в котором указывалось, что на него, Лукина, возложена оборона Смоленска и что все воинские части, находящиеся в районе города, переходят в подчинение командования 16-й армии. Вслед за этим приказом полковник Малышев получил распоряжение отвести свои батальоны в черту города и включиться в подготовку Смоленска к уличным боям, которая велась до этого силами гражданского населения.

За все время, когда полковник Малышев возглавлял Смоленский гарнизон, у него, пожалуй, не было более важной и тревожной заботы, чем охрана двух каменных мостов через Днепр, соединявших главную, южную, часть города с заречной. Мосты прикрывались двумя зенитно-артиллерийскими батареями и непрерывно охранялись нарядами гарнизонных караулов. Петр Федорович был убежден, что если немцам не удастся разбомбить мосты с воздуха, то они, несомненно, попытаются взорвать их, забросив в город диверсантов.

Но ни того, ни другого пока не случилось. «Юнкерсы», разбомбив вокруг почти все строения, мостов не тронули, как, впрочем, оставили в целости некоторые административные здания, например добротные постройки бывшего штаба Белорусского военного округа[1] и городок Военно-политического училища. Это навело Малышева на мысль, что немцы неспроста «щадят» неко-

[1] До создания Западного Особого военного округа существовал Белорусский военный округ, штаб которого находился в Смоленске.

торые объекты. С ней, с этой мыслью, особенно о мостах, он помчался в штаб 16-й армии — в лес, что близ совхоза Жуково за Московско-Минской магистралью.

Начальник штаба армии полковник Шалин Михаил Алексеевич, многоопытный, рассудительный штабист, участник гражданской войны, крайне удивился, узнав, что смоленские мосты до сих пор не заминированы. Прежнего убеждения Малышева, что заложенная в фермы мостов взрывчатка могла бы облегчить диверсию немецких агентов, Шалин не разделял и вызвал к себе в автобус начальника инженерной службы армии. Они тут же сочинили проект приказа, адресуя его начальнику Смоленского гарнизона полковнику Малышеву. В приказе, написанном красным карандашом на полулисте бумаги, категорически требовалось немедленно подготовить мосты через Днепр к взрыву, усилить их охрану и, если нависнет опасность захвата мостов противником, взорвать без промедления. Приказ этот выходил за рамки компетенции одного военачальника, и его решили совместно подписать командующий армией генерал-лейтенант Лукин, член Военного совета генерал-майор Лобачев и начальник штаба полковник Шалин.

Когда пришли с проектом приказа в землянку Лукина, то застали там и Лобачева. Прочитав подготовленный документ, оба генерала озабоченно переглянулись. Лукин спросил у Шалина:

— Но вы-то понимаете, что мосты эти стратегического значения?

— Понимаю, товарищ командующий, поэтому нельзя медлить ни минуты с подготовкой их к взрыву.

— Нужна санкция штаба фронта, — напомнил Лобачев.

— К утру санкция будет, — пообещал Шалин и объяснил Малышеву: — Взамен линий связи, перехваченных немцами, связисты сейчас прокладывают обходную — через дорогобужские леса.

— Сделайте запрос по радиотелеграфу, — приказал Шалину Лукин и подписался под приказом. Передавая бумагу на подпись генералу Лобачеву, Лукин сказал стоявшим рядом Малышеву и начальнику инженерной службы армии: — Заложите в фермы взрывчатку и подготовьте все к взрыву. В случае опасности звоните мне... Пока штаб фронта не даст «добро», эта бумажка не имеет силы. — Он указал пальцем на приказ, кото-

рый уже подписал и Шалин. — Даем вам ее, как говорят, авансом, на аварийный случай.

— Ясно, товарищ командующий!

— Без согласования с нами мостов не взрывать! — уточнил генерал Лобачев и удрученно засмеялся: — Вот ситуация! Как у голодного, которому поднесли миску каши, а рот завязали.

Уезжая из штаба армии, полковник Малышев не ведал, что лежавшая в его полевой сумке небольшая бумажка, исписанная красным карандашом, спасет ему жизнь...

К вечеру 15 июля смоленские мосты были заминированы...

Части войсковой группы генерал-майора Чумакова истекали кровью, но рубеж на возвышенностях вдоль речки Лосвинки удерживали с самого утра. Разумно расставленные и закопанные в землю танки, кочующие батареи — остатки бывшей артиллерийской бригады — оказались главной ударной силой в отражении атак немецких танков и мотопехоты. И еще залповый ружейный огонь, которому начали обучать бойцов перед самой войной. После двух безуспешных атак немцы будто бы угомонились, но это могло значить, что они ищут пути обхода закопавшихся в землю наших войск или ждут, пока им окажут помощь с воздуха.

В минуту затишья к генералу Чумакову прибежал на командный пункт командир радиовзвода — щупленький, белобрысый младший лейтенант.

— Товарищ генерал, вас требует к радиотелеграфу штаб фронта! — возбужденно доложил он.

Федор Ксенофонтович заторопился в овраг, к замаскированной радиостанции, и застал ее экипаж во всеоружии: были наготове сменные позывные, ключи к переговорным таблицам паролей, а главное, на волне был тот, кто вызывал генерала.

Радисты — красноармейцы второго года службы, все в выцветшем обмундировании, — споро делали свое дело, и Федор Ксенофонтович через минуту уже знал, что с ним разговаривает начальник разведотдела штаба фронта. Оказывается, фронтовая радиоразведка подслушала открытые переговоры немцев об исчезнувшем, видимо попавшем в плен к русским, некоем полковнике Шернере; с ним были важные документы. И сейчас

штаб фронта запрашивал Чумакова, не известно ли ему что-нибудь об этом Шернере, ибо, по всей вероятности, исчез он в полосе действий чумаковской войсковой группы.

Федор Ксенофонтович доложил о прямом попадании немецкой авиабомбы в автобус, где были полковник Шернер и полковник Карпухин, и о том, что предварительно изъятые у пленного документы отправлены в штаб фронта с нарочным-мотоциклистом. И тут же получил ответ, что мотоциклист в штаб фронта не прибыл и вряд ли прибудет, так как дорога между Смоленском и Ярцевом оседлана противником. Поэтому начальник разведотдела попросил прислать в штаб фронта запись допроса Шернера, если таковая есть, а также по возможности сообщить содержание изъятых у немецкого полковника документов.

Федор Ксенофонтович начал вспоминать документы Шернера, с которыми он знакомился, и решил, что, может быть, заслуживает внимания приказ командиру 29-й немецкой моторизованной дивизии генералу фон Больтерштерну. В нем требовалось от генерала принять меры к захвату мостов через Днепр в Смоленске. Значит, надо бы сперва сообщить об этом документе генералу Лукину, который отвечает согласно полученному Чумаковым приказу за оборону Смоленска, а потом послать шифровку в штаб фронта, если уж трофейные документы туда не попали.

Погибшего полковника Карпухина заменил подполковник Дуйсенбиев, и Федор Ксенофонтович заспешил на командный пункт, чтобы поручить Дуйсенбиеву составить шифровку в штаб 16-й армии. Но только вышел из радиостанции, как невдалеке, в тени кустов разросшейся бузины, увидел полкового комиссара Жилова и капитана Пухлякова, начальника особого отдела, которого бойцы прозвали Поэтом. Пухляков носил рыжеватые, закрученные вверх усы, был по-гусарски брав, подтянут и всегда кидался в самое пекло, особенно когда надо было поднимать бойцов в контратаку.

Перед Жиловым и Пухляковым навытяжку стоял и о чем-то говорил незнакомый командир в запыленном танкистском комбинезоне, поверх которого было надето полевое снаряжение — ремень с портупеями, кобура с пистолетом и полевая сумка. Чуть сдвинувшись, ремни снаряжения вытемнили незапыленные полосы на синем комбинезоне. Рядом, под самыми кустами, стоял

мотоцикл с коляской, в которой дремал красноармеец за ручным пулеметом, закрепленным поверх коляски в турельной вилке; красноармеец свесил во сне плотно забинтованную голову, и было похоже, что на нее надели белую шапку.

— Гонцы от генерала Лукина! — сообщил Жилов, увидев вышедшего из фургона радиостанции Федора Ксенофонтовича.

Командир в танкистском комбинезоне оказался старшим лейтенантом. Повернув к генералу серое от пыли и от усталости лицо, он посмотрел на него скорбно-строгими темными глазами, будто удостоверяясь, что перед ним был не кто-нибудь другой, а именно Чумаков, протянул ему зеленый, в сургучовых печатях, пакет. В пакете был приказ генерал-лейтенанта Лукина.

Приказ требовал от генерал-майора Чумакова немедленно отвести свою войсковую группу к Смолснску и занять оборону на ближних подступах к городу — с задачей прикрыть Рославльское шоссе. В приказе указывались рубеж и время его занятия, а сам генерал Чумаков вызывался в штаб армии для получения более точных указаний.

Будто все ясно и просто. Есть приказ — надо его выполнять. Но не так легко оторваться от противника в дневное время, когда на тебя нацелены его пушки, пулеметы, когда вслед за тобой могут устремиться танки. Да еще в такой запутанной обстановке: прибывший с пакетом офицер связи предупреждал, что все шоссе Красный — Смоленск, до деревни Хохлово, забито немецкими войсками, и потому надо пятиться левее, по полевым и лесным дорогам, да при сильных головных и боковых походных заставах.

Когда Чумаков направился по склону оврага вверх, к замаскированным блиндажам и траншеям командного пункта, чтобы отдать командирам штаба нужные распоряжения, его окликнул начальник особого отдела капитан Пухляков:

— Товарищ генерал, извините меня, пожалуйста, что не в подходящую минуту беспокою, но служба... — Пухляков щелкнул верхним клапаном желтой полевой сумки, извлек из ее кожаных глубин невзрачную голубую бумажку, исписанную фиолетовыми чернилами. — Тут мое начальство шифровку прислало... Просит вас срочно, даже безотлагательно, написать для Москвы объяснительную записку...

— Действительно, выбрали время. — Федор Ксенофонтович досадливо и озабоченно засмеялся. Затем, посерьезнев, спросил: — Что и кому надо объяснять?

— Запрашивают о каком-то майоре Птицыне, — с готовностью ответил Пухляков. — Я уже тут наводил справки...

— Птицыне? — удивился Федор Ксенофонтович, остановившись.

Фамилия эта была ему будто знакома, но сразу не вспоминалось, кому именно она принадлежит. А капитан Пухляков не мог подсказать, ибо заменил погибшего начальника особого отдела группы уже после того, как майор Птицын, получив ранение, был отправлен в госпиталь.

— В шифровке указывается, что вы передали с ним письмо своей семье.

— Верно! — Федор Ксенофонтович сразу вспомнил все: и как он в ночь перед войной, когда ехал в Крашаны, встретил на почте незнакомого городишка майора инженерных войск. Майор назвал себя «дорожником фронтового подчинения», хотя войны еще не было... Потом, когда уже шла война, этот майор, будучи раненным в ногу, оказался в его, Чумакова, группе, пробивавшейся на восток, и был неплохим инструктором по подрывному делу. После выхода из окружения и кратковременного лечения в полевом госпитале майор Птицын что-то делал, кажется, в инженерном отделе штаба дивизии полковника Гулыги, затем вновь был ранен, и Чумаков, случайно увидев его в санитарном поезде на Могилевском вокзале, действительно попросил отнести в Москве на 2-ю Извозную улицу письмишко для семьи, переехавшей туда из Ленинграда.

Все это Федор Ксенофонтович бегло рассказал капитану Пухлякову, но писать объяснительную записку ему было некогда. Капитан, впрочем, и не настаивал на записке, а торопливо строчил карандашом по чистой странице блокнота вслед за рассказом генерала.

— Но в чем дело? Что с этим Птицыным? — не без тревоги спросил Федор Ксенофонтович у Пухлякова.

— Не знаю, товарищ генерал, — откровенно ответил капитан. — Наверное, назначают его на какую-то важную должность... Война... Надо проверять людей...

И все-таки подсознательное беспокойство запало в душу Федора Ксенофонтовича. Не случилось ли что-нибудь дома?..

Но этот день, как и многие прежние, был наполнен столь мучительным напряжением и столькими опасностями, что все не связанное с отводом еще больше поредевших и до крайности измотанных частей к Смоленску улетучилось из его головы и сердца. К тому же генералу Чумакову не удалось самому до конца выполнить эту непростую операцию, проводившуюся под обстрелом, бомбежками и при нападениях немецких танков и мотоциклистов. Когда полуторка, в кабине которой Федор Ксенофонтович ехал рядом с шофером, миновала мосток через речку Сож и затем приблизилась к Рославльскому шоссе, слева, в продолговатой низине, над которой петляла дорога, взметнулись гигантскими черными метлами взрывы тяжелых снарядов. Затем взрыв огненной стеной вдруг закрыл все небо рядом с машиной, и Федор Ксенофонтович, успев ощутить тугой, горячий удар в машину и во всего себя, будто растворился в страшном грохоте.

Командование сводной войсковой группой принял полковник Гулыга. Федора же Ксенофонтовича, вторично раненного, отправили санитарным автобусом в Смоленск, в военный госпиталь... Федор Ксенофонтович пришел в себя в пути. Ощутил толчки мчавшейся по щербатой дороге машины, догадался, что он лежит на подвесных носилках, и, не открывая глаз, стал прислушиваться. Рядом слышался мужской разговор двоих — у одного голос густой, ворчливый и даже озлобленный, у другого ломкий, юношеский, с нотками недоумения и наивности. Это вели свой постоянный спор сержант Чернега и красноармеец Алесь Христич, которым полковой комиссар Жнлов приказал сопровождать раненого генерала Чумакова в госпиталь — в Смоленск ли, Вязьму или хоть в саму Москву, куда прикажут врачи, — и отвечать за него головой. Алесь Христич, наученный горьким опытом, потребовал себе документ с печатью, подтверждающий суть приказа полкового комиссара, и такой документ действительно был написан, но вручен не Алесю, а сержанту Чернеге как старшему — один на двоих; и Алесь Христич канючил сейчас, чтоб Чернега все-таки отдал бумагу с печатью ему, ибо сержанту в случае чего и без бумаги поверят, что не дезертир он, а Христич, как известно, настолько невезуч, что может расшибить лоб о перину — опять влип-

нуть в какую-нибудь историю, подобную той, когда по своей глупости ни за что попал он под трибунал и чуть не был расстрелян.

— Жалко, что не шлепнули тебя, зануду, — ворчал Чернега. — Мне бы легче жилось!

— А что я тебе плохого сделал? — обидчиво огрызался Христич. — С любым может случиться!

— С тобой каждый день случается! То за дезертира его приняли, то чуть не шарахнул противотанковую гранату в броневик маршальской охраны!..

— «Чуть» не считается! — довольно засмеялся Христич. — За «чуть» взятки гладки!

— С тебя гладки, а с меня начальство такую стружку сняло, что век не забуду!

— Зато сержантское жалованье получаешь!

— Подавись ты этим жалованьем! — все больше распалялся Чернега. — Командовать такими олухами, как ты, я б за золотые горы не стал, если б не война.

— Почему это я олух? Почему?

— А кто поднял панику, что вода отравлена, когда те два чудика обожрались немецкой шипучки?! Я, что ли?! Не твоя разве работа?

— Ну моя! Но кто обожрался, тот и олух!

— Жалко, темную тебе не устроили. Ребята по твоей вине голодали до обеда — послушались психа, что завтрак на отравленной воде приготовлен, и все кусты облевали!

— Ничего, зато трава там расти лучше будет! — Христич по-мальчишечьи хихикнул.

Чернега снисходительно помолчал, вздохнул, затем заинтересованно спросил:

— Что у тебя в противогазной сумке вздулось?

— Это противотанковая граната, — охотно и даже весело ответил Алесь. — Та самая!.. Может, в музей когда-нибудь сдам.

— А пожевать ничего нет?

— Про жратву начальство должно было побеспокоиться! — с укоризной заметил Христич. — У меня самого кишки к позвонку прилипают.

— Потерпишь. А мне надо поесть — я диабетик.

— Диабетик? — удивился Христич. — А что это за профессия?

— Дурак ты, Христич! — Чернега зло засмеялся. — Диабетик — профессия... Ха-ха. Если бы ты сказал, что

сифилитик — профессия, то я, может быть, и согласился.

Федор Ксенофонтович с самого начала не без интереса прислушивался к этой перебранке, а при последних словах Чернеги не выдержал и зашелся смехом, похожим на стон. И тут же в тело ворвалась боль. Он почувствовал, что плечо и шея его плотно и многослойно перебинтованы и что сделана свежая повязка на уже заживающей, но еще болезненной ране на челюстной ключице.

— Куда мы едем? — спросил он у притихшего при смехе генерала сержанта Чернеги.

— Уже в Смоленске. В госпиталь едем. — И Чернега начал усердно тормошить уснувшую в углу автобуса молоденькую санитарку. — Проснись, тютя, да подскажи дорогу в больницу!

Но девчонка, видать не спавшая много ночей подряд, только вяло мотала головой, а проснуться не могла.

— Стойте! Стойте! — заорал вдруг Алесь Христич, что-то увидев в открытое окно на улице, по которой их санитарный автобус ехал уже медленно, лавируя между обломками рухнувших стен, грудами кирпича и щебенки. — Остановитесь! Вон Иванютич голосует! — Христич тут же поправился: — Наш младший политрук Иванюта!..

На противоположной стороне улицы, у перекрестка, действительно стоял младший политрук Миша Иванюта. Рядом с ним, на захламленном тротуаре, высился тюк — хорошо упакованные в серую бумагу и обвязанные крепким типографским шпагатом свеженапечатанные листовки. Миша надеялся остановить какую-нибудь машину, которая направлялась в сторону Красного.

Появление «своего» санитарного автобуса, пусть и шедшего пока в противоположную сторону, обрадовало его несказанно. Но, когда увидел забинтованного Чумакова, сразу скис: и сердце дрогнуло от страха за доброго человека, и рухнула надежда, что «санитарка» скоро пойдет обратно.

— Давай сюда свои листовки — и двинулись, — мрачно приказал ему Федор Ксенофонтович. — Нет уже там наших, где были...

— А мы куда? — спросил Иванюта, когда затолкал тюк с листовками под носилки, на днище машины.

— В госпиталь, — ответила проснувшаяся наконец

молоденькая медичка в мужском красноармейском обмундировании. Поправляя под сбившейся пилоткой рыжие волосы, она спросила: — Не знаешь, где он тут?

Все остальные в автобусе тоже вопросительно посмотрели на Иванюту.

— Нет... Знаю только, где комендатура, — как бы оправдываясь, ответил Миша.

— Давай в комендатуру! — распорядился генерал Чумаков. Его не покидала мысль хотя бы по телефону доложить командарму Лукину о документах полковника Шернера, да и обо всем остальном...

Федор Ксенофонтович чувствовал, что у него кружится голова, болит левое плечо и жжет шею ниже левого уха. Но, когда они подъехали к комендатуре, встал с носилок довольно бодро и, не обращая внимания на протесты санитарки, сошел при помощи Иванюты и Чернеги с автобуса.

Иванюта в присутствии генерала Чумакова держал себя на территории комендатуры как хозяин. За минуту он выяснил, что начальник гарнизона полковник Малышев только что откуда-то приехал и у него в приемной битком военного и гражданского люда.

— Дорогу генералу! — скомандовал Иванюта, когда они вошли в переполненную людьми приемную комнату.

Протиснулись к двери и без стука вошли в кабинет все трое. Сидевший за столом полковник Малышев, увидев появившегося генерала в бинтах, встал, но продолжал распекать стоявшего перед ним мужчину средних лет в очках, с бородкой, в белом парусиновом костюме за неработающий телефон.

— Чем могу быть полезен, товарищ генерал? — спросил Малышев, отпустив мужчину.

Федор Ксенофонтович ничего не успел ответить, так как внимание Малышева отвлек раздавшийся на улице шум. Прямо напротив распахнутого из его кабинета окна резко, с визгом тормозов остановился на брусчатке мощный восьмитонный грузовик «Ярославка», в котором на скамейках плотно сидели бойцы в касках и новеньком обмундировании, зажав между коленями автоматы и ручные пулеметы.

— Вот это силища! — с завистью в голосе сказал Малышев и, подойдя к окну, крикнул: — Убрать машину в тень!

Последние слова полковника были адресованы медлительно вышедшему из кабины грузовика плотному,

несколько обрюзгшему майору в форме инженерных войск. На его груди тоже сверкал лакированным прикладом автомат ППШ. Когда машина проехала дальше, под кроны деревьев, майор, сделав шаг к окну, спросил:

— Будьте любезны, где можно найти полковника Малышева?!

— Я Малышев, заходите! — И полковник, наконец повернувшись к генералу Чумакову, повторил свой вопрос: — Так чем могу служить?.. — Но, увидев, что у того на побледневшем лбу выступили крупные капли пота, осекся и уже с участием и виноватостью продолжил: — Вам плохо?..

Федора Ксенофонтовича усадили на диван: у него действительно закружилась голова и остро заболело сердце.

— Позвать медсестру? — встревоженно спросил младший политрук Иванюта и требовательно посмотрел на стоявшего рядом сержанта Чернегу.

— Не надо, минутку передохну... Пройдет.

— Рюмку коньяку, товарищ генерал?! Поможет! — Малышев кинулся к шкафу, взял там распечатанную бутылку армянского коньяка, налил полстакана и поднес Чумакову.

Федор Ксенофонтович крупными глотками выпил коньяк, с облегчением перевел дух.

В это время в кабинет зашел майор. Придерживая левой рукой висевший на шее автомат, правую вяло вскинул к козырьку фуражки с черным околышем и доложил:

— Майор Ильивский! Командир отдельного саперного батальона фронтового подчинения! Прибыл с приказом принять под охрану мосты через Днепр!

— Слава богу! — с облегчением вырвалось у Малышева. — Эти мосты в печенках у меня сидят!.. Прошу документы.

Полковник Малышев внимательно изучал предъявленные ему майором бумаги с приказом о передаче мостов, а Федору Ксенофонтовичу будто холодную иглу воткнули в еще раньше заболевшее сердце. «Немец?!» — обожгла его полудогадка, и он покосился на Иванюту, который о чем-то перешептывался с сержантом Чернегой.

— Товарищ майор, вы из штаба фронта давно выехали? — безразличным тоном спросил Федор Ксено-

фонтович, откинувшись на спинку дивана и устало прикрыв ладонью глаза.

— Часа три, ну, может, четыре назад, — ответил майор, взглянув на наручные часы. — Собственно, мы не из самого штаба, а из Вязьмы...

— Немцы не достают огнем из Ярцева до автострады?

— Издали обстреливают шоссе. Там мы и задержались, — охотно отвечал майор.

— А вообще-то от Ярцева до Смоленска дорога не очень забита? — Спрашивая это, Федор Ксенофонтович помнил, что в пятнадцати километрах от Смоленска немцы сегодня перехватили шоссе. — А то я хочу махнуть в госпиталь прямо в Вязьму.

— Свободна дорога.

Эти слова майора окончательно убедили генерала Чумакова в том, что разговаривает он с немецким диверсантом.

— Приказ в порядке, — с удовлетворением сказал полковник Малышев, — а теперь прошу документы — и все какие есть. — Он виновато взглянул на майора. — Извините, товарищ майор, время суровое — надо быть бдительным...

— Пожалуйста, пожалуйста! — Майор суетливо стал вынимать из нагрудных карманов гимнастерки удостоверение личности, партбилет, продовольственный аттестат на приехавших с ним бойцов.

Малышев внимательно изучил документы, написал какую-то резолюцию на продовольственном аттестате и все вместе вернул майору. Затем нажал на кнопку электрического звонка. Вошел младший лейтенант милиции с красной повязкой на рукаве.

— Дежурный по гарнизону явился! — не очень по-военному доложил он.

— Проводите товарища майора в административную часть — пусть возьмут продаттестат и поставят его людей на довольствие.

— Успеется с этим, товарищ полковник! — с нетерпением возразил майор.

— Минуточку, — подняв ладонь, оборвал его Малышев. — Здесь я хозяин! — И вновь к дежурному по гарнизону: — Потом вызовите начальника караула, и все вместе ко мне! В темпе!

Как только за вышедшим майором и за дежурным закрылась дверь, генерал Чумаков, будто и нераненый,

подхватился с дивана и, задыхаясь от волнения и перенесенного напряжения, почти зашипел на полковника Малышева:

— Это же диверсант!..

— Тише... — Малышев испуганно приложил к губам палец и кинул быстрый взгляд на дверь, в которую уже ломился очередной посетитель. — Ко мне пока нельзя! — властно крикнул он посетителю.

Дверь закрылась, и полковник Малышев тихо спросил:

— Извините, с кем имею честь?..

Чумаков назвал себя и протянул удостоверение личности. Малышев открыл потертые корочки удостоверения и заулыбался:

— Сразу видна наша работа... Ржавчинка... А там все скреплено сверкающей проволочкой. На продовольственном аттестате старый шифр. Наши контрразведчики работают не зря и нас просвещают...

— Да и дорога на Вязьму перерезана! — напомнил Чумаков.

— Тоже знаю. — Малышев извинительно улыбнулся. — Но не мог же я сразу скомандовать ему: «Руки вверх!..» Во-первых, еще не ведал, кто вы... Вдруг один спектакль разыгрываете. Во-вторых, они, когда их разоблачают, немедленно пускают в ход автоматы... А там же целая орава! — Малышев кивнул в сторону окна. — Нельзя вспугнуть, иначе такой беды наделают...

Младший политрук Иванюта и сержант Чернега, окаменевшие вначале от неожиданного поворота событий, стали приходить в себя.

— Товарищ генерал, — зашептал Чернега, — у нас есть противотанковая граната! Ее одной хватит на весь их грузовик! Да еще, может, их гранаты сдетонируют, такое бывало, когда в гранатах запалы...

— Хорошая идея, — согласился Чумаков.

— А я, давайте, этого «майора»... — без особого энтузиазма вызвался Иванюта, может, потому, что такая задача по сравнению с той, какую брали на себя Чернега с Христичем, выглядела пустяковой.

— Только не вступайте с ним в объяснения, — строго напомнил Иванюте Малышев. — После взрыва гранаты сразу же пулю ему в затылок, и дело с концом...

Чумаков и Малышев остались в кабинете вдвоем. Через несколько минут из раскрытого окна послышался

задиристый, но срывающийся от волнения голос Христича:

— Хлопцы, вот майор ваш сумку конфет вам передал!.. Ловите!..

Федор Ксенофонтович обрадованно догадался, что Христич бросил гранату вместе с противогазом, и мысленно похвалил паренька за сообразительность. И тут же от могучего и протяжного взрыва встряхнулось, будто собираясь обрушиться, здание — брызнула с потолка и стен штукатурка, вмиг обезобразив кабинет, закачалась люстра, слетели со стола бумаги вместе с чернильным прибором, а от оконных рам не осталось и следа. Взрывная волна так толкнула Чумакова и Малышева в грудь, что они, не устояв на ногах, ухватились друг за друга и оба плюхнулись на диван...

Выстрела же Иванюты никто в поднявшейся суматохе не услышал. Но во дворе, когда Миша, держа под подолом гимнастерки наган, еще крался за «майором», его увидел капитан-артиллерист — тот самый, который сегодня утром по недоразумению арестовывал Иванюту. Крайне пораженный тем, что сбежавший из-под ареста младший политрук (капитан был убежден, что это переодетый немецкий лазутчик) вновь оказался в расположении военной комендатуры и почему-то беспечно разгуливает по двору, он, капитан, вначале даже растерялся. Когда же на улице прогрохотал взрыв, да такой силы, что во дворе листья с деревьев посыпались, капитан на какие-то мгновения отвлекся от загадочного младшего политрука. Потом повернулся уже на пистолетный выстрел... Увидел лежавшего на земле майора и наклонившегося над ним Иванюту с наганом в руке...

В кабинет полковника Малышева силой пробился навстречу хлынувшим из приемной людям сержант Чернега и завопил:

— Там убивают нашего младшего политрука! Спасайте!..

Когда полковник Малышев выбежал во двор, то увидел Иванюту с окровавленным лицом, в разорванной гимнастерке. Избитого и обезоруженного, патрули-красноармейцы поднимали его с земли, а капитан-артиллерист продолжал снизу молотить его сапогом по чем попало.

— Смирно-о! — скомандовал первое, что пришло в голову, полковник Малышев. — Отставить!.. — За-

тем накинулся на капитана: — Тебе кто дал право на самосуд?!

— Так вот, убил! — Капитан потрясенно указал полковнику на лежавшее бездыханное тело «майора».

— Тебя тоже надо! — угрожающе-плаксиво сказал капитану сержант Чернега, глядя, как Иванюта вытирал платком с искаженного болью и испугом лица кровь и слезы.

— Как там?! — строго спросил Малышев у Чернеги. — Никто из гадов не уцелел?..

— Нет... На весь квартал разлетелись их душеньки, — удовлетворенно ответил Чернега, затем, вдруг скорчив болезненную гримасу, добавил: — Даже этот огрызок, Христич Алесь, что бросал им сумку с гранатой, не уберегся! Не успел упасть за ограду и поймал макушкой головы осколок!

— Насмерть?! — удрученно спросил вышедший во двор и прислушивавшийся к разговору генерал Чумаков.

— Если б насмерть, — с въедливой одобрительностью ответил сержант. — Ранило... Эта отрава еще попортит мне здоровье...

Федор Ксенофонтович в это время увидел в руках Малышева документы, изъятые у застреленного Иванютой «майора», и протянул руку:

— Дайте и мне взглянуть.

Он открыл книжечку удостоверения в сером затертом переплете и прочитал: «Майор Ильивский... командир отдельного саперного батальона фронтового подчинения...» Что-то знакомое для Федора Ксенофонтовича забрезжило в этом сочетании и звучании слов... Вдруг вспомнил случай на почте ночью в канун войны: точно так же представился ему при знакомстве майор Птицын... Кажется, и документ похожий... Правда, тогда генерал не знал, что надо было обращать внимание на столь важную мелочь, как нержавеющая проволочка, которой прошивали немцы поддельные документы...

И вновь словно вспышка света в памяти — багрово-зловещая — разговор с начальником особого отдела Пухляковым: откуда появился в штабе майор Птицын и как давно знает его Чумаков?.. Неужели есть связь между теми прилетевшими по эфиру вопросами и родившимся сейчас подозрением?.. Подозрение ли? Неужели действительно был в его штабе враг?.. И послал

в свой дом гадину? Впустил в свою семью?.. Что там, в Москве, могло произойти?

При этих нахлынувших нехорошей волной вопросах Федор Ксенофонтович ощутил себя так, словно глотнул чего-то отвратительного. В нем все больше стало зреть и шириться, тираня душу и обдавая мерзким холодком страха сердце, предчувствие беды. Шевельнулась удручающая мысль о том, что он с этим еще туманно-призрачным предчувствием уезжал из Ленинграда за двое суток до начала войны...

По большакам, шоссейным, полевым и лесным дорогам двигались к Смоленску войска — через леса и села, овраги и возвышенности. Войска спешили к Смоленску — наши и немецкие.

Сбитые стальными накатами танков Гудериана с рубежей обороны или получившие приказ отойти на ближние подступы к городу, советские подразделения откатывались с арьергардными боями — на север и северо-восток, — стараясь не дать врагу столкнуть себя с дорог, не позволить ему обогнать и упредить в выходе к смоленским крепостным стенам.

Но «сила и камень рвет». Сила была на стороне захватчиков. Сила и скорость... Скорость и численность... Мотомеханизированные колонны немецких полков, впереди которых двигались ударные танковые группы, сопровождаемые автоматчиками-мотоциклистами, сумели развить скорость особенно на Рославльской и Киевской шоссейных дорогах и на Краснинском большаке. Протаранив отступавшие колонны красноармейцев и разметав их в стороны, немцы вечером 15 июля с трех сторон подошли вплотную к Смоленску.

На южной и юго-западной окраинах города врага встретили ружейно-пулеметным огнем отряды добровольцев-истребителей и отряд милиции. Внезапный огневой удар остановил первые волны немецких мотоциклов и автоматчиков. Но вскоре на позиции отрядов был обрушен мощный минометный огонь, затем перешли в атаку танки, и наша оборона была смята. Враг ворвался в Смоленск.

Две стрелковые дивизии 19-й армии, которым было приказано форсированным маршем перекантоваться с севера на юг от Смоленска, не успели занять указанный им рубеж обороны по реке Сож, да и силы у них

после кровопролитных боев под Витебском были ничтожными.

Бой за южную часть города длился всего лишь несколько часов. Но ничем не измерить его накала, упорства, трагичности. Успевшие отойти в пределы городских крепостных стен красноармейские подразделения из отряда подполковника Буняшина слились с батальонами народных ополченцев и начали совместно вести очаговые оборонительные бои. Каждый каменный дом и квартал, каждая улица и площадь стали аренами кровавого единоборства. Все больше и больше пылало чадных костров на мостовых и тротуарах, в скверах и на перекрестках — это горели немецкие танки и бронетранспортеры, в которые попали бутылки с горючей жидкостью, брошенные из окон домов... Но дома, их каменные стены не только укрывали, создавая удобства для засад и внезапных нападений... Они еще и разобщали, отторгали от улицы, от города, от однополчан... Засевшая на этажах дома горстка людей, когда ей не могли уточнить боевую задачу, доставить боеприпасы, когда она не знала, удержались ли в соседнем доме, ближайшем квартале и в какой мере в каждый данный момент полезна ее боевая активность в занятом ею доме, — эта горстка людей начинала ощущать себя потерянно, будто в ночном лесу среди хищных зверей. Тяжелое это состояние, но бросаемые связки гранат и бутылки, от ударов которых горело железо, ружейный и пулеметный огонь из окон домов продолжали тормозить продвижение захватчиков к центру города. Вспыхивали новые немецкие танки, грузовики, транспортеры. Усиливался ответный минометный и артиллерийский обстрел. Под ударами мин, снарядов и авиационных бомб дома становились братскими могилами защитников Смоленска.

Не было у полковника Малышева никаких возможностей объединить оборонительные очаги в единую систему огня и действий, ибо на стороне захватчиков многократное численное превосходство, главным образом в танках. Сопровождаемые мотопехотой, они выискивали слабо прикрытые проходы, переулки и рвались к Днепру, чтоб захватить мосты, овладеть плацдармами на северном берегу Днепра и обеспечить механизированным корпусам группы немецких армий «Центр» возможность взять в железные клещи главные силы советских войск Западного фронта.

Южную часть Смоленска пришлось оставить. По мостам устремились в Заднепровье госпитальные машины с ранеными, врачами, медсестрами, эвакуировались «обитатели» Лопатинского сада — руководители областного комитета партии, облисполкома, районов города.

На одном из мостов собрался «летучий» военный совет: раненный осколком в висок полковник Малышев, первый секретарь обкома Попов, председатель облисполкома, начальник управления НКВД области... Решали единственный вопрос: взрывать или не взрывать мосты? Все сходились на том, что надо взрывать. Но связи со штабом 16-й армии не было...

На мосту, рядом с совещавшимися, затормозил санитарный автобус. Из него вышел генерал Чумаков, перебинтованный, измученный. Он представился Попову, узнав в нем первого секретаря обкома партии, а затем обратился к Малышеву:

— С Лукиным связь отсутствует?

— К сожалению, да.

— Тогда прошу учесть и мое мнение: надо мосты взрывать. — Он направился к автобусу и, поднявшись на ступеньку, сказал Малышеву: — Я готов, Петр Федорович, делить с вами ответственность. На нашей стороне оперативная целесообразность.

Малышев задумчивым взглядом проводил автобус и удрученно ответил:

— В военных решениях коллективки не в почете... Голову подставляет тот, кто отдает приказ...

К сожалению, Малышев оказался прав. Через два дня после того как мосты были взорваны, в расположении войск 16-й армии, пытавшейся всеми силами отбить у немцев Смоленск, приземлился самолет, а в нем представитель военной прокуратуры Западного фронта с ордером на арест полковника Малышева Петра Федоровича... Но прав оказался и генерал Чумаков: при последующей, более углубленной оценке оперативной обстановки в районе Смоленска восторжествовал здравый смысл.

21

Ковровая дорожка будто плыла навстречу Молотову. Бордовой полосой в зеленом обрамлении она протянулась через весь длинный и светлый коридор, по кото-

рому неторопливо шел нарком, углубившись в трудные мысли и ощущая крайнюю усталость от бессонных ночей. Народный комиссар иностранных дел нес красную папку с важными документами. Среди них шифровка, извещавшая Советское правительство о том, что сегодня утром в Японии ушел в отставку кабинет Фузимаро Коноэ. И сейчас предстояло не только обсудить ее с членами Политбюро и Государственного Комитета Обороны, но и высказать свои предположения о вероятных последствиях столь внезапной смены японского кабинета.

Последствия же могли быть самые грозные, вплоть до немедленного нападения Японии на Советский Дальний Восток. А война на два фронта, когда и на одном Красная Армия истекает кровью от неравенства сил и преимущества немцев в авиации и танках, могла еще острее поставить вопрос — устоит или не устоит Советское государство под напором объединенных сил империализма. Тем более что и Турция, прикрываясь нейтралитетом, усиленно готовится к агрессии против Советского Союза, открыто заявляя о своем желании присоединить к себе советское Закавказье, Крым и Поволжье. А Иран, блудливо пряча глаза, с напускным простодушием превращает свою северную часть в германский плацдарм для нападения на СССР с юга: Советскому правительству в подробностях известно о создании в Иране немецких складов оружия и боеприпасов, о прибытии туда большого числа немецких офицеров... Нужны были срочные и внушительные меры советской дипломатии, необходимы хоть какие-то изменения в нашу пользу на советско-германском фронте...

Остроту ситуации ощущал весь мир. Клокотали страсти в буржуазных парламентах, неутомимо совещались президенты и министры, раскладывали тайные карты перед руководителями своих правительств генштабы и разведцентры. Велась интенсивная, пахнущая порохом мыслительная борьба с алчной надеждой извлечь из начавшейся схватки двух миров любую пользу, хоть и томила при этом буржуазных политиков тревога, как бы самим не сгореть в набиравшем силу пламени войны. Былое скептическое состояние видных умов буржуазного мира по отношению к Советской стране сменилось удивлением и тревогой.

А народы Европы и всего мира? Неужели они до

сих пор не распознали, что несет им «новый порядок» Гитлера, при котором все, кроме «германской расы», обречены на рабство? Неужели концентрационные лагеря, пожирающие миллионы людей всех национальностей, никого и ничему не научили? Ведь диалектика событий, несомненно, должна привести к объединению всех антинацистских сил хотя бы в Европе!..

Да, сейчас советской дипломатии надо было точно знать, какими глазами и с какими чувствами следит мир за развернувшимся военным противоборством.

Наркомат иностранных дел СССР всей работой своего сложного организма чем-то напоминал в эти дни хорошо поставленную сейсмическую службу, непрерывно ведущую огромный комплекс наблюдений за колебаниями политической почвы континентов. Испытывая острую нехватку нужных сведений, советские дипломаты неустанно искали взамен порушенных каналов связи новые возможности прослушивать пульс планеты в разных ее болевых местах и накапливали информацию — горячую, дышащую страстями, загадочностями, часто угрожающую, зловещую, реже обнадеживающую. А Наркоминделу постоянно приходилось решать самые сложные государственно-политические ребусы, причудливые комбинации дипломатических пасьянсов, чтобы разгадывать значение противоречивых военно-политических примет, признаков, явлений, дипломатических шагов — явных и тайных, чтобы выверять и доказательно подтверждать напрашивающиеся прогнозы и готовить для Политбюро, члены которого получали те же шифровки, первичную оценку событиям, несшим в себе суть намерений правителей той или иной страны, оказавшейся в орбите грозного противоборства.

В кабинет Сталина, где почти непрерывно заседало Политбюро ЦК, нарком иностранных дел должен был идти, неся с собой даже не золотоносную породу сведений, а уже промытые частицы драгоценного металла истины. На Политбюро тщательно и подчас весьма критично взвешивали и оценивали россыпь этой истины, сообща искали взрастившие ее пласты, определяли степень родства с другими истинами и часто погружались в пучину таких тревог, что казалось, солнце на небе тускнело! Даже Англия и США, подав надежды на совместную борьбу с гитлеровской Германией, настораживали загадочностью своей политики. Впрочем, загадочностью ли? Ведь ясно, что монополисты этих

стран меньше всего заботились о сохранении Советского государства; не зря же Гарри Трумэн, видный член американского сената, уже на третий день после нападения фашистской Германии на СССР заявил со страниц «Нью-Йорк таймс»: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше...» В этой мысли четко сквозила суть политической и военной стратегии американских и английских правящих кругов. А Советское правительство надеялось своей внешней политикой, своими усилиями на фронтах и внутри страны все-таки создать ситуации, выгодные для себя и опасные для третьей стороны — гитлеровской Германии.

И вот сейчас Молотов шел на Политбюро с новыми тревогами. Недалек путь к кабинету Сталина, однако мысли успевали, словно ткацкий челнок, приносить соединительную нить из прошлого в сегодняшний день и опять уносить в прошлое, не столь уже далекое, когда Япония, отвергнув неоднократные предложения Советского Союза о нейтралитете, силой оружия попыталась прощупать мощь Красной Армии и склонить Советское правительство к сговорчивости на основе условий японского правительства. Но, как говорится, пришла по шерсть, а ушла стриженой: Красная Армия силой оружия, а Советское правительство гибкостью политики укротили аппетит Японии.

Молотову вспомнились приторно-учтивые улыбки и косые щелки глаз за стеклами очков вначале японского посла Того Сигенари, а затем сменившего его Татекавы; оба они по поручению своего правительства уже сами настойчиво предлагали заключить пакт о нейтралитете. И в апреле 1941 года, когда министр иностранных дел Японии Иосуке Мацуока, побывав в Германии и Италии, заехал в Москву, советско-японский пакт был подписан на пять лет.

Мацуока отбывал из Москвы с чувством победителя, полагая, что выиграл дипломатическую битву, за которой последует отвод советских войск с Дальнего Востока. А Сталин и Молотов, ведшие переговоры с японским министром, считали, что победа на их стороне, ибо хорошо знали расстановку политических сил в Японии, сложившуюся к тому времени. Если министр иностранных дел Иосуке Мацуока, опираясь на поддерж-

ку председателя тайного совета Хара, министра внутренних дел Хиранума, члена военного совета принца Асака и других влиятельных лиц, был сторонником нападения на Советский Союз сразу же, как только развяжет войну Германия, то не менее влиятельная группа во главе с премьер-министром Фузимаро Коноэ, настроение которой выражал министр — хранитель печати Хидо, не отказываясь от агрессивных планов против Советского Союза, проводила в первую очередь политику создания под эгидой Японии «великой восточноазиатской сферы взаимного процветания», в которую должны быть включены Китай, Индокитай, Голландская Индия и другие страны южных морей.

Однако после того, как Германия, развязав агрессию против Советского Союза, достигла в первые недели войны значительных успехов, политический климат в Японии потерял устойчивость. Советская разведка прилагала все усилия, чтобы точнее ориентировать об этом свое правительство. Москва стала получать донесения о непрерывном наращивании сил Квантунской армии, нацеленной против СССР. Ее солдаты и офицеры каждый час ждали приказа о начале военных действий. Несколько позже стало известно, что 2 июля на императорской конференции председатель тайного совета Хара заявил: «Я прошу правительство и верховное командование атаковать СССР как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен». Военный министр Тодзио поддержал Хара, уточнив лишь, что нападать надо на СССР в тот момент, когда он «как спелая хурма, готов будет упасть на землю».

По-прежнему колебался только премьер-министр Фузимаро Коноэ. Но теперь он сложил с себя полномочия. Значит, по всей вероятности, в ближайшее время надо ждать нападения вооруженных сил Японии на дальневосточные границы Советского Союза?

С этим холодившим сердце вопросом Молотов зашел в кабинет Сталина. И будто наткнулся на невидимую преграду: по кабинету многоголосо перекатывался хохот. Сквозь табачный дым увидел Сталина в конце длинного стола. Навалившись грудью на торец, он держал в руке какую-то бумагу, смотрел в нее и глухо посмеивался. Ему вторили, громко и раскатисто, сидевшие за столом Калинин, Щербаков, Мехлис и Каганович. Особенно выделялся тонкий смех Щербакова, который, сняв очки, промокал носовым платком высту-

пившие на глазах слезы и вытирал вспотевшее полное лицо.

Оторопь в глазах вошедшего Молотова развеселила всех еще больше.

— Над чем смеются столь видные большевики? — спросил Молотов, направляясь в глубь кабинета. Он сел на свободный стул близ Сталина и, положив папку на зеленое сукно, раскрыл ее.

— На, читай. — Сталин прикрыл папку Молотова бумагой, которую держал в руках.

Молотов увидел донесение генерала Еременко с Западного фронта. В нем описывался первый эффект применения наших реактивных минометов БМ-13, о существовании которых ни наши обороняющиеся войска, ни тем более противник не знали. Еременко скупо, но с впечатляющей красочностью сообщал о невообразимой панике гитлеровцев, когда на их расположение навалился ужасающе ревущий смерч, взрывая и испепеляя все вокруг. В документе рассказывалось и о потрясении наших войск, когда над ними со страшным скрежещущим воем, изрыгая хвостатое пламя, стремительно проносились огромные сигаровидные снаряды.

— Да, потешно, — суховато сказал Молотов, не разделяя общего веселья, и отложил донесение в сторону. — А главное — обнадеживающе...

Сталин скосил на Молотова прищуренный глаз и хмыкнул в усы:

— Знаешь, почему смеемся?.. Вспомнили, как года полтора назад Ворошилов рассказывал о залпе испытательного образца этого же ракетомета на полигоне. Конструктор, правда, предупредил его, что будет жутковато, но все равно при первом залпе все чуть не слетели с вышки...

— Видимо, без меня это было. — Молотов так и не развеселился. — При мне приняли решение о запуске в производство ракетометов бээм-тринадцать и о формировании специальных частей.

Сталин тут же помрачнел, опустил взгляд и сказал:

— Да, к сожалению, только за день до начала войны мы смогли принять такое решение. — А затем, после паузы, спросил, обращаясь к Молотову: — У тебя, чувствую, тревожные вести?

— Те же, что и у тебя. — И нарком иностранных дел, взяв в папке шифровку о событиях в Японии, по-

ложил ее перед Сталиным. — Но какие будут последствия?

В кабинете наступила тишина. Все заметили, что Сталин, скользнув взглядом по документу, потускнел еще больше. После паузы он тихо произнес:

— Смена правительства в этой ситуации ничего доброго нам не сулит. — Сунув в рот нераскуренную трубку, он почмокал губами и спросил у Молотова: — А какие прогнозы у специалистов по Японии?

— Если новый кабинет поручат формировать тому же Коноэ, — будто размышляя вслух, заговорил Молотов, — тогда есть некоторые основания полагать, что японцы временно поостерегутся нападать на нас, а будут решать свои проблемы в Юго-Восточной Азии и выжидать, как будут складываться события на советско-германском фронте...

— Ну а если Тодзио станет премьером? — Сталин упредил вопросом развитие мысли Молотова.

— У тебя, может, есть сведения по линии разведки? — Молотов остановил на Сталине напряженный взгляд и, не дождавшись ответа, сказал: — Если военный министр Тодзио будет формировать кабинет, о чем мы узнаем сегодня же или, в крайнем случае, завтра, значит, возможна немедленная агрессия со стороны Квантунской армии...

— Да, — согласился Сталин, подавив вздох. — Они бросятся на нас с суши, с моря и с воздуха! Это и разведка подтверждает... Вслед за японцами нападет Турция... Но мы на другое и не рассчитывали, хотя и перебрасываем с востока часть сил на запад. Надо быть в полной боевой готовности на востоке и на юге... — Сталин тяжелым невидящим взглядом обвел лица сидевших за столом и продолжил: — Они нападут немедленно, даже независимо от того, Коноэ или Тодзио станет главой нового правительства, если только мы сдадим Смоленск и пустим немцев к Москве и если еще сдадим Киев... Немедленно нападут! А Англия и Америка тогда махнут на нас рукой и начнут сообща готовить к обороне против фашистского блока свои континенты и свои владения. У них забота — не допустить Германию к мировому господству.

Раскрытые окна постепенно выдохнули табачный дым, и кабинет наполнился рассеянным светом солнца. Все молчали, тягостно размышляя об услышанном от Сталина и Молотова. Сталин, заложив руки за

спину, стал прохаживаться по ковровой дорожке вдоль стола, сумрачно глядя себе под ноги. Нахмуренные брови, прятавшие глаза, и темноватое, в оспинах, лицо выдавали сумятицу обуревавших его чувств и мыслей. Тишину нарушил Молотов.

— Если на фронте продержимся до осени, обстановка может разрядиться, — сказал он, угадывая ход сомнений Сталина. — И японцы и турки вряд ли решатся начинать войну на пороге зимы.

Усталое лицо Сталина будто смягчилось, глаза блеснули желтоватыми белками, и их темные зрачки остановились на Молотове.

— Продержаться — это первое и обязательное условие, но не единственное. — Глухой голос Сталина будто чеканил слова. — Мы ведем сейчас и дипломатическую битву. Ее надо тоже выиграть! Надо, чтобы весь мир убедился, что мы не одиноки, что создана и с каждым днем ширится антигитлеровская коалиция государств и народов, пусть пока ее реальная сила равна нулю! Это первое...

— Как и решено на Политбюро, — сказал Молотов, похлопывая рукой по папке, — принимаются меры для установления дипломатических отношений с эмигрантскими правительствами Чехословакии, Польши, Бельгии и Норвегии... Сегодня посылаем наш проект соглашения чехословацкому правительству...

— Хорошо. — Сталин одобрительно кивнул и продолжил: — Второе: всеми возможными средствами надо не допускать расширения фашистского блока и образования новых очагов агрессии. — И спросил у Молотова: — Что у тебя имеется по этому вопросу?

— Проект очередного предупреждения правительству Ирана, чтобы оно ликвидировало опасность нападения на нас со своей территории.

— Своевременная мера, — согласился Сталин. — Только надо помнить о нефтяных интересах Англии в Иране. Не столкнуться бы.

— Конфликта не допустим, — успокоительно сказал Молотов.

— Итак, главная задача на дипломатическом фронте, — подытожил Сталин разговор, — расширять антигитлеровскую коалицию и сужать рамки фашистского блока.

Заметив, что Щербаков записывает в блокнот сказанное им, Сталин подошел к Щербакову и, постучав

мундштуком трубки по столу рядом с его блокнотом, добавил:

— И вы, товарищ Щербаков, можете многое сделать в этом плане. Мы смотрели далеко вперед, когда назначали вас руководителем Советского информационного бюро. Вы политик чуткий, гибкий и должны сами понимать: Совинформбюро — это зеркало, в котором отражается наше положение на фронтах и внутри страны. В это зеркало пристально смотрит не только наш народ, но и весь мир.

— Понимаю, товарищ Сталин. — Щербаков кивнул и поправил очки, что он делал всегда, сосредоточивая свое внимание.

— События, особенно на фронтах, — продолжил Сталин, вновь бесшумно зашагав по ковру, — надо показывать правдиво, но без излишней драматизации — спокойно, сдержанно... Весь мир должен чувствовать по вашим сводкам, что мы не щепка в бурном потоке событий, а могучий корабль, управляемый твердой рукой партии большевиков. И не иначе, как бы трудно для нас ни складывались события на фронтах.

— Товарищ Сталин, генштабисты часто усложняют нашу задачу, — сказал Щербаков, когда Сталин остановился у своего рабочего стола и начал набивать табаком трубку. — Фронтовые корреспонденты Совинформбюро сообщают, например, что такой-то пункт оставлен нашими войсками, а Генштаб не всегда подтверждает. Как нам быть в таких случаях?

— Не мельчиться в суждениях и выводах... Мы прикажем Жукову, чтоб в Генштабе за информацию для Совинформбюро отвечал один или два человека. — Сталин раскурил трубку, и на всех пахнул душистый запах табака. — А корреспондентам объясните, что они аккредитованы при Военных советах фронтов и поэтому пусть согласовывают свою информацию на местах. Ведь если командующий фронтом или армией не спешит доносить в Москву о сдаче населенного пункта — это не всегда боязнь ответственности. Возможно, он надеется вернуть населенный пункт или осуществляет какой-то оперативный маневр, и тут корреспонденты не должны торопиться.

— Тем более что сверхоперативная информация, — дополнил ответ Сталина Мехлис, — может помогать ориентироваться противнику.

— Но противнику может быть на руку и ваша

сверхреволюционная бдительность, товарищ Мехлис! — В словах Сталина прозвучало раздражение, и он так взглянул на Мехлиса, что тот внутренне подобрался, будто почувствовал опасность.

— Вы со мной не согласны, товарищ Сталин? — настороженно спросил Мехлис, и лицо армейского комиссара первого ранга порозовело, приблизившись цветом к малиновым петлицам его зеленой гимнастерки, в которых теснились по четыре крытых красной эмалью ромба. — Ведь мы и сами внимательно следим за тем, что обнародует противник. Значит, должны помнить...

— Должны помнить, — перебил его Сталин, — о тонкостях нашей политической стратегии, как своеобразном аккомпанементе вооруженной борьбы. — И он опять подошел к своему рабочему столу, посмотрев оттуда на собеседников, как бы призывая их к вниманию. — Вы не задумывались, товарищи, вот над чем... В каждой стране, на которую нападала фашистская Германия, находились силы, сочувствующие Гитлеру. Везде поднималась «пятая колонна», появлялись свои квислинги... Не оказалось их только в Советском Союзе.

Несмотря на наше совсем недавнее буржуазное прошлое, у нас к началу войны не оказалось ни социальной почвы, ни реальных сил для появления «пятой колонны», и это при том, что у тысяч и тысяч людей Октябрьская революция отняла их состояние, оставив только право трудиться и жить как все. — Голос Сталина чуть возвысился, что означало — главные его мысли впереди. — Нам важно знать и то, как мы выглядели даже со стороны Троцкого, учитывая, что он имел кое-какое представление, из чего складывается крепость Советского государства... Вот что писал господин Троцкий, когда в Германии пришел к власти Гитлер. — Передвинув на столе бумаги, Сталин взял тоненькую желтую папку и, раскрыв ее, неторопливо стал читать: — «Можем ли мы ожидать, что Советский Союз выйдет из предстоящей великой войны без поражения? На этот откровенно поставленный вопрос мы ответим так же откровенно. Если война останется только войной, поражение Советского Союза неизбежно. В техническом, экономическом и военном отношении империализм несравненно сильнее. Если он не будет парализован революцией на Западе, то он сметет

социальный строй, рожденный Октябрьской революцией».

— Косноязычно, однако политическая формула ясна, — заметил Молотов.

— Как дважды два! — Сталин небрежно швырнул брошюру на стол. — По Троцкому: если нас не спасет восстание пролетариата западных стран, значит, нас уничтожат; другого выхода нет.

— В этом вся суть троцкизма! — сказал Щербаков, заметив, что Сталин взглянул на него так, будто ждал его слова.

Сталин действительно собирался выслушать Щербакова, но не спешил задавать ему вопросы, рачительно перебирая мысли, как опытный землепашец сортовые семена. Он вновь стал расхаживать по толстой ковровой дорожке, расстегнув верхние пуговицы армейского кителя и поглядывая золотистыми глазами на огромную оперативную карту, расстеленную на краю стола заседаний. Трудно было предположить, о чем он сейчас заговорит, как вернется к затронутой проблеме политической стратегии.

— Гримасы истории! — Произнося эти слова, Сталин глухо и едко засмеялся. — Политический авантюрист Троцкий надеялся убедиться на нашем примере в состоятельности своей теории. А успел убедиться до своей смерти в обратном — увидел, что троцкизм гниет... Нам, впрочем, сейчас не до того, чтоб доказывать это. Много чести для Троцкого. Главное, что мы выстоим, должны выстоять! Мы сумеем защитить дело Ленина, хотя на революцию пока нет надежд: революционные силы Германии упрятаны в тюрьмы и в концентрационные лагеря...

И всем стало ясно, что Сталин, размышляя вслух, прокладывает логические мостки к чему-то тревожащему. Его глаза светились глубоким умом, знанием чего-то особенного, неведомого другим.

— Так вернемся к тонкостям нашей политической стратегии и, добавим, политической тактики перед лицом буржуазного мира, напряженно следящего, как мы сопротивляемся войскам фашистской Германии. — Сталин остановился против Щербакова и, как обычно, держа левую руку у нижней пуговицы кителя, неожиданно спросил: — Товарищ Щербаков, а если бы у нас в стране сейчас обнаружилась «пятая колонна», вы

бы спешили сообщать об этом в сводках Совинформбюро?

Щербаков поднял на Сталина удивленные глаза, шевельнул крупными руками, лежавшими на столе.

— Товарищ Сталин, даже в оккупированных наших областях гитлеровцы не находят опоры среди советских людей! — Он, чувствуя серьезность вопроса, нервным движением руки поправил очки на широком носу и продолжил: — Только единицы из среды уголовников и недобитых кулаков идут к ним в услужение... Но это не «колонна», а ошметки!.. Каждый день Совинформбюро получает и распространяет сведения о партизанской войне в тылу врага!

Внимательно выслушав Щербакова, Сталин удовлетворенно усмехнулся, пощекотал мундштуком трубки усы и повернулся к Мехлису, который, кажется, почувствовал, что Сталин сейчас обратится к нему, и смотрел на Сталина прямым напряженным взглядом, выражающим вопрос и настороженность.

— А вот товарищ Мехлис чуть было не разоблачил «пятую колонну» среди наших военных!.. — Сталин махнул зажатой в правой руке трубкой в его сторону. — Я имею в виду бывшее руководство Западного фронта во главе с Павловым. — И он бесшумно зашагал по ковру.

— Не я же вел следствие! — вяло откликнулся Мехлис, и все поняли, что это уже не первый у них разговор об этом. — А предполагать все можно было, имея в виду не столь давнее прошлое.

— Предполагать, что бывший крестьянин Павлов, ставший генералом армии и Героем Советского Союза, мог пойти на сговор с фашистами против рабоче-крестьянского государства?! — Остановившись, Сталин повернул к Мехлису только голову; его косой взгляд выражал негодование. — А ведь вы именно с таким обвинением препроводили в Москву из Смоленска отданных под суд генералов! — Увидев, как побагровел и заерзал на стуле Мехлис, Сталин смягчился: — Ну не лично вы, а военная прокуратура фронта, где вы были первым членом Военного совета! Хорошо, что здесь, в Москве, военная коллегия Верховного суда разобралась во всем, отмела бредовые обвинения Павлову, которые он подмахнул, желая, видимо, довести все до абсурда или в минуту невменяемости, в порыве слепой обиды!..

— Я здесь ни при чем! — Мехлис откинулся на спинку стула, отведя глаза от загадочно-сосредоточенного лица Сталина.

— Ни при чем?! — повысил голос Сталин, не столько даже рассерженный, сколько удивленный. — Партийный руководитель всегда «при чем»! За все в ответе!.. А товарищ Мехлис «ни при чем»! Да вы знаете, какой бы вы подарок сделали нашим врагам, особенно противникам создания антигитлеровской коалиции государств, просочись к ним этот бред о заговоре у нас на Западном фронте?! Коалиция рухнула бы, не родившись!.. Вы вникните, товарищи, в ситуацию момента: немецко-фашистские армии пробиваются в глубь Советского Союза, Япония и Турция хотят напасть на нас, но пока не уверены, что победят... Англия, США, правительства некоторых других государств, в том числе и эмигрантские, не заинтересованы в триумфе гитлеровской Германии, но и нам не желают благополучия... Из двух зол они выбирают меньшее... Как им вырабатывать линию своего отношения к Советскому Союзу, если внутри его, как в Испанской республике, могут обнаружиться силы, способствующие победе фашистской Германии? Целый комплекс надежд и сомнений одновременно... Можем ли мы, руководители партии и государства, руководители наших Вооруженных Сил, в такой обстановке быть «ни при чем»?

— Товарищ Сталин, не ловите меня на неудачно вырвавшемся слове. — Обида Мехлиса прошла, и он извинительно оглянулся на сидевших за столом.

— У политического деятеля случайных слов не бывает. — Сталин говорил не назидательно, а с чувством досады. — Если же оно вырвалось помимо его воли, то именно это слово выражает внутреннюю сущность деятеля или состояние на данный момент. Ладно, не будем придирчивы к товарищу Мехлису. — Глаза Сталина сверкнули снисходительной полуулыбкой. — Согласимся с тем, что товарищ Мехлис оговорился. Но я хочу, чтобы все мы поняли: сейчас на нашу страну, в самое ее сердце, смотрят сквозь тысячи мощных телескопов!

— При этом видят одно, а пишут в газетах или вещают по радио нечто другое, — со сдержанным гневом заметил Молотов.

— Да, в белом хотят видеть только черное! Ты им

подробнее. — Сталин, взглянув на Молотова, кивнул в сторону сидевших за столом.

Молотов невесело улыбнулся какой-то своей мысли и, ни на кого не глядя, стал говорить:

— Мы тщательно наблюдаем и анализируем, как буржуазная печать и радио информируют свои народы о событиях в нашей стране. И нам ясно, что многие буржуазные политики желали бы увидеть в СССР, мягко скажем, замешательство, особенно среди военного и политического руководства и среди интеллигенции. Им важно показать своим народам и правительствам непрочность, несостоятельность советского строя перед военной опасностью. — Молотов формулировал мысли четко, законченно, будто излагал их на бумаге. — Наши командиры, наши политические деятели разочаровали недобросовестных толкователей положения в СССР, а на интеллигенцию, особенно творческую, кое-кто из наших противников еще рассчитывает. Печатают всякие измышления о ее недовольстве Советским правительством...

— Верно, недовольные есть! — с напускной серьезностью воскликнул Щербаков. Заметив, что его слова удивили всех, пояснил: — Особенно писатели бунтуют — поголовно все требуют отправки на фронт! Даже такие очкарики, как я.

— ПУ РККА * тоже завалили письмами, — подтвердил слова Щербакова Мехлис. — И не одни писатели, а и художники, артисты, композиторы!

— А на Западе трубят, будто советская творческая интеллигенция работает у нас из-под палки, — закончил Молотов.

— Из-под палки? — Сталин язвительно улыбнулся. — Разве из-под палки скажешь такие слова, какие сказали с трибуны Восемнадцатого съезда партии товарищи Шолохов и Бажан? Конечно, интеллигент интеллигенту рознь. Еще идет процесс становления советской интеллигенции, и хорошая палка, конечно же, коекому нужна.

— Как это понимать? — спросил Калинин, выражая озадаченность всех присутствующих.

— Наша беда, что рабочие и крестьяне, — начал пояснять Сталин, произнося слова неторопливо, словно

---

* ПУ РККА — Политуправление Красной Армии.

с трудом подбирая их, — в большинстве своем пока далеки от серьезной теории. Это понятно: теория — родная сестра высокой образованности и наследница аналитического склада ума; а трудящиеся веками не подпускались к высокой культуре... Взгляните только на интеллигенцию, вышедшую после революции из среды рабочих... именно рабочих, ибо крестьяне от теории еще дальше... Молодые интеллигенты из рабочих, став таковыми после завершения образования, с энтузиазмом занялись строительством нового общества, руководствуясь нашей программой. И крестьянские дети тоже глубоко пашут на новой ниве... — Сталин умолк, будто смутившись, что все слушают его со столь огромным вниманием, а может, вспомнилось ему, что на XVIII съезде партии в своем докладе он, говоря о новой советской интеллигенции, не затрагивал этой важной проблемы; пососал трубку и, убедившись, что табак не горит, положил ее в хрустальную пепельницу, затем продолжил: — Но многие из них при всей своей эрудиции еще не были готовы встать на рельсы теоретического мышления родившей их эпохи, не могли сразу воспринять социализм как теорию, опирающуюся на идейное богатство, накопленное ранее, и уходящую корнями в экономические основы уже нового общества. Точнее, не готовы к обобщающим мыслям, которые переходят в закономерности... Это, видимо, случится позже. А уж последующее поколение, надо надеяться, наверняка родит своих теоретиков... Старая же интеллигенция, пусть не вся, не поголовно вся, оказалась бессильной перед путами буржуазной идеологии, ставшей еще до революции сущностью ее внутреннего мира. — Умолкнув, Сталин подошел к открытому окну и, глядя на стройные ели, ветви которых были опушены яркой свежей зеленью молодых побегов, спросил, ни к кому не обращаясь: — Вы, надеюсь, поняли, к чему я веду?.. Я хочу вам напомнить, что никто ни из старой, ни из молодой интеллигенции не поспешил в должной мере на помощь Ленину в дальнейшей разработке теории строительства коммунизма.

Сталин, помолчав, заговорил с некоторой отчужденностью:

— Нужна целая плеяда марксистов-теоретиков, чтобы в нужном объеме разрабатывать теорию, указывающую безошибочные пути нашего движения вперед, когда со всех сторон упорно и планомерно, тайно и явно

мешают этому движению... Мы делали все, что могли... Нашему напряжению, нашим заботам нет границ... Каторга, а не жизнь! Каторга во имя того, чтобы построить новый мир. Но сколько ошибок, сколько неоправданных потерь! История еще предъявит за них счет... Однако у нас другого пути нет. Ленин научил нас, как не допустить возврата к капитализму. Это учение мы проверили практикой. А как без ошибок идти по пути, которым еще никто не ходил?.. Как выбирать самые верные и короткие дороги к коммунизму?.. На эти вопросы прежде, чем они станут практикой, должна отвечать теория! А интеллигенция не спешила и пока активно не спешит ее разрабатывать. Мешать нам и ругать нас есть кому, а помогать — нет... Но Ленину было еще труднее!

Сталин отвернулся от окна, взглянул на электрические часы над дверью и сел к столу заседаний. Обведя всех усталым взглядом, заговорил вновь:

— Хорошо, что у нас есть наследие Ленина. Когда нам особенно трудно, мы обращаемся к нему... Если мы не можем найти применимых к данному моменту теоретических формул, мы опираемся на ленинские принципы оценки ситуации, на стиль его работы, на образ его мышления и, наконец, на имевшие место убедительные примеры. Весной восемнадцатого года, когда нам было нелегко и в связи с массовым привлечением в армию военных специалистов бывшей царской армии, Ленин предложил ввести институт военных комиссаров, который успешно функционировал семь лет... В силу известных обстоятельств международного и внутреннего характера в мае тридцать седьмого мы вновь вернулись к оправдавшей себя системе. А прошлым летом в целях осуществления в войсках полного единоначалия опять ввели институт заместителей командиров по политической части... Вместо комиссаров. — Голос Сталина потускнел, он заговорил медленнее, и каждое его слово выражало досаду или сожаление: — Кажется, поторопились... Хотя польза была несомненная...

— К чему ты клонишь, товарищ Коба? — с притушенным нетерпением спросил Молотов и взглянул на часы: через несколько минут он должен быть в своем кабинете — там ждали его дела, которые наползали друг на друга, как льдины во время бурного ледохода.

— Все самое главное и срочное сейчас здесь. — Сталин, угадав нетерпение Молотова, спокойно постучал

пальцем по столу. — А к чему я клоню, пусть доложит Государственному Комитету Обороны товарищ Мехлис как начальник Политуправления РККА.

Мехлис, пригладив рукой свою черную густую шевелюру, с готовностью встал и заговорил сочным голосом, который очень шел к его крепкой, ладной фигуре и красивому сытому лицу:

— По указанию Центрального Комитета партии мы с товарищем Щербаковым приготовили проект Положения о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. — И он открыл лежавшую перед ним папку.

— Возвращаемся на круги своя, — уточнительно заметил Калинин, кажется, осведомленный об этом заранее. — Путь проверенный... и войска воспримут такую меру правильно. Ведь сейчас, в боевых условиях, на командиров ложится такая тяжкая, порой мучительная ответственность, что вряд ли кто из них откажется делить эту ответственность.

— А что скажет на сей счет заместитель Председателя Государственного Комитета Обороны? — Сталин с вопросительной требовательностью посмотрел на Молотова.

В этот вопрос Сталин вложил какие-то свои сомнения, ибо лицо его выразило озабоченность.

— Скажу, что буржуазная пропаганда начнет вопить, будто мы не доверяем своим командирам...

— На каждый роток не накинешь платок. — Сталин, кажется, был недоволен ответом Молотова. — Но в данной ситуации, пожалуй, и с этим надо считаться...

— Несомненно, надо считаться! — Молотов продолжал излагать свою точку зрения: — Тем более что практика сегодняшнего дня, к счастью, пока не дает нам серьезных примеров, которые бы торопили нас с введением института военных комиссаров... Я предлагаю дать возможность проблеме созреть, а тем временем выяснить отношение к ней руководства Наркомата обороны, Генерального штаба.

— С их стороны возражений нет, — сказал Мехлис, продолжавший стоять за столом.

— Но и нет, насколько мне известно, мотивированных предложений, — недовольно заметил Сталин.

В кабинете наступила та тягостная, сторожкая тишина, когда никому не хочется нарушить ее первым. Ста-

лин, уронив взгляд, тоже не спешил продолжить разговор.

В это время Молотов заметил у дверей вошедшего Поскребышева. Помощник Сталина, тихо ступая по ковровой дорожке, шел в глубь кабинета, смотрел себе под ноги, но Вячеслав Михайлович каким-то чутьем угадал, что Поскребышев идет к нему с дурной вестью.

Подойдя к Молотову, Поскребышев остановился и, извинительно взглянув на Сталина, тихо сказал:

— Вячеслав Михайлович, в наркомате ждут вашего звонка.

Коренастый, бритоголовый, с широким крестьянским лицом, на котором контрастно выделялись из-под припухших век пытливые светло-голубые глаза, Поскребышев словно излучал деловитость: со стороны могло даже показаться — он зашел в кабинет, чтобы удостовериться, соблюдают ли здесь порядок.

Поскребышев бесшумно удалился, а Молотов, подойдя к рабочему столу Сталина, при всеобщем молчании позвонил по внутреннему телефону в Наркомат иностранных дел. С минуту выслушивал чей-то доклад, а затем, положив трубку, повернулся к Сталину.

— То ли провоцируют немцы, то ли желаемое выдают за действительность, — спокойно сказал он, не веря в то, что сейчас услышал. — Английское радио передало, ссылаясь на берлинское радио, что немецкие моторизованные войска захватили Смоленск и беспрепятственно движутся на Москву.

Сталин язвительно улыбнулся и, поднявшись со стула, сказал, направляясь к телефону:

— Еще не хватало, чтобы мы пользовались информацией англичан о положении на наших фронтах! — Он снял телефонную трубку, набрал номер и, сдерживая гнев и тревогу, неторопливо сказал: — Прошу товарища Жукова!

Дежурный по Генштабу ответил, что генерал армии Жуков минуту назад уехал в Кремль с докладом. Но дожидаться приезда Жукова, кажется, не было сил, и Сталин, вызвав Поскребышева, распорядился немедленно соединить его со штабом Западного фронта — с маршалом Тимошенко.

Маршала на месте не оказалось. Член Военного совета Булганин подтвердил Сталину: 29-я моторизованная дивизия генерала фон Больтенштерна захватила южную часть Смоленска.

22

Несколько успокоенный телефонным разговором с маршалом Тимошенко, генерал армии Жуков отвлекся мыслями от Смоленского направления, устремив их на Юго-Западный и Южный фронты. Выходя из своего кабинета, он отглотнул из чашки остывший кофе и, не почувствовав вкуса, вновь поставил чашку на тускло-серебряный поднос рядом с печеньем и бутербродами на тарелочках. Нес с собой податливо-пухлую папку со сложенной сводной оперативной картой, отдающей запахом клея, и почти физически ощущал все начертанное на ней. Зыбкость красных линий, жирность и угловатость синих обжигали его мысль и сердце: сегодня немцы, обойдя правый фланг нашей группировки войск в районе Бердичева, ворвались в Белую Церковь; тяжелые бои ведут дивизии Юго-Западного фронта и восточнее Житомира. Киев под прямой угрозой... На Южном фронте тоже не легче — пал Кишинев. Будто железные путы все сильнее сжимают тело; дышать пока можно: держится Смоленск.

Жуков спешил в Кремль на очередной доклад, казнясь за тяжкие неудачи на фронтах, будто он и был их главным виновником. Его доклады Сталину нередко заканчивались выслушиванием упреков за просчеты командармов, командующих фронтами, за медлительность Генерального штаба в сборе информации и разгадывании замыслов немецких генералов. Сталин замечал, что его упреки обижают Жукова, но порой не мог или не старался сдержать себя, хотя уважал и высоко ценил его как человека с сильным, цельным характером и полководческой одаренностью. Позавчера, после трудного диалога, когда они, взвинченные, пришли в квартиру Сталина ужинать и когда Сталин, заметив, что Жуков, поглядывая на часы, тяготился этим, ибо его ждали в Генштабе неотложные дела, сказал ему прежде, чем разрешить уехать: «Только не надо обижаться на Сталина... Если Сталин недоволен ходом событий, если немножко ругает начальника Генштаба или наркома обороны, значит, он сердится и на себя, ругает и себя самого... Сталин ругает вас, а вы ругайте начальников своих управлений, командующих фронтами и армиями. У вас для этого уже будет больше морального права, вы сможете проявить еще большую строгость и требовательность. А это сейчас надо: война... Вы удивляетесь,

что я говорю о себе, будто о другом человеке?.. Как вам известно: моя настоящая фамилия — Джугашвили. А «Сталин» — мой партийный псевдоним. И мне иногда кажется, что так именуется моя должность в партии. Но в партии нет должностей в обычном понимании, в партии не служат... Работа в партии — это жизнь, самая ответственная и активная форма жизни. Вот я временами и смотрю на Сталина как бы со стороны и всегда отношусь к нему очень строго...»

Эти слова Сталина понравились Жукову. Более того, они как бы оправдывали его собственную, жуковскую, жесткость и твердость, однако утешили ненадолго: до очередных сердитых упреков Сталина. И сейчас генерал армии Жуков, направляясь в Кремль, не торопясь и не медля, вышагивал по знакомому коридору Наркомата обороны. Пытался предугадать, какие последуют от Сталина вопросы после того, как он доложит обстановку и предложит свои решения. Окунувшись мыслями и чувствами в самого себя, не отвечал на приветствия замиравших по сторонам коридора командиров, не вглядывался в их лица, и поэтому все они проплывали мимо него бледными масками. Тем же размеренным шагом спускался по неширокой «наркомовской» лестнице, выходившей в закрытый двор, посреди которого за низкой железной решеткой рос в окружении кустарников сад, чахловатый и грустный без солнца.

Только вышел во двор, тут же из угла подкатил длинный ЗИС. Не успел сесть в машину, как раскрылись высокие железные ворота. Эта тревожная поспешность и предупредительность всего окружавшего его утомляла и раздражала, напоминая, что он не имеет ни одной минуты, принадлежащей лично ему. Будто отбыл тяжкую повинность и обязан был поспевать за всем, что предписано. А все было предписано, в общем-то, им самим, генералом Жуковым, все трепетно старались не нарушать взятого им ритма, напряженного, четкого, как удары сердца.

Черный ЗИС в считанные минуты перенес его с улицы Фрунзе за кремлевские стены, а еще через минуту он входил в приемную Сталина, внутренне собранный и чуточку раздраженный, предвидя нелегкий разговор из-за того, что с прорывом германских войск к Ярцеву и оседланием ими железной дороги и автомагистрали Минск — Москва необходимо принимать страховочные меры для прикрытия уже непосредственных подступов

к Москве: ведь между Москвой и Вязьмой, на пространстве чуть более двухсот километров, не было реальных сил, способных в случае дальнейшего прорыва танковых колонн врага оказать им сопротивление. Посоветовавшись ночью по телефону с маршалом Шапошниковым, Жуков вместе с управлениями Генштаба составил проект решения Государственного Комитета Обороны о строительстве оборонительного рубежа в тылу Фронта резервных армий на полпути от Вязьмы к Москве и с таким расчетом, чтобы оборонительный пояс прикрывал столицу с самых опасных направлений. Однако принятие такого решения должно означать, что Политбюро ЦК и Государственный Комитет Обороны разделяют точку зрения Генштаба о реальной угрозе, нависшей над Москвой. А может, опасения преждевременны? Не упрекнет ли Сталин Жукова в панических, а то еще хуже — в пораженческих настроениях? Главное же, как отнесутся в Кремле к тому, что оборона прикрывающего столицу рубежа поручается в основном не кадровым частям, а дивизиям Московского народного ополчения. Он, Жуков, сам с тревогой размышляет над этим немаловажным обстоятельством. Ополченец — человек, не подлежащий призыву по мобилизации. Значит, или возраст преклонный, или здоровьем не вышел... Бывает, что не берут в армию по семейным или другим причинам. В какой мере сможет это необученное войско сопротивляться свирепому натиску вышколенных немецких дивизий?

Генеральный штаб располагает сведениями, что в прифронтовых районах сотни тысяч людей из местного населения вступили добровольцами в истребительные батальоны, в группы самообороны, рабочие отряды. На вчерашний день количество истребительных батальонов уже превышало цифру в полторы тысячи! В каждом батальоне насчитывается от 100 до 500 человек! И они неплохо громят фашистские авиадесанты, вылавливают шпионов, диверсантов, несут охранную службу в прифронтовой полосе, а с отступлением наших войск вливаются в их ряды или уходят в партизаны.

Возможно, и дивизии народного ополчения покажут себя так же хорошо. Их формирование приняло большой размах. Первыми начали ленинградцы и москвичи. Потом, с одобрения ЦК ВКП(б), этому примеру последовали Ростов-на-Дону, Смоленск, Курск, Тула, Калинин, Иваново, Горький, Рязань, Брянск. Дивизии народ-

ного ополчения сформированы в Краснодарском крае, Кировской, Воронежской, Ярославской областях. Ополчения Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Карелии уже вливаются в действующую армию. Во главе двенадцати дивизий московских добровольцев поставлены опытные кадровые командиры. Вооружение и военную технику дивизии получают на складах Московского военного округа, а транспортные средства и все необходимое для вспомогательных служб — из ресурсов столицы. Городской и районные комитеты партии с ног сбиваются, чтобы их рвущиеся в бой детища обрели военную силу и организованность... Когда думаешь об этих дивизиях, в которых по семь-восемь тысяч человек, когда знаешь, что в их рядах не только рабочие и служащие, но и видные ученые, писатели, музыканты, художники, архитекторы, журналисты, когда мысленно всматриваешься в дышащие решимостью лица, тебе будто передается боль и тревога всего народа о судьбе Родины. И конечно же, если эта боль и эта тревога кристаллизуются в четкие формулы людского разумения, в великую, ясную, зовущую мысль, ничто уже не способно приостановить утверждение и развитие этой мысли как пробуждающейся мощи государства.

И еще одна мысль, родившись однажды внезапно, кинула его в жар до помутнения в голове. Поделился этой мыслью с маршалами Тимошенко и Шапошниковым. Ни тот, ни другой ничего не сказали: Борис Михайлович только вздохнул и потупил глаза, а Семен Константинович взглянул так, будто на него замахнулись саблей... Как бы все сложилось, если б Сталин согласился с их, Жукова и Тимошенко, предложением и еще тогда, 13 июня, они скрытно провели в стране мобилизацию и двинули войска к западным границам? Неужели сейчас оказались бы без резервов?.. Как отвечать на этот вопрос, если задаст его Сталин?.. Впрочем, сейчас каждый новый день рождает столько вопросов, что оглядываться в прошлое некогда.

В приемной Сталина, если даже собиралось много людей, всегда было тихо, будто существовало правило, что разговаривать здесь не принято. Никто такого правила не устанавливал; просто каждый, кто попадал сюда, знал, что сейчас встретится со Сталиным, и в последние минуты перед встречей с ним словно старался ос-

таться наедине с самим собой, чтобы сосредоточиться, подавить волнение, особенно если это была первая или вторая встреча... Волновались здесь почти все, даже он, начальник Генерального штаба Жуков.

Войдя в приемную, Георгий Константинович сразу же встретился взглядом с глазами Поскребышева. Помощник Сталина, сидя за столом в черном кресле с жесткими подлокотниками, смотрел на него из-под припухших век с нетерпением, и Жуков понял, что его ждут, почувствовал это и по особенно сторожкой тишине (чаще тишина здесь казалась торжественной). В приемной безмолвно сидели на стульях вдоль дубовой настенной панели между окнами несколько человек в цивильных и военных, без знаков различия, костюмах; все с напряженной прилежностью держали на коленях папки. Среди них узнал наркома авиационной промышленности Шахурина: у него на коленях высился вздутый желтый портфель, а на портфеле — широкий лист бумаги с каким-то графиком, и Шахурин, наклонив голову с черной вьющейся шевелюрой, тщательно рассматривал его, будто дремал.

Поскребышев, широкоплечий, широколицый и бритоголовый, поднялся из-за стола, в край которого словно вросли пять телефонных аппаратов, и, направляясь в кабинет Сталина, тревожно шепнул Жукову лишь одно слово:

— Смоленск...

Жуков мысленно похвалил себя, что успел перед отъездом в Кремль переговорить по телефону с маршалом Тимошенко и из первых уст узнать о положении в районе Смоленска. Поднял глаза на широкое полотнище политической карты Европы, висевшее за креслом Поскребышева, отыскал на ней Смоленск и скользнул от него взглядом на восток, к Москве: совсем рядом! Обжигающе близко!

Поскребышев почему-то задержался в кабинете Сталина. Это вызывало у Жукова смешанное чувство тревоги и досады. И он старался отвлечься от предстоящего доклада, уплыть в бездумье, чтобы, когда войдет в кабинет, не вспоминать заготовленные мысли, а излагать, рождая их по ходу оценки положения на фронтах, уже легшие на оперативную карту строгими начертаниями.

Жуков стоял у стола Поскребышева, рассматривал политическую карту Европы и уже ничего не видел на

ней от усилившейся тревоги. На столе в это время тихо зазвонил, почти зашелестел, один из телефонных аппаратов, и он непроизвольно снял трубку. Тут же услышал знакомый и чем-то взволнованный голос генерал-лейтенанта Василевского.

— Александр Николаевич, генерал армии Жуков уже зашел к товарищу Сталину? — спрашивал Василевский, полагая, что трубку поднял Поскребышев.

— Это я, Александр Михайлович, — пресекшимся голосом ответил Жуков, чуя недоброе.

Но Василевский продолжал в своей торопливости принимать его за Поскребышева:

— Если нет, пусть немедленно, не заходя к товарищу Сталину, позвонит в Генштаб!

А в дверях кабинета Сталина появился Поскребышев и, не закрывая их, требовательным взглядом приглашал Жукова заходить.

Георгий Константинович, теснее прижав к уху трубку, с отчаянием возвысил голос:

— Жуков у телефона!

Василевский наконец понял и, быстро чеканя слова, доложил:

— Телеграмма от Тимошенко: немцы заняли южную часть Смоленска. Мосты через Днепр взорваны по приказу то ли начальника гарнизона, то ли генерала Чумакова. Шестнадцатая и Двадцатая армии окружены.

Положив на аппарат вдруг взмокшую в руке трубку, Жуков опалил взглядом непроницаемое лицо Поскребышева, с которым был в дружеских отношениях. Что значило брошенное им: «Смоленск»?.. Неужели там, за дверью, уже знают?.. Откуда?.. Но задавать вопросы не было времени.

Кабинет встретил начальника Генерального штаба давящей тишиной. Никто, кажется, кроме Щербакова и Мехлиса, не смотрел на него. Сталин стоял у своего рабочего стола с посеревшим, часто испятнанным оспинами лицом и, держа в руках трубку, смотрел в пол. Молотов сидел сбоку его стола, склонившись над какими-то бумагами, Калинин, сняв очки, тщательно протирал их стекла платком.

Жуков понял, что все ждут его с напряженным и тревожным нетерпением. Поздоровавшись и пройдя к середине стола для заседаний, он положил на зеленое сукно папку с картой и вопросительно посмотрел на Сталина. Встретился с прищуренным взглядом, отметил,

что обычно золотистые глаза его казались сейчас черными, а зрачки в них светились двумя холодными огоньками.

— Докладывайте, — тихо и глухо сказал Сталин, а затем, как всегда, бесшумно и развалисто зашагал по ковровой дорожке к дверям, чтоб тут же вернуться обратно.

Жуков с небывалой медлительной тщательностью развертывал хрустящую карту, раскладывая ее на зеленом сукне стола створку за створкой и собираясь... нет, не с мыслями, а укрепляясь в чувствах какой-то своей еще неосознанной правоты, сопротивляясь вливавшейся в душу тоскливости, как преддверию грядущего тяжкого разговора и не противясь нарастающему раздражению как самозащите.

И вот карта развернута, можно приступать к докладу, но что-то сдерживало Жукова, кажется, ему окончательно стало ясно — здесь, в кабинете, знают, что немцы ворвались в Смоленск. А мысли его еще сопротивлялись этой мучительно-тяжкой реальности, он не знал, как даже самому себе объяснить случившееся, и в то же время яснее начинал понимать, что намеченное страховочное решение по Западному фронту, которое он собирался в конце доклада предлагать Государственному Комитету Обороны, теперь особенно своевременное, единственно правильное, будто Генштаб, принимая такое решение, уже знал о падении Смоленска... Но не покажется ли это странным Сталину и членам Политбюро?

Медлительность Жукова Сталин понял по-своему. Подойдя к карте и увидев на ней, что немцы будто бы еще находятся от Смоленска северо-западнее и юго-западнее, Сталин, обращаясь к присутствующим в кабинете, тихо, с жесткой улыбкой сказал:

— Сейчас мы услышим доклад о том, как товарищи Тимошенко и Жуков обороняют Смоленск. — В его голосе послышалась устрашающая ирония.

Жуков, повернувшись лицом к Сталину, замер в стойке «смирно» и с горькой обидчивостью ответил:

— Товарищ Сталин, войну ведут не Жуков и Тимошенко, а армия и народ... Час назад я разговаривал с Тимошенко... Смоленск был в наших руках... А сейчас мне доложили, что есть телеграмма...

— В том-то и дело, что, когда вы разговаривали с Тимошенко, Смоленск уже был в руках немцев! — сдерживая ярость, Сталин перебил Жукова. — Тимо-

шенко втирал вам очки, а вы втираете нам!.. Государственный Комитет Обороны дает главнокомандующему Западным направлением директиву — Смоленск без приказа не сдавать. Главнокомандующий, он же нарком обороны, заверяет, что директива будет выполнена, а в городе уже враг!.. Что все это значит?!

— Дивизии Шестнадцатой и Двадцатой армий ведут бои в районе Смоленска и в северной части города. От основных сил фронта они отсечены. — Жуков сразу, на всю глубину собственного потрясения, вскрывал перед членами Политбюро сложившуюся на Западном фронте обстановку, будто стремился обрушить на себя их упреки.

— Значит, не только пустили немцев в Смоленск, но и позволили окружить целых две наши армии?!

— Армии неполного состава. У Лукина всего лишь две стрелковые дивизии!..

Но Сталин, казалось, уже не хотел слушать объяснений начальника Генерального штаба.

— Позор! Город на холмах, обнесенный стеной, по которой на тройке можно ездить! Ни снаряд, ни торпеда не продырявят ее!.. Какие башни, бойницы! Наконец, в городе узкие улицы, много подвалов! Да там можно было обороняться...

— Нечем обороняться! — Жуков ткнул пальцем в карту. — Гарнизон состоял всего лишь из батальона милиции и трех батальонов смоленских ополченцев. Но на подступах к Смоленску войска Курочкина, Лукина и Чумакова нанесли немцам чудовищные потери!

— А город оставили незащищенным?! Это же не город, а памятник! Слава русского воинства! Триста с лишним лет назад поляки два года не могли взять Смоленск! Наполеон обломал о него зубы! А красный маршал Тимошенко позволил врагу взять Смоленск с ходу! * — Из прищуренных глаз Сталина, казалось, выплескивался черный огонь. Он сделал к Жукову шаг, будто хотел пристальнее всмотреться ему в лицо, но тут же резко повернул назад и сел за свой рабочий стол, сердито отодвинув в сторону хрустальную пепельницу.

---

* Через тридцать лет Г. К. Жуков об этом разговоре так напишет в своей книге «Воспоминания и размышления»: «Потеря Смоленска была тяжело воспринята Государственным Комитетом Обороны и особенно И. В. Сталиным. Он был вне себя. Мы, руководящие военные работники, испытали тогда всю тяжесть сталинского гнева».

Под напором пепельницы вздыбились на краю стола бумаги. Сталин передвинул пепельницу к себе и подрагивающими пальцами начал набивать табаком из разорванной папиросы трубку. Закурил, поправил под собой кресло и коротко посмотрел на присутствующих. В этом взгляде будто просквозила досада, что дал волю своему гневу, что потрачены драгоценные минуты на бесплодные препирательства и впустую расходуются душевные силы.

— Будем принимать решения, — сказал уже спокойно, словно и не его глаза сверкали минуту назад угрожающей чернотой. — Сначала послушаем товарища Жукова о положении на других фронтах.

Но Жуков не был бы, наверное, Жуковым, если бы после столь трудного разговора точно последовал предложению Сталина. Объяснив обстановку на Северо-Западном фронте, он обратил внимание Государственного Комитета Обороны на неприкрытый стык Северо-Западного с Западным фронтом, а затем с четкой обстоятельностью доложил о напористых действиях при поддержке авиации немецких танковых групп Гудериана и Гота на Смоленском направлении, об их силе и маневренности и о недостаточной глубине нашей противотанковой обороны в стрелковых частях ввиду нехватки противотанковой артиллерии. Только потом перешел к Юго-Западному и Южному фронтам...

Когда Жуков закончил доклад, Сталин некоторое время смотрел в его хмурое и измученное лицо, осмысливая услышанное, затем сказал:

— Надо немедленно пробить бреши к Шестнадцатой и Двадцатой армиям, усилить их подошедшими резервами и вышвырнуть фашистов из Смоленска!

— Сделаем все, товарищ Сталин,—заверил Жуков.— Хотя не так просто: мосты через Днепр взорваны. — После паузы, словно упреждая новую вспышку гнева Сталина, добавил: — Взорваны без нашего ведома.

— Взорваны?! Мосты стратегического значения взорваны без приказа и даже без ведома Ставки? — Глаза Сталина превратились в темные щелки.

— Может, сложилась такая необходимость? — высказал предположение Молотов, глядя на Сталина, словно сдерживая его раздражительность. — Возможно, маршал Тимошенко не успел нам доложить?

На слова Вячеслава Михайловича вдруг откликнулся Мехлис:

— Вот вам и доказательство, что мы своевременно ставим вопрос о введении института комиссаров! — Он наклонился к сидевшему рядом с ним Калинину, словно за поддержкой.

— Совершенно верно. — Михаил Иванович кивнул клинышком бородки. — Без ведома и согласия комиссара командир и мост взрывать не будет. Но главная суть в том, что в армию и на флот идут сейчас запасники, а должного опыта командной и партийно-политической работы у них мало. Поэтому без помощи комиссаров им обойтись трудно...

— Со смоленскими мостами мы разберемся и доложим. Виновных предадим трибуналу. — Жуков повернул разговор в старое русло: — Но отсутствие мостов не меняет задачи: Смоленск — ворота к Москве, их надо закрыть!

— Не надо было открывать, — уже спокойно, но не без горечи сказал Сталин. — Давайте решать... Итак, сперва о комиссарах. Государственный Комитет Обороны поддерживает это предложение. С началом войны действительно намного усложнились задачи и условия деятельности командиров наземных, воздушных и военно-морских сил. С проектом Положения о военных комиссарах товарищи Мехлис и Щербаков нас познакомили. Поправки и уточнения мы внесли... Теперь слово за Президиумом Верховного Совета.

— Проект Указа готов, товарищ Сталин. — Калинин погладил легкой рукой лежавшую перед ним папку.

Сталин одобрительно кивнул и, выдохнув сизое облако табачного дыма, обратился к Мехлису:

— ЦК комсомола примет постановление о мобилизации комсомольцев на политическую работу в Красную Армию. В ближайшие дни в ваше распоряжение поступит четыре с половиной тысячи комсомольцев. Приготовьтесь послать их в войска на должности заместителей политруков.

— Задача ясна, товарищ Сталин.

Калинин и Мехлис покинули кабинет, чтобы «дать ход» принятым документам, а Сталин, подойдя к расстеленной на зеленом сукне стола оперативной карте и не глядя на Жукова, спросил у него:

— Как будем прикрывать Москву?.. — Тут же сам и ответил: — Надо строить еще одну линию обороны. Примерно вот здесь. — Взяв красный карандаш, Сталин

провел на оперативной карте округлую черту, прошедшую через Кушелево, Ярополец, станцию Колочь, Ильинское, Детчино. — Назовем ее Можайской линией обороны и образуем здесь фронт, который прикроет Волоколамское, Можайское и Малоярославецкое направления. Подумайте, какие силы должны будут войти в состав этого фронта.

Жуков был удивлен и озадачен: Сталин предлагал то же самое решение, к которому они с маршалом Шапошниковым пришли сегодня ночью. И он развернул рядом с полотнищем оперативной карты карту поменьше — Западного фронта; у ее правого среза виднелась Москва. На этой с ослабленным цветным тоном карте все просматривалось словно в тумане — города, реки, дороги... Зато нанесенные карандашом красные, ощетинившиеся зубчиками в сторону противника линии, а также топографические знаки и надписи бросались в глаза строгой четкостью и яркостью. На карту уже была нанесена предлагаемая Сталиным схема Можайской линии обороны, контурно она почти совпадала с начертанной Сталиным на оперативной карте, а внизу, на широком белом поле, наклонным почерком была написана раскладка сил, коим предстояло расположиться на Можайской линии.

Сталин безмолвно всматривался в схему, вчитывался в скупые надписи. Придвинув к себе стул, он присел и, не отрывая глаз от карты, о чем-то мучительно думал или мысленно полемизировал с кем-то. Глядя из-за его плеча на карту, Жуков пытался угадать, что рассматривает на ней Сталин, и постигнуть ход его потаенных мыслей.

По карте и пояснительным записям на нижнем ее поле можно было понять, что Генеральный штаб, создавая Можайскую линию обороны, не предлагает ослаблять Резервный фронт армий, которые накапливались в тылу Западного фронта, а развертывает две новые армии из десяти дивизий народного ополчения Москвы и еще одну армию — из пяти дивизий, сформированных вне Москвы из частей НКВД. Генеральный штаб предлагает также изъять из резерва Московской противовоздушной обороны двести зенитных пушек и образовать из них десять облегченных артиллерийских противотанковых полков. Формировалась также армейская артиллерия — по полку на армию. Все эти задачи должны быть решены в пятидневный срок.

Сталин отодвинулся от стола, медленно, будто с неохотой, поднял глаза на Жукова, и тот понял по спокойной задумчивости его глаз, что он одобряет предложения Генштаба.

— Командование Можайской обороны поручим генерал-лейтенанту Артемьеву? — утвердительно спросил Сталин.

— Так точно, — отозвался Жуков. — Военный совет Московского округа уже сам обратился с просьбой дать возможность дивизиям народного ополчения заняться боевой подготовкой в полевых условиях и принять участие в строительстве оборонительных рубежей.

— Тогда пусть Артемьев и представит нам кандидатов на посты командующих армиями и начальников штабов.

— Я передам приказ генералу Артемьеву.

— И прикажите Артемьеву сформировать еще десять батальонов ополченцев для пополнения дивизий. — Сталин повернулся к Щербакову: — Начальники отделов политпропаганды дивизий народного ополчения подобраны?

— Подобраны и утверждены на бюро МГК, товарищ Сталин, — ответил Щербаков.

— Все, о чем мы здесь говорили, формулируем как постановление Государственного Комитета Обороны. — Сталин посмотрел в конец стола, где сидел и торопливо делал записи в толстой тетради с коричневой обложкой Поскребышев. — Затем мы должны будем принять постановление о материально-техническом обеспечении строительства оборонительных рубежей... Вам, товарищ Щербаков, и передайте председателю Моссовета Пронину — подготовить разнарядку и провести мобилизацию всего, что нужно для строительства (количество согласуйте с товарищем Котляром). Чтоб были канавокопатели, экскаваторы, тракторные лопаты, грейдеры, бульдозеры, гусеничные тракторы... И надо создать тракторные отряды и поезда тракторных лопат...

Жуков, слушая Сталина, отмечал про себя, как вновь и вновь разворачивается в разные стороны внутренняя сила этого человека, как неутомимо пульсирует в поисках новых решений и самых нужных мер его пронзительная мысль... И не только он, генерал армии Жуков, заряжается внутренней силой Сталина и стремительностью его мысли, создающей зримую суть событий и задач, а и все другие, кто бывает в кабинете Генерально-

ного секретаря. Взять того же Щербакова. Ведь это по его, Щербакова, предложению Государственный Комитет Обороны принял 4 июля постановление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения». И теперь, когда образуется фронт Можайской линии обороны, кому, как не члену Военного совета Московского военного округа Щербакову, быть одним из членов Военного совета фронта, хотя он же и секретарь ЦК, и первый секретарь Московского городского комитета партии, и руководитель Совинформбюро... Откуда сила берется в человеке? Пусть молод — нет еще сорока. Но как четок в работе и ясен в мышлении, какая вера в людей и какое уважительное к ним отношение! Крупный партийный вожак! Коммунисты Москвы да и все москвичи, особенно интеллигенция, души в нем не чают... И при этих прекрасных качествах даже он, Щербаков, в присутствии Сталина не то что теряется, а как-то меркнет; его всегда неотразимые по логичности суждения здесь, в кремлевском кабинете, звучат уже не утвердительно, а больше предположительно. Впрочем, подобное происходит почти со всеми...

Сталин между тем уже разговаривал с Молотовым. Нарком иностранных дел, слушая его, что-то записывал карандашом в раскрытой папке. Обмениваясь короткими фразами, перемежая их паузами, которые значили для Сталина и Молотова не меньше, чем слова, они, кажется, уже не в первый раз анализировали два последних письма Черчилля, переданных Сталину английским послом Стаффордом Криппсом. В письмах главы английского правительства ясно сквозили удрученность и недоумение по той причине, что руководители Советского Союза никак лично не откликнулись на его, Черчилля, обращение по радио ко всему миру в день нападения Германии на СССР. В секретных посланиях Сталину, вновь восхищаясь отвагой и упорством Красной Армии и советского народа, Черчилль обещал от имени Англии помощь «...насколько позволяет время, географические условия и наши возрастающие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем оказать».

Первое письмо английского премьера родило догадку, а второе подтвердило ее: правительство Соединенного королевства сильно тревожится, как бы Советский Союз под давлением превосходящих военных сил Герма-

нии не подогнул перед ней колени и не предложил Гитлеру сепаратный мир; тогда наступил бы черед Англии познать вторжение на свою территорию немецко-фашистских полчищ.

— Раз Черчилль этого боится и видит для Великобритании реальную угрозу, пусть тогда предпринимает конкретные шаги, а не прячется за трудности и не потчует нас обещаниями. — Сталин спокойно прохаживался по ковровой дорожке, дымил трубкой и размышлял вслух.

В кабинете они остались вдвоем с Молотовым. И как бывало не раз, вместе и писали документ. Сталин диктовал, а Молотов записывал, иногда предлагая более четкую с точки зрения дипломатических норм словесную вязь. Так рождалось первое личное послание Сталина господину Черчиллю. В нем Сталин выражал полную уверенность, что у обоих государств найдется достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить общего врага. Сообщив Черчиллю, что в результате внезапного нападения на Советский Союз положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным, Сталин подводил его к мысли о необходимости безотлагательно открывать второй фронт. В послании говорилось:

«Мне кажется далее, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан второй фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудности такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта...»

Когда послание было закончено, Сталин перечитал

написанное рукой Молотова вслух и долго молчал, словно его что-то беспокоило. Потом сказал:

— Пусть денек отлежится. Надо еще и еще оглядеться. Чтоб в этой бумаге ни тени нашей неуверенности, ни намека на просьбу. Только выражение разумной, обоюдовыгодной целесообразности. — Он вдруг неожиданно рассмеялся — негромко и не очень весело.

— Что тебя, Коба, развеселило? — Молотов заикнулся от удивления.

— Кто бы мог подумать? — Сталин опять засмеялся. — Злейший враг коммунизма Черчилль пишет Сталину почти нежные письма, выражает в них добрые чувства к Советской России, а Сталин отвечает ему не менее дружеским, хоть и вразумляющим, языком... — Остановившись перед Молотовым, он смотрел на него смеющимися глазами, и только их прищур выдавал иронию.

— Язык — это тоже орудие. — Молотов закрыл папку. — Каждым орудием надо уметь пользоваться без скрипа, а в государственных делах еще и решительно.

В этот июльский день, когда Гитлеру стало известно о вторжении германских войск в Смоленск, он воскликнул: «Можно считать, что Россия на коленях! Падение Москвы— дело дней, и войне конец!» Фюрер тут же приказал пригласить к нему в ставку руководителей фашистского рейха. На совещание прибыли рейхслейтер Альфред Розенберг (отсюда он уедет уже рейхсминистром оккупированных восточных областей), начальник имперской канцелярии Ламмерс, фельдмаршал Кейтель, рейхсмаршал Геринг и заместитель Гитлера по нацистской партии Мартин Борман.

Протокольные записи вел на совещании Борман (со временем их копия попадет к советским руководителям). Совещание началось в атмосфере всеобщего торжества: собравшиеся в ставке предвкушали скорую победу над Советским Союзом. В своем вступительном слове Гитлер наставлял их: «Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок перед всем миром... Мы должны поступать точно таким же образом, как в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией... Все необходимые меры — расстрелы, выселения и прочее — мы осуществляем и можем осуществлять...

В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог, с тем чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали...

Империя лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого войска. Защиту этого пространства от всяких возможных опасностей берет на себя Германия. Железным законом должно быть: «Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев!.. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец».

На вопрос Геринга, какие районы обещаны другим государствам, Гитлер сообщил, что Антонеску хочет получить для Румынии Бессарабию и Одессу; венграм, туркам и словакам не было дано никаких определенных обещаний; Прибалтика, Крым с прилегающими районами и волжские колонии должны стать областями германской империи; Бакинская область — немецкой концессией (военной колонией); финны хотят получить Восточную Карелию; Кольский полуостров с богатыми никелевыми месторождениями должен отойти к Германии. Гитлер заявил, что хочет сровнять Ленинград с землей, а затем отдать его финнам.

На вопрос рейхслейтера Розенберга об обеспечении управления захваченными территориями Гитлер ответил:

«Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее усмирено. Лучше всего этого можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд».

Итак, заправилы фашистского рейха во главе с Гитлером нагуливали аппетит, мысленно деля «русский пирог».

23

Бывает, что приснится тебе нечто тягостно удручающее или во сне перенесешься в давно отшумевшие времена, к какому-то потрясшему тебя событию, случаю, и даже в сонном забытьи ты начинаешь понимать: это не явь, а бредовые грезы, и тогда вдруг пронзает холодком догадка — не зря вторглись они в твой затуманенный сном разум, не беспричинно потревожили па-

мять и сердце. Просыпаешься с гулкими ударами в груди, и тебе трудно пошевельнуться от сковавшего тело оцепенения... Лучше, если не взвихришь свои мысли, если сердце утишится и ты опять растворишься во сне, а потом, пробудившись, не вспомнишь, почему билось оно испуганной птицей.

Дурные сны нередко томили Сталина. Он объяснял их себе душевным переутомлением.

В этот день Сталин проснулся в особенно тоскливом настроении. Сквозь распахнутое на террасу окно вливалась в комнату сырая прохлада. Она наплывала из обступавшего дачу леса и сторожившего сад высокого соснового бора. Даже не верилось, что недалекая, одетая в камень Москва в эти часы уже изнывала от июльской жары... Знобкую свежесть Сталин ощутил вскоре после того, как лег, уже на восходе солнца, но не встал, чтобы заменить тонкую простыню на матерчатый плед. Повернулся на спину, надеясь согреть ее, вновь погрузился в тревожный сон и будто улетел в далекое детство, в тот давний холодный январский день, когда с десятилетним Сосо, как звали тогда Иосифа Джугашвили, ученика Горийского духовного училища, случилась беда...

Был церковный праздник крещение. На главной улице Гори застыл строй войск. От моста через Куру, где была иордань — храминка-купель, украшенная засушенными цветами, — шли вслед за духовенством толпы народа. Священники в окружении певчих возвращались по своим церквам. В узкой улочке около Оконской церкви создался затор. И никто не заметил, что сверху, по взгорбленной улице, мчались в фаэтонной упряжке обезумевшие лошади. Сидевший на козлах мужчина, бледный от испуга, суматошно рвал вожжи.

Сосо, перебегавший в это время улицу, вдруг услышал страшные вопли, затем его обдало горячим дыханием и запахом конского пота. Тут же чудовищная сила бросила мальчика на землю — под копыта и под колеса... Затем лошади врезались в толпу.

Сосо очнулся дома от причитаний матери. Почувствовал жгучую боль и едкий запах спирта: над ним, лежащим на деревянной родительской кровати, хлопотал доктор — промывал раны на щеках и на ногах...

Удивительно устроен человек. Испытанная им физическая боль, даже самая ужасная, со временем забы-

вается, но не исчезают из памяти и сердца познанные страх, тоска, жалость к кому-то.

«Не бойся, мама, я чувствую себя хорошо», — прошептал тогда маленький Сосо, пересиливая боль и внутренне содрогаясь от плача матери, какого-то незнакомого, жуткого; в этом плаче-вое слышались ужас, отчаяние и такая безнадежность!.. Ведь в семье Джугашвили Сосо был третьим, и единственным, сыном; два старших его брата — Михаил и Георгий — умерли в младенческом возрасте...

И вот сегодня Иосиф Сталин пробудился с холодным камнем в груди, и этот камень был будто бы заброшен из полузабытого, казавшегося чужим детства: он видел во сне мчащихся на него коней, чувствовал их страшное горячее дыхание. И мысли, смущенные этим видением, уже не могли оторваться от древнего родного Гори, от развалин его старинной крепости Горисцихе, построенной, по преданию, царицей Тамарой. Крепость мысленно виделась ему такой, какой возбуждала воображение в детстве, — загадочной, манящей остатками своей исполинской лестницы, поднимавшейся от основания скалы до вершины и образовывавшей семь последовательных оград, каждая из которых венчалась башней. За восьмой оградой с главной башней — руины самой крепости... Оттуда, с холодившей грудь высоты, домики Гори с плоскими крышами были похожи на собачьи будки или на пчелиные ульи, базар напоминал растревоженный муравейник, за которым влажно блестела Кура. В городке выделялась та часть улиц, которая называлась Варлис-урбани *: там празднично сверкали церковные купола, вызывающе белели стенами новые здания. А как привлекал взгляд и завораживал вид на Карталинскую долину, с ее лугами и кукурузными полями! В ясную погоду даже можно было увидеть за синей цепью гор белую вершину Казбека...

Сталин встал с постели. Озноба уже не было, но он не мог избавиться от удрученности, навеянной сном. Уже догадывался, откуда это: вчера Жуков докладывал о наших потерях на Западном фронте, и Сталин вспомнил о сыне Якове, старшем лейтенанте Джугашвили, который с первых дней войны тоже там, в самом пекле, вместе с какой-то артиллерийской частью. Мысль о Яше тлела в нем даже во сне и, окутав облаком тре-

* Варлис-урбани — розовый участок *(груз.)*.

воги, перенесла его в собственное детство, укоряя в чем-то...

Стоя перед овально-размашистым зеркалом в ванной комнате, Сталин наспех мылил пушистым барсучьим помазком щеки и подбородок, затем скоблил их безопасной бритвой с нержавеющими зажимами и длинной, в мелкой насечке ручкой.

Эту бритву с большим запасом английских лезвий когда-то привез ему из Германии Павел Сергеевич Аллилуев, старший брат Надежды, второй жены Сталина. Сколько раз намеревался он швырнуть сверкающую железку в мусорную корзину, как и собирался распорядиться убрать из столовой радиоприемник «Телефункен» — крупный полированный ящик с моргающим при включении зеленым кошачьим глазом! Его тоже привез Павлуша. Но все откладывал на потом, даже подтрунивал над своей медлительностью и над тем, что и он, Сталин, с его положением, высокими категориями марксистского мышления, тоже не защищен от мелких житейских слабостей и пристрастий. Ведь надо бы выбросить бритву германского производства, да хороша!.. Нет, пусть пока работает на пролетарского вождя...

Издревле живет в человеке недоверие к прочности и постоянству своего счастья. Мысль об этом, как ни странно, приходила Сталину еще в юности, когда редактор газеты «Иверия», славно известный художник слова Илья Чавчавадзе, взял из рук Сосо Джугашвили тетрадь с написанными им стихотворениями и, прочитав их, сказал: «Будем печатать». Стихи за подписью «И. Дж-швили», а затем «Сосело» (что означало уменьшительное от Иосифа) стали появляться в «Иверии», позже — в «Квали». Поэзия молодого Сталина обратила на себя внимание: его стихи среди лучших образцов грузинской литературы попали в книжные издания — пособия по теории словесности: в хрестоматию и в руководство по грузинскому языку.

Еще тогда, задыхаясь от счастья, от гордости, представляя свое будущее в сиянии победной славы поэта-трибуна, революционера, он в то же время ловил себя на смутном ощущении тревоги: все-таки трудно было поверить, что он, шестнадцатилетний семинарист, уже громко заявил о найденной поэтической стезе, надеясь соединить ее со столбовой дорогой марксистского движения. И временами ему делалось страшно: вдруг проснется, а поэта Сосело нет и не бывало!

Такое пробуждение — на беду ли, на счастье! — наступило, когда из еженедельной газеты «Квали» ему вернули подборку стихов, сопроводив их издевательски разгромным письмом. Только позже понял Сталин, что «Квали» сползла на позиции легального марксизма, а он уже был известен в редакции как дерзкий противник Ноя Жордания. В рецензии едко высмеивались попытки Сосело «впрячь поэзию в арбу социалистов». Сталин оскорбился до исступления. Потом, несколько успокоившись, написал как бы эпитафию по случаю завершения своих поэтических исканий. Она звучала так:

Ходил он от дома к дому.
Стучал у чужих дверей —
Со старым дубовым пандури,
С нехитрой песней своей.

А в песне его, а в песне,
Как солнечный блеск, чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел.
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья и славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый!
Пей — осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

Воспоминания нескончаемо разматывались из свитка памяти. Закончив бриться, Сталин не мог вернуться мыслями в сегодняшний день и со злостью швырнул бритву в корзину под раковиной.

Вошел в кабинет, который служил и столовой, намереваясь тут же приказать начальнику охраны унести «Телефункен». Начальник, полнотелый губастый генерал в полевой форме без знаков различия, словно угадав желание Сталина, выжидательно смотрел на него в раскрытую дверь из прихожей, застыв по стойке «смирно» у стола с телефонами. Но что-то заставило Сталина промедлить. Подойдя к радиоприемнику, он окинул его,

словно живое существо, неприязненным взглядом и нажал пальцем клавишу. Загорелся и замигал на панели зеленый кошачий глаз, а из-за желтой драпировки, скрывавшей мембраны, вырвался нарастающий треск, и сквозь него стала пробиваться русская речь: мужской голос напыженным тенорком передавал из Берлина обзор событий на Восточном фронте...

Да, сегодня день начинался для Сталина тяжело. Накат ранивших сердце воспоминаний сменился дурными вестями: немецкий диктор, закончив излагать обстановку в группе армий «Север», вдруг, возвысив голос, сообщил:

— «Из штаба фельдмаршала Клюге поступило донесение, что шестнадцатого июля под Лиозно, юго-восточнее Витебска, немецкими солдатами моторизованного корпуса генерала Шмидта захвачен в плен сын кремлевского диктатора Сталина — старший лейтенант Яков Джугашвили, командир артиллерийской батареи из седьмого стрелкового корпуса генерала Виноградова. Будучи опознанным, Яков Джугашвили вечером восемнадцатого июля доставлен самолетом в штаб фельдмаршала Клюге. Сейчас ведется допрос важного пленника...»

Внутри у Сталина будто все заледенело. Он нажал на клавишу выключателя, приемник щелкнул, будто выстрелил. Не зря, значит, вспоминался ему Яков во время доклада Жукова. Сбылись самые худшие опасения, тревожившие и во сне...

24

Обнесенный жердевой изгородью скотный двор, примыкавший к двум длинным бревенчатым коровникам под бурыми соломенными крышами, битком набит пленными красноармейцами и командирами. За изгородью, по ее углам, торчали деревянные вышки-времянки, на которых маячили немецкие солдаты-пулеметчики. Иван Колодяжный, сидя в тени под стенкой коровника на днище опрокинутого корыта (в нем, судя по бражному запаху, раньше запаривали отруби для скота), посматривал в сторону ближней вышки — на двух часовых у длинноствольного пулемета, стоявшего на тесовой площадке. Рядом с Колодяжным поникши сидел красивый смуглолицый грузин; он, как и Колодяжный, был старшим лейтенантом.

Иван не знал, что это сын Сталина, Яков Джугашвили. Выглядел Яков настолько подавленным, что заводить с ним разговор Колодяжному не хотелось. Сказал только, когда тот задержал на нем вопрошающий взгляд:

— Шевели мозгами, как бежать.

Яков некоторое время молчал, потом посмотрел на неспокойное облачное небо и ответил с заметным грузинским акцентом:

— Ночью будет гроза... Надо поджечь эти сараи, — он имел в виду коровники, — дым ослепит часовых...

— Принимается, — со спокойной энергичностью ответил Колодяжный.

И вот они сидят среди этого притихшего, испуганного и голодного людского муравейника. Вокруг ходили, лежали или тоже сидели потерянные люди с серыми или потемневшими, измученными лицами, многие — в окровавленных, грязных повязках, в выцветшем, измятом, нередко изорванном обмундировании, в пилотках, в касках или вовсе с непокрытой головой.

Иван Колодяжный, несмотря на внешнее спокойствие, время от времени вздыхал так, что из груди стон вырывался — все не мог смириться, что оплошал и позволил немцам скрутить себя. Минувшие два дня были наполнены столькими событиями, что их хватило бы вспоминать с содроганием сердца целую жизнь...

А началось все с того невероятного поединка одного-единственного орудия с танковым немецким батальоном. Если б Колодяжному рассказал кто о таком — послал бы ко всем чертям! Но ведь сам дал всему бою начало и сам все видел: стоял в сарае рядом с орудием, прикрываясь поленницей, и сквозь щель смотрел в бинокль. Частые выстрелы пушки оглушили его, запах сгоревшего пороха вызывал тошноту, но Колодяжный крепился, без особой нужды подсказывал знавшему свое дело колченогому сержанту, командиру орудия, по какому танку надо стрелять.

На фоне пожара и горевших стогов сена немцы не могли засечь пушку и вели по хутору беспорядочный пушечный огонь. От прямого попадания снаряда разлетелся на куски мотоцикл Колодяжного. Взрыв разметал и горевшую избу, бросив головешки на соломенную крышу сарая, которая тут же заполыхала.

Впереди, в низине, к этому времени уже горело девять танков!.. Остальные отхлынули назад, затем пода-

лись влево, охватывая хутор, чтобы устремиться к днепровской переправе. У пушкарей выхода не было. Вышвырнули сквозь «амбразуру» из охваченного огнем сарая дымовые шашки и, прикрываясь повалившим из шашек дымом, выкатили орудие в безопасное место, а потом, прицепив его к грузовику, уже не таясь, нырнули в заросший мелколесьем овраг. Неслись на машине по узкой, петлявшей среди матерых кустарников проселочной дороге — сворачивать было некуда. Рисковали в любую минуту столкнуться с немцами, поэтому гранаты и карабины держали наготове — в руках. Выскочили из оврага на скошенное ярко-зеленое от молодой поросли клеверное поле, стремительно пересекли его и свернули с проселка в сторону невысокого островка молодого осинника.

Грузовик сбавил скорость и легко стал гнуть к земле и ломать колесами податливые молодые осинки... В глубине рощицы водитель по команде Колодяжного заглушил мотор. В стремительной спешке, будто ожидая взрыва, бойцы откинули возвышавшиеся борта кузова машины, замаскировали ветками кабину, пробежались назад по заметному следу, поднимая в колеях упавшие деревца. Потом залегли все вдоль опушки за бурыми корягами — старыми пнями, которые, видимо, давно были стащены сюда с поля. Выдвигать на позицию пушку не имело смысла — в лотке осталось всего три снаряда; главное сейчас — затаиться.

Чуть приметная за полынной бровкой полевая дорога находилась от осинника метрах в двухстах. Вскоре со стороны хутора на ней появилась, выбежав из зарослей оврага, пятнистая коровенка, а следом — с прутом в руках — знакомая хозяйка сгоревшей избы.

«Мать Димы Старостенкова», — с тоской подумал Колодяжный, лежа в траве за пнем и прижав к глазам бинокль. Он видел, как пожилая женщина панически нахлестывала прутом корову и время от времени со страхом оглядывалась назад. Поравнявшись с осинником, женщина стала сгонять корову с дороги, направляя ее к кустарнику, где укрылась группа Колодяжного.

И тут же из оврага, за которым дымился в пожарищах хутор, будто из зеленого омута, вынырнули на двух мотоциклах с колясками и пулеметами немцы. Передний мотоцикл помчался прямо по клеверному полю наперерез женщине и корове. Потом с коляски татакнула пу-

леметная очередь, и женщина, на мгновение остановившись, упала. Тут же она немощно подняла голову, будто силясь посмотреть, кто в нее стрелял, повернулась на спину и замерла. А корова, подбежав к осиннику, учуяла там людей и испуганно повернула назад, навстречу немцам. Приблизившись к своей мертвой хозяйке, животное остановилось, покорно склонив голову.

К коровенке начал подкрадываться выскочивший из коляски мотоцикла пулеметчик в каске. Вот он поравнялся с убитой им женщиной, посмотрел на нее и вдруг словно окаменел. Колодяжный видел в бинокль, как от непонятного ужаса исказилось лицо молодого гитлеровца. Несколько мгновений он что-то разглядывал выпученными глазами, затем в необъяснимом страхе стал пятиться и вдруг прытко, с воплями, побежал назад, с ходу вскочил в коляску мотоцикла и, что-то лопоча водителю, стал тормошить его за плечо, пока тот не развернул машину и не помчался в сторону оврага, где на фоне зеленого кустарника чернел второй мотоцикл.

Немцы исчезли.

— Быть наготове прикрыть меня огнем! — Старший лейтенант Колодяжный требовательно оглянулся на лежавших справа и слева от него артиллеристов. Еще немного понаблюдав в бинокль и не заметив опасности, он поднялся на ноги и побежал туда, где уже спокойно паслась корова.

Женщина лежала на спине, вытянувшись и будто прибавив в росте. Ее фартук был окровавлен на груди, глаза в окаемке бесцветных ресниц невидяще смотрели в небо; маленькое, испещренное морщинами лицо посветлело и будто помолодело.

Колодяжный только сейчас рассмотрел, что не так уж она и стара — зря мысленно называл ее бабкой. Наклонился, притронулся пальцами к векам, чтобы смежить их, и тут же заметил торец иконы, выскользнувшей из-под окровавленного фартука.

Колодяжный, закрыв глаза убитой, выпрямился, не зная, что делать дальше, обошел труп и, взглянув на икону, содрогнулся от невероятного видения. На темном поле образа, ниже светлых пятен, в которых угадывались лики Богоматери и младенца, виднелась дырка — след пули, — а из нее тянулась книзу свежая струйка крови. В луче пробившегося сквозь хмарь солнца кровь будто светилась изнутри и не переставала струиться.

Взяв в руки икону, Колодяжный посмотрел на нее с обратной стороны. Увидел на закрайках дырки волокна сорочки или блузки и понял: женщина так прижимала к себе под фартуком Богоматерь, что кровь из груди брызнула вслед за пулей сквозь икону...

Чтоб не испытывать судьбу, старший лейтенант Колодяжный не стал дожидаться ночи и, приказав артиллеристам садиться в грузовик, наметил маршрут: сквозь осинник, дальше на север, к темневшему лесу и к пронизывавшей лес автомагистрали, где неумолчно палили пушки и приглушенно стрекотали пулеметы...

Двое суток петляли по вражеским тылам, убедившись, что немцы сосредоточивают главные силы в тех местах, где могли, по всей вероятности, прорываться из окружения наши войска. Безопаснее всего было двигаться на запад, но двигались на север, а то и на северо-запад, откуда доносилась непрерывная канонада: надеялись влиться в какую-либо нашу сражающуюся воинскую часть.

Наконец посчастливилось: прошлой ночью наткнулись на крохотную колонну артиллеристов из состава 293-го пушечно-артиллерийского полка резерва Главного командования — полк был придан стрелковой дивизии полковника Николая Александровича Гагена. Вступив в бой западнее Витебска, он, отбивая только две первые атаки врага, уничтожил более двадцати немецких танков. Потом, оказавшись в окружении и сохранив все свои пушки, из засады разгромил моторизованную колонну немцев, растянувшуюся по большаку на несколько километров.

Далее случилось почти невероятное — об этом Колодяжный услышал от комиссара артиллерийской группы политрука Московина. Вчера, с наступлением темноты, эта сводная группа из двенадцати орудий 152-миллиметрового калибра на тракторной тяге и девяти грузовиков со снарядами под командованием капитана Анисина, покинув огневые позиции на речке Лучеса у деревни Копоти, продвинулась по тылам врага на северо-запад и в направлении Витебского аэродрома. Там скопилось, как донесла разведка, более сотни немецких боевых самолетов.

Политрук Московин не знал, кем и как была подготовлена эта дерзкая операция, но на месте, куда при-

была колонна, их уже ожидали «маяки», пункт связи, от которого уходили нитки провода к наблюдательному пункту, замаскированному под самым носом у немцев — чуть ли не в начале взлетной полосы.

В час ночи гаубицы ударили со всех стволов и, повинуясь командам с наблюдательного пункта, которые подавал командир одной из батарей лейтенант Молодых, около сорока минут опустошали и калечили аэродром, выпустив каждая по 60—80 снарядов...

Только со временем советское командование узнает от витебских подпольщиков, что приказ полковника Гагена был выполнен блестяще. Немцы потеряли в ту ночь свыше пятидесяти бомбардировщиков и истребителей, много летчиков и солдат аэродромной команды, а взлетная полоса надолго была выведена из строя.

Этот успех недешево обошелся и артиллеристам. У немцев хорошо работала связь, и не успели гаубичники после выполнения задачи взять свои пушки на прицепы и сняться с огневой позиции, как со стороны Орши налетела стая ночных бомбардировщиков. Разбросав на большом пространстве осветительные ракеты, подвешенные к парашютам, они начали охотиться за машинами...

На сборный пункт удалось вывести пять орудий, шесть тракторов и два грузовика. Но здесь уже никто не ждал артиллеристов. Основные силы дивизии полковника Гагена в составе 19-й армии отступили к Смоленску.

Потом очередная стычка с немцами... Колонна политрука Московина была рассеяна, а старший лейтенант Колодяжный в рукопашной схватке был оглушен сильным ударом приклада по голове, обезоружен и взят в плен.

Часовые на вышках зашевелились, стали перекликаться друг с другом. Иван Колодяжный будто проснулся от их гортанных выкриков и ощутил страшный голод. Вспомнил, что уже более суток крошки во рту не имел.

— Хоть бы покормили, гады, — сказал он, обращаясь к старшему лейтенанту — грузину.

Тот промолчал, устремив взгляд в сторону широких ворот, за которыми остановились две легковые машины.

Послышалась резкая команда на русском языке:

— Всем строиться!.. Командирам — на правый фланг!.. В четыре шеренги становись!..

Команды подавал высокий узколицый мужчина средних лет в немецкой униформе без знаков различия. Лагерь зашевелился, пришел в движение. И вскоре через весь скотный двор вытянулся плотный четырехшеренговый строй. От ворот к строю подошла группа немецких офицеров. Колодяжный, стоя рядом со старшим лейтенантом — грузином, тихо спросил у него:

— В немецких званиях разбираешься?

— Нет, — ответил старший лейтенант.

Откуда-то вытолкнули к офицерам щупленького красноармейца с перебинтованной правой рукой. Его маленькое птичье лицо было худое и бледное, глаза — испуганные, затравленные. Прихрамывая, он шел впереди офицеров, всматриваясь в лица пленных.

Поравнявшись с Колодяжным, красноармеец указал на старшего лейтенанта — грузина:

— Вот этот... Он самый...

Узколицый мужчина без знаков различия, сопровождавший немецких офицеров, сделал шаг к старшему лейтенанту и с недоверием, даже с оторопью, спросил:

— Вы Сталин?

— Нет... Я Джугашвили.

— Вы сын Сталина?

— Да, я сын Сталина... Старший лейтенант Джугашвили.

Под усиленной охраной его привезли на полевой аэродром, где на краю поля стоял небольшой одномоторный восьмиместный «юнкерс». Вскоре Яков Джугашвили сидел в самолете и поникло смотрел в окошко, как проплывала внизу дымившаяся в пожарищах войны земля. Ему не хотелось верить, что возврата назад не будет, и, может, поэтому память кидала его в прошлое. Да, сейчас жизнь Якова была осенена только прошлым, и оно — отшумевшее и отболевшее — маячило где-то далеко, на донышке памяти, но сердце еще ощущало его живое, горячее дыхание... Неужели никакой надежды? Только неизбывная тоска, томление сердца в черной и холодной пустоте? Это хуже небытия!..

Яков Джугашвили сосредоточил свои мысли на далеком детстве. Помнил он себя с трех-четырех лет — по обрывкам каких-то событий, по ярким мальчишечьим радостям или по горьким бедам... Первое катание на ослике по горной дороге и восторг от ощущения того, что ты будто вровень с горами, что все плывет мимо тебя, а ты трусцой, млея от страха соскользнуть со спины ослика, плывешь навстречу новым восторгам.

Яша рос то в Тбилиси, у тети Сашико — сестры покойной мамы — первой жены Сталина, — то в рачинской деревне, в доме деда — Семена Сванидзе... Тот деревянный домик стоял у подножия Барьетского подъема близ пестро-зеленого и курчавого самаркцвийского леса. Лес и косогор с дорогой всегда были видны из их тенистого двора и всегда манили к себе какими-то загадками.

Детство виделось в недосягаемом далеке и казалось бесконечно долгим, безбрежным. А годы, когда Яков подрос и ощутил себя личностью — хотя бы потому, что брал верх в мальчишечьих потасовках, — уже мнились близкими, как позавчерашний день... И голодные девятнадцатый-двадцатый, учеба в Чребаловской средней школе, которой руководил самый мудрый, справедливый и самый добрый человек на свете Лонгиноз Киквидзе, каким он запомнился Якову... И тот день, когда в Риони неожиданно поднялась вода и стала затоплять остров, где остались дети... С какой жаждой не дать случиться беде Яша кинулся в бурлящую реку!.. Беда не случилась... А глаза косули — влажно-черные, тоскливо-укоряющие?.. Он, подняв было ружье и прицелившись, вдруг опустил его и присвистнул, дав косуле убежать; потом, после охоты, никак не мог объяснить, почему не стрелял.

Над ним подтрунивали, а у него на душе было светло и легко!.. И древний старик с хурджини за спиной, которого догнал на горной дороге; он, Яша, ехавший верхом на лошади, соскочил на землю и посадил в седло старика. Вел коня за уздечку до самого Квацхуми.

Было ли все это и многое, многое другое на самом деле?.. А может, нет этого, что происходит с ним сейчас и что опустошает душу страшной, непоправимой сущностью, ломит невыносимой тоской грудь? Может, все это наваждение, дурной сон?.. Но почему так все

реально: и этот самолет с железными гофрированными стенками, и пилот у штурвалов, сидящий не за перегородкой в кабине, как привык видеть Яков, а прямо в салоне, в носу самолета, и сияющие лица немецких офицеров, держащих наготове автоматы, будто он может выпрыгнуть... Эх, одну бы ему гранату...

И опять мысль опрокидывает в прошлое, стараясь дотянуться до чего-то ускользающего, но манящего и, кажется, неразрешимого... Почему-то все, что было до переезда в Москву, — его детство и отрочество, проведенные на Кавказе, виделись сейчас как нескончаемый праздник души, наполненный радостью, свободой, какой-то особой естественностью и восторженным слиянием с природой и людьми.

В 1921 году Яшу привезли в Москву, в семью отца. И будто переселился он на другую планету, попал в иной мир и сызнова начинал там интересную жизнь, обучаясь русскому языку, обретая новые привычки и постигая новые обычаи. Отец относился к нему строго и требовательно.

Длинной чередой протянулись годы учебы в электромеханическом институте, работа на заводе и опять учеба — уже по совету отца — в Артиллерийской академии имени Дзержинского... В кремлевской квартире Сталина бывал редко, хотя чувствовал большую привязанность к его семье, особенно к детям — брату и сестре по отцу. Вспомнилось, как когда-то малолетний Василий допытывался у Якова, почему тот разговаривает, подобно отцу, с акцентом.

«Я же грузин», — ответил ему Яков. «А наш отец тоже был когда-то грузином», — с таинственным видом заявил Василий.

Первая семья Якова распалась, а затем и вторая... Где-то в Урюпинске на Хопре живет с матерью его сынишка Женя. Сколько ему сейчас?.. Пять лет!.. Не удалось повидаться перед отъездом на фронт... А в Москве растет девочка Галя — от третьей жены... Больно ударила по сердцу мысль, что он всех их осиротил. При воспоминании о своих детях с особой пронзительностью почувствовал, что никогда больше не увидит ни Жени, ни Гали...

В монотонном гуле мотора восьмиместного «юнкерса» временами слышалась Якову какая-то скорбная, под стать его настроению, мелодия. Он стал прислушиваться, придавая ей в своем воображении музыкальное един-

ство. Мелодия вдруг обрела четкие звуковые очертания, и Яков различил в стонущем гудении и стал повторять про себя церковное песнопение. В памяти его тотчас же высветлился летний день на даче отца в Зубалове. Были какие-то празднества, и приехали с женами Буденный, Ворошилов, Молотов. Обедали на открытой балконной террасе, говорили тосты, пили кавказское вино. Потом Буденный, сидя в плетеном кресле и сияя веселыми глазами из-под кустистых бровей, с немалым искусством заиграл на гармошке церковную мелодию. Молотов, Ворошилов и отец, подойдя к Буденному, подхватили мелодию и стройно, на разные голоса запели какой-то стих божественного песнопения. Особенно выделялся голос отца, высокий и чистый, ничем не напоминавший тот приглушенный, которым он обычно разговаривал. Угадывалось, что во время пения отец окунулся воспоминаниями в свою далекую юность, когда, наверное, этот ритуальный стих был частью его не распустившейся, подобно бутону, жизни ученика духовной семинарии.

«Безбожники, а святое поете», — с ухмылкой заметил сидевший у края стола Яков, когда песня стихла.

«Мы отдаем дань искусству, музыке, а не религии», — назидательно ответил отец, коротко взглянув на него золистыми глазами, в которых еще не угасло восторженное чувство, вызванное песней. «Храм Христа Спасителя над Москвой-рекой тоже был произведением искусства, — с укоризной сказал Яков, — а не посчитались, дали разрушить...»

Буденный, вновь было растянувший мехи гармошки, при этих словах замер, устремив озадаченный взгляд на Сталина. Ворошилов же посмотрел на Якова с веселой укоризной, затем повернулся к Сталину и, не пряча иронии, сказал: «А он у тебя с мухой в носу...»

Лицо Сталина чуть побледнело; сунув в рот незажженную трубку, он подошел к перилам балкона и долго смотрел на пустую гравийную дорожку, испятнанную солнечными бликами от пробивавшихся сквозь кроны деревьев лучей. Яков не выдержал молчания отца и вышел...

«Зато мы успели... зато не позволили трогать собор Василия Блаженного!» — услышал он брошенное ему вслед, и Якову показалось, что в словах отца вопреки ожидаемому не сквозило сердитости.

Вечером в штабе фельдмаршала Клюге начался допрос старшего лейтенанта Красной Армии Якова Иосифовича Джугашвили. Вел допрос майор германской армейской разведки Вальтер Холтерс вместе с четырьмя абверовцами — офицерами и переводчиками. Все они сидели в комнате у огромного стола, заваленного кипами бумаг и карт, под которыми были спрятаны микрофоны *.

— Вы сдались добровольно или вас захватили силой?

— Нет, не добровольно, — ответил Яков. — Меня взяли силой... Я бы застрелился, если б своевременно обнаружил, что полностью изолирован от своих.

— Считаете плен позором?

— Да, считаю позором...

— С отцом о чем-либо говорили в канун войны?

— Да, последний раз двадцать второго июня.

— Что сказал ваш отец при расставании двадцать второго июня?

— Сказал: «Иди и сражайся».

— Считаете ли вы, что ваши войска еще имеют шанс на победу в этой войне?

— Да, считаю. Борьба будет продолжаться.

— А что произойдет, если мы вскоре возьмем Москву, обратим в бегство вашу власть и возьмем все под свое управление?

— Не могу себе такого представить.

— А ведь мы уже недалеко от Москвы. Так почему же не представить, что мы ее захватим?

— Позвольте контрвопрос: а если вы сами будете окружены? Уже бывали случаи, когда ваши части были окружены и уничтожены...

Допрос длился долго. В конце Якова спросили:

— Итак, вы заявляете, что не верите в победу Германии?

— Нет, не верю, — ответил он, обратив внимание, что за окном сверкнула молния и следом за ней громыхнул гром, будто поставив грозный восклицательный знак в конце этой его фразы.

И тут Яков с тоской подумал о том, что, сложись обстоятельства по-иному, он бы сейчас, наверное, с тем

---

* Допрос цитируется по «Делу № Т-176» из «Отдела трофейных иностранных документов» Национального архива США. Публикация Ионы Андронова — журнал «Литературная Грузия» № 4 за 1978 год.

старшим лейтенантом, с которым вместе попал в плен, поджигал бы коровник, готовясь к побегу...

Яков не ошибся: именно с началом грозы старший лейтенант Иван Колодяжный, маскируясь дымом вспыхнувшего пожара, ринулся во главе толпы пленных на ограду скотного двора и, повалив ее, сквозь свинцовый пулеметный ливень устремился к недалекому лесу.

А для Якова Джугашвили началась одиссея узника фашистских концлагерей... *

25

О пленении гитлеровцами Якова Джугашвили еще раньше Сталина узнали в Москве братья Глинские: вначале Николай, уже несколько лет таившийся в одном из домоуправлений на 2-й Извозной улице под личиной дворника Никанора Губарина, а от него Владимир; после ранения на Западном фронте он продолжал лечиться в военном госпитале, значась там майором Птицыным Владимиром Юхтымовичем согласно искусно изготовленным в лабораториях абвера документам.

...Когда Владимир Глинский впервые появился на 2-й Извозной с запиской для Ольги Васильевны, переданной с фронта ее мужем генералом Чумаковым, тогда и встретились братья. Но Владимир Святославович воспринял происшедшее как предопределенное судьбой. И все-таки глубина его потрясения была неизмеримой, когда он в поисках квартиры покойного профессора Романова постучался по чьему-то совету в «дворницкую» и, зайдя в нее, тотчас же узнал в усатом дядьке своего родного брата Николая.

И Николай сразу же, с воплем изумления, узнал брата, хотя не виделись они больше двадцати лет. Узнал и испугался, пронзенный мыслью: «Если Владимир разыскал меня, значит, кому-то где-то известно, кто такой дворник Губарин Никанор Прохорович...»

В «дворницкой», служившей квартирой Николаю Глинскому, к счастью, никого больше не было, и объяснение братьев произошло без свидетелей. Но затем

* 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили был убит в концлагере Заксенхаузен якобы при попытке к бегству. За мужественное поведение в плену он посмертно награжден Советским правительством орденом Отечественной войны I степени.

струхнул Владимир, поняв, что Николай живет с чужим паспортом: «Вдруг он под наблюдением чекистов...» Братья обменялись тревожащими их мыслями, порассуждали и пришли к выводу: нет пока оснований для страхов, но надо строго соблюдать конспирацию.

Николай, услышав, что Владимир появился здесь с поручением генерала Чумакова, вначале насторожился: почему-то связал это поручение с той шкатулкой черного дерева, какую видел в квартире Романовых; шкатулка была наполнена фамильными драгоценностями покойной Софьи Вениаминовны, перешедшими теперь в собственность красивой жены Федора Ксенофонтовича. Но тут же устыдился своей корыстной памятливости и отбросил подозрения. Нет, не потому, что слышал по радио, будто Ольга Васильевна Чумакова отдала свои богатства государству — в фонд обороны (это, как полагал Николай, сказочка для дураков: если и отдала, то небось крохотную часть — для отвода глаз). Главное ведь для него, что родной брат объявился — единственный близкий человек на земле среди всего ненавистного, рушащегося наконец!

Они продолжали беседу за чаем, присев к столу, застеленному поверх клеенки старой газетой. Вот тут-то Николай задал брату вопрос, который встряхнул все естество Владимира, разбудив в нем задремавшего было Цезаря — вышколенного в абверовской школе диверсанта-боевика.

Вначале Николай, почесав середку своих пышных усов, с вкрадчивой почтительностью сказал:

— А ты ведь, Вольдемар, с той стороны прибыл сюда. Только не пойму, где руку тебе покалечило.

— Откуда прибыл, там меня уже нет, — суховато ответил Владимир. — А ранение майор Птицын, — он постучал себя рукой в грудь, — получил от немцев! В боях под командованием генерала Чумакова Федора Ксенофонтовича. И самое удивительное, что это сущая правда!

— Правда не в том, чтобы изрекать истину. — Николай пристально и чуть иронично посмотрел брату в глаза. — Помнишь, отец наш твердил... Правда в том, чтоб говорить то, что думаешь. — И, вдруг посерьезнев, притишенно спросил: — Тебя по его душу прислали?

— По чью? — не понял Владимир.

— Его. — И Николай ткнул пальцем в портрет Ста-

лина на полосе расстеленной газеты, где была напечатана речь Сталина от 3 июля.

— Ну, куда хватил! — Владимир Глинский настороженно покосился на дверь. — Для такой операции нужна целая орава смертников... Да и зачем рисковать? — И перешел на шепот: — Все равно в августе немцам быть в Москве.

— Эх вы, «стратеги»! — Николай с укоризной покачал головой. — В том-то и дело, что он сумеет продолжать войну, где бы ни был. Хоть за Уралом! Он же бог для этих фанатиков!.. Да и сам возомнил себя богом... — Глинский-старший опять ткнул пальцем в газету: — Вот вникни: целью войны он считает, оказывается, не только ликвидацию опасности, нависшей над Советским Союзом, но и помощь всем народам Европы!.. И его бреду все верят, хотя немцы вот-вот постучатся в ворота Кремля... А это страшно.

— Что «страшно»? — не понял Владимир.

— Страшна вера, которая объединяет миллионы слепцов! Их надо освободить от гнета этого имени, безжалостно унизить...

— Унизить? Каким же образом?

— Элементарным! Убрать Сталина — значит порушить веру в его всесилие, в его дело и, следовательно, унизить народ! А униженные к победным порогам не приходят.

— Свято место пусто не бывает, — угрюмо промолвил Владимир. — Другой Сталин найдется.

— Не уверен... Вначале начнется свалка за главенство...

— Глупости! В такое время рваться к власти может только тот, кто готов склонить голову перед Гитлером, предложив ему капитуляцию России. Среди них такого не найдется.

— Но ведь вначале обязательно наступит замешательство, — не сдавался Николай. — Время будет упущено, и фронты окончательно рухнут!

— Неужели ты прав? — Владимир Глинский смотрел на Николая с раздумчивой вопросительностью. — А каким способом можно его ликвидировать?

— Над способом пусть маракуют там. — Николай качнул головой в неопределенную сторону, и его поношенное лицо стало злым. — Но руки свербят, когда вижу, как он проносится мимо на машине!

— Где?!

— Метрах в двухстах отсюда — по Можайскому шоссе... А по Арбату... А там не улица, а щель. Взорви любой дом, и глыбы рухнут на машину.

— Часто он ездит?

— Каждый день!.. Туда и обратно.

Владимир Глинский задумался, уносясь мыслью под Варшаву, в местечко Сулеювек, где размещался специальный центр абвера. Будто увидел насторожившиеся глаза фюрера «штаба Валли» Шмальшлегера... Как он отнесется к идее покушения на Сталина? А что скажет по этому поводу начальник контрразведки «зондерштаб Россия» русский белоэмигрант Смысловский? Они оба, эти кадровые разведчики абвера, конечно же, обратят вопрошающие взоры к адмиралу Канарису — начальнику Управления иностранной разведки и контрразведки верховного командования вооруженных сил Германии (абвера) *.

Как бы там ни было, но Владимир Глинский почувствовал себя словно гончая, напавшая на верный след. Вспомнился графу Глинскому священник, внушавший ему мысль о золотой ариадниной нити, которая ведет Владимира Святославовича по греховным лабиринтам жизни к свершению им предначертанного небом. И якобы пекутся о прочности этой нити высшие силы, обитающие в созвездии Северной Короны (родилось созвездие, как утверждает легенда, из вознесенного на небо после смерти Ариадны ее венца, подаренного Дионисом).

И Глинский-младший, наведенный старшим братом на мысль о покушении на Сталина, воспылал жаждой деятельности, мучительно размышляя над тем, с чего начать и как возобновить связь со своей абверкомандой при 4-й немецкой армии или с центром абвера «Валли» в Сулеювеке.

Но прежде надо было отнести записку Ольге Васильевне Чумаковой...

* Планы физического уничтожения Советского Верховного Главнокомандования во главе с И. В. Сталиным немецко-фашистская разведка пыталась осуществить вскоре после провала ее плана террористической операции в Тегеране (1943 г.), где проходила тогда конференция глав государств — СССР, США и Англии. В Москве террористические акты было поручено совершить предателям Родины Политову-Таврину и Адамичевой-Шиловой. Политов должен был прикрываться в советской столице документами на имя майора Таврина, якобы находившегося в отпуске после ранения и лечения в госпитале. Операцию абвера сорвала советская контрразведка. Политов и Шилова были арестованы.

Когда в сопровождении брата-«дворника» «майор» Птицын шел знакомиться с семьей Федора Ксенофонтовича, то полагал, что только отдаст записку, бегло, для приличия, расскажет, как чувствует себя Чумаков на фронте, и раскланяется. Но вышло совсем не так.

Ольга Васильевна и ее дочь Ирина встретили нежданного посланца с такой восторженной радостью и искренней приветливостью, что Владимир Святославович растрогался. Поблагодарив «дворника» за то, что тот проводил его к Чумаковым, и, распрощавшись с ним, «майор» согласился сесть к столу и попить чаю. Но вместо чая в кабинет-столовую вплыл в руках Ольги Васильевны серебряный поднос, посреди которого в окружении хрустальных рюмок высился искрящийся графинчик с водкой, а вокруг рюмок были расставлены вазочки с влажно сверкающими маслинами, нежно желтеющими белыми маринованными грибами, с угольно-черным кирпичиком паюсной икры; тарелочки с розовой семгой, смуглым балыком, тонкими ломтиками сала. И все это дразнящее глаз и вызывающее аппетит благолепие как бы осенялось прелестнейшей улыбкой Ольги Васильевны и таким счастливым блеском ее больших глубоких глаз, что сердце бывшего графа зашлось в сладком волнении.

А юная Ирина грациозными движениями оголенных до локтей нежных рук расставляла на белоснежной скатерти расписанные синими узорами фарфоровые тарелки, раскладывала серебряные вилки и ножи. Владимир Святославович обратил внимание, что девушка, запечатлев в своем облике красоту матери, восприняла и выразительно-привлекательные черты отцовского лица и была похожа на него и в жестах.

Неужели все это не сон? Неужели это Москва, Россия, тоску по которой младший граф Глинский пронес через столько лет страданий и надежд? В нем начало просыпаться щемящее чувство русского. Словно подошел к порогу, за которым непременно сбудутся томившие его ожидания и окончательно оживет в его душе и ударит в колокола радости когда-то потерянная им Русь. Здесь, в этой квартире, в этом просторном, несколько сумрачном кабинете, служившем и столовой, многое чем-то напоминало Глинскому его прошлую жизнь. Здесь все было до неправдоподобия хорошо: эта старинная неуклюжая мебель — резной громоздкий буфет из черного дерева с загадочным сверканием трав-

леных богемских стекол, резные стулья с витыми ножками и высокими выпуклыми спинками, затянутыми узорчатой ковровой тканью, колченогий газетный столик между тяжелыми кожаными креслами и курительный столик, соседствующий с горбатым кованым сундуком (на его золоченых обручах сохранилась искусственная зелень, придающая сундуку таинственность), старинный, с неудобными для накрахмаленной скатерти округлостями стол под увенчанной хрустальными висюльками люстрой и эти бордовые драпри на окнах и дверях... Многое здесь возвращало его мысли в прошлое, в разоренное родовое имение в Воронежской губернии или в Петроград, в их отнятый большевиками особняк близ Финляндского вокзала.

Подавляя в себе томительно-сладкое умиротворение, он с легкой печалью, как запоздалую радость, принимал трогательные ухаживания Ольги Васильевны и Ирины: они, видя, что одной рукой их гостю трудно управляться за столом, подкладывали в его тарелку закуски (Ирина проворно орудовала ножом), наливали в рюмку водку.

Владимир Святославович неторопливо рассказывал о боях на Западном фронте, о Федоре Ксенофонтовиче и его ранении, а они слушали с тем вниманием, с каким впечатлительный ребенок слушает страшную сказку...

После обеда Глинский, попросив разрешения у Ольги Васильевны посмотреть библиотеку покойного профессора Романова, размахнувшуюся во всю ширину стены кабинета книжными стеллажами, с недоверчивостью и недоумением притрагивался к корешкам сотен бесценных старых изданий, не уничтоженных, оказывается, большевиками, как писалось на страницах русских белогвардейских газет «Часовой» и «Дни», издававшихся в Париже. Значит, обманывали и Врангель и Керенский — хозяева газетенок, а потом обманывала и милюковская газета «Последние новости», где Владимир Глинский, спасаясь от безработицы, нашел себе временное пристанище, прежде чем записаться добровольцем в иностранный легион...

Глинский взял толстый том «Истории Петра Великого», кожаный переплет которого был украшен тисненым золотым рисунком работы академика Николая Самокиша. Сорок лет книге, а золото на ней не помутнело, как не померкла в веках слава Петра!.. Раскрыл книгу и

вслед за титульным листом прочитал первые фразы короткого предисловия:

«...Недосягаемым гигантом выделяется в судьбах России личность Петра Великого. Для того чтобы объять всю деятельность этого гиганта, дать характеристику всех его подвигов, оценить все его реформы и деяния, — для этого нужны десятки томов...»

«А как же сами большевики смотрят на Петра Великого?» — мысленно спросил у себя Глинский и остановил взгляд на ровной шеренге томов Большой Советской Энциклопедии. Положил на письменный стол «Историю Петра Великого», отыскал нужный том энциклопедии и, взяв его, с незаметной для себя поспешностью начал листать... «Вот: «Петр I Великий»... Начал читать... на удивление — все верно... Даже перечислялись музеи, экспозиции и памятники Петру в России и на Украине. Снял другой том, полистал и обнаружил статью о Рюриковичах... Затем вернулся к началу и вот: о династии Романовых.. И тут все, кажется, верно... Как же это?.. Глинский вдруг почувствовал себя будто обкраденным и обиженным. Оказывается, и при большевиках Россия продолжается!.. Продолжается ее история вопреки тому, что он, как и тысячи других дворян, покинул Россию, словно тонущий корабль.

Взял в руки еще один том, тая последнюю надежду на желанное разочарование. Листал неторопливо, уже почему-то догадываясь, что разочарования не последует. Так и есть: вот она, куцая статейка «Глинские». И в ней все верно: княжеский род XV—XVIII веков, родословная берет начало от одного из сыновей Мамая, владевшего городом Глинским в Приднепровье... Далее перечислялись главные личности, составлявшие генеалогическое древо Глинских... Старый граф Святослав Глинский когда-то убеждал своих сыновей, что их фамилия соединяет по родословной таблице два дворянских рода Глинских — русский, почти угасший в XVII веке, и польский, утративший княжеский титул. Графский же титул был пожалован их возрожденному роду якобы Петром Великим.

В памяти Владимира Святославовича вдруг всплыла встреча в полевом госпитале со старухой из их поместного селения Глинское, что в Воронежской губернии, вспомнился ее рассказ о том, будто один из его предков в давние времена присоседился к фамилии Глинский, какой люди нарекли одного храброго солдата. Если ве-

рить легенде, то солдат тот, потеряв в боях с врагами глаза, стал, ходя ощупью, развозить в тележке по селам белую глину, а вырученные медяки сдавать в царскую казну, чтоб шли они на пользу защищавшейся от поработителей Руси. Царь же, прослышав о верном своем ратнике, одарил его землями и лесами; их после смерти солдата якобы и прибрал к рукам вместе с фамилией их пращур... Вздор!.. Не иначе отголоски давней борьбы между помещиками в уездном и губернском дворянских собраниях...

А сзади него позвякивала посуда: это хозяйки убирали со стола. Затем Ольга Васильевна унесла поднос с посудой на кухню, а Ирина нерешительно подошла к гостю. С той минуты, как узнала она, что этот майор прислан отцом и что они вместе выходили из окружения, Ирину мучил вопрос, который она стеснялась задать при матери. Ей не терпелось услышать что-нибудь о летчике лейтенанте Викторе Рублеве. Он ведь написал ей, что пробивался из вражеского тыла с отрядом генерала, который «носит такую же фамилию, как твоя, — Чумаков». Конечно же, с отцом! Тогда вполне возможно, майор знает Виктора...

Видя, что он одной рукой с трудом втискивает на книжную полку том энциклопедии, Ирина помогла ему и спросила:

— Страшно было в окружении?

— На войне везде страшно, — ответил Глинский и взял со стола нарядный фолиант «История Петра Великого».

В комнату вернулась Ольга Васильевна, и Ирина, взглянув на нее с досадой, перевела разговор на другое:

— Хотите полистать Петра?

— Да нет, — вяло ответил Глинский. — Читывал когда-то... Сейчас не до Петра Великого.

— Какой он там великий, если сына родного не пощадил? — Ирина взяла у него книгу и сунула ее на полку, в щель между другими книгами. — Подумаешь, не пригоден был для царского трона! Зачем же голову с плеч? — Она вздохнула и покосилась на мать, которая, сняв со стола белую скатерть, неторопливо складывала ее.

— Вы о царевиче Алексее? — Владимир Глинский пытливо взглянул в юное, затененное вдруг набежавшей грустью лицо девушки.

— А то о ком же? — с непонятной укоризной ответила Ирина. — Что за времена были? Отец не верит сыну, сын смертно боится отца, убегает от него к чужому императору...

— Все сложнее, и все проще. — В словах Глинского прозвучала твердость. — Поступки Петра диктовались заботой о престоле, о судьбе России... Каждого монарха всегда тяготит мысль о том, кому он оставит свой трон и сумеет ли наследник продолжить его дела, не станет ли жертвой дворцовых интриг и заговоров. Ну и естественно, государь должен утвердиться в уверенности, что наследник будет чтить его имя, поддерживать в народе светлую память о нем.

— Вы рассуждаете как-то по-старорежимному, — со школярской непосредственностью заметила Ирина. — Монарх, государь, светлая память... А нас учили, что царь — это самый крупный помещик, мироед, и его главная забота — грабить народ, жить в свое удовольствие по-царски, а затем оставить богатство наследникам.

Замечание Ирины по поводу старорежимности его рассуждений напомнило Глинскому о необходимости соблюдать осторожность: ведь он все-таки «майор Красной Армии», однако, ощущая здесь полную свою безопасность, не хотел оставить без ответа уязвившие его слова.

— Извините, Ирина Федоровна, я действительно старорежимный, ибо родился и получил образование до революции. — Глинский уже говорил снисходительно, тая во взгляде возвышенность и беспощадность своей веры. — Но ведь истина не зависит от того, кто когда родился и как воспитывался. По-вашему, цари, монархи, императоры употребляют свою власть только для собственного удовольствия и для обогащения? А кто же тогда собрал Россию, создал великую империю и столетиями правил ею? Кто возводил на полях ее дикости государственность? Кто укреплял военную мощь? Откуда взялись законы, которыми худо ли, плохо ли, но руководствовались?.. И почему, наконец, того же Петра Первого нарекли Великим?

— Все это мы проходили в школе! — Ирина смотрела на Глинского с некоторым разочарованием.

— «Проходили»! — Глинский раздраженно хмыкнул. — Вам втолковывали, что цари грабили народ и жили в свое удовольствие. А объясняли, откуда взялся

Эрмитаж в Петро... в Ленинграде с его картинами, которым нет цены? Объясняли, что исторические ценности России, начиная от коронационных регалий, от шапки Мономаха...

— Да-да-да!.. Объясняли! — Ирина совсем распалилась. — Вы рассуждаете как буржуазный интеллигент, стоящий на бесклассовых позициях! У нас даже двоечники понимали, что богатства той же Оружейной палаты были собственностью великих князей и царей! Они свидетельствовали о талантливости русских мастеров, но от народа были скрыты!

— Ну, завелась! — Ольга Васильевна, укоряюще взглянула на дочь.

— Мама, у меня среднее образование, — умерив пыл, сказала Ирина. — Должна же я понимать и роль личности в истории, и то, что историю делает все-таки народ, что, например, капитализм прогрессивнее феодализма, а буржуазная республика с выборным парламентом человечнее монархии! А уж как сейчас прекрасно обходимся без царей!..

— Ну все-таки и в наши дни есть великие мира сего, у которых в руках верховная власть, — с вкрадчивой осторожностью напомнил Глинский, оглянувшись на Ольгу Васильевну, словно ища у нее поддержки. — Был Ленин... Сейчас Сталин, Калинин, Ворошилов...

— Ну и что?! Разве они используют свою власть для обогащения? У них разве есть собственные дворцы, поместья? — Ирина раскраснелась, негодуя, что ее собеседник не понимает таких простых вещей. — Сталин живет на казенной даче, имеет казенную квартиру, нанимает на собственные деньги репетиторов своим детям! У нас есть знакомая учительница, у которой дочь и сын Иосифа Виссарионовича учатся. Она все знает!

— Да, наши вожди не умеют жить по-барски, — включилась в разговор Ольга Васильевна. — Когда умер Ленин, то своей супруге, Надежде Константиновне Крупской, никаких богатств не оставил.

Владимир Глинский, веря и не веря в услышанное, недоумевая и поражаясь, почувствовал себя так, словно ему вдруг завязали глаза и он не знает, куда ступить, чтобы не наткнуться на препятствие. О том, что сейчас услышал, он никогда не задумывался, полагая, что Сталин со своим правительством унаследовал об-

раз жизни бывших хозяев России. Начал вспоминать прочитанное когда-то о Ленине и, чтобы закончить ставший трудным для него разговор, с напускным глубокомыслием сказал:

— Зато оставил Ленин огромное наследство другого характера: созданное на развалинах старого мира государство и свое учение, доказав этим, что Россия по-прежнему рождает время от времени гигантов мысли и энергии.

— Ну вы прямо как наш покойный Нил Игнатович выражаетесь! — Ольга Васильевна, окатив его дружелюбным взглядом, засмеялась, затем подошла к книжным полкам, взяла толстую тетрадь в сером сафьяновом переплете. — Тут тоже есть о царях, о мыслителях...

Когда начала она листать тетрадь, Глинский успел охватить глазами надпись на ее первой странице: «Мысли вскользь».

— Вот здесь, например. — И Ольга Васильевна напевно прочитала: — «Когда цари удаляют общественное мнение от своих престолов, то оно затем восседает на их гробницах...» Нет, это о другом. — Еще полистав, вновь стала читать. Мелодичным, музыкальным голосом она веско и отчетливо произносила каждое слово, отчего фразы приобретали почти зримость: — «Добролюбов верно утверждает, что историческая личность, даже и великая, составляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камней и сама тотчас потухнет, если не встретит материала, скоро загорающегося... — Ольга Васильевна приумолкла — будто для того, чтобы оглядеться с высоты, на которую взлетела, — а потом опять продолжила, понизив голос и словно возвысив этим значимость каждого прочитанного ею слова: — Этот материал всегда подготовляется обстоятельствами исторического развития народа и что вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности, выражающие в себе потребность общества и времени... — И я бы добавил...» — Она подняла на Глинского глаза, сделавшиеся почему-то строгими и печальными, и пояснила: — Дальше Нил Игнатович излагает уже лично свою точку зрения. — Вновь утопив взгляд в струившиеся на тетрадном листе фиолетовые ручьи фраз, повторила: — «И я бы добавил, что исторические личности раскрываются только в борьбе, в утверждении великого, имея перед собой препятствия,

противников и даже врагов, а вокруг себя — единомышленников, соратников. Эта формула сходна с огнивом: кремень не даст искру без удара им по железной тверди... Личности, возглавляющие революционные партии, должны видеться народам, по выражению Герцена, не как дальние родственники человечества. Они в своих усилиях обязаны быть так едины с партиями, как едины парус и ветер. Но о партии не скажешь проницательнее Ленина. Мудрый Ильич верно заметил: «Все революционные партии, которые до сих пор гибли, — гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях».

Когда Ольга Васильевна умолкла, Глинский спросил:

— А кто он, этот ваш Нил Игнатович? — В его голосе прозвучало далеко не праздное любопытство.

— Хороший, умный старик... совесть наша, — тихо ответила Ольга Васильевна, продолжая печально глядеть в раскрытую тетрадь. — А вот и о самом Ленине написано... — И опять полился ее размеренно-красивый голос; облаченный в слова, он звучал впечатляюще, значительно: — «Удивительное явление в истории человеческой мысли — Ленин. Он творец новой идеологии, основанной, говоря его же словами, «на всем материале человеческого знания». Эта идеология зримо влияет на дальнейшие судьбы континентов, государств, народов, классов. Гениальный мыслитель и продолжатель марксистского учения, Ленин родил великую веру народа в дело, которому посвятил жизнь. Ленина никому, никуда и никогда не свергнуть, ибо он со всей своей судьбой и системой своих философских взглядов неотторжим от живой жизни, от народа... — Ольга Васильевна перевернула страницу, вздохнула и, еще больше понизив голос, придав ему даже суровость, продолжила: — Нелегко будет тем руководителям — наследникам Ленина, которые не сумеют создать ленинского климата в жизни государства и в деятельности партии, или тем, кто станет жить только сиюминутными интересами, глядя на все поверх голов народа и не прислушиваясь к его, народа, голосу или, что еще хуже, его безмолвию... Горе тому, кто забудет предупреждение Ленина о том, что «диалектика *вещей* создает диалектику *идей*, а не наоборот».

«Неужели старик с кем-то полемизирует, что-то взве-

шивает на весах?» — подумал Глинский, ощущая, что ему не под силу ответить на этот вопрос.

Закрыв тетрадь, Ольга Васильевна бережно, с видимым почтением, поставила ее на книжную полку за стекло и, скользнув по Глинскому то ли задумчивым, то ли отсутствующим взглядом, заспешила в спальню, чтобы открыть двери балкона, откуда послышалось мяуканье кошки Мики. Глинскому же почудился в этом взгляде какой-то упрек. Но в чем? В том, что ему чужды, ненавистны и непонятны эти разглагольствования какого-то старика? Если сказать честно, то Глинский ничего в них не понял. Его больше всего поразила вера этой привлекательной и неглупой женщины, да и ее милой дочери, в написанное стариком о Ленине и вера в самого Ленина, прозвучавшая в богатом интонациями голосе Ольги Васильевны.

Глинского вдруг в самое сердце ужалила мысль: может, они разгадали в нем врага и пытаются убедить его в той правде, которой живут сами?! Он повернулся к замершей в плену каких-то потаенных мыслей Ирине и, маскируя притворной улыбкой нарастающий страх, уже другими глазами посмотрел на все, что его окружало и еще несколько минут назад радовало душу, как воскресшая в нем Россия... Куда он попал, что это за дом?.. Проследил за рукой Ирины, которая, взяв из вазочки на столе бумажную салфетку, подошла к стеллажам и начала вытирать пыль с корешков книг. Пробежался глазами по надписям на корешках: Суворов... Клаузевиц... Румянцев... Гофман... Ллойд... Медем... Кладо... Виллизен... Фош... Шлиффен... Дельбрук... Леваль... Михневич... Все это история войн и конденсация военных теорий разных времен. А вот и о технике: переведенный с немецкого справочник Хейгля — о танках, который он, Глинский, совсем недавно штудировал в абверовской разведшколе!.. И книги Свечина?! Генерала царской армии Свечина Александра Андреевича, знакомого семьи Глинских по Петрограду?.. Большевики, оказывается, издали его «Эволюции военного искусства» и «Стратегию»?! Да это же конец света! Или, может, генерал Свечин не покидал Россию и служит большевикам?.. *

Сразу столько неожиданных вопросов и родивших

* Свечин А. А. (1878—1938) — русский советский военный историк, с марта 1918 года служил в Красной Армии, автор многих трудов по военной истории, тактике и стратегии.

напряжение тревог, что Глинский почувствовал тяжесть в груди и звон в ушах. Надо было скорее уходить отсюда, скорее уединиться, чтобы все обдумать, взвесить.

— Скажите, Владимир Юхтымович, а с вами в окружении был один летчик?.. — спросила, преодолев смущение, Ирина. — Лейтенант Рублев... Виктором его зовут...

Глинский почувствовал, как заныла выше колена правая нога, где только-только затянулась пулевая рана, и сила памяти вернула его в те минуты, когда он, раненный первый раз, лежал во ржи, а прямо на него спускался на парашюте летчик сбитого «мессершмиттом» тупоносого советского истребителя; Глинский тогда не расстрелял летчика в воздухе только потому, что диск его автомата был уже пуст, а пистолет он не успел выхватить из кобуры...

— Почему вы молчите?

Уловив в голосе Ирины смешанное чувство неловкости и удивления, Глинский уже хотел было начать рассказывать, как он познакомился в отряде генерала Чумакова с лейтенантом Рублевым, но в прихожей вдруг протяжной трелью зашелся электрический звонок. И Ирина, прикусив от досады губу, выбежала.

Чей-то неожиданный визит еще больше взвинтил нервы Глинского. Он стал напряженно прислушиваться к тому, что происходило в прихожей, где уже рокотал басовитый, с хрипотцой и властными нотками, мужской голос. Глинский представил себе зашедшего в квартиру мужчину огромным, грудастым, с могучими руками и крупным каменным лицом. Ему было слышно, как тот шумно и радостно здоровался с Ириной и Ольгой Васильевной, затем стал корить их за неисправность телефона.

— Целый день названиваю! — с добродушной бранчливостью басил он. — Все занято!.. Ну, думаю, уходят Ирочкины кавалеры на фронт — прощаются, видимо! Звоню на станцию, приказываю, чтоб немедленно разъединили... Извини, Ирочка, надо!.. А мне говорят: у них трубка неправильно положена...

Глинский покосился на край стола, где отсвечивал черным лаком металлический телефонный аппарат, и тут же увидел, что вплотную придвинутый раскрытый календарь уперся деревянной подставкой в основание рычага-рогулек, на которых лежала телефонная трубка,

и приподнял их вместе с трубкой. Тут же уловил ухом монотонно-нудное гудение трубки. Протянул руку, чтобы отодвинуть подставку с календарем, но вдруг замер. С чуть пожелтевшего календарного листка от 17 июня ему бросились в глаза две фразы, написанные угловатым неуверенным почерком: «Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатовичем». А ниже этой записи, поразившей немецкого разведчика-диверсанта своей загадочностью и, возможно, значительностью, — номер телефона...

Преодолев охватившую его оторопь, Владимир Глинский еще раз повторил про себя этот номер, состоявший из буквы и пяти цифр, не зная еще, зачем он может ему понадобиться, и, убедившись, что буква и цифры прочно впаялись в его память, отпрянул от стола.

А в передней продолжал властвовать сочный голос Сергея Матвеевича. Да, это был он, видный авиационный инженер Романов, внучатый племянник покойного Нила Игнатовича, который в прошлый приезд уговаривал Ольгу Васильевну и Ирину ехать с ним в Сибирь, где ему предстоит возводить крупный авиационный завод.

Он стоял перед ними среди ярко освещенной прихожей, большой, широкогрудый, в легком светлом костюме; его полнокровное, пышущее здоровьем лицо, излучающие энергию и доброжелательность серые глаза как бы исключали своим выражением возможность перечить ему, не соглашаться с его словами.

Возвышаясь живой глыбой над Ольгой и Ириной и любовно глядя на них сверху вниз, как на неразумных, беспомощных детей, Сергей Матвеевич отдавал им распоряжения:

— Времени у вас на сборы — до заката солнца. Затем подъедет машина, грузитесь — и на Ярославский вокзал. Шофер доставит вас прямо к моему салон-вагону!

— Сережа, но так неожиданно... Право, я не знаю, как поступить. — Ольга Васильевна растерянно посмотрела на Ирину.

— Никуда мы не поедем! — Ирина, побледнев, обняла за плечи мать, будто пытаясь ее защитить. — Ждем ведь повестки из военкомата! Мы с мамой на фронт собрались!

— Я отменяю все повестки и ваши неразумные ре-

шения! — Сергей Матвеевич добродушно посмеивался. — У меня в кармане мандат Государственного Комитета Обороны, подписанный товарищем Сталиным. Я имею право приказывать... Вот подойду к любому теграфному столбу и скомандую: «А ну марш со мной в Сибирь, в Нижнемихайловск, строить авиационный завод!» И даже столб пошагает! — Довольный своим остроумием, он не подозревал, что выбалтывает военную тайну прямо в уши немецкому разведчику, ловившему из-за двери столовой каждое его слово. — Так что, милые мои, не чирикать, а собираться. Москва готовится к обороне, войне конца не видно, и вам здесь под бомбами... Да-да, бомбежки ожидаются со дня на день, а вам тут, рядом с Киевским вокзалом, достанется больше всех!

— Мама, мы же сегодня письмо от папы получили! — Ирине почудилось, что мать колеблется, и она горячливо хваталась за любой аргумент. — Папа вышел из окружения, воюет под Смоленском. Это же рукой подать! Как мы можем оставить его и уехать куда-то в Сибирь?!

— Есть от Федора Ксенофонтовича вести? — Сергей Матвеевич посерьезнел.

В это время из кабинета-столовой вышел Глинский.

— Майор Птицын, — спокойно и с достоинством представился он Романову. Затем обратился к хозяйке: — Уважаемая Ольга Васильевна, с вашего позволения я отбуду в госпиталь. Время моего увольнения истекает...

Все это было полторы недели назад, и сейчас Владимир Глинский не знал, уехала ли семья генерала Чумакова в Сибирь или он вновь застанет ее дома. Раздробленная кисть его левой руки, продолжая покоиться в гипсовой оболочке, подвешенной на марлевой косынке, не мешала ему совершать продолжительные прогулки по Москве, благо в госпитале не скупились на увольнительные записки для майора, тем более что госпитальное начальство распорядилось не ограничивать в увольнениях ходячих раненых — старших командиров.

Распоряжение это последовало не без стараний советской контрразведки. Военные чекисты уже заинтересовались личностью «майора Птицына», напав на след абверовца случайно: Глинский по просьбе соседа по палате, у которого были ампутированы обе руки, напи-

сал под диктовку письмо его жене куда-то на Рязанщину и в двух местах по оплошности употребил букву «ять», изъятую из русского алфавита более двадцати лет назад. Сосед обратил на это внимание и заподозрил неладное...

До сегодняшнего дня «майор Птицын» еще дважды выезжал в город, якобы интересуясь историческими достопримечательностями. В первый после посещения Чумаковых выезд он на трамвае добрался от Киевского вокзала до деревни Фили, разыскал музей — бывшую избу крестьянина Фролова, где 1 сентября 1812 года, после Бородинской битвы, Кутузов созвал военный совет, который решал: дать Наполеону сражение под Москвой или оставить город без боя. Музей оказался закрытым, и Владимир Глинский издали полюбовался церковью Покрова, посидел на скамеечке, покурил, а затем пешком направился по Можайскому шоссе к центру Москвы.

Он шел по «маршруту Сталина», как мысленно назвал путь от Филей до Боровицких ворот, пролегавший по Можайскому шоссе, Большой Дорогомиловской улице, Арбату, улице Фрунзе. Провожал цепким взглядом обгонявшие его машины, прикидывая в уме, можно ли нанести по ним удар. Ему казалось, что достаточно будет одного удачного выстрела гранатомета... Но тут же сомневался: удача ничем не гарантирована. Да и не совсем просто под недремлющим оком чекистов появиться на маршруте с такой «игрушкой», а уж о том, чтоб уцелеть после покушения, не могло быть и речи... Нужно какое-то специальное устройство: мини-пушка со снарядом особого действия. В лабораториях абвера создать для разового употребления смогут что угодно. Значит, надо немедленно налаживать связь с абвером и предлагать план покушения...

Во второй выезд Владимиру Глинскому удалось увидеть и промчавшиеся по Можайскому шоссе в направлении Кремля три черных лимузина. За белыми занавесками средней машины он никого не разглядел, но сомнений не было, что в ней ехал Сталин.

Опытный глаз разведчика заметил также переодетых работников службы безопасности — большинство были в однотипных костюмах из синего шевиота, многие при галстуках, некоторые в шляпах. Стояли они на углах улиц и посредине кварталов: одни — будто читали на витринах газеты, другие рассматривали афиши на тум-

бах, третьи старательно прикуривали папиросы, кидая по сторонам внимательные взгляды.

Недалеко от слияния Большой Дорогомиловской улицы и Можайского шоссе, напротив дома, глухой простенок которого был украшен уже поблекшим от времени огромным портретом Сталина, Глинский, остановившись прикурить, заговорил с молодым, мускулистым парнем, одетым в чуть измятый синий костюм из шевиота.

— Тяжела служба? — спросил Глинский, кивнув на портрет Сталина.

— Нужна, товарищ майор, — ответил парень и, попристальнее взглянув на раненого командира, тоже задал вопрос: — Как там, на фронте?

— Горячо, — ответил Глинский и зашагал дальше.

Пройдя метров двести, он оглянулся, будто собираясь перейти на другую сторону улицы, и увидел, что с тем же парнем разговаривал какой-то низкорослый мужчина, глядя ему вслед. Сердце Глинского испуганно встрепенулось: неужели слежка?.. Однако, заметив, что низкорослый пошагал в обратную сторону, успокоился, хотя тень тревоги с тех пор так и не покидала его.

Сегодня Владимир Глинский появился на 2-й Извозной улице часов в десять утра и, зайдя в знакомый двор, увидел своего брата Николая в белом фартуке, подметающего березовой метлой ступеньки подъезда, в котором находилась квартира Чумаковых. Рядом, на скамейке, сидела молодая женщина, баюкая на руках запеленатого в белое ребенка.

— Гражданочка, здесь пыльно, — обратился дворник к женщине. — Шли бы с ребенком в сквер.

Женщина молча поднялась и ушла, а дворник, перестав мести, уже смотрел на приближающегося «майора» со сверкающими белизной бинтами на подвешенной к груди руке.

— Вы к кому, товарищ майор?

— К Чумаковым, в седьмую квартиру.

— Нету их. Уехали под Можайск рыть окопы.

— Окопы?.. — Владимир Глинский, покосившись вслед удаляющейся женщине, с напускной растерянностью сообщил: — А у меня им послание с фронта — от генерала Чумакова.

— Бросьте в почтовый ящик на дверях квартиры, — посоветовал дворник.

— Придется. — Глинский оглянулся по сторонам и

спросил: — А где бы листок бумаги достать для записки?

— Ну, пойдемте ко мне, — предложил дворник. — Для раненого фронтовика найдем и бумагу.

Когда они оказались в «дворницкой», Николай притишенным голосом сказал:

— Немцы уже в Смоленске.

— Они должны были там быть еще две недели назад, — угрюмо ответил Глинский.

— И еще новость: сына Сталина в плен взяли.

— Взяли или сам сдался?

— Взяли.

— А ты откуда знаешь?

— Кормил сегодня рыбок. Ученый один просил присмотреть за аквариумом в его квартире, пока он в командировке. А радиоприемник не сдал. Ну, я иногда и слушаю немцев...

Владимир Глинский снял фуражку, вытер платком испарину со лба и присел к столу.

— Ну вот что, дорогой мой брат, — строго сказал он. — Бросай-ка свою метлу да берись за серьезное дело.

— Какое?

— Записывайся в ополчение и отправляйся на фронт. Повезешь моим шефам за линию фронта послание от меня.

— В плен сдаваться?! — испуганно спросил Николай.

— В плен сдаются врагам! — отрезал Владимир.

Через несколько дней бывший дворник Никанор Губарин (он же бывший граф Николай Глинский) в набитом ополченцами вагоне электрички уезжал с Белорусского вокзала в сторону Голицына.

26

Иногда взгляд Сталина казался его помощнику и секретарю Поскребышеву невидящим — это когда случалось что-то особенно неприятное, поражавшее Сталина своей неожиданностью, или когда он, Сталин, узнавал, что его важное, не терпящее отлагательства поручение почему-то не выполнено. Неуютно чувствовал себя Поскребышев под таким взглядом. А ведь многие, кто встречался со Сталиным при неблагоприятных для себя обстоятельствах, тушевались вовсе при ином выражении его глаз, когда тот, разговаривая, клал локоть своей по-

лусогнутой руки на стол или себе на колено, наклонялся к собеседнику и засматривал ему в глаза будто с сосредоточенной пытливостью. Такой взгляд чаще всего сопровождался каким-либо вопросом, который спокойно задавал Сталин, и на этот вопрос требовался немедленный и уверенный ответ.

Сегодня Поскребышев появился в своем кабинете, служившем приемной Сталина, несколько раньше обычного, в десять утра, хотя уехал домой в четвертом часу ночи. Случилось так, что и генерал армии Георгий Константинович Жуков (их квартиры находились в одном доме) подкатил к подъезду на своем черном ЗИСе в то же самое время — перед восходом солнца; а в начале разгоравшегося полуденья они тоже одновременно вышли из своих квартир к дожидавшимся их машинам и по поводу такого совпадения обменялись какой-то будничной шуткой.

Зайдя к себе в кабинет, Поскребышев услышал звонок вертушки. Поспешно снял трубку, каким-то особым чутьем угадав, что звонит с кунцевской дачи Сталин, хотя обычно в это время он еще должен был спать. И не ошибся.

— Товарищ Поскребышев, — услышал в трубке знакомый, глухой голос с кавказским выговором, — позвоните, пожалуйста, товарищу Жукову и передайте ему мою просьбу — пусть немедленно вызовет с фронта маршала Тимошенко... Хорошо бы, чтоб часа через три Жуков и Тимошенко прибыли на заседание Политбюро.

Столь неурочный звонок Сталина означал, что он принял какое-то важное решение, и Поскребышев без промедления позвонил генералу армии Жукову, с которым виделся несколько минут назад. Начальник Генерального штаба удивился раннему звонку Сталина, но и насторожился, восприняв приказ о вызове в Москву маршала Тимошенко с недоумением.

— Как же можно в горячую пору срывать командующего фронтом с командного пункта?! — Голос Жукова был резок и тверд. — Там сейчас подходят резервы. Мы принимаем меры, чтоб отбить у немцев Смоленск. У Семена Константиновича по горло оперативной работы! Без связи с ним Генеральный штаб окажется с завязанными глазами.

— Георгий Константинович, я наперед знаю, как Верховный ответит на твое возражение. Он напомнит, что,

кроме Тимошенко, под Смоленском есть Еременко, Булганин, Маландин!

На слова помощника Сталина Жуков ничего не ответил, а Поскребышев в который раз подумал, сколь сложно и трудно его положение в этом кремлевском кабинете, куда люди заходят то с благоговением, то с трепетом, даже иные наркомы и ответственные работники ЦК. А он, генерал Поскребышев, будто и чувствует себя здесь хозяином, будто все может, а на самом деле... Он между ним, Сталиным, и, кажется ему, всем миром. Любое деловое слово Поскребышева, кому он его скажет, может быть воспринято как слово и воля Сталина, и именно поэтому он чаще вынужден быть безмолвным. Ох как это нелегко и непросто! А уж если при крайней нужде надо было откликнуться на чью-либо просьбу и перед кем-то о чем-то похлопотать, то не уставал напоминать, что это его глубоко личная просьба и ее можно и не выполнить, тем более если она трудновыполнима.

Поскребышев, как и Сталин, был сыном сапожника. Родился он в селе Успенском Вятской губернии в бедной многодетной семье. Судьба благосклонно отнеслась к нему в детстве, ибо мальчишка, которого отец приохочивал к сапожному ремеслу, пошел своей дорогой — окончил начальную школу, затем городское училище, работал на кожевенном заводе, где политические ссыльные стали открывать ему глаза на несправедливости жизни. Потом в Вятке одолел фельдшерскую школу и вновь вернулся в рабочую среду — на завод в Бранче. Там после Февральской революции стал председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, вступил в большевистскую партию и зашагал дальше по трудным дорогам борьбы за новую жизнь. В марте 1922 года он уже работал инструктором по кадрам в ЦК партии, затем секретарем партийной организации ЦК, а через год поступил на правовой факультет Московского университета. Пять лет постижения обширнейшей университетской программы, а затем опять работа в аппарате ЦК...

Он был моложе Сталина на двенадцать лет. Сталин и относился к нему как к младшему другу — с вниманием и заботой, но без каких-либо скидок и послаблений в служебных делах. Как ни странно, самыми трудными для Поскребышева были на первый взгляд совсем простые вещи. Например, хотя Сталин всегда, в общем-то, с доверием относился к специалистам разных отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства или к деятелям науки и культуры — к их суждениям, оценкам, предложениям, но коль на Политбюро ЦК решался какой-либо касавшийся их вопрос, то он, Сталин, к этому моменту уже обязан быть осведомленным во всех его тонкостях, особенностях, главных сложностях. Поскребышеву вменялось в обязанность заблаговременно заказывать в Библиотеке имени Ленина те книги, которые могли помочь Сталину. И нельзя было ни на кого положиться в столь, казалось бы, несложном деле. Сталин не любил тратить время не только на легковесных людей, но и на пустые книги, и Александр Николаевич сам рылся в каталогах, переписывал ссылки на литературные и научные источники из энциклопедий, обращался с вопросами к специалистам, терпеливо размышлял над сложностями и особенностями проблем, которые намечалось обсуждать, и только потом посылал заказ в библиотеку — подчас на горы книг! Ошибиться в их подборе он не имел права... Помогала Александру Николаевичу его поистине феноменальная память. Трудно даже было поверить, что он, например, почти не пользовался телефонной книжкой, держа все нужные телефоны в памяти. А уж что касалось заданий Сталина и множества тех дел, из коих складывалась его каждодневная работа, в том числе и умение выхватить взглядом и мыслью из перечней книг, брошюр, монографий, из предметных каталогов, из оглавлений и содержаний печатных изданий самое нужное к данному моменту, то, кроме удивительной памяти, ему помогало необыкновенно развитое чутье, какая-то особая интуиция, наличие которых он обнаружил у себя еще в университетские годы. Возможно, именно поэтому Сталин так ценил Поскребышева и столь долгие годы не разлучался с ним, как с надежным помощником.

Поскребышев, в свою очередь, поражался, как Сталин справлялся с освоением того множества книг, справочников и других материалов, ложившихся на его стол и на полки шкафа, как успевал находить в них и изучать все то, что ему требовалось.

И еще очень нелегко было писать под диктовку Сталина, когда тот готовился к докладу, к речи или составлял проект какого-либо документа. Хотя Поскребышев любил музыку, имел тонкий слух, но временами ему не удавалось расслышать какое-либо слово Сталина — из-за его приглушенного и гортанного голоса с грузинским

произношением. А переспрашивать — значило вызывать не то что раздражение, а нарушать течение мыслей Сталина и «возвращать» его из неведомых далей памяти, где он усилиями мышления отбирал самое нужное, главное, одевал его в словесную ткань и выстраивал фразу за фразой таким образом, что в них начинала звучать проблема, философская, политическая или экономическая формула. Он, размышляя вслух, говорил так, словно клал кирпич за кирпичом, возводя здание, уже существовавшее в его воображении. Поскребышев четким, округлым почерком выстраивал это здание на бумаге. Но если иногда плохо расслышанное слово он записывал по догадке и допускал ошибку, Сталин потом всегда обнаруживал ее и устремлял на своего помощника глаза, которые в это мгновение, как казалось Поскребышеву, ничего не видели. Трудно было выдержать этот загадочный взгляд, вроде и не сквозивший порицанием.

От размышлений Поскребышева оторвал телефонный звонок из Генерального штаба. Жуков со сдерживаемым раздражением сообщил, что маршал Тимошенко с ночи находится где-то в группе Рокоссовского, в районе Ярцева, и связи с ним сейчас нет.

— Что же мне доложить товарищу Сталину? — встревоженно спросил Поскребышев.

— Доложи все как есть, Александр Николаевич, — с недовольством в голосе ответил Жуков и вновь будто оборвал разговор на полуслове.

С генералами Жуковым и Мерецковым Поскребышев давно был в дружеских отношениях и обращался к ним, как и они к нему, на «ты». Сердиться сейчас на отрывочность ответов Жукова не имело смысла, но передавать так его ответы Сталину — значило навлечь на себя и на Жукова гнев: ведь командующий фронтом (и он же нарком обороны!) не иголка; Генштаб, как и Государственный Комитет Обороны, должен иметь с ним постоянно действующую связь.

Пока не приехал Сталин, Поскребышев заспешил в комнату связи, где царствовал у расставленных на столах телефонных и телеграфных аппаратов очень серьезный, деловой и собранный молодой человек — лейтенант Викулов. Через минуту позывной штаба фронта, повторенный девичьими голосами на многих промежуточных постах, уже был принят начальником войск связи Западного фронта генерал-майором Псурцевым.

Ответив на приветствие Поскребышева и выслушав

переданный им приказ Сталина, адресованный маршалу Тимошенко, генерал Псурцев, как всегда невозмутимым голосом, сообщил, что маршал находится в группе генерала Рокоссовского, которая отражает попытки немцев переправиться в Ярцево через речку Вопь. Район командного пункта Рокоссовского сейчас жестоко бомбят немецкие самолеты, и находящаяся там радиостанция командующего фронтом, как и рация Рокоссовского, на вызов не отвечает. Устойчивая проводная связь ввиду нехватки полевого кабеля с группой пока отсутствует. Псурцев не удержался, чтобы не напомнить Кремлю о том, что на Западном фронте по-прежнему не хватает четырех фронтовых линейных батальонов связи, восьми батальонов армейских управлений, не говоря уже о ротах — кабельно-шестовых, телеграфно-эксплуатационных и телеграфно-строительных...

Короткие и четкие слова доклада и напоминания начальника войск связи, а за этими словами масса сложностей, трудностей и невероятного человеческого напряжения. Поскребышев закончил телефонный разговор с тревожной мыслью: «Что докладывать Сталину?»

Но докладывать ничего не требовалось: отвернувшись от стола с телефонными аппаратами, Поскребышев увидел Сталина стоявшим в полураскрытой двери комнаты связи. По его грустному и замкнутому лицу и невидящему взгляду нетрудно было догадаться, что ему уже все было ясно и без доклада.

— Пригласите ко мне товарища Молотова, — спокойно сказал Сталин Поскребышеву. — И передайте Жукову, что сегодня можно приехать с оперативным докладом раньше, если Генеральный штаб уже справился с ним.

— Товарищ Мехлис тоже просил принять его по неотложному делу, — доложил Поскребышев, когда Сталин умолк.

— Хорошо, пусть едет и товарищ Мехлис, — ответил Сталин и направился в свой кабинет.

27

Это был один из таких дней, в который будто бы чуть развеялся туман или несколько унялась оглушенность: в Ставке и Генштабе стало дальше видеться и легче мыслиться; с обновленной силой ощутились нависшие опасности, обострив тревоги, настоятельно по-

буждавшие к поискам новых решений и дававшие начало новым делам.

Сталин, члены Политбюро и члены Государственного Комитета Обороны, не говоря уже о руководителях Генерального штаба и отделов Центрального Комитета партии, деятельность которых была связана с Вооруженными Силами, понимали, что дальнейшее пребывание главнокомандующего Западным направлением маршала Тимошенко одновременно и на посту народного комиссара обороны СССР немыслимо. После отъезда Тимошенко на фронт он не имел возможности выполнять функции наркома, связанные с деятельностью Генерального штаба, центральных управлений, военных округов и, наконец, со всем тем, что выражалось в руководстве действующими армиями на остальных фронтах и обеспечении их всем необходимым. Заместители наркома тоже оказались в трудном положении, не ощущая в такой неопределенной ситуации границ своих полномочий.

Решение столь очевидной, но непростой проблемы назрело само по себе: в критических условиях военного времени централизацию власти в стране надо было доводить до крайней черты. И коль Ставка Верховного Командования возглавлена Сталиным и если Сталин как Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и Председатель Совета Народных Комиссаров с естественной закономерностью стал Председателем Государственного Комитета Обороны, объединяющего усилия Вооруженных Сил, народа, партии и государственного аппарата, то и народным комиссаром обороны, видимо, надо было быть ему же, Сталину. Об этом уже не раз говорилось в отделах ЦК и на заседаниях Политбюро. Особенно настойчив был Мехлис, ощущавший при отсутствии в Москве наркома обороны затруднения в повседневной работе как начальник Главного политического управления Красной Армии и заместитель наркома.

Но для Сталина было что-то и привлекательное в том, что маршал Тимошенко как нарком обороны в самый критический момент лично возглавил Западный фронт, откуда все больше нависала угроза над Москвой и где решался исход первого этапа войны, заметно стабилизировал там положение. Родившиеся было после падения Минска опасения, что военные руководители под тяжестью наших неудач на фронтах не справятся с растерянностью и допустят какую-либо трагическую нераз-

умность, развеялись, и, возможно, стоило даже подумать над тем, не отозвать ли маршала Тимошенко в Москву, чтоб продолжал он возглавлять Наркомат обороны. Однако захват немцами Смоленска и обострение обстановки на всем Западном да и на других фронтах изменили настроения в Политбюро и побудили Генштаб принимать новые важные решения. Более того: у Сталина родилась мысль, что командование Западным фронтом неправильно расходует подходящие из глубины страны резервные армии, бросая их в бой по мизерным частям и не создавая на наиболее опасных направлениях перевеса в силах. Сегодня Сталин намеревался на заседании Политбюро и Государственного Комитета Обороны в присутствии Жукова и Тимошенко обсудить все эти вопросы и заодно подвести самого маршала Тимошенко к мысли о нецелесообразности дальнейшего пребывания его на посту наркома обороны... Не получилось, как задумалось. Придется решать все без Тимошенко.

А тут еще оглушающая весть о пленении старшего сына. Может, провоцируют немцы? Если правда, то уже, наверное, донесли б с Западного фронта о случившемся... Тяжко было думать о Якове... В груди будто ворочались холодные камни, сдавливая сердце и сбивая дыхание. Не хотелось верить... Если Яков в плену, то как он, сын Сталина, поведет себя там? Не характер ведь у него, а бочка с порохом! Вспыльчив, упрям и... умен!..

Сталин размышлял над всем этим, сидя за своим рабочим столом. Перед ним громоздилась стопка папок с неотложными и важнейшими бумагами разных наркоматов; он поочередно открывал папки, читал документы, делал на них пометки, утверждал или отвергал, ставя в нужном месте свою подпись. Будто это и не стол, а какой-то магический пульт управления. Стоило здесь прикоснуться к чему-то мыслью ли, росчерком пера, стоило сказать слово, и где-то, может, за тысячи километров отсюда приходило в движение, обретая энергию, какое-то дело... а то и великое множество дел, что-то начинало созидаться или активизировалось ранее начатое созидание, побуждались к деятельности массы людей, соединяя в своем напряжении личные устремления и государственную целесообразность... Нет, кажется, невозможно постигнуть мыслью, сколь сложен механизм управления такой гигантской державой, как Советский

Союз, и в этом механизме сей стол в кремлевском кабинете, сам этот кабинет с заседающим в нем Политбюро ЦК являются высочайшей точкой и тем главным местом, где родникам народной жизни определяются места их слияния в единую реку человеческого бытия, начальные формы и цели которого смоделированы Октябрьской революцией.

Когда в кабинет вошли Молотов и Калинин, Сталин как раз рассматривал подписанную наркомом авиационной промышленности Шахуриным сводку выпущенной за вчерашний день продукции самолетостроительных и авиамоторных заводов, а также утвержденный тем же Шахуриным и подписанный начальником Особстроя генералом Лепиловым квартальный график возведения комплекса самолетостроительных предприятий на левом берегу Волги близ Куйбышева. Строительство этих новых заводов началось меньше года назад, сейчас преодолевались там необычайно большие трудности, но уже грела надежда, что совсем скоро фронт получит грозные бронированные штурмовики Ил-2, трудности, правда, будут возрастать, ибо на площадях строящихся корпусов придется разместить и часть тех авиационных заводов, которые спешно демонтируются в западных областях страны и перебрасываются на восток. В этих условиях очень пригодился со своими стендами Центральный механический завод, которому в канун войны предстояло в числе других базовых объектов обеспечивать начавшееся было строительство Куйбышевской гидроэлектростанции... Сколько испытали тогда тревог и сомнений, прежде чем решились на консервацию этой стройки. А теперь все ее многоликое, громоздкое хозяйство, в том числе автомобильные дороги, железнодорожные подъезды, песчаный и гравийные карьеры, деревообделочные комбинаты, кирпичные заводы и многое другое, перешло в ведение Особого строительного управления и в это грозное время активно служит делу укрепления военной базы государства...

Где-то недалеко, возможно, прямо над Кремлевской высотой, прогремело — будто железными ободьями по булыжнику груженая телега, затем внезапно и хлестко, как щелчок гигантского пастушьего хлыста в руке великана, ударил гром и, на мгновение захлебнувшись, вдруг загрохотал басовито, нарастающе раскатываясь по всему небу. О подоконники раскрытых окон железно застучали первые крупные капли дождя: начиналась на-

конец гроза, томившая своими потугами небо и землю уже несколько дней.

В кабинете потемнело, Сталин оторвался от бумаг, встал с кресла и словно только сейчас увидел за длинным столом Молотова и Калинина, хотя, когда они вошли, ответил на их приветствия и взглядом пригласил садиться.

Неслышно вошел Поскребышев, зажег электричество, отчего настенные дубовые панели кабинета сразу будто раздвинулись, и доложил о приезде Мехлиса. В ответ Сталин маняще махнул Поскребышеву рукой, в которой держал погасшую трубку, затем обратился к Молотову и Калинину:

— Я думаю, дождемся товарища Жукова, послушаем его доклад и новые предложения Генерального штаба, а потом начнем решать наши текущие дела.

При последних словах Сталина в дверях кабинета появился Мехлис — стройный, в форме армейского комиссара, подтянутый, но непривычно мрачный и даже бледный.

Поздоровавшись и не очень ладно щелкнув каблуками начищенных, сверкающих хромом сапог, он приблизился к Сталину и, глядя на него каким-то болезненно-опасливым взглядом, сказал:

— Товарищ Сталин, я обязан сообщить вам об очень неприятном для всех нас политдонесении с Западного фронта...

Последние слова Мехлиса были заглушены новым грозовым разрядом. Ворвавшийся в кабинет протяжный раскат грома будто шире открыл небесные заслонки, и хлеставший за окнами ливень превратился в седую кипящую стену. Сталин подошел к окну и, подставив лицо под клубившееся облачко водяной пыли, спокойно сказал:

— Садитесь, товарищ Мехлис...

Но Мехлис не сел. Напряженно глядя Сталину в спину, он с трудом подбирал нужные слова:

— Товарищ Сталин, очень неприятное... тяжелое донесение.

— Докладывайте, — не поворачиваясь, приказал Сталин.

И Мехлис доложил:

— Начальник политуправления Западного фронта сообщает, что, по всей вероятности, ваш сын, Яков Иосифович, попал к немцам в плен...

Сталин продолжал смотреть на ливень, и со стороны казалось, что он не расслышал слов начальника Главпура.

— Точных подтверждений политуправление не имеет, — мучительно продолжал Мехлис, будто страдая от того, что Сталин не желает повернуться к нему лицом, — но делается все возможное...

Сталин и сейчас даже не пошевельнулся, ибо заранее знал, с чем пожаловал к нему Мехлис. Молотов и Калинин, оглушенные дурной вестью, сочувственно и с болью смотрели на отвернувшегося к окну Сталина, не в силах понять, расслышал он в шуме ливня слова армейского комиссара или нет. А Мехлис, растерянно оглянувшись на них, заговорил вновь:

— Особый отдел фронта и специально созданная группа политуправленцев принимают все меры, чтобы или выяснить истину, или, если Яков Иосифович не у немцев, разыскать его, живого или мертвого...

Сталин продолжал молчать, будто не в силах оторваться от зрелища разбушевавшейся грозы.

— Коба, ты что, не слышишь?! — возвысив голос, взволнованно спросил Молотов. — Немцы схватили Яшу!..

Сталин медленно, будто тело ему плохо подчинялось, отвернулся от окна и посмотрел на Молотова пасмурным и каким-то затравленным взглядом. Затем неторопливо направился к своему столу, сел в кресло и спокойно, со скрытой укоризной сказал:

— Сталин не глухой... Мне уже известно о пленении старшего лейтенанта Якова Джугашвили. Сейчас его допрашивают в штабе фельдмаршала Клюге.

У Мехлиса от этих слов перехватило дыхание и словно пол качнулся под ногами. Он хорошо знал, что слухи о пленении сына Сталина пока держались в строгом секрете. Кто же сообщил Сталину?

— Подробности имеются в политдонесении?

Этот вопрос Сталина вывел Мехлиса из оцепенения, и он подрагивающими руками раскрыл принесенную с собой папку, взял из нее два скрепленных листа бумаги с машинописным текстом на них и, подойдя к столу, положил донесение перед Верховным. При этом сказал:

— Подробностей мало... Вашему сыну, когда он прибыл на фронт, настоятельно предлагали служить в штабе артиллерийского полка, но он потребовал послать его командиром батареи... Дралась батарея хорошо...

— Молодец, что не остался в штабе, — будто для самого себя произнес Сталин и, прочитав донесение, вернул его Мехлису, а затем, устремив печальные глаза в сторону Молотова и Калинина, спросил: — Так как теперь решать с товарищем Сталиным? Будем назначать его народным комиссаром обороны?.. — Видя, что его не поняли, с горькой усмешкой, похожей на гримасу боли, добавил: — По нашему закону близкие родственники тех, кто сдался врагу в плен, ссылаются... Я бы в таком случае выбрал себе Туруханск — все-таки знакомые места. — При последних словах Сталин вновь улыбнулся, и в вымученности этой улыбки, в притушенном и невидящем взоре и во всем выражении потемневшего лица были видны боль, тяжкая удрученность и скрытая растерянность.

— Вопрос серьезный, — с легкой усмешкой заметил Молотов и, забарабанив пальцами по зеленому сукну стола, повернулся к Калинину: — Или в Сибирь, или в наркомы... Есть предложение похлопотать перед товарищем Калининым как Председателем Президиума Верховного Совета... Как, Михаил Иванович, может, посодействуете по знакомству?

— Это называется «по блату». — Калинин, приняв шутку Молотова, невесело засмеялся. — А закон-то наш и без блата твердит, что наказанию подлежат только те родственники изменника, которые проживали совместно с ним или находились на его иждивении... Товарищ Сталин к таким родственникам, по-моему, не относится.

Армейский комиссар Мехлис все еще не мог переключить свое настроение в тональность, которую смягчил и задал Молотов.

— Товарищ Сталин, еще никому не известно, при каких обстоятельствах оказался в плену старший лейтенант Джугашвили! — горячо напомнил начальник Главпура.

— Нет ничего тайного, что бы не стало явным, — с грустной задумчивостью заметил Сталин.

— Совершенно справедливо! — согласился Мехлис. — Я беру на себя выяснить все до конца!.. Более того, можно устроить побег Якова: мобилизовать наших разведчиков. Я уже разговаривал с генералом Дроновым... Можно, наконец, если это не удастся, поторговаться с Гитлером!

— Поторговаться с Гитлером? — изменившимся го-

лосом спросил Сталин и так посмотрел на Мехлиса, что тот смешался.

— Я имею в виду обмен, — сбивчиво начал объяснять Мехлис. — У нас есть несколько пленных генералов... Можно их отдать Гитлеру взамен Якова.

— Так-так... Начальник Главного политуправления армейский комиссар первого ранга предлагает Генсеку торговую сделку с Гитлером! — Сталин, выйдя из-за стола, начал прохаживаться по кабинету, то и дело с едкой иронией поглядывая на Мехлиса. — Армия воюет, люди умирают, Мехлис торгуется...

— Товарищ Сталин, не ловите меня на слове! — взмолился Мехлис, и лицо его покрылось бурыми пятнами. — Гитлер — такая шкура, что к нему любое, даже самое бранное, выражение подойдет!

— Коба, ты, по-моему, перегибаешь палку, — поддержал Мехлиса Молотов, обращаясь к Сталину. — Ведь действительно существует международная практика обмена пленными между воюющими сторонами.

— Совершенно верно, — сказал свое слово и Калинин. — И ничего предосудительного тут нет.

— Ладно, защитники! — Сталин, остановившись посреди кабинета, уже миролюбиво заулыбался. — Я представил себя торгующимся с Гитлером... Немыслимо! — Он опять зашагал по ковровой дорожке и после недолгого молчания заговорил будто сам с собой: — Конечно, хорошо бы спасти Яшу... Ему в плену будет тяжелее, чем кому бы то ни было... С сыном Сталина постараются поиграться всерьез... Но что нам скажут те многие, многие тысячи наших бойцов и командиров, которых мы не выкрадем и не обменяем?.. — Он вновь остановился посреди кабинета и уже кричащим болью и безысходностью взглядом поочередно посмотрел в лицо Молотову, Калинину, Мехлису. Но тут же заговорил смягчившимся голосом: — Мы руководители партии и государства! И мы не имеем права никому внушать мысль о преимуществе плена перед смертью... Может, это и жестоко, но так требует логика борьбы, так научили нас враги в годы гражданской войны... Мы считали и по-прежнему будем считать, что сдача в плен не только проявление малодушия, но и предательство... Другое дело, если люди оказываются в плену случайно, не по своей воле, захваченные без сознания... Я верю, что и Яков не сам сдался в плен... Верю! — Потом Сталин подошел к Мехлису, который все продолжал стоять у длин-

ного стола. Ткнув потухшей трубкой в сверкающую пуговицу гимнастерки армейского комиссара первого ранга, цепко посмотрел ему в глаза, словно в самую душу. Понизив голос, с прочувствованной удовлетворенностью сказал: — А ваша мысль, товарищ Мехлис, насчет обмена немецких генералов заслуживает внимания... Не торговля, а именно обмен... — Затем повернулся к Молотову, взмахнул рукой в его сторону и уточнил: — Это по твоей части, товарищ нарком иностранных дел... Только, видимо, надо несколько повременить с этим, пока к нам не попадет в плен побольше чинов... Я полагаю, что можно будет через Женеву, через Красный Крест, — Сталин продолжал то ли вопросительно, то ли утверждающе смотреть на Молотова, — обратиться к этому людоеду Гитлеру с предложением: пусть возьмет у нас своих генералов, кто ему нужен. Даже всех, сколько будет!.. Не жалко! А взамен пусть отдаст нам пока только одного человека...

Сталин умолк и направился к столу, чтобы заправить табаком трубку. Ливень за окном стал слабеть, и тишина в кабинете делалась все более тревожной: никто не понимал, к чему Сталин клонил свой разговор. И вот, он, прикуривая трубку, бросил из-за стола взгляд на присутствующих, и в этом взгляде (невероятно!), в отсвете горящей спички, теплилась усмешка, за которой угадывалась какая-то мысль, приносившая Сталину удовлетворение. Выдохнув облако табачного дыма и помахав рукой перед своим лицом, он высказал эту мысль:

— Пусть за всех своих генералов Гитлер отдаст нам одного человека — Эрнста Тельмана!..

Все потрясенно молчали, размышляя над услышанным. Наконец тишину нарушил Молотов. Чуть заикаясь, он сказал:

— Такая операция, даже в нынешней трудной обстановке, вполне под силу нашим дипломатам... Но пойдет ли на это Гитлер? Ведь освободить из тюрьмы и отдать нам Тельмана — равнозначно, что позволить взметнуть над головами революционных рабочих не только Германии, но и всей Европы боевое Красное знамя!..

— Правильно говоришь, товарищ Молотов! Поэтому-то игра и стоит свеч. — Сталин, пососав мундштук трубки, с поощрительным прищуром посмотрел на Молотова. — Если есть хоть один из тысячи шансов на

успех такой операции, ее надо планировать и при первой возможности попробовать осуществить. Это была бы огромная победа в борьбе за будущее Германии, за новую Германию...

...В кабинет вошел начальник Генерального штаба Жуков, и с его появлением настроение у всех постепенно начало меняться. Генерал армии привычно раскладывал на столе сводную оперативную карту, а Сталин выжидательно стоял рядом.

— Подытожьте нам, пожалуйста, события на Западном... Для начала, — сказал он Жукову, когда карта закрыла зеленое сукно стола.

Итог был неутешительным.

Жуков наклонился над картой и, устремив глаза в район Полоцка, Невеля, Великих Лук, напомнил, что наша 22-я армия генерал-майора Ершакова не сумела там объединить усилий с 19-й армией Конева, которая, как уже было известно, не успела сосредоточиться и развернуться после разрозненного прибытия на этот участок фронта. В итоге враг, хоть и понес серьезные потери от контратак разрозненных частей Конева, все-таки продвинулся вперед на 150 километров, захватив Полоцк, Невель, Велиж, Демидов, Духовщину, и, загнув фланг на юго-восток, штурмует сейчас наши дивизии в районе Ярцева. Часть сил 22-й армии, нанеся тяжелые потери немцам, вырвалась из окружения, заняла оборону по реке Ловати и удерживает Великие Луки.

Южнее обстановка складывалась еще драматичнее. Немцы, нанеся своей 2-й танковой группой мощные удары севернее и южнее Могилева, обошли и полностью окружили героически сражавшийся город, прорвались двумя моторизованными корпусами к Смоленску, к Ельне и одним — к Кричеву. Войска 20-й армии Курочкина и 16-й армии Лукина (в которую влились отступившие войска 19-й армии Конева) оказались в оперативном окружении и продолжают вести борьбу за Смоленск.

Рассеченная противником на две части и охваченная с флангов 13-я армия генерал-лейтенанта Ремезова одним стрелковым и одним механизированным корпусами, весьма ослабленными, продолжает бои в районе Могилева, отвлекая на себя значительные силы врага и удер-

живая одной дивизией плацдарм на берегу Днепра. Окруженные было на кричевском направлении два других стрелковых корпуса 13-й армии разорвали при содействии 21-й армии генерал-лейтенанта Герасименко вражеское кольцо и удерживают рубеж на реке Соже.

Не меньше тревог вызывала обстановка и на других фронтах, со всей очевидностью свидетельствуя, что немецкому верховному командованию пока в основном удавалось осуществлять свои планы, несмотря на колоссальные потери германских войск и большое нарушение сроков достижения ими намеченных рубежей.

Когда генерал армии закончил обзорный доклад и о положении на других фронтах и начал излагать проекты Генерального штаба новых оперативных решений, Сталин не очень деликатно перебил его:

— Обождите с решениями. Мы слышим их каждый день... Решения, решения... А немцы прут на восток! Нам надо понять, — Сталин указал рукой на сидевших за длинным столом, — почему неудовлетворительно выполняются командующими фронтами ваши прежние решения!

— Товарищ Сталин, — сдерживая обиду, спокойно и хмуро заговорил Жуков, — я только могу обосновывать предлагаемые планы и решения. А принимаете или отвергаете их вы как Верховный Командующий.

Слова Жукова будто ударили Сталина. Он непривычно резко повернулся к нему и посмотрел долгим, недобрым взглядом.

Жуков, выдержав потемневший взгляд Сталина, уточнил свою мысль:

— Я хотел сказать, что как начальник Генерального штаба обязан предлагать решения. Они берутся не с потолка. Управления и отделы Генштаба день и ночь собирают и группируют информацию с фронтов о противнике и наших войсках, непрерывно все взвешивают, вычисляют, предугадывают...

— Я вас понял, — сдерживая гнев, перебил его Сталин. — Я полагал, что мы, опираясь на вашу информацию, вместе вырабатываем и принимаем главные, кардинальные решения. Поэтому и директивы вдвоем подписываем...

— Вы меня неправильно поняли...

— Правильно понял! Мне ясно, что вы порой забываете о том, что решения командующих фронтами долж-

ны вытекать из директив Ставки Верховного Командования.

— Почему забываю?! Это элементарно!

— Вот я и вынужден напомнить вам о наших с вами элементарных функциях и о том, чем они отличаются от функций нижестоящих штабов.

— Пожалуйста, напомните, если вы полагаете, что начальник Генерального штаба не понимает таких простых вещей! — Уже откровенная обида Жукова будто выплескивалась из его сумрачно и колко глядевших глаз.

Сталин все-таки не смягчился. Недовольно посмотрев на Жукова, он чуть ускоренным шагом подошел к расстеленной оперативной карте и, постучав по ней трубкой, холодно сказал:

— Плохо, что вы заставляете меня повторять простые вещи. Да, в ходе меняющейся обстановки первые и немедленные решения должны приниматься командующими фронтами и командующими армиями. Мы же с вами, как одно целое, обязаны разрабатывать, исходя из слагающихся оперативно-стратегических ситуаций, общие планы и главные замыслы действий фронтов с далеко идущими целями... Обязаны координировать усилия фронтов и армий, вместе взятых. И поскольку нам бывает виднее общая картина войны на всех ее направлениях и участках и нам легче поэтому определять главные замыслы противника, наша задача непрерывно снабжать штабы фронтов оперативно-стратегической информацией и четко направлять их деятельность через командующих и начальников штабов. А если они — командующие и начальники штабов — не справляются со своими функциями, не умеют пользоваться нашими разработками и опираться на них, им надо или помогать, или немедленно заменять их более способными генералами!..

Умолкнув, Сталин с вопросительной укоризной обвел всех взглядом, в котором сквозило, кроме неизвестно кому адресованных упреков, и недовольство самим собой — своим раздражением и своими не очень четко высказанными претензиями. Видимо, почувствовав неловкость и перед Жуковым, он уже спокойно, с подчеркнутой деловитостью спросил у него:

— Скажите, товарищ Жуков, а последние решения маршала Тимошенко вы считаете правильными?

— Я не понял вашего вопроса, товарищ Сталин.

— Мне кажется, — продолжал Сталин, — что Тимошенко крохоборничает, бросая навстречу немцам всего лишь по две-три дивизии... А вы его не поправляете, потому что вам, начальнику Генерального штаба, неудобно поправлять наркома обороны.

— Товарищ Сталин, на войне все удобно, что для пользы дела и во вред врагу, — озадаченно ответил Жуков.

— Вот это вы правильно сказали. — Сталин улыбнулся одними глазами. — Поэтому мы нашли удобным для пользы дела разгрузить товарища Тимошенко, освободив его от поста наркома обороны, чтоб он сосредоточил все свое внимание на командовании Западным направлением. Ему пора бить врага не растопыренными пальцами, а крепкими кулаками из группировок по семь-восемь дивизий, нацеливая их на самые угрожающие направления.

— Георгий Константинович, — обратился Калинин к Жукову, когда Сталин умолк, — поздравили бы вы товарища Сталина. С этого часа он Народный комиссар обороны Советского Союза.

Жукова эта новость не удивила. Он посмотрел на Сталина болезненно-печально и непривычно тихо произнес:

— Поздравляю, товарищ Сталин... И примите мое сочувствие... — Затем, тяжело вздохнув, добавил: — Здоровья вам крепкого!

Сталин ничего не ответил. После неловкой паузы он поднял на Жукова взгляд, в котором угадывалась разгоравшаяся энергия какой-то новой и важной мысли, и медлительно сказал:

— Сейчас наша с вами главная забота должна устремляться в двух направлениях: первое — наращивать и укреплять глубину обороны и второе — непрерывно ставить войскам наступательные задачи...

— А тыл, промышленность, вооружение? — извинительно напомнил Калинин. — Все заботы теперь главные.

— Это уже другой наш фронт! — с той же энергией во взгляде недовольно ответил Сталин. — Полководцы там испытанные, надежные — Шахурин, Косыгин, Устинов, Тевосян, Малышев, Паршин, Вахрушев!.. — В этом перечислении Сталиным фамилий народных комиссаров как бы звучало недовольство военными полководцами. — Вот вам пример поиска мысли, решение проблемы, когда

Тевосян и Малышев, опираясь на опыт и знания своих ведущих кадров, уже сейчас, в эти июльские дни, сумели дать нам броневой лист, хотя броневой стан еще только вывозится на Урал!.. Трудно поверить: начали катать броневые листы на блюминге! На пороге решения этой проблемы и Кузнецкий металлургический комбинат!..

Об этом очень важном и необычайно своевременном инженерно-техническом новшестве, примененном на Магнитогорском и Кузнецком комбинатах, Молотов и Калинин, как и многие другие члены Политбюро, уже знали, а Жуков и Мехлис не совсем разбирались в его технологической сути, поэтому слова Сталина никого особенно не поразили. Сталин же воспринял спокойствие присутствующих в его кабинете как непонимание того, насколько всколыхнула война промышленность и все народное хозяйство, приведя в движение новые рычаги.

— У нас сейчас что ни нарком, что ни директор завода, то ярчайшая личность, Казбек ума и знаний! Они и великие ученые, и опытнейшие практики одновременно! И превосходные руководители! А какого масштаба деятели среди наших секретарей обкомов?! Попов — Смоленского, Пальцев — Ивановского, Патоличев — Ярославского, Родионов — Горьковского!.. Их десятки, сотни!.. — Сталин устремил разгоревшийся взгляд на Молотова, будто укоряя его: — Так что тебе, товарищ Молотов, с Микояном, Вознесенским и Кагановичем есть на кого опираться и есть с кого спрашивать!

Сталин имел в виду то обстоятельство, что отдельным членам и кандидатам в члены Политбюро было поручено общее руководство главными отраслями военной промышленности.

— Товарищ Сталин, в ваших словах звучат претензии к военным руководителям, — со сдержанным недоумением заметил Жуков. — Я бы просил вас высказать их более конкретно.

— У меня претензии к самому себе, — без промедления ответил Сталин, словно ждал этих исподволь упрекающих его слов Жукова. — Мы подчас лучше знаем деловые качества руководителей нашей промышленности и секретарей областных комитетов партии, чем военных руководителей, потому что их полководческие качества начали выявляться только сейчас, когда главную роль на поле битвы играют уже не конница да пулемет-

ные тачанки, на что ориентировали нас маршалы Ворошилов, Буденный да Кулик, а артиллерия, танки, бронетранспортеры, авиация! Наша с вами задача — искать и поднимать в этих новых условиях одаренных военачальников, разбирающихся в природе современного боя и умеющих влиять на него с включением в дело всех сил и технических средств...

На другой день, вызвав к прямому проводу главнокомандующего Западным направлением маршала Тимошенко, Сталин будто продолжал отвечать на вопрос, заданный ему Жуковым.

— У нас есть к вам претензии, товарищ Тимошенко, — сказал он маршалу без всяких предисловий. — То, что вы вводите из резервов в бой по две-три дивизии, не дает положительных результатов. Не пора ли отказаться от этой практики и начать создавать кулаки по семь-восемь дивизий с кавалерией на флангах и диктовать свою волю противнику?.. Я думаю, что пришло время перейти вам от крохоборства к действиям большими группами...

Тут же Сталин высказал маршалу предположительный вариант создания таких групп, с тем чтобы их концентрированным ударом на Смоленск разгромить противника и отогнать его хотя бы за Оршу.

Тимошенко, внимательно выслушав Сталина, доложил ему оперативную обстановку на Западном фронте, согласился с его предложениями насчет ввода в бой укрупненных войсковых формирований, но высказал опасения по поводу целесообразности больших обходов и охватов вражеских группировок, учитывая преимущества врага в технике и, следовательно, в его возможностях маневрирования.

В этот же день Сталин и Жуков послали маршалу Тимошенко директиву Ставки, которая предписывала за счет сосредоточившихся сил Фронта резервных армий — 30, 24 и 28-й — создать ударные группы соединений для разгрома противника севернее и южнее Смоленска и для оказания помощи попавшим там в окружение нашим войскам. Из Фронта резервных армий маршалу Тимошенко передавалось двадцать дивизий для формирования пяти армейских групп во главе с генералами Рокоссовским, Хоменко, Калининым, Качаловым и Масленниковым.

Как и требовала директива Ставки, маршал Тимошенко поставил армейским группам задачу — нанести контрудары из районов Белого, Рославля и Ярцева в общем направлении на Смоленск, разгромить в прилегающих к нему пространствах войска противника и соединиться с дравшимися там в окружении частями армий Курочкина, Лукина и Конева.

Но необходимы были еще и дополнительные меры, чтобы сковать маневр врага резервами и парализовать снабжение его передовых эшелонов, тем более что у командования Западного фронта не имелось возможностей надежно поддержать контрудары своих армейских групп действиями авиации, а также не хватало танков. Поэтому Ставка Верховного Командования приказала бросить в тылы могилевско-смоленской группировки противника кавалерийскую группу из трех дивизий, которая сосредоточилась к тому времени в полосе 21-й армии в лесах близ Речицы; а севернее Смоленска приказывалось ударить по тылам 3-й танковой группы немцев кавалерийской группой из двух наших дивизий.

Вскоре последовало еще одно важное решение Ставки. Учитывая громоздкость Западного фронта и то обстоятельство, что в его полосе образовалось два главных направления и два главных очага сражений — Смоленско-Ельнинское и Гомельское, — было принято решение выделить 13-ю армию (передав ей остатки 4-й армии) и 21-ю армию, дравшиеся на рубеже Сеща, Пропойск и далее на юг по Днепру, в самостоятельный Центральный фронт под командованием генерал-полковника Ф. И. Кузнецова.

В такой сложной оперативно-стратегической ситуации и развернулся на огромных пространствах второй этап Смоленского сражения.

Начинались ожесточенные бои на направлении главного удара немецко-фашистских войск — в самом Смоленске, в его пригородах и на тысячах квадратных километров Смоленской и Духовщинской возвышенностей.

Советским войскам предстояло совершить немыслимое: сдержать продвижение численно превосходящего противника, чтобы не только обезопасить Москву, но и дать стране возможность подготовить и выдвинуть на рубежи стратегической обороны свежие резервы.

И немыслимое стало реальностью: немецко-фашистские войска впервые с начала второй мировой войны вынуждены были на главном стратегическом направлении фронта перейти к обороне. Агрессор наконец ощутил, что блицкриг пока не удается...

Великая Отечественная война народов Советского Союза против фашистских поработителей продолжалась...

1967—1980


Рассказы

ЛЕЙТЕНАНТ ВЕРНИДУБ

Черная нитка телефонного провода перемахивала через ручеек с заболоченными, поросшими густой осокой берегами и, прячась в ярко-зеленой траве, среди тальника, осины, уходила в сторону переднего края. Вдоль нитки торопливо шагал невысокий, стройный человек с солдатским вещевым мешком за спиной.

Это был Сергей Вернидуб — молодой лейтенант, только что прибывший на фронт после окончания Баталинского артиллерийского училища. Он спешил в первый дивизион, куда получил назначение.

Худощавый, не очень широкий в плечах, он никак не оправдывал свою необычную фамилию. Зато круглое, курносое лицо с тяжеловатым, выступавшим вперед подбородком, острые карие глаза с золотинкой да густо-черные, слегка нахмуренные брови выдавали в Сергее Вернидубе человека упрямого, настойчивого.

В штабе полка Вернидубу сказали:

— Будете служить в дивизионе капитана Ломтева...

И сейчас, направляясь к месту службы, Сергей думал:

«Не тот ли это Ломтев? Неужели он?..»

Сергей Вернидуб много слышал о Ломтеве. О нем не раз вспоминали на курсантских и комсомольских собраниях. Портрет Ломтева висел в вестибюле главного учебного корпуса на Доске героев-фронтовиков — воспитанников училища.

Нитка телефонного провода вывела его к жидкой сосновой роще с густым подлеском. Сергей остановился. Впереди, в тени ветвистого дерева, он увидел бугорки над накатами блиндажей. Здесь и размещался командный пункт первого дивизиона.

Вернидуб решительно зашагал в направлении блиндажей. У крайнего блиндажа лицом к лицу столкнулся с высоким офицером. Из-под его выгоревшей пилотки выбивались светлые, как конопля, волосы. На гимна-

стерке сверкал орден, на погонах — по четыре звездочки. Офицер вопросительно уставился на Сергея серыми, с чуть зеленоватым отливом глазами.

— Лейтенант Вернидуб? — спросил он.

— Так точно! — ответил Сергей, и у него мелькнула мысль: — «Командир дивизиона! Значит, не тот...»

Сергею стало вдруг горько, что этот капитан не оказался тем Ломтевым — героем, служить под командованием которого каждый выпускник их училища посчитал бы за честь. Надтреснутым баском он представился:

— Товарищ капитан, лейтенант Вернидуб прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы.

Капитан выслушал Вернидуба, потом крепко стиснул его руку и, рассматривая молодого лейтенанта цепким, изучающим взглядом, сказал:

— Ну, пошли на наблюдательный пункт. Командир дивизиона уже звонил, справлялся о вас.

— А вы?.. — смущенно спросил Вернидуб.

— Я? Я, брат, в начальниках штаба пребываю, Гусев моя фамилия. — И капитан засмеялся.

...Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона находился почти на противоположной опушке рощи. Сергей еще издалека заметил приставленную к могучей сосне высокую лестницу, а у сосны — блиндаж. На насыпи блиндажа сидел солдат и держал у уха телефонную трубку. Увидев приближающихся, солдат запрокинул голову вверх и крикнул:

— Товарищ капитан, идут!

Не успели еще Вернидуб и капитан Гусев подойти к блиндажу, как с вершины дерева раздался твердый, ровный голос:

— А ну, показывайтесь, товарищ лейтенант! Залезайте на площадку. Ивашук, уступите место.

По лестнице начал спускаться Иващук — артиллерийский разведчик — крупный, мешковатый солдат.

— Поживей, Иващук! — подстегнул его голос с дерева. — А то вроде корзину с яйцами на голове несете!

Иващук чуть проворнее стал пересчитывать руками и ногами перекладины. Наконец он достиг земли, и Вернидуб быстро взбежал по лестнице.

— Вот это дело! Узнаю выучку! — И навстречу Сергею протянулась крепкая рука.

Сергей увидел широкое, чуть скуластое добродушное лицо с прищуренными глазами и приветливой улыбкой. Узнал. Это был тот, настоящий, Ломтев.

— Лейтенант Вернидуб прибыл... — начал докладывать Сергей, но Ломтев перебил:

— Давно жду вас. Как позвонили из штаба полка, что прибыл лейтенант из Баталинского училища, так я и покой потерял. Что там у нас? Садитесь за стереотрубу: глядите и рассказывайте.

Сергей осмотрелся. На крепких сучьях сосны плотно уместилась большая треугольная рама из толстых бревен. На раме укреплены броневые щитки — один снизу и два по бокам. Над головой также щит — против шрапнели. Стереотруба двумя призмами смотрела из-за ствола сосны вперед, поверх верхушек других деревьев. Тут же, на сучке, укреплен телефонный аппарат.

Ломтев отстранился от стереотрубы, уступая место Сергею:

— Смотрите и рассказывайте, — повторил он.

— Я так не умею, — смущенно ответил Сергей. — Наблюдать нужно сосредоточенно.

— О-о!.. — воскликнул Ломтев. — Наша школа. Ну, раз так, наблюдайте.

Перед взором Сергея встала впервые виденная им картина: верхушки сосен, за ними луг, ручей, за ручьем проволочные заграждения и зигзаги фашистских траншей. Временами над бруствером траншеи мелькали солдатские каски. И все, что попадало в поле зрения Сергея, непрерывно качалось: вниз, вверх, вниз, вверх...

За первой линией траншей Сергей увидел пустынную дорогу, которая на правом фланге поворачивала на восток, пересекая вражескую оборону. В том месте, где дорога была перекопана траншеей, высился телеграфный столб. Сергей разглядел на нем уцелевшие чашки изоляторов и даже обрывки проводов. «Вот ориентир-чирк! — подумал Вернидуб. — Как фашисты не сообразят спилить его?»

Мелколесье — кудрявое, густое, припудренное рыжеватой, перегоревшей от снарядных взрывов землей, со всех сторон обступало огневые позиции артиллеристов. Пушки, длинноствольные, безмолвные и, казалось, разморенные жарой, дремали под широкими маскировоч-

ными сетями на круглых площадках, прильнув станинами к земле.

На огневой царил покой. Артиллеристы, натрудившись ночью при оборудовании новых запасных позиций, отдыхали в блиндажах, в ровиках — там, где их не доставали палящие лучи солнца. Редкие выстрелы за опушкой рощи были привычными.

Сергей Вернидуб сидел на траве в тени орешника и глядел на расстеленную топографическую карту. На ней условными значками были нанесены цели в секторе обстрела батареи, в состав которой входил его огневой взвод. Каждый вражеский дзот, каждое пулеметное гнездо, позиции немецких орудий и минометов занумерованы, и подготовлены данные для стрельбы по ним. Хоть сейчас открывай огонь, и снаряды метко накроют цели. Но стрелять пока нельзя. Нельзя показать врагу, насколько точно разведана его огневая система.

Стоял знойный июнь 1944 года. Над белорусскими лесами и болотами висела тишина.

Понимал лейтенант Вернидуб, что тишина эта обманчива, не сегодня завтра начнется наступление, но не мог мириться с бездействием, с унылой тишиной. Ведь это фронт! Уже два дня командует он огневым взводом и за это время не послал по врагу ни одного снаряда.

Сергею вспомнился разговор с капитаном Ломтевым. Командир дивизиона жадно расспрашивал об училище. Потом сказал, что обязательно напишет туда письмо. Но напишет после того, как он — лейтенант Вернидуб — проявит себя в бою. «Им нужно знать, как воюют их питомцы», — объяснил Ломтев.

Заметил ли Ломтев, что при этих словах сбежались на переносье Вернидуба и без того нахмуренные брови? Наверное, нет. Сергею не хотелось, чтобы командир дивизиона уловил его волнение. Он представил себе, как там, в училище, читают на комсомольском собрании письмо Ломтева о боевых делах бывшего курсанта Вернидуба, как одобрительно гудит зал и загораются жаждой подвига юные сердца комсомольцев. Но зачем ему волноваться? Разве не умеет он стрелять, управлять огнем орудий? Может, не лучше многих других выпускников Баталинского училища, но и не хуже. Сколько раз на артиллерийском полигоне, когда стрелял Вернидуб,

старшина полигонной команды хватался руками за голову и сокрушался: «На таких стрелков никаких мишеней не наготовишь!..»

И вражеский обстрел был для Сергея не в диковинку. Еще в первый год войны он, крымский десятиклассник, мирный житель тихой деревни на мелководном Салгире, добровольцем ушел на фронт. В туманный октябрьский день его часть с тяжелыми боями отходила к Керчи. Жестокие обстрелы, бомбежки, танковые атаки. На Таманском полуострове Сергея ранило. Потом — госпиталь, запасной полк, училище. Теперь опять фронт. Нет у Сергея такого слова, чтобы сказать, как стремился он сюда.

Сергей не хотел сознаться даже самому себе, что мечтает в первом же бою сделать что-то большое и чтоб об этом услышали там — в Баталинске.

«Но когда же? Когда начнем наступать?»

Мысли его прервал оклик телефониста:

— Товарищ лейтенант!

В два прыжка Сергей оказался в ровике, у телефона. Взял трубку и услышал хрипловатый голос командира батареи:

— Лейтенант Вернидуб? Понаблюдайте правее ориентира один. У телеграфного столба — дзот. С запасной открытой — уничтожьте!

— Есть уничтожить! — выкрикнул Сергей и смутился. Очень уж радостно и по-мальчишески бойко прозвучали его слова. «Не похож ли я на петушка?» — подумал он и вопросительно покосился на телефониста — молодого солдатика с облупившимся носом и ясными голубыми глазами, в которых лейтенант прочитал такой же восторг, каким был охвачен сам.

— Есть работка? — сиплым, возбужденным голосом спросил телефонист.

— Есть, — сдержанно ответил Вернидуб и тут же подумал: «Дзот у телеграфного столба — это в секторе первой батареи! Почему же мне?..»

Погасил улыбку, догадался: капитан Ломтев дает возможность пострелять именно ему.

«А может, проверяет? Проверяет, как умею стрелять?.. Ну, что ж, покажу». — И властно скомандовал:

— Второе, к бою!..

Вмиг огневая позиция взвода ожила. Из блиндажа, из ровиков выскакивали солдаты. Еще секунда-две, и расчет второго орудия занял свои места.

Командир расчета — пожилой сержант с угловатым некрасивым лицом, коричневой жилистой шеей, наморщив и без того морщинистый лоб, стоял поодаль от орудия и глядел на командира взвода, дожидаясь распоряжений. Сержант этот, фамилия его Бобров, не понравился Сергею при первом же знакомстве. Сергея насторожил острый взгляд глубоко сидящих под косматыми бровями глаз Боброва. Да и все лицо его — широкий, вздернутый нос, тянущаяся вслед за ним верхняя губа — толстая, точно вывороченная наизнанку, щеки, прорезанные двумя глубокими складками, спадавшими от носа к подбородку, — было угрюмым и недовольным. Сергею казалось, что Бобров смотрит на него с недоверием, точно на мальчишку, который взялся не за свое дело.

Сейчас, встретившись взглядом с сержантом, Сергей спохватился и точно притушил свое возбуждение и восторг, вызванные предстоящей стрельбой.

«И бобру этому покажу, как умеет стрелять лейтенант Вернидуб», — с непонятным недовольством по отношению к сержанту подумал Сергей и скомандовал:

— На колеса! Занять вторую запасную!..

Сергей стоял в окопе и, маскируясь воткнутой в бруствер веткой осины, глядел в бинокль на далекую дорогу. Сердился на себя, что долго не проходило волнение. Он хорошо видел черную полоску амбразуры вражеского дзота. Дзот был расположен у самого телеграфного столба, на котором сверкали под лучами солнца фарфоровые изоляторы.

Сергей удивлялся непредусмотрительности гитлеровцев: телеграфный столб дает возможность любому артиллеристу накрыть дзот первым же снарядом. Каждому известно, что высота телеграфного столба равна шести метрам. Нескольких секунд достаточно, чтобы шесть разделить на его угловую величину и умножить на тысячу. А угловая величина всякого предмета вмиг устанавливается по сетке бинокля. И ничего больше не нужно артиллеристу, если стоит пушка на прямой наводке. Ставь прицел, лови цель в перекрестке панорамы и — крой!

Вернидуб повернулся, чтобы подать команду, и заметил устремленный на него пытливый взгляд сержанта Боброва. Сержант стоял за недалеким кустом можже-

вельника, а дальше, за еловыми ветками, — замаскированное орудие. Свали одну ветку — и можно стрелять.

Угловатое, губастое, загорелое, как хлебная корка, лицо командира расчета было сосредоточенным, но не таким угрюмым, как всегда. Сергею показалось, что Бобров смотрит на него с сочувствием, точно понимает его душевное состояние. И это не понравилось Сергею. Не любил он, когда смотрели на него как на подростка. Ведь ему двадцать второй!

Нарочито сдержанным голосом скомандовал:

— По дзоту у столба гранатой, взрыватель фугасный, заряд полный, прицел тридцать два, отражатель ноль, угломер тридцать ноль-ноль, наводит в амбразуру, один снаряд...

— ...Один снаряд!.. — деловито и спокойно повторял за ним сержант Бобров.

— Огонь!..

Резко ахнула пушка, взвихрив впереди себя выхваченные из травы пыль и прошлогоднюю высохшую листву. Сергей прильнул глазами к биноклю. Ощутил знакомое каждому артиллеристу томление, пока снаряд летит до цели!

Но что это? Сергей ничего не видит. В окулярах бинокля — рыжая муть.

Сергей опустил бинокль и прямо перед бруствером своего окопа заметил круглую мохнатую пышку, из которой вытекала струйка рыжей пыльцы, образуя небольшое облачко. Это волна выстрела бросила сюда прошлогодний, просохший насквозь гриб — «порхушку».

Сергей отодвинулся в сторону и опять припал глазами к биноклю. Тотчас же прямо перед собой увидел приближенное линзами бинокля клубящееся облако взрыва. Дзот и телеграфный столб исчезли в нем.

Сергей повернулся к орудию и, удостоверившись, что наводчик уточняет наводку, чуть помедлил и снова скомандовал:

— Огонь!

«Для верности», — подумал он и опять поднял бинокль.

Вернидуб был убежден, что снаряды точно легли в цель, и хотел увидеть это. Но пыль и дым, поднятые взрывами снарядов, как назло, долго не рассеивались. Будь он, Сергей, сейчас где-нибудь в стороне от пушки, мог бы сразу уточнить, куда упали его «гостинцы».

В воздухе тоненько завыла мина. Сергей понял, что немцы засекли его пушку.

— Отбой! Орудие в укрытие! — подал команду.

Солдаты впряглись в лямки и быстро покатили орудие в глубь мелколесья, к заранее подготовленному окопу. Вернидуб же остался на прежнем месте, чтобы посмотреть результаты стрельбы.

Вокруг огневой позиции, где недавно стояла пушка сержанта Боброва, рвались вражеские мины, а Сергей все всматривался вперед. Он точно окаменел, точно прирос к стенке окопа. Там, на линии вражеских траншей, уже осела пыль, поднятая разрывами снарядов, растаял дым, и Сергей отчетливо видел в бинокль, что дзот и телеграфный столб невредимы. Снаряды не долетели до цели метров сто. А пушка уже в укрытии...

Такого с ним еще не бывало.

«В чем дело? Что подумает капитан Ломтев?»

Сергей представил себе наблюдательный пункт командира дивизиона. Был убежден, что Ломтев наверняка следил в стереотрубу за его стрельбой.

Собравшись с мыслями, Сергей опять высчитал расстояние до цели. Все правильно, ошибки быть не может. Значит, подкачал наводчик или с зарядами неблагополучно...

Минометный обстрел утихал, и Вернидуб, выскочив из окопа, побежал в тыл, куда расчет укатил пушку.

Сержанта Боброва он нашел в ровике, вырытом под кустом можжевельника. Бобров сидел там вместе с наводчиком — молодым черноглазым пареньком, у которого на погонах краснели ефрейторские лычки, и молча курил самокрутку. Остальные номера расчета укрылись в щелях по соседству.

— С каким прицелом вели огонь? — строго спросил у наводчика Вернидуб.

— Как было приказано, — ответил за ефрейтора Бобров. — Только, товарищ лейтенант, мне кажется, что цель находится дальше. Просчет получился.

Сергей метнул на сержанта негодующий взгляд.

«Верно, — подумал, — надо было промерить расстояние по другим ориентирам...» Резко подал команду:

— К бою! На колеса!

Расчет бросился к широкому окопу с высоким бруствером и выкатил оттуда пушку. Вернидуб, ухватившись

за щит, вместе с солдатами начал неистово толкать ее вперед.

В этот момент услышал голос связного:

— Товарищ лейтенант, к телефону. Командир дивизиона вызывает.

— Отставить, — глухо сказал Сергей расчету и, уронив голову, побрел на основную огневую позицию взвода.

Молча сел на землю возле окопчика телефониста, молча взял трубку и каким-то чужим, надломленным голосом сказал:

— Лейтенант Вернидуб у телефона.

В ответ услышал спокойный, твердый голос Ломтева:

— Вернидуб, фашисты надули нас с вами. А стреляете хорошо. Снаряды положили в одну точку и в створе цели.

Сергей приготовился услышать что угодно: упрек, ругань, насмешку, только не этот спокойный голос да еще похвалу. За что?! Он хотел возразить, но уловил в голосе Ломтева жесткие нотки:

— Приказываю уничтожить дзот! Только не нервничать! — Затем голос командира дивизиона зазвучал совсем мягко: — А телеграфный столб, когда вновь будете определять расстояние до цели, в расчет не принимать. Ясно?

Командир дивизиона не отрывал глаз от стереотрубы. Ветер тихо качал дерево, и в окулярах оптического прибора мерно колебались земля и небо. Ломтев наблюдал за дзотом, расположенным у столба. По его расчетам, лейтенант Вернидуб вот-вот должен был опять открыть огонь.

Вдруг Ломтев увидел, как чуть правее дзота взметнулось серое облачко разрыва. Представил себе, что делается сейчас на огневой позиции. Вернидуб, наверное, скомандовал: «Отметиться по разрыву!» Наводчик снова ловит амбразуру дзота в перекрестье панорамы. Потом кладет пальцы на шершавые насечки барабанчиков угломера и отражателя, подводит центр перекрестья панорамы к центру разрыва снаряда и опять лихорадочно крутит обеими руками ручки подъемного и поворотного механизмов, снова наводит перекрестье прицела в амбразуру. Наверное, уже навел.

Словно в подтверждение мыслей Ломтева, над тем местом, где находился фашистский дзот, вскинулись вверх глыбы земли, в клубах дыма и пыли мелькнули бревна. Через некоторое время донесся звук выстрела.

— Молодец, — спокойно промолвил Ломтев. — Вторым снарядом поднял цель на воздух...

Вдруг капитан увидел, как на опушке рощицы, которая раскинулась за вражескими траншеями, зашевелились кусты. Крадучись, из них выползла самоходная пушка — бронированная коробка на гусеницах. На ее бортах были закреплены зеленые ветки для маскировки, и даже на длинном стволе висели какие-то букеты из зелени.

Ломтеву было ясно, что фашисты намеревались уничтожить орудие Вернидуба.

«Видит лейтенант опасность или нет? Вдруг не видит? Тогда каюк...»

Капитан схватился за телефонную трубку:

— Срочно «Звезду»!

«Звезда» — первая батарея — отозвалась без промедления.

— Батарея, к бою! — скомандовал ей Ломтев.

Не успел он передать данные для стрельбы, как заметил, что у самого борта немецкой самоходки, смахнув с нее маскировку, взорвался снаряд.

«Вернидуб бьет», — Ломтев с облегчением вздохнул и умолк, позабыв, что там, на батарее, ждут его дальнейшей команды.

На конце ствола самоходки сверкнула вспышка выстрела. В тот же миг ее окутало облако разрыва. Когда облако развеялось, Ломтев увидел: самоходная пушка, вскинув ствол к небу, стояла недвижимо. От нее убегал к роще экипаж. Вскоре струйка дыма над пушкой превратилась в столб...

— Вот это по-нашему! — воскликнул Ломтев и начал поспешно спускаться по лестнице на землю. Ему хотелось сейчас же побывать у лейтенанта Вернидуба.

Предутреннюю тишину разорвал артиллерийский шквал. На позиции фашистских батарей, на траншеи, опорные пункты, на дзоты посыпались сотни снарядов и мин. Артиллерийская подготовка была мощной и длительной.

После того как пехота и танки углубились в оборону фашистов, капитан Ломтев покинул свой наблюдательный пункт. Сев на лошадь, он поехал вперед, на новый, заранее намеченный НП, куда связисты уже потянули телефонную линию.

Вокруг простиралась местность, так хорошо изученная с вершины сосны, но совсем неузнаваемая сейчас. Обгорелые кусты, скрюченная проволока, заваленные траншеи. В воздухе висела рыжеватая пыль и пахло сгоревшей краской. Справа по дороге мчалась артиллерийская упряжка, за ней — вторая... Это батареи его дивизиона начали менять огневые позиции. Первым устремился вперед огневой взвод лейтенанта Вернидуба.

Повернув лошадь к дороге, Ломтев дал шпоры. Впереди дымились два «тигра», и он был уверен, что артиллеристы Вернидуба хоть на минутку задержатся около подбитых ими танков.

Однако капитан ошибся. Сергей Вернидуб спешил к злополучному телеграфному столбу. Столб лежал на боку, сваленный снарядным взрывом, исклеванный осколками.

У самого столба дорогу пересекала полуобвалившаяся траншея. Солдаты, вынув лопатки, начали зарывать ее, чтобы перевезти пушки. А лейтенант Вернидуб топтался у лежавшего на боку столба и скреб огрубелыми пальцами затылок...

Когда Ломтев приблизился к месту, где работали артиллеристы, Вернидуб поспешил ему навстречу.

— Товарищ капитан, — доложил Сергей, — второй огневой взвод второй батареи следует на новую позицию. — Потом менее официально добавил: — А загадку столба раскрыл...

— Ну и как?

— Схитрили фашисты! Нарастили столб. Свалили, наточали и опять вкопали. Стреляйте, мол!.. Вот посмотрите.

— Хитро! — засмеялся Ломтев. — Я так и подумал, когда вы первый раз не дотянулись снарядами до дзота... Хитро! Вот об этом и напишу я в училище. Пусть и там учат нашего брата в оба смотреть. И о самоходке и двух «тиграх», которые вы подбили, напишу. Идет?

— Так не я же, товарищ капитан! — возразил Вернидуб. — Расчеты стреляли. Особенно расчет сержанта Боброва бьет здорово.

— Значит, общий язык с расчетами нашли, — не то спрашивая, не то утверждая, сказал Ломтев.

— Нашел! — Сергей посмотрел на дорогу, где через заваленную траншею переезжали его пушки, и, когда встретился взглядом с сержантом Бобровым, губастое лицо командира орудия расплылось в доброй, теплой улыбке.

1953

ЛЕНА

Она смотрела на него с удивлением и некоторым беспокойством. Следила, как с мокрого полушубка падали на паркет редкие капельки растаявшего снега. Проходя мимо, понимающе, краешками губ улыбались подруги; она краснела, и ей неудержимо хотелось зажмурить глаза. А он стоял, с любопытством рассматривая институтский коридор, шеренгу дверей, похожих одна на другую, и говорил, говорил...

— Что ж, кажется, все рассказал. Виктор — парень хороший, человек настоящий, — внезапно закончил он. — А о подробностях нашего фронтового житья-бытья распространяться не стоит.

— Нет, почему же? Это очень интересно.

Но военный, назвавший себя Василием и привезший от Виктора привет с фронта, молчал. Лена вопросительно посмотрела в его молодое лицо с жестковатыми складками у рта и нахмуренным взглядом из-под густых черных бровей. Пыталась представить рядом с ним Виктора — остроглазого, веселого, подвижного. Но не представила. Воспоминания унесли ее в недалекое прошлое — в партизанский отряд, где она была медсестрой. В памяти встал тот тяжелый день, когда пришла она в Симферополь для связи с подпольщиками. На явочной квартире оказалась гестаповская засада. Лена постучала в калитку и тут же в щелку заметила черные мундиры эсэсовцев. Бросилась бежать. В это время из-за угла вырвался переодетый в немецкую форму Виктор. Вначале она не узнала его. Опоздай Виктор на одну минуту, и ее схватили б... Мотоцикл вынес их за город. И только тогда Виктор, взволнованный, сказал ей: «О засаде узнали поздно. Думал, не успею...»

А Василий стоял молчаливый, грустный. Чистый, светлый коридор и множество одинаковых дверей напомнили ему, что тот, о ком он рассказывает, лежит сейчас во фронтовом госпитале и, может быть, тоскует сейчас по этой девушке с пушистыми ресницами и удивленными глазами. А главное, Василий никак не мог сказать решающего слова: тот, другой, которому, собственно, и следовало находиться здесь, лежит раненый.

— Вы все-таки не горюйте, Леночка, он скоро приедет...

— А почему я должна горевать?

— Так... Я должен сказать вам — он... он сейчас не на фронте.

Должно быть, она вдруг поняла, что главное, зачем пришел этот военный, впереди, и оно очень печальное. Лена неловко переступила с ноги на ногу, и в глазах ее метнулось беспокойство. Но она смолчала.

— Вот я и говорю, — продолжал Василий. — Это совсем неопасно. Правда, он ранен...

— Ой! — совсем по-детски вскрикнула девушка.

— Да вы не пугайтесь, — деланно улыбнулся Василий. — Так, пустяки... Скоро встанет, и уж тогда мы справим-таки вашу свадьбу!

Лена вдруг запахнула жакетку, словно ей стало холодно. Конечно, когда после освобождения Крыма партизаны спустились с гор и Виктор, сменив шапку с красной лентой на красноармейскую стальную каску, ушел на фронт, она предвидела и такую возможность — на войне не без этого. Но чтобы он был ранен... это слишком внезапно, это даже не вязалось с ним, таким жизнерадостным и веселым. Лена отчетливо представила лицо Виктора: серые глаза с веселыми искорками, прямой нос, добрые, чуть вывернутые губы, в уголках которых всегда таилась улыбка. Близкое, родное лицо.

В другое время она покраснела бы от разговора о свадьбе: хотя дело было решенное, говорить вслух об этом Лена еще не привыкла. Но сейчас не обратила никакого внимания на неудачную попытку Василия отшутиться, а набросилась на него с расспросами:

— Когда ранен?! Серьезно? Почему же он не написал?

— Обязательно напишет, — ответил Василий, глядя на полные слез глаза Лены.

Она почувствовала, что сейчас разрыдается. Сколько

видела Лена ран, когда партизаны вели бои с карателями, скольким людям сама спасла жизнь. Но все это отодвинулось в прошлое, и весть о ранении Виктора обрушилась на нее непосильной тяжестью. И было очень обидно, что он, передавая привет с этим человеком, не написал даже маленькой записочки.

— У нас сейчас лекция, извините, — сквозь слезы проговорила Лена.

Она попрощалась и ушла. Никакой лекции не было. Ей хотелось остаться одной, и она поспешила домой, на Аксаковскую улицу, где жила она у знакомой по партизанскому отряду женщины Татьяны Павловны.

На дворе появились первые признаки весны: пригревало солнце, снег, выпавший вчера, уже стал рыхлым. В парке над Салгиром с деревьев падали сгнившие сучки, и казалось, что на снегу наследили птицы.

Взбежав на крыльцо, Лена нетерпеливо постучала в дверь.

— Что это ты? — удивилась Татьяна Павловна, впуская девушку в полутемную переднюю. — Что случилось?

— Ничего особенного.

...Обедала нехотя, нервничала. Татьяна Павловна смотрела понимающе и украдкой вздыхала. Наконец не вытерпела:

— Лена, скажи, что случилось? Может, с Виктором что-нибудь?

— А при чем тут Виктор? Что вы, Татьяна Павловна, всегда спрашиваете меня о нем? И даже при подругах. Неудобно же!

Татьяна Павловна — немолодая полная женщина со следами прежней красоты на лице — обычно любила разговаривать властным, требовательным голосом. Хотя в отряде она всего-навсего была поварихой, партизаны побаивались ее острого языка. С Леной же, к которой привязалась как к родной дочери, Татьяна Павловна обращалась ласково, участливо.

— Леночка, зачем ты от меня скрываешь? Ведь не чужая я тебе. А Виктор еще в отряде говорил со мной откровенно. Что ж, обычное дело, а человек он хороший, всем это известно.

Лена промолчала, отметив про себя, что Татьяна Павловна употребила те же слова, что и тот военный — Василий. От похвалы Виктору ей стало радостно и в то

же время горько: им хорошо говорить, а он раненый!..

В дверь постучали. Татьяна Павловна пошла открывать. Пришел почтальон.

— Лена, тебе письмо! От Вити...

Лена вскочила из-за стола, чуть не опрокинув тарелку, но сейчас же села. Вертела конверт в руках, разглядывая штемпеля, почерк. Пыталась угадать, что в письме заключено. Она знала, письма всегда непохожи друг на друга; они имеют свое внешнее лицо: если Виктор спешит, он пишет размашисто, обратный адрес — сокращенно. Перо у него тогда царапает. А когда спокоен, буквы ложатся ровно.

Нет, почерк спокойный — значит, все в порядке. Лена облегченно вздохнула и вскрыла конверт. Первые строки поразили ее: они были бесстрастные и холодные, словно писал чужой. С досады прикусила нижнюю губу, стала читать быстрее и вдруг вскрикнула. На пушистых ресницах задрожали слезы.

— Что такое, Лена? — испугалась Татьяна Павловна.

Лена не отвечала. Пошатываясь, прошла к дивану и, уткнувшись головой в подушку, всхлипнула. Письмо выпало из рук и белым пятном лежало на ярком зелено-красном коврике. Татьяна Павловна нагнулась и подняла его. «Мне ампутировали левую ногу... Можешь считать наши отношения кончеными. Я прошу тебя поступить здраво — тут ничего не поделаешь...»

Татьяна Павловна бережно положила письмо на стол и ушла на кухню, ничего не сказав.

Наступили серые сумерки. Лена лежала молча, без движения. Татьяна Павловна зажгла огонь, несколько раз прошлась мимо дивана, но заговорить не решилась.

Лена подняла голову:

— Помогите мне собраться. Я поеду к нему...

Татьяна Павловна не удивилась. Казалось, она ничего другого не ожидала. Только утвердительно кивнула головой и спросила:

— Когда?

1962

«ПАН» ПЕЧЕРИЦА И ЛОПАТКА

Михась Печерица — рядовой третьей роты — не чуял под собой ног. Он шел по родным местам, шел на запад. Тяжело было видеть разоренные города и села Белоруссии. Но враг, разгромленный под Витебском, Бобруйском и восточнее Минска, бежит без оглядки, и впереди ждет Михася родной дом.

Стоял жаркий июль 1944 года. Солдаты третьей роты, вытянувшись в две длинные цепочки, устало брели по обочинам проселочной, но очень оживленной дороги. Дорога стелилась меж полей, зеленевших сорняками и редкими посевами. По ней катились повозки полкового обоза; проезжали, надрывно гудя, требуя, чтобы обозники уступали дорогу, грузовики.

— Дышать нечем от пылищи, — ворчал сосед Михася Печерицы, высокий и худой Василий Ивлев, и утирал рукавом со лба пот.

Михась Печерица только улыбался в ответ. Ему повезло. Он шел по родному району. Был уверен, что хоть на часок, но заглянет в свое село. Ведь рота держит путь прямо на Бобовню. А не доходя этого городка — его Клиничи. Три года, как покинул их Михась. А три года — не шутка. За это время Михась не раз бывал на волосок от смерти, дважды получал в бою тяжелые раны, успел залечить их, успел и навоеваться досыта — насидеться в землянках и траншеях, находиться по разбитым дорогам, натерпеться и насмотреться такого, что никогда не забывается. Но не в нем дело. Как там сейчас родные Клиничи, как старики — отец, мать?

Старался отогнать от себя страшные мысли. Хотелось верить, что впереди только хорошее...

На очередном большом привале, в запущенном вишняке разрушенного войной села, Михась Печерица заменил на своей пилотке маленькую звездочку большой звездой; приладил под погоны тонкую проволочку, чтобы они выглядели ровными, аккуратными; вынул новый кожаный ремень, который долго носил в своем вещевом мешке. Михасю хотелось войти в родное село принаряженным, бравым, похожим на командира. Даже снял часы с руки — подарок отца — и тщательно протер их платочком.

Василий Ивлев, лежа в тени старой вишни, молча наблюдал за хлопотами Михася и улыбался.

— Хочешь, попрошу у нашего генерала фуражку напрокат? — спросил он.

— Не хочу...

— Ну, машину? Легковую!.. То-то удивятся твои земляки!..

— Отстань! Дойду без машины. Меньше бы только привалов было.

— Ишь, какой прыткий! — засмеялся Ивлев. — До твоих Клиничей еще два дня ходу. Неужели готов без передышки шпарить?

— Так разве это много? — удивился Михась. — Три года топал к ним. А два дня — не срок, не расстояние.

Но Михась кривил душой. Каждый час ему казался долгим и нудным. Он то и дело вздыхал и с завистью поглядывал на проезжавшие мимо грузовики.

Раздалась команда: «Становись!» Торопливо надевая вещмешок, скатку, Михась заметил в траве чехол для лопатки. Может, и не обратил бы внимания на тот чехол, если бы он был обычный — брезентовый. Но чехол, который валялся на траве, оказался кожаным, куда лучше, чем у Михася. Михась подобрал его и, когда рота снова зашагала по обочинам дороги, внимательно стал рассматривать находку.

«Самодельный, что ли?» — недоумевал он. Попробовал вложить в него лопатку. Кажется — в аккурат! Только петля для ремня немного длинновата. Лопатка больше обычного болталась на ходу. Но это сущий пустяк. И Михась, оглядев свой старый, потертый верхними загибами лопатки брезентовый чехол, без сожаления зашвырнул его в бурьян.

— Пан Печерица! Чего сердишься? — крикнул, погоняя лошадей, ездовой Петр Козев, у которого над ухом просвистел летящий чехол.

...Один, второй, третий привал позади. Солнце начало клониться к горизонту, но жара все еще стояла нестерпимая. Трудно было пошевельнуть языком в пересохшем рту, на зубах скрипел песок. А фляга была пустая.

Уже ни о чем не хотелось думать. Даже мечты, всегда сопровождающие солдата в походе, когда нужно долго и молча шагать в строю, теперь не волновали Михася. Позади — далекий, пройденный пешком путь. Спать приходилось мало. И усталость невероятной тя-

жестью наваливалась на Михася. Лямки вещмешка, ремень винтовки все больше впивались в плечи; скатка казалась, как никогда, громоздкой и неудобной. Много хлопот доставлял поясной ремень, на который были надеты сумка с гранатами, фляга, чехол с лопаткой. Туго затянешь его — дышать нечем, ослабишь — вниз ползет. Даже часы на руке казались тяжелыми.

Михась покосился на своего дружка Василия Ивлева. Он шагал рядом — высокий, молчаливый, согнувшийся под тяжестью боевой выкладки. Как и у Михася, гимнастерка его потемнела от пота на плечах, на спине, а по обе стороны впившегося в плечо ружейного ремня сверкали мельчайшие кристаллики соли.

Еще осталось позади несколько километров. А жара не спадала. Но больше всего мучений причиняла лопатка. Найденный чехол оказался большим, петля, в которую продет ремень, — слишком длинная. И черенок лопаты в такт каждому шагу больно бил по ноге. Правда, боль почувствовал Михась только теперь. Раньше удары черенка казались пустяковыми.

Михась начал подсчитывать в уме, сколько же раз ударил его черенок. От вишняка, в котором останавливались на большой привал, отошли километров двадцать. Каждый километр — тысяча метров, каждые два метра равны трем Михасевым шагам.

Михасю стало не по себе: каждый пройденный им километр означал полторы тысячи ударов по ноге!.. А если умножить на двадцать!

В глазах Михася потемнело. Ему показалось, что нога его одеревенела и тихонько гудит под ударами черенка, вот-вот треснет. Десятки иголок пронизывают тело.

Еще шаг, второй — и Печерица свернул в сторону. Сел в придорожный кювет на запыленную траву.

Мимо Михася шли все новые отделения, взводы. Вот уже клубится пыль под ногами солдат четвертой роты... Михась с трудом поднялся, проковылял шагов двадцать и остановился; проклятый черенок еще немилосерднее лупил по ноге.

Солдат растерянно посмотрел вокруг. Он понял, что не догнать ему свое подразделение. И неожиданно в одной из проезжавших повозок увидел Петра Козева — немолодого солдата из своей роты. «Так это же наша повозка!» — обрадовался Михась и окликнул Козева.

— Что, пан Печерица, поотстал малость? — спросил тот.

Михась обычно огрызался на шутки Козева. А сейчас вместо ответа цепко ухватился за край повозки и молча пошел рядом с ней.

— Садись, подвезу трохи, — предложил Козев.

«Это уж дудки! — подумал Михась. — Все идут, а меня, как барышню, в карете.. Засмеют хлопцы...»

Но тут у него возникла другая мысль:

«А что, если лопатку положить в повозку? Догоним фашиста, сразу и заберу ее».

— Дядько Петро, удружи, — попросил Михась, — чехол лопатки у меня неисправен. Замучил черенок солдата. Припрячь-ка лопатку, потом отдашь...

Ночь настигла третью роту недалеко от переправы через довольно широкую речку.

Михась Печерица лежал на обочине дороги, наслаждаясь отдыхом и мечтая о той счастливой минуте, когда придет он в родное село. Вокруг него слышались в темноте приглушенные разговоры, раздавалось покашливание, вспыхивали светлячки папирос. Третья рота дожидалась своей очереди идти через мост.

И вдруг яркие вспышки озарили поле, дорогу, реку. Загрохотали тяжелые взрывы...

Как очень часто бывает на войне, случилось непредвиденное. К этой же самой переправе устремились из недалекого леса вырвавшиеся из окружения остатки фашистской группировки. Враг под прикрытием минометного и пулеметного огня надеялся смять двигавшиеся по дороге подразделения советских войск, завладеть переправой и проскочить на западный берег речки.

Воздух наполнился знакомым воем мин. Над головой Михася с шипением пронеслись осколки. Одновременно со стороны леса ударили пулеметные очереди, и над полем скрестились огненные нити трассирующих пуль.

На дороге послышались команды, выкрики, стоны раненых.

— Чего к земле прирос? — в самое ухо крикнул Печерице Василий Ивлев. — Вперед!

Михась понял, что «вперед» — это не вперед, через мост, к родным Клиничам, а почти назад, где появился

враг. Он только сейчас заметил, что солдаты его отделения, как и всей роты, развернувшись в цепь, побежали к лесу. Еще минута, и их полусогнувшиеся фигуры растворятся в темноте.

Михась вскочил на ноги и устремился вслед за Ивлевым, навстречу вспышкам выстрелов, светлячкам пуль, сердито взвизгивавшим у самого уха. Уставшие ноги спотыкались о кочки, скользили по траве. Дорога осталась далеко позади, а Михась все бежал. Он уже догнал развернувшуюся цепь роты, снял с предохранителя курок и, на миг останавливаясь, стрелял в темноту. Он понимал, что врага нужно задержать, оттеснить от переправы, сковать боем, а потом разгромить. Иначе не пройти ему в Клиничи. У Михася не было страха, хотя он знал, ощущал всем телом, что любой из пролетающих в темноте светлячков может угодить в него и потухнуть вместе с его, Михасевой, жизнью. По правде говоря, ему не верилось, что так близко от родного села, от той минуты, когда распахнет он знакомую дверь, его может сразить пуля.

Рота залегла на ровном поле. Дальше двигаться нельзя — противник стреляет в упор. В небо то и дело взмывают, оставляя огненные следы, ракеты и затем ослепляют ярким светом все живое.

По цепи передали команду: «Окопаться!» Михась отполз немножечко в сторону за кусты полыни, выбирая лучшее место для наблюдения, затем привычно потянулся правой рукой за лопаткой... И только тут он вспомнил, что его малая саперная осталась в повозке Петра Козева.

А враг словно догадался, что солдату Печерице нечем окопаться. Пули все гуще начали долбить вокруг землю, осколки с шипением вычерчивали борозды.

Михась надеялся, что скоро последует команда «Вперед!», и тогда не придется окапываться. Но такой команды не было. Да и сам он начал понимать, что рота сблизилась с противником и атаковать, не разведав его сил, бессмысленно.

Михась отполз в сторону, потом перебежал чуть вперед и уткнулся головой под другой куст полыни. Надеялся отыскать поблизости воронку. Но где ее найдешь, когда поле большое, а мины и снаряды ложатся позади цепи.

Никому, наверно, из солдат никогда не хотелось, чтобы снаряд упал поближе к нему. А Михасю первый

раз в жизни захотелось: ему нужна воронка. Но разве можно укрыться от смерти под полой смерти?!

Справа и слева от куста полыни вскидывались вверх фонтанчики земли. Это окапывались товарищи. Эх, узнали бы они, что бывалый солдат Михась Печерица дал такого маху: пошел в бой без лопатки. Ведь лопатка в бою что ложка за обедом...

Попробовал почву руками. Твердая, давно не паханная. И тут его осенило: нож! Он достал свой перочинный нож, открыл его и торопливо начал ковырять впереди себя, вырезать квадратики земли и выворачивать их пальцами.

А враг бесновался. Видимо, на опушку леса выходило все больше гитлеровцев: пулеметный огонь усиливался. Михась понял, что ножом ему не окопаться.

«Неужели убьют?» — впервые мелькнула в голове мысль. Огляделся. Товарищи продолжали зарываться в землю, а он, невидимый за полынью, лежал беспомощный, растерянный. Еще одна мысль пришла ему в голову. Михась быстро снял с винтовки штык и принялся ковырять им землю. Дело пошло быстрей. Он чувствовал, как горят его руки, как лопается на них кожа, но, прикусив губу, продолжал копать впереди себя и выгребать пальцами землю.

Если бы кто раньше сказал Михасю, что штыком можно окопаться, как и саперной лопаткой, он ни за что не поверил бы... А вот же окопался.

Утро встретил Михась в глубоком окопе. Солдат был готов к отражению вражеской атаки, но далеко не спокоен. А если опять команда вперед? Неужели снова придется окапываться штыком?

Михась знал, что нужно доложить о своем положении командиру отделения. Но стыд жег его щеки, и он медлил, откладывая доклад с минуты на минуту.

Вдруг он увидел, что недалеко от его окопа ползет незнакомый солдат в окровавленной на правом плече гимнастерке.

— Браток! — позвал Михась раненого. Но солдат не слышал. Тогда Михась, невзирая на обстрел, выбрался из своего окопчика, в несколько шагов настиг раненого и упал рядом с ним.

— Браток! — прямо в ухо ему горячо зашептал Михась. — Отдай мне лопатку, зачем она тебе в санбате?

Раненый удивленно поднял брови на бледном, по-

крытом капельками пота лбу, не понимая, что от него хотят.

— Лопатку, оставь лопатку!..

— Ну нет. Это имущество казенное. Как отчитаюсь? Да и мне пригодится... Перевяжусь — и вернусь в цепь...

Михась умолк, не зная, что ответить. А солдат ждал, пока тот уступит ему дорогу.

— Браток, — опять зашептал Михась, — дай, браток. Возьми мои часы за это. Почти новенькие, батька подарил... — Михась торопливо отстегнул часы и сунул их к глазам раненого.

Солдат оторопело смотрел на ярко сверкавшие часы, потом посмотрел в лицо Михасю и сказал:

— Без надобности мне чужие часы. Дай дорогу... — Но потом, подумав, добавил: — Ладно, отстегивай лопатку, вояка. А подарок батьки беречь надо...

Бой кончился. Через переправу потянулись колонны нашей пехоты, которой после стычки с «бродячим котлом» охотно уступали дорогу обозы. И шоферы на своих грузовиках уже так не рвались вперед.

А третья рота, принявшая на себя основной удар гитлеровцев, расположилась на опушке леса. Солдаты, рассевшись на траве, одни чистили оружие, другие гремели котелками, готовясь к завтраку. На лесной дороге дымилась кухня.

Со стороны походной кухни показался Петр Козев. В руках он держал малую саперную лопату. Увидев Михася Печерицу, колдовавшего под кустом орешника над своим вещмешком, Козев повернулся к нему спиной и, обращаясь к солдатам, громко спросил:

— Кто может сказать, где пребывает сейчас пан Печерица?!

Михась вскочил на ноги, подбежал к Козеву.

— Дядько Петро, — зашептал он, — это между нами... Давайте лопату.

Козев вручил Михасю малую саперную, что-то еще хотел сказать, но, встретившись взглядом с глазами Печерицы, только крякнул и промолвил:

— Так-то оно...

Василий Ивлев, вытянув свои длинные ноги, лежал на боку и с усмешкой наблюдал, как Михась отпары-

вал, а затем снова пришивал к кожаному чехлу лопатки петлю, которая надевается на ремень. Ивлеву была известна история, приключившаяся с Печерицей ночью. Михась не удержался — рассказал все дружку.

— Обе будешь таскать? — спросил он у Михася.

— А то как же? — удивился Печерица. — Объявится хозяин, вернуть нужно. — И он начал подгонять снаряжение — надел ремень с двумя лопатками, подсумками, гранатной сумкой, приладил за спиной вещмешок, взялся за скатку.

— На верблюда похож, — хмыкнул Ивлев. — А почему ж командирский ремень спрятал?

— Ни к чему он мне, — хмуро ответил Михась. — Солдат должен быть солдатом.

1952

ЖИЗНЬ, А НЕ СЛУЖБА

Капитан Севостьянов сидел в своем кабинете за письменным столом и, повернув голову к распахнутому окну, смотрел на пустынный, зажатый между казарменными зданиями плац. Желтоватые с прозеленью глаза капитана останавливались то на ведущей к штабу аллейке, обсаженной дружно распустившимися кленами, то на чадившей далеко за военным городком трубе кирпичного завода. От трубы до самого горизонта тянулась в голубом апрельском небе рыжая пасма дыма.

Севостьянов потер рукой свой крутой лоб, погладил белесую копну волос и взялся за перо.

О чем же писать? Что самое главное в работе партийного секретаря бюро части? Вспомнился вчерашний телефонный разговор с начальником политотдела.

— У вас, Севостьянов, есть о чем рассказать на совещании, — рокотала знакомым голосом телефонная трубка. — Главное — роль парторганизации в боевой учебе. Набросайте тезисы. Приеду — обсудим.

Завтра утром приедет начальник политотдела. Но обсуждать-то пока нечего!

Севостьянов мучительно смотрит на чистый лист бумаги. Кажется, хруст стоит в голове от мыслей, а на бумагу ничего не ложится.

Севостьянов по натуре романтик. Он любит раз-

мышлять о своей партийной работе как о самом возвышенном и интересном на земле. Любит рассматривать ее в ярких переливающихся красках. Иногда его недремлющее воображение рисует партийную жизнь части как гигантский, красивых форм и причудливой конструкции светильник, без которого людям пришлось бы делать свое дело впотьмах. И он, Севостьянов, бдительно следит за тем, чтобы светильник этот не погас, чтобы лучи его проникали во все уголки войскового организма, и не только освещали их, но и согревали тем особенным теплом, которое рождает энергию, энтузиазм, заинтересованность во всем.

Да, легко вот так сидеть за столом и фантазировать, видеть себя в образе Прометея. А вот о чем он все-таки будет рассказывать на Всеармейском совещании? Чем он удивит, озадачит или хотя бы чуть-чуть заинтересует своих собратьев-секретарей?

Севостьянов начал думать об отчетно-выборном собрании, где его уже на третий «сезон» избрали секретарем партийного бюро. Пытался вспомнить, что именно коммунисты хвалили в работе партийного бюро... Попробуй вспомни, когда ребра от критики трещали! Не любят же у нас хвалить. Если хорошо дело поставлено, значит, так и надо, если плохо — оглоблей по голове!

И тут же Севостьянов коротко хохотнул. Верно, загнул он насчет оглобли. Вспомнил, как поднялся на трибуну капитан Лесков — высокий, лобастый, резкий. Посмотрел в зал так, вроде искал там своего обидчика, и вдруг заявил:

— Наша часть по всем показателям занимает одно из первых мест в округе. В этом большая заслуга партийной организации. Я предлагаю оценить работу партийного бюро за отчетный период как хорошую!

Зал весело загудел, провожая дружескими взглядами высокую фигуру Лескова. Послышались даже жиденькие аплодисменты.

Других предложений пока не было, и председательствующий уже собирался ставить вопрос на голосование. Но вдруг поднялся на трибуну представитель политотдела майор Филонов, веселый и острый на язык парень.

— Я предлагаю так, товарищи, — сказал он с доброй улыбкой, — давайте мы скажем по-дружески капи-

тану Севостьянову, что он и возглавляемое им бюро работали действительно хорошо. Тут никуда не денешься: показатели налицо. Но в протоколе, официально, надо оценить их работу как удовлетворительную. Скромность, товарищи, она украшает...

Собрание заволновалось. Скрипела трибуна под все новыми ораторами. Прикусив губу, торопливо вел протокол член бюро лейтенант Каленик. Наконец после второго выступления Филонова незначительным большинством голосов было решено: «Считать работу партийного бюро удовлетворительной».

«Интересно, есть ли счастливчики секретари, чью работу оценили бы на «хорошо»? — размышлял сейчас Севостьянов. — Вряд ли... а зря! Ханжество же это: ведь партийная работа — не служба, а жизнь! И сколько людей посвятило себя этой беспокойной, нелегкой жизни! Сколько воинских частей благодаря горячей работе коммунистов добились высокого боевого совершенства! Да хотя бы наша часть!»

Но как об этом расскажешь? Назвать все формы работы, перечислить все мероприятия? Какие? Какое мероприятие может заставить солдата на посту крепче сжимать в руках оружие и зорче всматриваться в ночную темень? Какое мероприятие поможет молодому офицеру в весенний вечер оторваться от юношеских мечтаний и углубиться в работу над конспектом завтрашних занятий? Каким мероприятием можно убедить отстающего солдата Чеснокова в том, что его трудная служба нужна народу?.. Мероприятие! И слово-то какое холодное, казенное. Разве согреешь им солдатские сердца?

Да, но сделано немало. День и ночь часть несет службу. День и ночь ни на секунду не спускают локаторы своих зорких глаз с глубин воздушного океана. Не зря гордится успехами части командующий войсками округа. Значит, что-то и ты делаешь, капитан Севостьянов, какие-то мероприятия и ты проводишь. И дело, конечно, не в названии. Дело в том, сколько вкладываешь души и выдумки в свою работу, как искренне и взволнованно звучат твои слова в разговоре с людьми, а главное, самое главное, как умеешь зажечь своих помощников — членов бюро, активистов, комсомольцев...

Резко зазвенел на столе телефон, и капитан вздрогнул от неожиданности. Поднял трубку. Услышал при-

глушенный расстоянием голос лейтенанта Каленика. Он с маленьким гарнизоном солдат и сержантов несет службу в сорока километрах от части.

— Очень надо посоветоваться! — взволнованно гудел в телефонную трубку Каленик. — Тут, понимаете, такой случай... чепе, одним словом.

— Чепе?!

— Да, сержант Васюта... Не то, чтоб чепе...

Далеко позади остался кирпичный завод с рыжей пасмой дыма над высокой трубой.

Капитан Севостьянов пожалел, что не позвонил лейтенанту Каленику и до конца не выяснил, что же там произошло с сержантом Васютой. Их разговор прервала междугородная телефонная станция.

Сейчас Севостьянов едет на пост Каленика. Капитан сидит на переднем сиденье юркого «газика» рядом с молоденьким солдатом-водителем и задумчиво смотрит вперед на сгорбившуюся за лощиной дорогу.

С неба во всю мочь светит апрельское солнце. В воздухе уже пахнет маем...

«Что же там натворил сержант Васюта?» — который раз задавал себе вопрос Севостьянов.

Вспомнилось широкоскулое, курносое лицо Васюты. Полные губы со смешинкой в уголках, хитрые, глубоко сидящие глаза. Смекалистый парень, сержант Васюта!

Работая оператором на радиолокаторной станции, Васюта первым в части перекрыл все тактико-технические возможности аппаратуры и значительно увеличил дальность обнаружения целей.

Капитан Севостьянов, узнав об этом, доложил командиру части. А на второй день партийное бюро обсуждало вопрос об опыте сержанта Васюты. Затем в подразделениях прошли партийные собрания, на которых по поручению партбюро выступили офицеры-специалисты с разъяснением и техническим обоснованием превышения станцией дальности обнаружения целей.

Доброе дело сделали. Но... сержант Васюта вскоре зазнался, допустил пререкания с лейтенантом Кalеником, за что получил выговор, а потом совершил еще один, более серьезный проступок. Какую же теперь еще штуку выкинул строптивый сержант?

Ехать было далеко, и капитан Севостьянов опять углубился в размышления над тем, что он должен будет записать в тезисы своего выступления в Москве. Один за другим вставали вопросы: как ты, капитан Севостьянов, измеряешь плоды своих усилий, какой мерой и какими величинами? Нет ли в твоей работе переливания из пустого в порожнее? Понимаешь ли, какое конкретное выражение принимают итоги твоего труда?

А ну, вспомни-ка свое столкновение с капитаном Лесковым. Задолго до больших учений ты пришел в его подразделение, чтобы оказать помощь.

— Уж как-нибудь сам справлюсь, — насмешливо сказал тебе Лесков. — Не вмешивайся не в свое дело. К тому же я и сам коммунист...

И как ты ему ответил, капитан Севостьянов? Зло ответил, резко. Ты сказал:

— Деляга ты, Лесков, а не коммунист! Что ты один можешь? Кое-что: учебный процесс организуешь, поставишь задачи перед офицерами и сержантами, потребуешь от них соблюдения методики обучения. Когда начнется учебная операция, ты сумеешь, исходя из обстановки, принимать правильные решения и отдавать приказы. Но ведь этого мало! Ты забыл, что у солдат, кроме желания честно выполнять свой долг, есть еще и характеры, и сердца, и разный уровень сознания, и сложившиеся отношения друг с другом. Хватит ли тебя одного, даже при помощи командиров, зажечь все сердца жаждой подвига, донести до глубины сознания многих десятков солдат важность и сущность предстоящей задачи? Наконец, сможешь ли ты в ходе длительных учений при своей большой занятости постоянно влиять на подчиненных так, чтобы их ни на минуту не покидал дух бодрости, чувство локтя товарища и тот задор, боевой накал, которые приносят победу? Ничего ты один не сделаешь. И я один ничего не сделаю. А вот мы вместе с тобой да при помощи всех коммунистов подразделения, при помощи комсомольцев и актива (если эту армию мы с тобой хорошо нацелим) сдюжим все!

И сдюжили. Капитан Лесков теперь гордится золотыми часами — подарком командующего войсками округа. А тебе, Севостьянов, на разборе учений указали на запоздалую доставку газет, за которую отвечал

один из твоих коммунистов. Недосмотрел ты. Значит, правильно указано.

Или неправильно? Обошли тебя похвалой? Тебе тоже нужна награда? Ах, не нужна! Ты видишь свою награду в другом... В чем же? В итогах партийной работы? Где они? Какие?

И перед мысленным взором Севостьянова стали проходить лица — десятки знакомых лиц. Это солдаты. Вспомнились те, которые осенью уволились в запас. Какие ребята! А были какими? Были разными, может, неплохими, а стали отличными — со светлым умом, добрым и горячим сердцем и умелыми руками.

И ты, Севостьянов, убежден, что в формировании характера этих людей первая роль принадлежит партийной работе? Да, партийной работе!

Что же такое партийная работа?

Это работа с людьми, это прежде всего влияние на человеческие умы и сердца, это умение помочь людям обрести или закрепить обретенное коммунистическое мироощущение, умение помочь им раздвинуть горизонты своего понимания жизни вообще и сегодняшнего дня в частности. Это умение помочь людям быть активными в жизни, активными сознательно.

Партийная работа — это жизнь. Это жизнь, а не служба! Большая жизнь, наполненная страстью, накалом, заинтересованностью в человеческих судьбах. В такой жизни самое элементарное, что требуется от секретаря партийной организации, — знание людей. Надо знать людей! А ведь иные, нечего греха таить, знают только отношения между людьми, знают их служебное положение, потому что они не живут партийной работой, а служат на посту секретаря. И вследствие этого между их намерениями и делами часто лежит пропасть.

Размышления капитана Севостьянова прервал визг тормозов «газика». И только сейчас он обратил внимание на то, что ехавший навстречу грузовик тоже остановился. Из кабины грузовика выскочил улыбающийся старшина Рукавица — приземистый, крепкогрудый, с уже загоревшим, грубоватым лицом.

— Здравия желаю, товарищ капитан! — бодро произнес Рукавица.

Севостьянов тоже вышел из машины. Поздоровавшись со старшиной, озабоченно спросил:

— Что там натворил сержант Васюта?

— Сержант Васюта?.. Чего натворил?

— Да.

— Ничего он не натворил, товарищ капитан. К нему жена приехала.

— Жена?!

— Ага.

— Как же она разыскала пост?

— Васюта клянется, что в письмах ей ничего не объяснял.

Вскоре «газик» Севостьянова весело катился по дороге. Вдалеке над степью приплюснутыми курганами обозначилось расположение поста лейтенанта Каленика. Над одним из курганов медленно вращалась большая полусфера радиолокатора.

Что же делать с Васютой? Этот вопрос сейчас занимал капитана уже всерьез. Надо бы предоставить сержанту Васюте пару-тройку суток отпуска да отправить в город. Но после его проступков...

Капитан заулыбался, представив все, что произошло на посту Каленика. Любопытные и оживленные глаза солдат. Обалделый от радости и смущения сержант Васюта. Растерянный лейтенант Каленик, ломающий голову над тем, как ему поступить в этом, не предусмотренном никакими уставами случае.

С поста давно заметили «газик» капитана, и лейтенант Каленик вышел встречать начальство в степь.

Севостьянов, выслушав рапорт начальника поста, сделал вид, что ничего не знает о происшедшем, и опередил Каленика вопросом:

— Что здесь с Васютой стряслось? Он же мне в части до зарезу нужен.

— Нужен?! — обрадованно удивился Каленик, и в его серых глазах блеснула надежда. — Так к нему же приехала жена!

— Когда? Как?

— Сегодня. Будто с неба свалилась. Говорит, соскучилась по мужу, вот и приехала. Взяла и приехала. Запретить, говорит, не имеете права.

В стороне от поста Севостьянов увидел сержанта Васюту и его жену. Они оба сидели на вкопанной в землю под чахлым кустом акации скамейке и вино-

вато смотрели на капитана. Молодая женщина то и дело поправляла белую косынку на голове, а Васюта, придавленный так внезапно свалившимся на него счастьем, только через некоторое время догадался вскочить на ноги и издали отдать честь капитану.

— Вот что, Степан Романович, — обратился Севостьянов к Каленику, — у тебя, конечно, негде устроить гостью. Да и не полагается здесь. А отпуска Васюта не заслужил.

— Само собой. Но...

— Что «но»? Согласен дать увольнительную?

— А что же делать? Такой случай...

— Не надо. Откомандируй его на трое суток в штаб. Нужен там...

Когда Севостьянов возвращался в город, в «газике», за его спиной, в испуганном молчании сидел рядом со своей женой сержант Васюта.

Севостьянов улыбался своим мыслям. Он с теплотой думал об этой маленькой, черноглазой молодой женщине. Соскучилась по своему губастому Васюте и примчалась в такую даль, разыскала.

В городе, возле гостиницы, Севостьянов приказал шоферу остановить машину.

— Ну что ж, Васюта, вам повезло, — со смехом обратился к сержанту. — Завтра потребуется ваша помощь в оружейных мастерских — на час работы... А сейчас устраивайтесь в гостинице.

— Слушаюсь! — обрадованно гаркнул Васюта, проворно выбираясь из машины.

— А вечером приходите с женой ко мне в гости, — с улыбкой добавил Севостьянов.

— Слушаюсь!

— Да это же не приказ, — захохотал капитан.

— А я приучила его все исполнять как приказ, — впервые заговорила жена Васюты и так улыбнулась да повела глазами на своего муженька, что тот онемел от счастья.

Поездка в маленький гарнизон лейтенанта Каленика заняла у Севостьянова несколько часов. Возвратившись в свой кабинет, он сел за стол, придвинул к себе нетронутый лист бумаги, взял перо и беглыми, косыми буквами написал: «Тезисы к выступлению». А под этими тезисами потекли строчки, в которых пе-

речислялись «мероприятия», «формы работы», «обеспечения»... Писал, а перед глазами вставали сержант Васюта, капитан Лесков, лейтенант Каленик, те парни, которые унесли с собой из армии частицу его сердца, — люди, которым легче живется, легче дышится оттого, что рядом есть такая большая сила, как коммунисты.

1950


Горький
хлеб
истины
ДРАМА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Любомиров Алексей Иванович	— генерал-майор медицинской службы, 50 лет
Ступаков Иван Алексеевич	— подполковник медицинской службы, 43 лет
Вера Ступакова	— его дочь, 19 лет
Савинов Владимир Тарасович	— лейтенант-разведчик, 25 лет (в эпилоге — ответственный работник министерства)
Марина Гордеевна	— его мать, 70 лет
Крикунов Степан Степанович	— полковник медицинской службы, 35 лет.
Киреева Анна Ильинична	— майор медицинской службы, 40 лет
Гаркуша Полина	— капитан медицинской службы, 25 лет
Цаца Светлана Святозаровна	— лейтенант медицинской службы, 25 лет
Серафима	— медсестра
Рыжеусый	— рядовой пехоты, 35 лет
Лейтенант-пиротехник	
Алеша	— сын Савиновых, 18 лет
Первый санитар	
Второй санитар	
Артюхов	— майор медслужбы

Действие происходит летом 1943 года где-то на Западном фронте. В прологе и эпилоге — 20—25 лет после войны.

ПРОЛОГ

Просторная гостиная. Современная мебель. Среди картин выделяется портрет Гагарина как примета времени. На видном месте увеличенная фотография Веры Ступаковой в форме медицинской сестры.

По гостиной нервно прохаживается Савинов. Он в очках, в домашней куртке; заметно хромает — у него протез.

В кресле сидит со спицами в руках Марина Гордеевна; она вяжет.

Савинов *(достает из кармана брюк монетку)*. Упадет гербом — поступил наш Алеша, упадет решкой — не приняли. *(Подбрасывает монету, затем поднимает ее с пола, рассматривает.)* Решка!.. Неужели провалился?

Марина Гордеевна. Другие отцы где-то хлопочут, кого-то просят, ублажают... А он монеткой играется, чтоб сына в институт приняли. Комедия...

Савинов. Мама... Милая и дорогая наша Марина Гордеевна! Ты учила меня с самого детства: живи, сынок, честно, ходи на своих ногах... Но почему их так долго нет?

Марина Гордеевна. Скоро будут... Успокойся, сынок.

Савинов. Ладно, пойду продолжу свои мучения за письменным столом. *(Уходит.)*

В прихожей раздается звонок. Марина Гордеевна встает из кресла и через всю гостиную спешит открыть дверь. Скрывается за сценой. Слышен ее голос: «Да, да, это его квартира... Я его мама. Входите, пожалуйста. Шляпу и трость можно сюда... Прошу вас...»

Входят Ступаков и Марина Гордеевна. Ступаков (он при бороде и усах) держит в руках чемоданчик и газету, осматривается.

Марина Гордеевна. Что сказать о вас Володе... э-э... Владимиру Тарасовичу?.. Он не говорил, что ждет кого-то...

Ступаков. Простите... Мне очень нужно повидать его. Буквально на две-три минуты. Не больше...

Марина Гордеевна. Вообще-то... Если вы с просьбой или жалобой, то Владимир Тарасович принимает только в министерстве.

Ступаков. Нет-нет. Я не с просьбой... У меня только единственный вопрос к товарищу Савинову. И очень

важный. *(Развертывает газету.)* Вот тут, в газете, его прощальное слово на панихиде по моему фронтовому коллеге... *(Неожиданно замечает на стене портрет Веры. Замирает, потрясенный... Делает к нему шаг, другой, берется рукой за сердце.)* Простите... Откуда у вас этот портрет?

Марина Гордеевна *(с удивлением)*. То есть как откуда? *(Обеспокоенно.)* А в чем, собственно, дело? Это... это... жена Воло... Владимира Тарасовича.

Ступаков *(тяжело опускается на стул, проводит рукой по глазам)*. Неужели такое сходство?.. *(Опять присматривается к фотографии.)* Не понимаю...

Марина Гордеевна. Но в чем, собственно, дело?

Ступаков. Это Вера...

Марина Гордеевна. Да, это Вера... жена Володи...

Ступаков *(словно не слыша)*. Я храню дома такую же фотографию... Это моя покойная дочь!..

Марина Гордеевна *(уже строго)*. Простите, вы обознались... Это Вера Ивановна Савинова, жена моего сына... *(Оглядывается.)* Я вам сейчас позову Володю.

Ступаков *(останавливает ее)*. А как ее девичья фамилия?

Марина Гордеевна. Девичья? *(Припоминает.)* Ступакова. Да, да... Вера Ивановна Ступакова.

Ступаков *(встает, нервно складывает газету)*. В таком случае позвольте представиться: Иван Ступаков!

Марина Гордеевна. Вы — Ступаков? Вы отец Верочки? *(Указывает на портрет.)* Вы живы?!

Ступаков *(убито)*. Как видите... А ее нет... *(Громче.)* Ее нет!..

Марина Гордеевна. Вы ошибаетесь! Она жива! Она сейчас придет!.. Боже мой, что же это такое? *(Смотрит на дверь и зовет.)* Володя!.. Володя!

В гостиную входит, прихрамывая, Савинов. Снимает очки, напряженно вглядывается в бородатое лицо Ступакова. И вдруг, узнав, потрясенно отшатывается.

Ступаков растерян, ждет от Савинова каких-то слов...

Савинов *(строго)*. Вы?!

Медленное затемнение.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Деревенская изба. Стекла в окнах крест-накрест заклеены полосками бумаги. За столом полковник медицинской службы Крикунов — начальник санитарного отдела действующей армии. На столе — документы. Раздается телефонный звонок. Крикунов снимает трубку.

Крикунов. Да, я — «Сосна». Первый у аппарата... И я вас приветствую... Да, ведем разъяснительную работу среди командиров. А то на марше во время привалов забывают, что и медсестрам тоже надо по нужде... И это учтем... А вы в курсе, что погиб наш армейский хирург?.. Да, представили... Что? Уже назначен на его место?! Благодарю! А то без главного хирурга очень трудно... *(Слышится грохот далекой бомбежки.)* Алле! Алле!.. Опять обрыв. *(В сердцах кладет трубку.)*

Входит подполковник медслужбы Ступаков.

Ступаков. Разрешите?

Крикунов. А-а, легок на помине, товарищ бывший начальник госпиталя! Заходи! *(Встает навстречу Ступакову.)*

Ступаков. Здравия желаю, товарищ начсанарм! *(Здоровается за руку.)* Говорите, «бывший»?.. Значит, все-таки состоялось?

Крикунов. Состоялось. Поздравляю! Приказ, наверное, уже в дороге... Получим и... подполковник Ступаков Иван Алексеевич торжественно вступит на пост главного армейского хирурга! Взлет немаленький! *(Хлопает Ступакова по плечу.)* Так что с тебя причитается. Не отвертишься!

Ступаков. Согласен... Но только тогда, когда увижу приказ своими глазами. А то иной раз случается...

Крикунов. Не сомневайся! Сейчас мне по телефону сказали: «Назначен на место погибшего новый главный!..»

Ступаков *(достает из полевой сумки документ)*. Ну а пока я еще начальник госпиталя. Вот завизируйте, Степан Степанович, нашу заявку на медикаменты... Там ждет мой человек с доверенностью... лейтенант Цаца.

Крикунов *(берет документ, садится за стол)*. Цаца, говоришь? Зови своего Цацу. *(Читает.)*

Ступаков *(приоткрыв дверь, зовет)*. Лейтенант Цаца!

Входит Светлана Цаца, отдает честь.

Цаца. Лейтенант медслужбы Цаца по вашему приказанию!..

Крикунов *(с интересом рассматривает молодую женщину)*. О-о, вот так Цаца!.. Ничего себе... *(Затем что-то черкает в документе.)*

Цаца *(встревоженно)*. Товарищ начсанарм, не сокращайте! Пожалуйста, не сокращайте! И не вычеркивайте! Там все учтено правильно, без излишеств.

Крикунов. А если у вас больно велики аппетиты кое на что?.. А, товарищ Цаца? *(Протягивает ей накладную.)*

Цаца. Нормальные аппетиты, товарищ полковник!.. *(Придирчиво рассматривает накладную.)* Разрешите идти?

Крикунов. Если нет претензий, идите...

Цаца. Претензии есть, товарищ полковник!

Ступаков *(настороженно)*. Какие еще претензии?!

Цаца *(шутливо)*. Холостяков в нашем полевом госпитале не хватает!

Ступаков досадливо морщится.

Крикунов *(смеется)*. А почему в заявке не указали?

Цаца *(косится на Ступакова)*. Да графы нет такой в бланке!

Крикунов. Верно, графы такой нет... Да, но у вас же начальник госпиталя холостяк! *(Указывает на Ступакова.)*

Цаца *(кокетливо)*. Товарищу подполковнику нравится хирург товарищ Киреева. Так что он не в счет.

Ступаков *(сердито)*. Лейтенант Цаца, не болтайте глупостей!

Цаца *(невинно)*. Разве любовь — глупость?

Крикунов. Да что вы! Если такой серьезный человек, как начальник госпиталя, любит...

Ступаков *(смущенно)*. Степан Степанович, поми-

луйте. Все это шутки... При мне в госпитале взрослая дочь!

Крикунов. А это вот непорядок. *(Улыбается.)* Взрослую дочь надо замуж выдать. Верно?

Цаца *(весело)*. Верно! У Верочки и жених есть!.. Такой лейтенантик в команде выздоравливающих — пальчики оближешь!

Ступаков. Лейтенант Цаца, прекратите нести вздор! Хватит!..

Цаца. Есть прекратить и есть хватит!..

Крикунов. Ну, почему же вздор?! *(Весело потирает руки.)* А по-моему, все правильно! Надо выдать замуж дочь, а потом женить и холостого отца!.. *(Указывает на Ступакова.)* Молодой, красивый — кровь с молоком!

Ступаков. Я не холостяк, Степан Степанович, я вдовец.

Цаца *(посерьезнев)*. А я вдова! С сорок первого — уже более двух лет.

Крикунов *(продолжает игру)*. Тем более!.. Но как же тогда быть с хирургом Киреевой?

Цаца. А она замужняя! Да и не по душе ей наш подполковник.

Ступаков. Лейтенант Цаца!..

Крикунов *(улыбчиво)*. Не шуми, Иван Алексеевич! *(К Цаце.)* А разность ваших возрастов вас не смущает?

Цаца. Нисколечко! *(Указывает на Ступакова.)* Очень даже хороший возраст. Зрелый!.. А после войны еще не такие возрасты пойдут в ход.

Ступаков. Это уже совсем не смешно! Хватит!

Раздается телефонный звонок.

Крикунов *(берет трубку, но вначале говорит Цаце)*. Идите, а мы тут посовещаемся и примем решение.

Цаца. А вы приказ напишите!

Крикунов. Это мысль. *(В трубку.)* Да! Крикунов слушает!

Цаца *(отдает честь, поворачивается кругом и печатает шаг к выходу. У двери останавливается)*. А что?.. Почему бы мне и не окрутить подполковника?.. Не так уж и стар он... А?.. *(Уходит.)*

Крикунов *(в трубку)*. Да, бомбежка оборвала линию... Не договорили. *(Смотрит на Ступакова.)* Хороша

вдовушка!.. *(Затем в трубку.)* Это не вам!.. Да! Да! Я правильно понял: на место погибшего главного армейского хирурга назначен подполковник медслужбы Ступаков.

В это время доносится шум самолета и стрельба зенитных орудий.

Минуточку, не слышу!

Незамеченным входит генерал медслужбы Любомиров. Останавливается у порога и ставит на пол чемодан. Крикунов и Ступаков стоят к нему спиной. Шум самолета стихает.

Теперь слышу!.. Да, Ступаков, начальник лучшего госпиталя!.. Превосходный хирург! Что?.. Неправильно понял?.. Это почему?.. Какого генерала?..

Взволнованный Ступаков тоже подходит к телефону.

Зачем же вы мне, полковнику, посылаете в подчинение генерала?! На кой дьявол он мне?! На эту должность нужен работяга. Понимаете, работяга с золотыми руками и бычьим здоровьем, а не генерал!.. И все-таки я прошу и настаиваю назначить Ступакова!..

Любомиров, покачав головой, на цыпочках выходит из комнаты. Крикунов и Ступаков оглядываются на скрипнувшую дверь, с удивлением замечают чемодан.

Что за чертовщина?.. *(Отвернувшись, в трубку.)* Это не вам!.. Да я-то понимаю! Но чем выше чин, тем больше амбиции.

Слышится стук в дверь.

Войдите!.. *(Затем снова в трубку.)* Это не вам!..

Входит Любомиров. Его замечает только Ступаков и замирает в неестественной позе. Крикунов продолжает разговаривать.

Да! Конечно!.. Работяга нужен, с железным здоровьем! Чтоб по медсанбатам и медсанротам мотался! А генерал ваш будет в обнимочку с грелкой и, разумеется, с хорошей бабенкой отсиживаться в армейских тылах! *(Ступаков не выдерживает, толкает Крикунова под бок. Крикунов, заметив Любомирова, умолкает, смотрит на него*

с изумлением. Опускает трубку. Оторопело.) Алексей Иванович?.. Не верю глазам своим!.. Какими судьбами, учитель? *(С распростертыми руками идет навстречу.)*

Любомиров *(взяв под козырек)*. Товарищ начсанарм! Генерал-майор медицинской службы Любомиров прибыл в ваше распоряжение на должность главного армейского хирурга!.. Что, расстроены?

Крикунов. Вы?! В мое распоряжение?.. С ума можно сойти!..

Любомиров. Зачем же? Потому, что вам обязательно нужен товарищ Ступаков? *(Кивает на Ступакова.)*

Крикунов. Нам главный хирург нужен... Ждем его как соловей лета! Тем более что лето для немцев будет очень жарким. *(Отводит от Ступакова виноватый взгляд.)*

Любомиров *(смеется)*. Слышал, как ждете. *(Здоровается за руку)*. Ну, здравствуйте, Степан Степанович! *(Обнимаются.)* Рад вас видеть, дорогой мой полковник, в веселом здравии и блеске славы. *(Кивает на грудь Крикунова, где поблескивают два ордена Красной Звезды. Такие же ордена рядом с орденом Ленина на груди Любомирова.)*

Крикунов. Не нахожу слов!.. В нашей армии сам Любомиров! Но как это понимать: бросили в Москве клинику, кафедру — и на фронт?

Любомиров. Э-э, голубчик, я уже третий год по фронтам кочую. *(Направляется к Ступакову.)* А сейчас из госпиталя, после ранения под Киевом. *(Подает Ступакову руку.)* Здравствуйте, Иван Алексеевич!

Ступаков. Здравия желаю, Алексей Иванович!

Любомиров. Когда мы расставались, вы, помнится, были в чине капитана. Значит, наука пошла на пользу?

Ступаков. Так точно, товарищ генерал!

Любомиров. «Так точно» — в медицине понятие приблизительное.

Ступаков. Эти годы пошли мне на пользу.

Крикунов *(изумленно)*. Да я вижу, вы тоже знакомы?!

Ступаков. Я обязан генералу Любомирову тем, что он в сорок первом послал меня с фронта учиться на курсы... А потом... вот... я стал начальником госпиталя.

Любомиров. А сейчас метили на пост главного хирурга армии... Но все-таки надо иметь мужество отказываться от должностей, которые вам не по силам. Важно быть на своем месте, товарищ Ступаков. В ваших же интересах. Ведь война достигла апогея.

Крикунов слушает пораженно.

Ступаков (*сухо*). Я не привык отказываться от трудных заданий, особенно когда впереди тяжелые сражения.

Любомиров. Главный хирург — это не задание... Это призвание... И при этом высочайшее... Это, не забывайте, человеческие жизни! Тысячи жизней!

За сценой слышны сигналы машины.

Ступаков (*строго официально Крикунову*). Товарищ начсанарм, мне пора! Разрешите идти?

Крикунов (*бросает вопросительный взгляд на Любомирова*). Пожалуйста, идите.

Ступаков, щелкнув каблуками и отдав честь, не глядя на Любомирова, выходит.

Напряженная пауза.

Любомиров (*присаживаясь на табурет*). Так, говорите, ждали как соловей лета? (*Посмеивается.*) Ну а как же все-таки насчет грелок и бабенки?

Крикунов. Помилуйте, Алексей Иванович! Откуда же мне было знать, что разговор идет о вас? Подумал, раз хирург в генеральском чине...

Любомиров. Значит, обязательно старая калоша?

Крикунов. Ну, не совсем так, но все же... А как понять вашу строгость к Ступакову?

Любомиров. Да, конечно, у меня возраст, к сожалению, действительно не юношеский. Что поделаешь... Только женщины стараются, чтобы река их жизни после тридцатилетия потекла вспять...

Крикунов. При чем тут возраст? А ваши знания, опыт, ваше имя! Помните, как вы когда-то говорили нам, студентам вашим: «Не тот стар, кто далек от колыбели, а тот стар, кто близок к могиле»? Моя бы власть, я ваши погоны увенчал бы полным комплектом

звезд!.. Алексей Иванович, я не понял, что здесь у вас со Ступаковым произошло...

Любомиров *(посмеивается)*. Потом поймете... В мире медиков, ну... еще, может, писателей, художников вообще можно бы обходиться без званий... Я уверен: истинную одаренность не обозначить никакими чинами, если речь идет не о ступенях армейского подчинения. Ну, разве вашему скальпелю нейрохирурга поможет полковничий или генеральский погон?..

Крикунов. Золотые слова!.. А помните, Алексей Иванович, как вы с кафедры говорили о трех главнейших профессиях на земле?

Любомиров *(улыбается)*. Если говорил в пору молодости, то, наверное, пересказывал чужие мысли. Впрочем, от повторения истина не стареет, и Парнас давно опустел бы, если б прогнали оттуда подражателей.

Крикунов. Я подобного не встречал. Чайку с дороги? Или, может, коньячку?

Любомиров. Давай с чайку начнем. С удовольствием чайку выпью.

Крикунов *(ставит на стол маленький самовар, берет полешко и неторопливо начинает откалывать ножом щепки)*. Помню, вы говорили тогда, что есть три высочайшие профессии. Первая — профессия матери, которая дает человеку жизнь; вторая — учителя, который учит его; и наконец, врача...

Любомиров. Ну, это все — дважды два, Степан Степанович... К тому же добавлю, что материнство из всех трех — это самое главное, возвышенное, беспредельное... Это любовь, которая творит и созидает... Да и само материнское сердце есть гениальнейшее творение любви... Человек же вообще, со всем его внутренним миром, есть бесценный продукт любви материнского сердца. Нам, медикам, это особенно надо помнить, иначе мы постепенно превратимся в... Ступаковых.

Крикунов. Алексей Иванович, не томите! Вы что-то о нем знаете?

Любомиров *(помолчав)*. Да... Благодаря Ступакову я у вас... Прослышал в сануправлении фронта, что Ступакова назначают главным армейским хирургом, умышленно помешал. На его место попросился, тем более, что действительно наступает время, когда мы погоним немцев с нашей земли.

Крикунов. Да я ваш приезд как великую честь и небывалую удачу принимаю!

Любомиров. В сорок первом мы со Ступаковым работали вместе. Вернется он из поездки по частям армии и садится за докладные... Такого, бывало, понапишет о своих коллегах, о положении в госпиталях, в медсанбатах, санотделах дивизий!.. Стервец! Ну, если тебе так нравится быть тигром, леопардом, то имей смелость терзать открыто! Не доноси на коллег, а скажи им на месте, помоги!.. А он еще возьмет да тайком отнесет копию докладной в особый отдел.

Крикунов. Странно... На Ступакова это вроде непохоже!

Любомиров. Вы Михайлова из нашей военно-медицинской академии помните? На одном совещании в санотделе он назвал этого Ступакова «собирателем жучков». *(Смеется.)* Что сие значит, я, право, не знаю, но почему-то запомнил. И еще запомнил: «У вас сердце не в груди! Оно у вас под пряжкой ремня!» Это опять Михайлов Ступакову. С трибуны!

Крикунов *(посмеивается)*. Узнаю майора Михайлова! Кстати, он сейчас командир медсанбата нашей седьмой гвардейской.

Любомиров. Достойный человек!.. Так вот, о Ступакове. Однажды звонит мне начальник особого отдела. Ваш Ступаков, говорит, в превратном свете информирует нас о состоянии медико-санитарной службы в армии. Внушите капитану, пусть поответственнее относится к бумаге и судьбам людей... Да, заведомое подозрение — суть благоразумия подлеца...

Крикунов. Странно... Неужели я так ошибся в нем?..

Любомиров. До смерти не прощу себе, что покривил душой и послал его на курсы переподготовки... Хотел избавиться... Подписал положительную характеристику на него... Добрячок... *(Качает головой.)* Вот от таких добрячков и рождается зло на земле. Во все времена...

Крикунов. Алексей Иванович, а может вы преувеличиваете? Из его госпиталя — ни одной жалобы!

Любомиров. Даже царям преподносит урок безмолвие народа. А вы — нет жалоб из госпиталя...

Крикунов. Но ведь производит впечатление умного и дельного человека. Недавно мы обсуждали план

медико-санитарного обеспечения предстоящей операции. Так Ступаков камня на камне не оставил от, казалось, оправдавшей себя системы головного эвакопункта! *(Бросает щепки в трубу самовара.)*

Любомиров *(поражен)*. То есть как? Без хирургии на передовой?

Крикунов. Очень убедительно обосновал, что выдвигать общехирургические госпитали вперед, к самым медсанбатам, и создавать передовые хирургические отряды совершенно непрактично.

Любомиров. Степан Степанович!.. Только опытность есть доказательство доказательств!.. И вы согласились?

Крикунов. Да...

Любомиров. Но ведь одно дело оперировать через какой-нибудь час, ну, через два после ранения. Другое — через сутки... *(Нервно ходит.)* Вот так новость: отказаться от головного эвакопункта! Да это преступление!.. Покажите мне карту с расположением наших медучреждений.

Крикунов *(развертывает на столе карту)*. Прошу! Полная картина на всем участке нашей армии.

Любомиров *(рассматривает карту)*. Где госпиталь Ступакова?

Крикунов *(указывает пальцем)*. Вот здесь.

Любомиров *(после паузы)*. Я так и знал!.. Думаю, что Ступаков просто трус. Конечно же, при этой дислокации ему лично придется возглавить подвижной хирургический отряд. А делать операции под обстрелом он не любит. Я это знаю.

Крикунов *(раздувает огонь в самоваре)*. Алексей Иванович... Но ведь с ним согласились и наши штабисты... Ступаков открыто выступил против шаблона. И мы его мнение разделяем. Это действительно придумано в тиши кабинетов без учета тяжких фронтовых условий — обстрелов, бомбежек, вражеских прорывов. Ступаков даже заявил, что лично знает автора головных полевых эвакопунктов. Говорил *(смеется)*... какая-то бездарная тыловая крыса, которая ни в хирургии, ни в организации медицинской службы на фронте ничего не смыслит.

Любомиров *(поднялся)*. Эта, как вы изволили выразиться, тыловая крыса... перед вами, товарищ полковник... *(Картинно поклонился.)* Да, именно лично по моему предложению во время наступательных опера-

ций часть госпиталей стали выдвигать ближе к передовой...

Крикунов *(крайне растерян)*. Простите, Алексей Иванович... Простите...

Затемнение.

Картина вторая

Лесная поляна, за которой виднеются в лесу палатки полевого госпиталя. На краю сцены, рядом с искореженным осколком деревом, вход в штабную палатку; недалеко от входа — грубо сколоченный стол и скамейка.

На сцену выходит Светлана Цаца. На рукаве у нее красная повязка дежурного по госпиталю, на боку противогаз. Она останавливается, достает из сумки противогаза зеркальце, смотрится в него, кокетливо поправляет выбившуюся из-под пилотки кудрявую прядь.

Цаца. А вы, лейтенант Цаца, действительно «ничего себе»... Как сказал начсанарм. *(Вздыхает.)* Эх, если б так сказал Ступаков! *(Задумалась.)*

Мимо торопливо, почти бегом, спешит Вера Ступакова. Увидев Цацу, замедляет шаг, отдает честь.

Куда ты, Верочка?

Вера *(останавливается)*. Володю Савинова ищу. Вы не видели?

Цаца. Лейтенанта Савинова?

Вера. Для кого лейтенант, а для меня он — Володя.

Цаца. А ты знаешь, что его завтра выписывают? И твой Володя — тю-тю!.. На передовую!

Вера. Вот только сейчас узнала... Все это так неожиданно...

Цаца *(с любопытством)*. Неужели отпустишь одного?

Вера. Он не хочет, чтоб я с ним в полк на передовую ехала. А отцу и говорить боюсь... Но я все равно убегу!

Цаца. Умница, умница, Верочка! Такие парни, как Володя, в холостяках не засиживаются.

Вера *(глядя в сторону)*. Да я не только из-за Володи!.. Не могу больше сидеть под крылышком у отца. Или на передовую, или в другой госпиталь переведусь. Хватит!

Цаца. Так в чем же дело?! Выходи замуж — и вдвоем с Володенькой в полк!

Вера *(тише)*. Володя тоже предлагает пожениться. А я боюсь отцу говорить. Он же горячий, вы знаете. Убьет!

Цаца *(улыбнувшись)*. Тоже мне, героиня! Передовой не боится, а перед отцом трусит! Девчонка ты еще совсем! Будь посмелее, посамостоятельнее!

Вера. Мне все-таки жалко папу.

Цаца. А себя тебе не жалко?! А Володю? А любовь свою? А меня?.. *(Спохватилась.)* Ты меня послушай!.. Я дело советую: поженитесь тайком, а потом отцу и скажешь.

Вера. Как это — тайком?!

Цаца. Очень просто! Делается это так... *(Вдруг что-то замечает за сценой.)* Воздух! Вон отец твой с Киреевой!.. *(Хватает Веру за руку, и они убегают.)*

На сцене появляются Ступаков и майор медслужбы Киреева с папкой в руках.

Ступаков. Что ж, торжествует закономерность: слабый... уступает... сильному! Подполковник уступил генералу...

Киреева. Любомиров в хирургии действительно звезда первой величины. В сравнении с ним, извините, мы с вами, да и не только мы, проигрываем. Это же счастье, что его к нам прислали.

Ступаков. Он ваш бывший педагог, поэтому вы так судите. Но разве я не справляюсь на посту начальника госпиталя? Или вы — на посту ведущего хирурга?

Киреева. Справляемся. *(Усаживается за стол, раскрывает папку и рассматривает какие-то бумаги.)* Особенно вы... Так поставили себя... *(С иронией.)* Прямо позавидуешь!

Ступаков *(не замечает иронии Киреевой)*. Я привык на все смотреть философски. *(Прохаживается по сцене.)* Я никогда не забываю, что жизнь — это большой спектакль, необозримая и бесконечная драма. В ней каждому из нас, как актеру на сцене, надобно превосходно, с полной отдачей сыграть ту роль, которую ему преподносит госпожа судьба, его величество случай.

Киреева. Не знаю, Иван Алексеевич, насколько вы собирались *(с нажимом)* играть роль главного хирур-

га армии, но роль начальника госпиталя я бы вам посоветовала играть перестать. Надо им просто быть.

Ступаков. Нет, вы не правы... Если ты волей судьбы стал трубочистом, внуши всем, что ты самый лучший в мире, самый первый трубочист! Это старая притча. А притчи, как известно, плоды опытности всех народов и здравого смысла всех веков.

Киреева *(с усмешкой)*. А если ты стал генералом, значит, заботься, чтобы тебя обязательно считали талантливым полководцем...

Ступаков. Только так! Не хватает таланта — притворись, что он у тебя есть!..

Киреева. Но ведь притворство — это, извините, ложь, очковтирательство.

Ступаков. А вам известно такое понятие, как святая ложь, ложь во имя человека?.. Ну, представьте себе, Анна Ильинична, что мы... попали во вражеское кольцо. Никто не знает, где выход. Я генерал, но и я не знаю. И вдруг заявляю: я знаю где! Всем — за мной!.. И представьте себе, мы выходим из окружения...

Киреева. А если не выходим?

Ступаков. Может случиться и такое. Но зато я подал людям надежду. Надежда, как известно, питает мужество, побуждает к действию. Мужество и деятельность превращаются в силу, и рождается хоть какая-то, небольшая, призрачная, но все-таки гарантия успеха. Согласитесь, это лучше, чем ничего!

Киреева *(размышляет)*. Интересно, интересно... Извините, Иван Алексеевич, но я по праву женщины. Вот вы хороший хирург... *(Лукаво.)* Не выдающийся, конечно, как Вишневский или Любомиров, но все же хороший. *(Он кивает головой в знак благодарности.)* Скажите, вы, как начальник госпиталя, как руководитель коллектива, о чем вы больше заботитесь — о том, чтобы лучше всматриваться в души людей или чтобы самому эффектнее выглядеть в их глазах?

Ступаков *(с усмешкой)*. Анна Ильинична, не добавляйте в молоко уксус! Я знаю, что вы всегда мыслите оригинально...

Киреева. Но оригинальность не всегда превосходство.

Ступаков *(обрадованно)*. Это что? Самокритика?

Киреева. Нет. *(Посмеивается.)* Я просто ощутила

опасность быть правой в тех вопросах, в которых не право мое начальство.

Ступаков *(вынужденно хохочет)*. Не зазорно быть покорным. (Заглядывает ей в глаза.) У вас очень меняется лицо, когда вы язвите! Не замечали?

Киреева. Человеческое лицо — самая занимательная поверхность на земном шаре.

Ступаков *(весело)*. Ну и ну... С вами спорить — все равно что на минном поле собирать грибы. Как в той поговорке: ешь мед, да берегись жала...

Торопливо входит лейтенант медслужбы Светлана Цаца.

Цаца *(прикладывает руку к пилотке)*. Товарищ подполковник... *(Кокетливо.)* Вас просят к телефону.

Ступаков *(сердито)*. Не начальник санотдела?

Цаца. Нет... Начальник... банно-прачечного отряда.

Ступаков досадливо морщится и уходит.

(С наивностью смотрит на Кирееву.) Анна Ильинична, а вот правду говорят, что если у вдовца взрослая дочь, то он не может жениться, пока дочь замуж не выйдет?

Киреева. Не знаю, Света. Не слышала такого. А к чему это вы?

Цаца. Да так... Интересуюсь народными обычаями. В дневник записываю.

Киреева *(насмешливо)*. В таком случае не забудьте записать в дневник, что нельзя во время операции со стерильными руками пикировать под стол.

Цаца *(обиженно)*. А я что, виновата? Бомбы как засвистели!.. Я и сама не помню, как под столом очутилась.

Киреева *(встает, направляясь в палатку)*. Бомбы, Света, за километр упали. За километр. А операцию пришлось прервать, пока ты руки мыла.

Цаца *(останавливает ее)*. Ой, Анна Ильинична! Я и позабыла. Совсем! Вас же там ищут.

Киреева. Кто?

Цаца. Да разведчик этот... Лейтенант с орденами.

Киреева. Савинов, что ли?

Цаца. Ага, Савинов... *(Таинственно.)* Я что вам сказать-то хотела: он ведь влюбился...

Киреева. В вас?

Цаца. Да что вы?

Киреева. Но не в меня же!

Цаца. В Веру, в дочку начальника госпиталя.

Киреева. Ну а я здесь при чем?!

Цаца. Вы должны им помочь обвенчаться.

Киреева (*поражена*). Я хирург, а не священник! Это во-первых, а во-вторых, какое венчанье, какая свадьба на фронте?!

Цаца. Скоро конец войны. Многие женятся. А не помочь влюбленным — грешно! Бесчеловечно!.. Помогите, а то Володю уже выписывают в полк.

Киреева. Ну, чем помочь? Как?

На сцену выходит лейтенант Савинов. Киреева и Цаца его не замечают.

Цаца. Надо уговорить Ступакова. Мозги ему проветрить! Только вы это сможете.

Киреева. Ну нет, увольте меня от этой миссии! Увольте! (*Уходит в палатку.*)

Цаца. Анна Ильинична, миленькая! Я вам еще не все сказала! (*Спешит в палатку вслед за Киреевой.*)

Савинов (*один.*) Ох, Вера, Вера... Что же ты со мной делаешь? Гибнет от любви боевой разведчик Володя Савинов на виду у всего фронта!.. Но как это, черт возьми, прекрасно!.. Я даже маме написал об этом — своей дорогой Марине Гордеевне. (*Кружится.*) Вера... Верочка... Какого цвета у вас глаза?.. Ласково-голубого... Олух! (*Останавливается, хватается за голову.*) До чего я дошел?! (*Издевается над собой.*) Какого цвета ее голос?.. Нежно-лунного... А какого цвета наша любовь?.. Идиот! Ведь с ума схожу!.. Боже мой!.. Все! Пропал!.. Растаял, как снежинка на ладони!

Вбегает Вера. Увидев Володю, кидается к нему.

Вера. Володя... У меня отчего-то сердце болит. И такой холодок в груди иногда... Будто я летаю высоко-высоко! В небе. И боюсь упасть, разбиться.

Савинов. И я во сне часто летаю.

Вера. Нет, это другое, совсем другое. (*Тише.*) А меня во сне видишь?.. Ну, хоть раз видел?

Савинов. Знаешь, Веруша, вот как мы познакомились с тобой, так мне все время кажется, что я во сне. В каком-то нереальном, дивном сне. И страшно проснуться: вдруг ты исчезнешь?

Вера. Нет, уж лучше ты просыпайся. Я теперь никуда от тебя не денусь... Никуда.

Целуются.

И с тобой теперь ничего не случится... Я буду всегда рядом... Да, а кто из нас все-таки поговорит с Анной Ильиничной?

Савинов (*шутливо-строго*). По-моему, это уже ни к чему.

Вера. Как это ни к чему? И с отцом моим поговорить, а по-военному — согласовать надо... Да, а как же твоя мама? Она меня примет?

Савинов. Моя милая Марина Гордеевна уже любит тебя, как и меня. Я ей целую поэму о тебе написал. В стихах.

Вера. Прочитал бы...

Савинов. Прочитаю как-нибудь. А что касается Анны Ильиничны, то, по-моему, мы опоздали. (*С улыбкой кивает на палатку.*) Там Светлана Святозаровна, кажется, уже ведет разведку боем.

Вера (*обрадованно*). Правда?! Сегодня, пожалуй, самый подходящий день для свадьбы!.. На фронте затишье. Ни одна машина с ранеными не приходила. А палаточные все обработаны.

Савинов. Самый момент прокричать «горько!». Только боюсь, укокошит меня твой отец. (*Со смешком.*) И вместо свадьбы будут похороны.

Вера. Боюсь, боюсь... А еще разведчик, герой!.. (*Притрагивается к груди Володи, где прикреплены орден Красного Знамени, медаль «За отвагу» и гвардейский значок.*) В тыл к немцам ходить не боялся. Эх, если б я родилась мальчишкой!..

Савинов (*шутливо*). Нет уж, нет. Не надо! Мальчишек и без тебя хватает. А вот такую девушку я встретил впервые и, кажется, голову потерял.

Вера. Так тебе и надо, не шляйся по госпиталям!

Савинов. Я в первый раз.

Вера. Что в первый?! Голову потерял?

Савинов. Нет, в госпиталь попал.

Вера (*кокетливо*). А голову, значит, не первый?

Савинов. Видишь же: на месте голова. (*Что-то достает из кармана.*) Смотри, что я сохранил... Это осколок из моего плеча... Я вот все о чем думаю: где-то в Германии на заводе отливали снаряд, потом везли его

на восток... заряжали в пушку... стреляли... Осколок снаряда попал в меня... Я чудом остался жив, но... он привел меня к тебе. *(Прячет в карман.)* Будем хранить его.

Вера. Не надо! *(Обнимает Володю.)* С таким трудом мы спасли тебя. Он так глубоко сидел... Надежды не было... Если бы не Киреева, не ее золотые руки...

Савинов. И твои золотые руки. *(Целует Вере руку.)* Как они тут нужны.

Вера *(решительно)*. Нет, нет! Я все равно убегу на передовую!

Савинов *(тревожно)*. Вера, не вздумай! Я говорю серьезно... Скоро наступление. Тяжелые бои... Ты должна ждать меня здесь.

Вера. Ну, конечно! Они готовятся к наступлению, а я, молодая, здоровущая, и торчи в тридцати километрах от фронта! Ну почему, почему я не могу быть вместе с тобой?!

Савинов. Перестань!.. Ты как маленькая... Как романтичная девчонка. На передовой запросто убить могут!

Вера. Будто тут не могут! Нас то и дело бомбят...

Савинов. Ну и часто погибают?

Вера. Случается. Ты же сам видел, как на прошлой неделе двоих наших схоронили.

Савинов. Случается, Вера, и дуб ломается. А там... *(Махнул рукой.)*

Вера. Извини, конечно, но думаю, что я знаю о войне побольше, чем ты. Я каждый день такое вижу... Смертные муки и смерть... И трупы таскаю... *(Помолчала.)* С тех пор как все наши — и мама, и брат, и бабушка — погибли в блокаде, я поклялась, что буду, буду на передовой... А сама торчу тут, возле отца.

Савинов. Вера, сейчас не надо об этом!.. Лучше иди поговори с отцом о нас. А я поговорю с Анной Ильиничной.

Вера. Ишь какой хитрый! Отец меня и слушать не станет. Сам иди к нему. А я пока отпрошусь у Анны Ильиничны с дежурства! *(Хочет уйти.)*

Савинов *(в нерешительности)*. А может, нам лучше вдвоем явиться перед его грозные очи?

Вера *(решительно)*. Эх ты! Ладно, сперва я одна с ним поговорю. Но ты сейчас же выпишись из госпиталя. Понял?.. Получи в штабе свои документы.

Савинов. Понял! Чтоб подполковник Ступаков уже

не имел надо мной власти? И не упек в штрафную роту?

Вера. Умница... Вам пятерка, Савинов. А теперь идите.

Савинов. Слушаюсь! *(Обнимает и целует Веру.)*

Из палатки выходят Киреева и Цаца. Они видят целующихся Веру и Савинова; Киреева отворачивается.

Киреева *(к Цаце)*. Я все поняла.

Савинов отрывается от Веры и убегает.

Продолжайте выполнять обязанности дежурного по госпиталю.

Цаца. Слушаюсь! *(Кидает многозначительный взгляд на Веру и уходит.)*

Вера *(смущенно)*. Товарищ майор медицинской службы, разрешите обратиться?

Киреева. А-а, новоявленная Дульцинея! Обращайся. *(Садится на скамейку, оглядывается.)* День-то сегодня какой тихий. На удивление. Даже сиренью пахнет.

Вера. Точно, Анна Ильинична, пахнет... И с передовой ни одной машины нет...

Киреева. Все ясно! И ты просишь, чтобы я освободила тебя от дежурства?

Вера. Ага. *(Обрадованно.)* А как вы догадались?

Киреева. По твоему серьезному, глубокомысленному выражению лица. *(Смотрит строго, вопрошающе.)* Ты давно любишь этого лейтенанта?

Вера. Мне стыдно, Анна Ильинична!.. Но на войне день засчитывается за три.

Киреева *(вздыхает)*. Нет, любить никогда не стыдно. *(Помолчав)*. Если, конечно, это действительно любовь.

Вера *(взволнованно)*. Действительно, Анна Ильинична! Знаете, как люблю!.. Ну вот... будто все вокруг совсем другим стало! И этот день, и лес... И люди совсем другие!.. И я другая!.. Ну... не знаю, как сказать. А он, Володя, такой славный!..

Киреева. Какой?

Вера. Ну, характер у него славный.

Киреева *(насмешливо)*. Характер... Девушки ни о чем так поверхностно не судят, как о характере своих женихов... А он-то тебя искренне любит?

Вера. Ой, знаете, как любит!

Киреева *(смеется)*. Откуда же мне знать? Только имей в виду, если слишком умно говорит о любви, тогда еще не очень влюблен... Вот когда языка лишится... *(Взмахнув рукой.)* Ну, ладно, Дульцинея, освобождаю тебя от дежурства, а остальное уволь — не в моей власти.

Вера *(чмокает Кирееву в щеку)*. Спасибо, спасибо, Анна Ильинична! *(Убегая.)* Пойду скажу Володе.

Киреева *(смотрит вслед)*. Милая, славная девушка... Да пусть будет у тебя счастье...

Появляется Ступаков.

Ступаков. Ну, что вы, Анна Ильинична, скажете на такое: начальник банно-прачечного отряда спрашивает, нельзя ли сделать аборт его кастелянше на седьмом месяце беременности. По-моему, он сумасшедший! Я ему так и сказал: вы с ума спятили... А кто это так помчался?

Киреева. Дочь ваша, Иван Алексеевич.

Ступаков. Случилось что? *(Берет со стола газету.)*

Киреева. Думаю, да. Случилось.

Ступаков *(разворачивает газету)*. А именно?

Киреева. А именно — влюбилась.

Ступаков. Серьезно?

Киреева. Да, кажется, очень серьезно.

Ступаков *(не отрываясь от газеты)*. Прекрасно, прекрасно. В ее возрасте любовь — это песнь души. А душа, так сказать, куется в страстях и сомненьях... Важно только, чтоб чувство не ослепляло разум и объект был достойным.

Киреева. Объект, как вы изволили выразиться, — прославленный разведчик. Может, приметили в команде выздоравливающих лейтенанта с орденом и медалью? Если нет — надо познакомиться. Хороший зять будет.

Ступаков *(испуганно отрывается от газеты)*. Что?! Как это зять?! Вы что? Все это серьезно?.. Нет, нельзя так шутить над отцом, у которого одна дочь и больше никого...

Киреева *(закуривает)*. Вы слепец, Иван Алексеевич. Дочь ваша светится от счастья как солнышко!

Ступаков. Да вы шутите! Но... но она мне ни слова...

Киреева. Истинное чувство всегда безмолвно.

Ступаков (*взволнованно*). Какое может быть чувство? Война, кругом кровь льется!.. Сколько кладбищ уже оставил за собой наш госпиталь, да и каждый медсанбат.

Киреева. Конечно, война не лучшая пора для любви. Но и она тут не властна.

Ступаков (*нервно ходит по сцене*). Она же еще девчонка! Откуда вдруг все это? Здесь какая-то...

Киреева. Родители последними замечают, когда их чада далеко уходят за порог детства.

Ступаков. Нет, Анна Ильинична, ваши очки мне не по глазам. Все это пустое. Дочь у меня одна. И я в ответе за ее судьбу хотя бы перед памятью покойной жены.

Киреева. Извините, Иван Алексеевич. Считайте, что я вам тут не советчица...

Ступаков. А жаль... Я хотел бы...

Киреева. Разрешите идти на обход?

Ступаков. Что ж, идите, пора.

Киреева уходит.

(*Сидит молча, затем раздраженно.*) Любовь. Чувства. Зять... Черт знает что! (*Барабанит пальцами по столу.*) Зять хочет взять. Тесть любит честь... Тьфу!

Появляется Вера, испытующе смотрит на отца. Тот поднимает голову.

Вера (*с робостью подходит к столу*). Пап, я что-то хотела тебе сказать...

Ступаков (*строго*). Я уже в курсе... Последним узнал. Но все-таки узнал. Прослышал, так сказать... (*Встает, выходит из-за стола.*) Что ж ты молчала? Я понимаю: молчание — золото. Но слово все-таки тоже благородный металл — серебро. Особенно в подобном случае.

Вера. Пап, отнесись к этому серьезно.

Ступаков (*с притворством*). А как же иначе?.. Когда речь идет о важных делах, я — воплощение серьезности.

Вера. Пап... Мы с Володей... любим друг друга и решили...

Ступаков. Ах, уже «мы», уже «решили»!.. Так зачем же тебе мое отношение? Когда умерла в блокаду твоя мама, я чудом разыскал тебя! Ты это знаешь. И знаешь, что, кроме тебя, у меня никого нет на всем белом свете! Я и на фронт взял тебя, чтоб ты не погибла в тылу от голода или чтоб с тобой не приключилось еще что-нибудь ужасное.

Вера. Пап, ну я же вполне самостоятельная.

Ступаков *(в том же тоне)*. И если хочешь знать — ради тебя я проявляю излишнюю осмотрительность, стараюсь держать госпиталь подальше от передовой... А ты... ты недавно увидела человека... и уже готова на все... готова забыть об отце...

Вера. Я не собираюсь о тебе забывать... А Володя лечился у нас полтора месяца...

Ступаков. Полтора месяца? Как много?!

Вера. В условиях фронта вполне достаточно.

Ступаков. Для чего достаточно?

Вера. Чтобы полюбить и узнать человека.

Ступаков. Может, вначале узнать, а потом полюбить?

Вера. Да, я так и хотела сказать.

Ступаков. А может, еще надо удостовериться, что это и есть любовь?

Вера. Он очень хороший, ты сам увидишь.

Ступаков. Хороший?..

Вера. И храбрый! И очень умный!

Ступаков. Очень умный?.. Если он умный, так пусть оставит тебя в покое! Ему в полк! Тебе — за работу!

Появляется Володя, издали прислушивается к разговору.

И не забывай. Тебе только девятнадцать! Впереди ждет тебя еще не одна увлеченность!.. И каждая будет казаться любовью.

Вера. Пап, как ты можешь?!

Ступаков. Запомни: парней много, а отец у тебя один! *(В сердцах.)* А если завтра его убьют?! Ты об этом подумала?

Вера *(испуганно)*. Не смей так говорить... Мы с ним уже... решили... пожениться!

Ступаков *(поражен)*. Что? Уже и свадьба? Ах, вот

оно как! *(Суматошно расстегивает ремень.)* Я доведу тебя до ума!

Вера. Пап, ты не прав! Ты сто раз не прав.

Ступаков *(снимает с ремня кобуру с пистолетом и сует ее в карман)*. Чем более не правы люди, имеющие власть, тем менее следует им говорить о том, что они не правы... И пока ты моя дочь...

Вера. Папочка, ты не посмеешь!.. Я не маленькая!

Ступаков. Ты моя дочь!.. И коль ты не понимаешь слов... я обязан исполнить свой родительский долг... *(Замахивается на Веру ремнем.)*

Володя подбегает к Ступакову и ловким движением отнимает и отшвыривает ремень.

Савинов. Я не позволю!.. Не имеете права!

Ступаков *(в ярости)*. Что?! Нападение лейтенанта на подполковника?! Арестовать!.. Дежурный по госпиталю, ко мне!..

Вера. Папа!.. Папочка!.. Родненький!.. Успокойся...

Ступаков. В военный трибунал!.. Дежурный!

Вбегает лейтенант медслужбы Светлана Цаца.

Цаца. Товарищ подполковник! Дежурная по госпиталю лейтенант Цаца по вашему вызову!..

Ступаков *(указывает на Савинова)*. Арестовать! Составить протокол дознания за нападение на старшего офицера!

Цаца *(к Савинову)*. Лейтенант Савинов, вы арестованы!

Ступаков. Можете считать, что он уже разжалован из лейтенантов! И принесите мне его документы!

Вера. Папа, разве мы на тебя нападали?! *(Плачет.)*

Цаца *(с притворной серьезностью)*. Товарищ подполковник, я обязана записать в протокол дознания побудительные причины нападения... И указать фамилии свидетелей. *(К Вере.)* Вы будете свидетельствовать?

Вера. Ничего я не буду! Володя защищал меня.

Ступаков *(остывая, поднимает ремень и подпоясывается)*. Теперь я вижу, какой он «умный» и «храбрый».

Цаца. Ничего, трибунал разберется! *(К Ступакову,*

с лукавством.) Так какие будут указания, товарищ подполковник?

Ступаков. А ну вас всех к дьяволу! *(К Вере.)* Сейчас же на дежурство!.. Сами заварили кашу, сами расхлебывайте! *(Уходит.)*

Цаца *(к Вере и Савинову)*. Ну, что же вы?! Расхлебывайте!.. Зачем теряете время? *(К Савинову.)* Документы успел получить?

Савинов утвердительно кивает и притрагивается рукой к карману гимнастерки; вопросительно смотрит на Веру, затем на Цацу.

Цаца *(оглядываясь)*. Там сейчас санитарный автобус отправляется в сторону передовой. Я скажу, чтоб обождал! *(Убегает.)*

Савинов *(взволнованно)*. Она права! В полк! Немедленно! За дезертирство на передовую судить тебя не будут! В мой полк!

Вера. Вдвоем? В твой гвардейский?

Савинов. Вдвоем! В гвардейский!

Вбегает Цаца.

Цаца. Автобус за шлагбаумом! Я предупредила!

Вера. Володя... А меня не вытурят оттуда?

Цаца. Не вытурят! Да бегите же!

Вера на прощанье порывисто обнимает Цацу.

Савинов. Кто посмеет прогнать из полка жену гвардии лейтенанта Савинова?!

Занавес.

Картина третья

Полковой медпункт на опушке леса. Среди деревьев — палатка, над ней — флажок с красным крестом. Близ входа в палатку — рукомойник, носилки, бачок с водой, ящики из-под снарядов.

Слышны автоматные очереди, изредка воют мины, и где-то далеко слышны их взрывы.

Из палатки два санитара выносят носилки с ранеными, направляясь на сцену. Вслед за ними выходит в белом халате и шапочке капитан медслужбы Полина Гаркуша.

Гаркуша *(санитарам)*. Если есть места, машину не отправляйте. Еще будут раненые.

Доносится серия взрывов.

Концерт продолжается.

Гаркуша моет руки под рукомойником, всматривается в даль, откуда слышится шум приближающегося автомобиля.

(Кому-то за сцену). Машину, пожалуйста, под деревья! Слышите?! Под деревья машину!

Голос. Есть соблюдать маскировку!

Шум мотора.

Входит Ступаков с немецким автоматом на груди и гранатами у пояса. Осматривается.

Гаркуша *(торопливо вытирает руки салфеткой, отбрасывает ее).* Здравия желаю, товарищ подполковник!

Ступаков. Приветствую вас, коллега. *(Подает руку.)* Начальник... полевого госпиталя Ступаков.

Гаркуша. Гвардии капитан медслужбы Гаркуша!.. Чем обязаны?..

Ступаков. Так... Прогулка по передовой, товарищ гвардии капитан...

Слышится стрельба.

Засиделись мы там, в тылу.

Гаркуша. Неподходящее время для прогулок... У вас, наверное, есть претензии к первичной обработке раненых? Но у нас, знаете, порой такое тут творится... Просто рук не хватает.

Ступаков. Да нет. Как раз сейчас претензий нет... *(Пытливо оглядывается.)* Посмотрим, как будет во время наступления.

Возвращаются с пустыми носилками два санитара. Ставят их под дерево, а сами уходят в палатку. Ступаков провожает их взглядом.

Гаркуша. Желаете осмотреть медпункт?

Ступаков. Нет-нет... Насмотрелся... Скажите, пожалуйста, гвардии капитан...

Гаркуша *(подсказывает).* Гаркуша...

Ступаков. Скажите, капитан Гаркуша, на днях в ваш полк новенькие из медперсонала не поступали?.. Понимаете, я дочь свою разыскиваю.

Гаркуша *(с ухмылкой)*. Извиняюсь, товарищ подполковник, но это старый избитый прием: дочь, сестра, жена...

Ступаков *(смутился)*. Да ей же право! Я серьезно.

На сцене появляется Володя Савинов с автоматом за плечом и гранатными сумками на поясе. Увидев Ступакова, пятится. Гаркуша тоже делает ему предупреждающий знак. Савинов, не замеченный Ступаковым, прячется за куст.

Гаркуша. У нас в медсанроте и на батальонных медпунктах много девушек. Кто именно вас интересует?

Ступаков. Вы неправильно меня поняли... Дочь сбежала из госпиталя!

Гаркуша. Недавно один капитан тоже разыскивал свою... сестру. Мы вызвали ее из батальона, а она, как увидела, и в слезы: «Прости, Коленька, я другого люблю. Встретила свое счастье».

Ступаков *(сердится)*. Ну, знаете!.. Мне не до шуток! И не думаю, что я похож на фронтового донжуана.

Гаркуша *(осматривает Ступакова)*. Да как вам сказать... Термин «пе-пе-же», то есть «походно-полевая жена», не я сочинила...

Ступаков. Товарищ гвардии капитан, я ведь могу рассердиться и приказать!

За сценой слышится девичий голос: «Девочки, почта еще не приходила?..» Ступаков торопливо направляется за сцену. Савинов встревоженно смотрит ему вслед.

Савинов *(выйдя из-за куста)*. А где Вера? Она знает, что он появился?

Гаркуша *(вытирает платком лоб)*. Ну, лейтенант, и задал ты мне хлопот со своей Верой. Только этого мне еще не хватало! А где обещанные трофеи?

Савинов *(достает из кармана сверкающий пистолетик)*. Вот, прошу, дамский!.. Подполковник очень сердит?

Гаркуша *(берет пистолет)*. Стоящая вещь! Главное — нужная. Подполковник?.. О-о, как тигр!

Савинов. А где Вера?

Гаркуша *(рассматривая пистолет)*. Нюхает порох твоя Вера в третьем батальоне.

Савинов *(встревоженно)*. А зачем вы ей разрешили?! Ей же нельзя под пули! Она ж не умеет!..

Гаркуша *(сердито)*. Не умеет — научится. Там медпункт накрыт залпом шестиствольного. Ничего не осталось. Вот и вызвалась... Кто-то же должен был идти. *(Помолчав.)* А что там за шум на участке третьего батальона?

Савинов *(опасливо оглядываясь в ту сторону, куда ушел Ступаков)*. На рассвете мы там вели разведку боем. А сейчас... Давно она пошла туда?

Гаркуша. Утром еще пошла... А как там сейчас?

Савинов. Немцы контратакуют. Будьте наготове.

Гаркуша *(удивилась)*. Можете не сдержать?!

Савинов. Пока приказано не обнаруживать свои огневые позиции и не раскрывать огневые средства перед наступлением... Когда же она вернется?

Гаркуша *(нервно)*. Не знаю, не знаю!.. Но как же тогда продержаться, если не стрелять?

Савинов. Пропустим в тыл и секанем с флангов... *(Смотрит в сторону, куда ушел Ступаков.)* Когда Вера вернется, предупредите ее об отце и скажите, что я с разведчиками в траншее. *(Указывает.)* На той опушке.

Опираясь на карабин, появляется рыжеусый солдат с забинтованной до самого паха ногой. Он бледен. Савинов смотрит в ту сторону, куда ушел Ступаков, пятится назад и, чуть не столкнув раненого, убегает.

Рыжеусый *(сердито смотрит вслед Савинову)*. Что за псих? Из медпункта, что ль, сбег?

Входит Ступаков.

Гаркуша *(Рыжеусому)*. Вы угадали: у него мания преследования. *(Осматривает повязку на Рыжеусом.)* Кто и когда вас перевязывал?

Рыжеусый. Да санитарка одна, в воронке. С час назад, сразу, как дерябнуло.

Из палатки выходят санитары. Один бросает из таза в яму груду окровавленных бинтов, второй забирает у Рыжеусого карабин, уносит за палатку.

Гаркуша *(Рыжеусому)*. Тогда потерпите до медсанбата. *(Санитарам.)* Заберите его в машину.

Рыжеусый *(хрипло)*. Там девчонку сейчас достают с нейтралки. Раненую. Может, попридержите транспорт?

Ступаков. Какую девчонку?! *(Прислушивается к стрельбе.)*

Рыжеусый. Медсестру... Из третьего батальона... Геройская девка!.. Кругом ревет все, я от боли благим матом кричу, а она знай волокет меня, верзилу, на плащ-палатке. И тоже ревет...

Ступаков. А чего ж она-то ревет?

Рыжеусый. Да страшно!.. Потом в воронку меня кувырнула, ну и перевязала... Худо-бедно, а перевязала. И тех, восьмерых, тяжелых, которых на повозках поперед меня повезли, тоже она выволокла. Просто герой девка!..

Ступаков. Да, такое не каждому мужику под силу!

Гаркуша *(к санитарам)*. У нас все девочки молодцы. А что за санитарка? Из какой она роты, не знаете?

Рыжеусый *(он морщится от боли)*. Дьявол ее знает. Я не спрашивал. Красивенькая такая, брови как по шнурочку, командирский ремень.

Гаркуша. Наверное, из пополнения.

Гремят недалекие взрывы.

Ступаков *(испуган)*. На медпункт соседнего полка я проеду от вас?

Гаркуша. Да, по шоссе.

Ступаков. А если не выбираться на шоссе? Его ведь простреливают.

Гаркуша. Тогда налево за озерцом.

Опять слышен вой снаряда, взрыв.

Ступаков *(торопится)*. Ну что ж, честь имею. Желаю успехов! *(Берет под козырек, уходит.)*

Гаркуша *(отдав честь, к санитарам)*. Сразу видно: не кадровый военный. Ему проще было бы искать лейтенанта Савинова, так он нет — медсестру ищет.

Первый санитар. Да-а, иголку в стоге сена! *(Смеется.)*

Гаркуша *(санитарам)*. Грузите его *(указывает на Рыжеусого)* и отправляйте машину, и сразу же на медпункт третьего батальона! Выносите всех, кого можно!

Подхватив Рыжеусого под руки, санитары уходят. Гаркуша смотрит вслед. На сцене появляются генерал Любомиров и полковник Крикунов. Молча наблюдают за Гаркушей. Вдруг она замечает их, застегивает халат, принимает стойку «смирно».

(Взяв под козырек.) Товарищ генерал-майор!..

Любомиров *(указывая на Крикунова)*. Вот полковнику докладывайте.

Гаркуша смешалась, умолкла, не может понять, почему при генерале она должна докладывать полковнику.

Крикунов. Да ладно, не надо докладывать. Вы — полковой врач?

Гаркуша. Так точно! Гвардии капитан Гаркуша!

Крикунов *(подавая руку)*. Начсанарм Крикунов. *(Затем указывает на Любомирова.)* А это наш новый главный армейский хирург.

Любомиров *(здоровается за руку)*. Раненые поступали сегодня?

Гаркуша *(напряженно)*. Четырнадцать человек, товарищ генерал! Все отправлены в медсанбат. И судя по всему, еще будут.

Любомиров. Держите себя свободнее, товарищ капитан. Мы же медики.

Гаркуша. Есть свободнее! Прошу садиться! *(Придвигает два ящика из-под снарядов.)*

Любомиров и Крикунов садятся. Крикунов развертывает на коленях топографическую карту.

Крикунов. Пожалуйста: полная картина! Медпункты, медсанроты. Вот разгранлинии. Вот передний край. *(Гаркуше.)* Товарищ гвардии капитан, посмотрите, правильно нанесен ваш медпункт?

Гаркуша *(заглядывает в карту)*. Правильно: юго-западная опушка грушевидной рощи.

Крикунов *(Любомирову)*. Но вы меня сразили, Алексей Иванович, наметкой этапов медицинской эвакуации. Конечно, так легче бороться с шоком, раневой инфекцией и проще обеспечивать транспортную иммобилизацию переломов. Век живи, век учись.

Любомиров. Заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают. Ну а что нам посоветует врач Гаркуша? Вы ведь в наступательных операциях участвовали?

Гаркуша. Так точно! И не однажды.

Любомиров. Где, по вашему мнению, лучше располагать хирургические госпитали во время наступления — ближе к передовой или дальше?

Гаркуша. Так точно, ближе, товарищ генерал!

Любомиров. Я не против краткости, коллега, но мне сейчас нужно от вас не «так точно», а определенное выражение мысли. Какой, по-вашему, принцип целесообразнее класть в основу плана медико-санитарного обеспечения наступательной операции?

Гаркуша. Если при наступлении походные госпитали будут отставать, мы излишне загрузим дороги машинами с ранеными. И смертность от ран намного увеличится.

Любомиров. При этом еще надо учесть эффективность работы выдвинутых вперед хирургических отрядов... *(Крикунову.)* Ваш Ступаков боялся нарушения взаимодействия между медсанбатами и подвижным эвакопунктом?

Крикунов. Да-да. Вот именно.

Любомиров. Все как раз наоборот. Легко убедить людей в том, чего они желают, еще легче в том, чего они боятся.

Шум боя доносится явственнее. Все настороженно прислушиваются.

Два знакомых нам санитара вносят на плащ-палатке тяжело раненную Веру. Еще двое — второго раненого. Опускают наземь. Любомиров и Крикунов с состраданием смотрят на раненых.

Санитар. Вот она, та санитарка Из самого пекла выволокли ее. Очень тяжелое ранение. Море кровищи.

Гаркуша *(склоняется над Верой)*. Это наша Вера! Ох ты, господи! Ранение полостное... Нужно срочно оперировать. *(Подходит к другому раненому, берет его руку.)* А этому уже ничто не поможет... Умер. *(Санитарам.)* Унесите...

Санитары уносят умершего за палатку.

Вера *(тихо)*. Отвезите меня... в госпиталь... к отцу... Он спасет... Я не хочу... уми... рать...

Любомиров. Бредит?

Гаркуша *(в смятении)*. Нет, у нее действительно отец — начальник госпиталя.

Крикунов. Какого госпиталя?..

Гаркуша. Ступаков... Да он был тут недавно. В соседний полк поехал.

Крикунов. Это дочь Ступакова?!

Любомиров (*к санитарам*). А ну давайте ее на операционный стол.

Вера. Не надо... милый доктор... Только отец... Сообщите отцу... Он спасет... И Володе скажите...

Санитары уносят Веру в палатку. С ними уходит Крикунов. За сценой разгорается стрельба.

Любомиров (*торопливо моет руки. Гаркуше*). Стерильные перчатки у вас есть?

Гаркуша. Для операции все наготове, товарищ генерал... Ах, Вера, Вера!..

Из палатки выходит Крикунов.

Крикунов. Алексей Иванович, откровенно скажу, надежды мало... Каждая минута дорога. Об отправке в тыл не может быть и речи... Не выдержит.

Шум боя за сценой усиливается. Вбегает лейтенант Савинов с автоматом.

Савинов (*растерянно осматривает начальство. Затем к Гаркуше*). Не вернулась Вера?

Гаркуша. Вернулась.

Савинов. Скорее снимайтесь и уходите! Немцы прорвали оборону!

Крикунов. Как прорвали?.. Мы же собираемся наступать!..

Савинов. Мышеловку немцам мы подготовили! Но не успели всех наших предупредить! Уходите за линию батарей! Быстро! Тут метров триста! Мы попридержим их! (*Гаркуше.*) Где Вера?! Почему вы молчите?

Из палатки выходят санитары.

Гаркуша (*санитарам*). А ну, хлопцы, к бою!

Санитары. Есть к бою! (*Кидаются за палатку и тут же выскакивают с автоматами.*)

Гаркуша. В распоряжение лейтенанта!

Савинов (*санитарам*). Бегом в траншею! Я сейчас!

Санитары убегают.

Любомиров (*Гаркуше спокойно*). Введите раненой морфий и кофеин.

Гаркуша. Ясно. *(Бросает взгляд на Савинова.)*

Савинов *(к Любомирову)*. Что, Вера ранена?! *(Кидается в палатку, за ним — Гаркуша.)*

Через мгновение Савинов выходит из палатки с окаменелым от горя лицом.

Любомиров. Кто она вам?

Савинов. Жена! Это моя жена.

Любомиров *(берется вместе с Крикуновым за пустые носилки)*. Держите немцев. Мы вынесем ее из опасной зоны и прооперируем. За исход не ручаюсь. Не те условия, да и ранение тяжелейшее...

Гаркуша и Крикунов из палатки выносят на носилках накрытую простыней Веру. На этих же носилках, у ног Веры, — ящики с инструментами и стопка простыней. Савинов испуганно смотрит на Веру. Она узнала его.

Вера. Володя... Береги себя... Я выживу... Береги себя.

Савинов *(наклонился над носилками)*. Верочка... Верочка, выдержи... Выдержи, милая... Я люблю тебя... Мы отомстим им, Вера!

Гаркуша *(Крикунову и Любомирову)*. Идите! Идите за мной!..

Все уходят. Савинов кидается туда, где идет бой.

Савинов. Ребята, держись! Не пускай гадов!.. Сейчас там Веру будут оперировать!..

Затемнение.

Внезапный взрыв и вспышка, которая выхватывает из темноты падающую лицом на землю фигуру Савинова.

Савинов *(кричит)*. А-а-а!..

Мечутся лучи прожектора.

Голос. Лейтенанта Савинова убило! Взвод... Слушай мою команду-у!..

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвертая

В палатке Ступакова. На парусиновой стенке висит топографическая карта. Стол с бумагами и телефоном. Железная койка, тумбочка с графином, ящик-сейф.

Ступаков, заложив руки за спину, нервно прохаживается по палатке. Остановившись у карты, водит по ней карандашом. Раздается телефонный звонок. Берет трубку.

Ступаков. У аппарата... Кто?.. Простите, это какой Михайлов?.. А-а, как же, помню... Гора с горой не сходится... Михайлов, Михайлов... Я видел на дороге указатель «Хозяйство Михайлова». И в голову не пришло, что это именно ваш санбат... Пожалуйста, коль смогу... *(Слушает.)* Хах-ха... Раз аптека взлетела на воздух, значит, теперь у вас воздух целебный!.. *(Холодно.)* Понимаю, что не до шуток. Но извините, дорогой, у меня медикаменты по нормам, в обрез... Вот именно, даже на полдня заимообразно не могу... Мы ведь тоже под бомбами... Что поделаешь... Пожалуйста. *(Кладет трубку.)*

За входом в палатку слышится голос Киреевой: «Можно войти?»

Войдите!

Входит Киреева.

Ну, удалось что-нибудь выяснить?

Киреева. Светлана Цаца доказывает, что Савинов отбыл в запасной полк. А мне думается, что он на передовой, в своей седьмой гвардейской.

Ступаков. Почему вы так полагаете?

Киреева. Характер у него такой. Да и у дочери вашей, извините, тоже.

Ступаков. Но я же там был! Облазил всю передовую, все медпункты. Неужели ехать опять?

Киреева. Несерьезно и неблагородно... Силой вы ее не вернете! Натура у нее не такая.

Ступаков. Ничего, привезу силой! И натуру ее приведем в порядок.

Киреева. Лучше согласитесь на ее замужество. Письмо напишите. Пусть приедут вдвоем да хоть по-че-

ловечески фронтовую свадьбу сыграем. Ведь ребята-то какие!

Ступаков. Неужели она стала его женой? Не уберег!.. Дите ж еще!

Киреева. В ее возрасте я уже была мамой.

Ступаков. Моя дочь — пе-пе-же. Ужас!

Киреева. Странный вы человек, Иван Алексеевич.

Ступаков. Пусть бы лучше конец света, чем такое падение! Какой позор на мою голову!

Киреева. А если это любовь! Чистая и светлая! Это же их счастье. И мы не имеем права посягать на него!

Ступаков *(примирительно)*. Ну хорошо. Письмо ей я уже написал. А дальше что? Куда посылать?

Киреева. Пошлите с письмом в седьмую... Ну, хотя бы Светлану Цацу! Она, если ей строго приказать, разыщет их!..

Ступаков. Верно. Позовите-ка Цацу, прошу вас.

Киреева. Сейчас. *(Уходит.)*

Ступаков *(делает несколько шагов по палатке)*. Не гнись, не гнись, Ступаков! Все в жизни поправимо, кроме смерти. Что же я ей там написал? *(Подходит к столу, садится, читает написанное.)* «...Сразила ты меня наповал... Сердце не выдержало... Лежу. Если не хочешь потерять отца, немедленно возвращайся. *(Дописывает и говорит вслух.)* И привози этого своего бандита. Раз все так случилось, будем справлять свадьбу». *(Заклеивает письмо в конверт.)*

Входит лейтенант Светлана Цаца.

Цаца. Лейтенант Цаца по вашему вызову!..

Ступаков. Светлана Святозаровна, к вам огромнейшая просьба... Личная... Понимаете, личная...

Цаца. Личная?.. Личную — с превеликим удовольствием, Иван Алексеевич!

Ступаков. Берите машину и езжайте в седьмую гвардейскую... Где-то там Вера. Я знаю. Найдите и вручите это письмо. *(Подает конверт.)* И привезите. Живую или мертвую привезите!

Цаца. Зачем же мертвую? Так не шутят... Но я знаю: она не согласится.

Ступаков. Согласится. Тут все написано! И скажите, что я серьезно заболел... Я действительно плохо себя чувствую.

Цаца *(с притворным испугом)*. У вас нездоровый вид! *(Решительно подходит к Ступакову, прикладывает ладонь к его лбу.)* Очень нездоровый! И температура!.. *(Обнимает за плечи, прижимается губами ко лбу.)*

Ступаков. Что вы?! Светлана Святозаровна!

Цаца. Мне в детстве мама всегда так температуру мерила.

Ступаков. Я же не ребенок!

Цаца. Вы хуже ребенка... Вы, мужчины, как дети, беспомощны и безвольны. Вам даже тут, на войне, нужна женская забота и ласка. *(Осторожно обнимает Ступакова за плечи.)* Давайте я вас уложу.

Ступаков. Не буду я ложиться! Я здоров! *(Встает.)*

Цаца *(поворачивает его к себе лицом)*. А температура?.. Может, я ошиблась?.. А ну.. *(Обнимает за шею, тянется губами будто ко лбу, но целует в губы.)*

Ступаков пытается вырваться из ее объятий, но тщетно.
В палатку заходит медсестра Серафима. Увидев обнявшихся, зажимает рукой рот, чтобы сдержать вскрик, и выбегает.

Ступаков *(вырвался из рук Светланы)*. Что это значит, черт вас возьми?! Что за ерунда?!

Цаца. Я думала — температура... А вы... холодны, как снеговик.

Ступаков. Я спрашиваю, что это за шуточки?!

Цаца. Шуточки?.. Ничего себе шуточки!.. От таких шуточек *(тихо)* дети бывают.

Ступаков. Что вы болтаете, лейтенант Цаца?! Как вам не стыдно?!

Цаца. А что здесь стыдного?.. Я уезжаю на передовую, где, между прочим, стреляют... Буду искать там вашу дочь... Может, меня убьют... Вот и поцеловала. Вдруг мы последний раз видимся с вами.

Ступаков *(уже мягче)*. Светлана Святозаровна, что за глупости? Будем благоразумны.

Цаца. Могли бы на прощанье и Светой назвать.

Ступаков. Ничего не понимаю... Может, я действительно в бреду?..

Слышится голос Серафимы: «Светлана Святозаровна!..»
Серафима заглядывает в палатку, лукаво смотрит на Светлану и Ступакова.

Так как же с этими машинами?

Цаца *(вдруг вспомнив)*. Ой товарищ подполковник! Там пришли две машины с ранеными!.. Начальник сортировки спрашивает, как с ними быть.

Ступаков *(удивлен)*. Что значит «как быть»? Как всегда — в сортировку. Затем раненых в обработку.

Серафима. Но раненые прямо с передовой. Почему-то медсанбат переправил их к нам без обработки.

Ступаков. Вот так новость! Почему без обработки? Стоим в обороне, и такое нарушение инструкции! А если в машинах окажутся безнадежно отяжелевшие? Значит, повышение смертности в моем госпитале? И лучшие показатели отдавай, Ступаков, дяде?..

Цаца. Выходит, что так. Берем чужие грехи на свою душу.

Ступаков. Какой же это медсанбат позволяет себе такое безобразие?

Цаца. Седьмой гвардейской дивизии. Михайлова.

Ступаков. Михайлова?.. Опять этот Михайлов! У другого соринку в глазу видит, а сам... И я еще буду виноват, если заверну машины. *(Задумался.)* А представитель медсанбата сопровождает машины? Хоть объяснил бы, в чем там у них дело.

Цаца. Нет. Представителя с ними нет.

Ступаков. Нет? А машины уже на территории госпиталя?

Серафима. Стоят за шлагбаумом.

Ступаков *(раздумывает, качает головой)*. Ха! Опять Михайлов скажет, что у Ступакова сердце не на месте.

Цаца *(поражена)*. А где ж ваше сердце?

Ступаков. Оно у меня, по Михайлову, под пряжкой ремня! Ясно?

Цаца *(смотрит на Ступакова с испугом)*. Ну, вот видите! Я же говорила, что вы нездоровы.

Ступаков *(строго)*. Инструкция есть инструкция. И на фронте должен быть хоть элементарный порядок. Все!.. Машины не принимать! Идите!

Пожав плечами, Цаца подталкивает из палатки Серафиму. Они уходят. Ступаков продолжает шагать вдоль стола.

По его определению, я «собиратель жучков», и я же прими раненых не только без обработки, но и без объяснения причин... Шалишь, товарищ Михайлов! Ах да! Тебя бомбили!.. А ты что хотел, чтоб тебя одеколончи-

ком поливали? На то и война!.. Ступаков может прощать обиды. Но оскорбления... никогда!.. Придумал же: сердце под пряжкой ремня!.. Понабирались там, в своей медицинской академии, притчей от Любомирова... И Анна Ильинична... Ну, ничего. Ступаков тоже не лыком шит. Мал барабанщик, да громок, мал золотник, да дорог!.. *(Притрагивается рукой к губам.)* Вот холера!.. Что все это значит?

Входит Киреева с папкой в руках.

Киреева. Извините, товарищ начальник, опять я. Есть новости.

Ступаков. От Веры?!

Киреева. Нет. Приказ о медико-санитарном обеспечении наступления. *(Открывает папку.)*

Ступаков *(угрюмо)*. Читайте. Исполнение приказов — суть нашей жизни на войне.

Киреева. Тут надо с картой читать. Приказ о создании головного полевого эвакопункта. Наш госпиталь включается в его систему.

Ступаков. Вот как?! Успел-таки Любомиров!

Киреева. Я только суть. *(Читает.)* «Подполковнику Ступакову И. А. скомплектовать и возглавить подвижной хирургический отряд и вместе с госпиталем быть готовым к передислокации в район тылов тридцатого полка седьмой гвардейской стрелковой дивизии...»

Ступаков *(хмуро)*. Понятно. Все ясно.

Киреева *(с любопытством наблюдает за Ступаковым)*. Какие будут указания?

Ступаков. Ну что ж... Приказ есть приказ.

Затемнение.

Декорация первой картины. В кабинете Крикунова прибавилась еще одна солдатская кровать, аккуратно застланная серым одеялом.

У стола, на котором кипит самовар, сидят за чаем Любомиров и Крикунов.

Любомиров. Мало о полковых медиках пишут наши фронтовые газеты. Солдат должен знать и верить: для его спасения наготове армия медицинских работников и целый арсенал медицинских средств. Это тоже важный моральный фактор.

Крикунов. Пописывают больше о красивых санитарках да молодых врачихах.

Любомиров. И это надо. Надо, чтоб и об этой девушке написали. И орденом наградить ее надо! В одном бою вытащить столько раненых — нешуточное дело! Все умоляла, дурочка: «Отвезите к отцу...» Еще бы чуть-чуть промедлили, и никто бы не спас.

Крикунов. Всякое я видел на фронте, но чтобы такую операцию, как вы... вот так, на поляне, в лесу...

Любомиров. Сегодня, с вашего позволения, я съезжу в госпиталь к Ступакову. Посмотрю, как она себя чувствует, подскажу кое-что Ступакову... Интересно, как он встретит меня после того жесткого разговора?

Крикунов. Ступаков воспитан, вежлив. Есть выдержка.

Любомиров. Вежливость отличается от доброты как позолота от золота.

Раздается телефонный звонок. Крикунов встает, берет трубку.

Крикунов. Слушаю!.. Крикунов у телефона!.. *(Закрывает рукой трубку, обращается к Любомирову.)* Из санитарного управления фронта... *(Опять в трубку.)* Нет, нет! Мы все-таки остановились на системе головного эвакопункта!.. Виноват... Признаю... Я же нейрохирург, а не штабист!.. Буду только благодарен! Готов хоть сейчас передать!.. Что Ступаков?.. Алло! Алло!.. *(Кладет трубку.)* Что-то о Ступакове начал говорить, и обрыв. Конечно! *(Прохаживается по комнате.)* Какой из меня начальник санотдела? Я специалист по черепным и мозговым ранениям!

Любомиров. Но ведь у нас нигде сейчас не готовят ни начальников, ни главных. Приходится...

Слышен стук в дверь. Голос из сеней: «Полковнику Крикунову — шифровки!»

Крикунов. Иду! *(Быстро выходит.)*

Любомиров допивает чай, отодвигает кружку, затягивает ремень на гимнастерке, берет полевую сумку. Возвращается со вскрытым пакетом в руках Крикунов.

Крикунов. Вы послушайте, что пишет Ступаков!.. *(Читает.)* «С получением приказа о включении... так... так... Прошу разрешить дислоцировать госпиталь на два километра северо-западнее пункта, указанного в приказе, по соображениям условий транспортировки. Свои со-

мнения о системе эвакопункта снимаю полностью как ошибочные. Ступаков».

Пауза. Любомиров и Крикунов озадаченно смотрят друг на друга.

Любомиров. Как бы я хотел, чтоб с его стороны все это было искренним.

Крикунов. Алексей Иванович, поверьте мне... Ей-богу, он неплохой мужик!.. Может, по молодости делал глупости, а сейчас... Видите? *(Потрясает шифровкой.)* Так разрешим?

Любомиров. Разумеется, если для пользы дела.

Крикунов. Что тут еще... *(Развертывает вторую бумагу, молча читает, прикладывает руку к груди.)* Алексей Иванович... невероятно! «В медсанбат майора Михайлова во время бомбежки прибыли две машины с ранеными. Ввиду невозможности обработки раненых их отправили в полевой госпиталь подполковника Ступакова... Госпиталь отказался принять раненых и завернул машины обратно... Многие раненые отяжелели, а трое наиболее тяжелых... скончались в пути».

Тягостная пауза.

Любомиров *(обессиленно опускается на табуретку)*. Там, во второй машине, была и Вера... Она была самая тяжелая...

Крикунов *(кидается к телефону, с яростью крутит ручку)*. Соедините с двадцатым!.. Шумилов? Позвоните в санотдел седьмой, а еще лучше прямо Михайлову!.. Да!.. Узнайте, кто завернул машины с ранеными?! Уже известно?.. Не может быть... *(Медленно кладет трубку)*. Они проверили... Сам Ступаков...

Занавес.

Картина пятая

Перевязочная палатка операционно-перевязочного блока полевого госпиталя. Столы для перевязок и легких операций, столики с инструментарием и растворами, шкаф с перевязочными материалами. Слева — выход в лес, в глубине — задрапированный простынями переход в операционную палатку.

За столом для записей сидит в белом халате Киреева, что-то пишет в журнале.

На переднем столе полулежит знакомый нам рыжеусый солдат. Медсестра Серафима заканчивает перебинтовывать ему ногу.

Киреева *(закрывает журнал)*. Кажется, палаточные все обработаны.

Рыжеусый. Скоро вам медсанбаты опять подкинут работенки. По всему видать — наступать будем. *(Вздыхает.)* А я уже отнаступался.

Серафима. Давно пора. Уже одичали в лесу. Глаза свербят от того, что нельзя вдаль посмотреть. Простору хочется. *(Заправила конец бинта, подает Рыжеусому костыль.)* Пожалуйста, миленький, можете маршировать на здоровье. Но только поблизости.

Рыжеусый. Отходили ноженьки по большой дороженьке. *(Встает на костыли.)* Гарантируете, что нога будет гнуться?

Киреева. Зачем же ей гнуться? А?

Рыжеусый *(поражен)*. А как ходить?!

Киреева. Для этого нога должна сгибаться, а не гнуться. На гнущихся ногах только пьяные ходят. А ты солдат.

Рыжеусый. Не в лоб, так по лбу... А короче тоже не станет?

Серафима. Тебе ее не укорачивали.

Рыжеусый. А кто вас знает. Оттяпаете что-нибудь под наркозом, забинтуете, вроде так и было. А потом и не найдешь, с кого спросить!

Киреева. Нам чужое не надо... Можем, правда, что-либо пришить дополнительно. Но только по знакомству.

Рыжеусый *(от удивления застыл)*. Как понимать? Внутрях пришить или... на поверхности?..

Серафима *(вступает в игру)*. Это кому что надо. Можно внутри, а можно на поверхности.

Киреева. Да-да. У кого где не хватает.

Рыжеусый *(улыбается)*. Ну, будя!.. Так я вам и поверил.

Киреева. А почему?.. Запчастей, к сожалению, в достатке. Что нам стоит?

Рыжеусый *(колеблется)*. У меня перед войной отрезали этот самый *(пилит рукой по животу)* пендицит... Может, есть смысл, пока я тут валяюсь в госпитале без толку, снова пришить его?

Киреева. Никакого смысла!

Рыжеусый. Это почему же?.. И был бы я опять при полном комплекте.

Серафима. Он вам не нужен.

Рыжеусый. Почему ж не нужен? Все, что от ма-

тери родилось с человеком, — все для чего-то ему нужно...

Серафима. Много мороки... Резать надо, искать место, где он у вас был...

Киреева. Размер подбирать...

Рыжеусый. Я думал — он с «лимонку». А он тонюсенький. *(Показывает мизинец.)* Вот такой!

Серафима. А тебе нужен покрупнее?

Рыжеусый. Мне безразлично, лишь бы прирос!.. Но вы гарантируете приживание?

Киреева. Вот чего нет, того нет. Никакой гарантии! *(Смеется.)* Наше дело портновское — нож и нитка. А далее сами старайтесь, чтоб приросло.

Серафима хохочет и вдруг умолкает. Входит Ступаков в халате.

Рыжеусый. Тьфу!.. А я-то заглотнул, как ерш... Разве такими вещами шутят?...

Серафима. Шутке — минутка, а заряжает на час.

Рыжеусый. Шутили рыбки на сковородке, да и заплясали. *(Направляется к выходу, сталкивается со Ступаковым.)* О! Я этого гражданина где-то недавность встречал!

Ступаков. А-а, верно, верно! На передовой в седьмой гвардейской! Как нога? *(К Киреевой.)* Жаль, что я не успел к перевязке. Все-таки старые знакомые... Под огнем вместе побывали.

Рыжеусый. Так, пожалуйста, повторим! *(С готовностью направляется к столу.)* Лишний глаз не помешает, а тем более мужчинский.

Киреева *(строго)*. Не надо больше рану тревожить. Идите.

Ступаков. Вы бы послушали его, как там, под огнем, санитарки и медсестры работают. Вот где герои.

Серафима. Он нам рассказывал о сестричке, что его выволокла. Молоденькая, говорит, брови в шнурочек.

Рыжеусый. Это точно. Меня тянет, а сама ревет, как телка.

Ступаков. Ну хорошо. Я вас не задерживаю. *(К Серафиме.)* Проводите раненого.

Серафима уходит вместе с Рыжеусым.

Из седьмой гвардейской ничего?.. Не звонила Света?

Киреева *(с усмешкой)*. Лейтенант Цаца для вас уже Света?

Ступаков. Ох, любите вы пригоршнями ветер собирать. Виноват...

Киреева. Нет, не звонила.

Ступаков. Места себе не нахожу. И чувствую себя плохо. *(Прижимает руку к сердцу.)*

Киреева. Так соскучились?.. Ну, выпейте рюмку коньяку — станет легче.

Ступаков *(пронзительно смотрит на Кирееву. После паузы)*. Да, кстати, напомнили. Чует мое сердце: новый армейский хирург вот-вот к нам нагрянет. И проверять меня Любомиров будет с особым пристрастием. Я уже обошел все отделения, дал указания. А вас, Анна Ильинична, как ведущего хирурга, попрошу, если старик появится, взять на себя организацию обеда. Но чтобы без излишеств, без спиртного... Старик не любит этого.

Слышен приближающийся шум самолета.

Киреева. Что ж, так-таки и ни рюмочки?

Ступаков. Помнится, Любомиров за обедом выпивал иногда шкалик спирта... Но то было зимой... Ну, поставьте немножко спирта. Для себя — что хотите. А мне в графинчике чайной заварки, будто коньяк.

Киреева. Зачем же обманывать? Просто скажите, что не пьете.

Ступаков *(с досадой)*. Завидую людям, которые имеют неограниченное влияние на ум женщин! И как это им удается?

Киреева. Ладно, влияйте. Все будет сделано по-вашему. *(Вздохнув.)* Ну а если Любомиров попросит коньяку? Вы ему что, чаю нальете?

Ступаков. Ладно, ставьте коньяк!

Киреева. Но Любомиров, я полагаю, еще до обеда поинтересуется тем, как мы готовимся к наступлению.

Ступаков. Я с закрытыми глазами могу доложить всю схему передислокаций, эшелонирования, транспортировки...

Киреева. Надо бы встретиться с представителями санбатов да уточнить детали взаимодействия.

Ступаков. Одному начальнику медсанбата я уже преподнес урок... Михайлову. Прислал он без обработки две машины раненых. Так я их завернул!

Киреева *(поражена)*. Завернули?! А может, медсанбат не мог.

Ступаков. Как это не мог?.. Стабильная оборона, стоим на месте...

Киреева. В иные времена середина считается ближайшей точкой к истине. Не дойдешь до нее — плохо, перейдешь — тоже плохо. Сколько же люди тратят времени и усилий ума на поиски середины... А вы будто и не утруждаете себя поисками... Вчера были противником головного эвакопункта, сегодня — уже сторонник. Инструкция требует в обычных условиях пропускать поток раненых через медсанбаты... Чтобы как можно быстрее оказывать помощь раненым... Эту же инструкцию вы обратили во зло для раненых...

Ступаков. Ну, знаете! Это, извините, пустозвонство! *(Смотрит в марлевое окошко.)* Кто там в белых халатах прогуливается?! Вот разгильдяи! *(Быстро уходит.)*

Входит Любомиров. Увидев Кирееву, глядящую в марлевое окошко, замирает. Напряженная пауза.

Любомиров. Товарищ майор медицинской службы Киреева, почему не представляетесь армейскому хирургу?! К тому же генералу!

Киреева резко поворачивается. Мгновение радостно смотрит на Любомирова, кидается ему навстречу. Они замирают в объятиях, затем Киреева нежно целует Любомирова — в лоб, глаза, щеки. Вбегает Серафима. Оторопело смотрит на эту встречу и тут же выбегает.

Киреева. Я уже знаю, что ты к нам назначен. Почему ж не звонил так долго? У меня сердце изболелось!.. Сама хотела звонить или ехать разыскивать.

Любомиров. Один мой звонок тебе — и вся армия узнает, что ты моя жена. А в армии не полагается, чтоб у начальника в подчинении были родственники, а тем более жены, да еще такие красивые, как ты.

Киреева. Глупости все это. А зачем же я тогда оставила себе девичью фамилию?

Любомиров. Чтоб моя фамилия не отпугивала от тебя ухажеров... А ну, сознавайся! Не завела себе тут поклонника?!

Киреева. Их тут столько в команде выздоравливающих... Одного трудно выбрать. А ты не обзавелся?..

Любомиров. Присматривался, да лучше тебя не встретил.

Киреева (*смотрит с нежностью*). А ты изменился, постарел за два года.

Любомиров. Зато ты цветешь. Молодец! Горжусь тобой.

Киреева. Кажется, вечность тебя не видела. И даже не верится, что мы встретились.

Любомиров. Письмо мое из госпиталя получила?

Киреева. Получила. (*Печально.*) Неужели ты не мог единственного сына своего не посылать на фронт? Достаточно нас двоих. Он же еще мальчик.

Любомиров (*строго*). Мы уже с тобой говорили об этом не раз. Война — народное бедствие. А у нас семья хирургов... Главный род медицинских войск на фронте. И он хирург...

Киреева. Но ведь будущий... Ох, жестокий ты человек... Бессердечный... (*Нежно.*) Как я по тебе соскучилась. И наконец вместе.

Любомиров. Кажется, в молодости не любил тебя так, не тосковал... (*Осматривается.*) Ну, как ты тут?.. Найду непорядок — попадет тебе.

Киреева. Не найдешь.

За сценой слышен голос Серафимы: «Возьмите носилки вдвоем!.. Вчетвером не пройдете!» Входит, пятясь, Серафима. За ней два знакомых нам санитара с медпункта Гаркуши осторожно вносят носилки. Раненый лежит лицом вниз, покрытый плащ-палаткой. Он изредка постанывает.

Серафима. Они тащат его на носилках прямо с передовой. Больше двадцати километров.

Санитары с величайшей осторожностью ставят носилки на стол.

Киреева. Привезти не могли? Шутят, наверное. (*Вдруг узнает в раненом Савинова.*) Володя?! Лейтенант Савинов?!

Первый санитар (*встает на пути Киреевой*). Осторожно, доктор! Тут мина! А он без сознания. Но жив — донесли...

Киреева (*поражена*). Что за глупости?! Какая мина? Где?

Второй санитар (*устало*). Немецкая. Из ротного миномета.

Первый санитар. Маленькая, как свеколка. Попала лейтенанту в бедро. Застряла и не разорвалась.

Второй санитар. Трогать нельзя.

Любомиров *(подходит к раненому. После минутного раздумья Серафиме.)* Немедленно сюда пиротехника!

Серафима убегает.

Первый санитар. Поэтому и несли. В машине она бы при первом толчке бабахнула.

Любомиров осторожно щупает пульс на руке Савинова, открывает пальцем глаз.

Второй санитар. Нам еще *(указывает на Савинова)* разведчики из его взвода помогли. Они там на улице.

Первый санитар. Лейтенант, когда был в сознании, говорил, что тут есть знаменитые хирурги — Ступаков и... Анна Ильинична Киреева.

Любомиров *(к санитарам)*. Несите его в операционную. *(Киреевой.)* Готовь руки. И обнажай рану. К мине не прикасайся.

Санитары осторожно берут носилки с раненым, несут их вслед за Киреевой в соседнее операционное отделение. Там вспыхивает свет. На парусиновую стену четко проецируются тени. Мы видим, как раненого кладут на стол, как Киреева снимает с него плащ-палатку. Санитары на цыпочках выходят из операционного отделения и, пройдя перевязочную, покидают сцену. Любомиров, склонившись над умывальником, торопливо натирает стерильными щетками руки. Видно, как за парусиновой стенкой моет руки Киреева. Входят Серафима и лейтенант-пиротехник.

(Обливает раствором руки.) Посмотрите мину и сделайте заключение.

Пиротехник. Слушаюсь! *(Уходит в операционную. Видна его тень, склонившаяся над операционным столом.)*

Рядом с ним — Киреева. Она делает какие-то манипуляции.

Серафима *(начинает всхлипывать, говорить сквозь слезы)*. В лесу под Смоленском... санитар дядя Коля... поднял такую мину, чтоб отнести в сторону от палаток... *(Плачет громко.)* Мина в руках.. взорвалась.

Любомиров *(вытирает руки салфеткой)*. Ничего не поделаешь... Солдата надо спасать...

Серафима. Он не солдат... Это гвардии лейтенант...

Любомиров. На операционном столе все солдаты!..

Входят Киреева и пиротехник.

Пиротехник. Товарищ генерал, мину трогать нельзя.

Любомиров. А что можно?

Пиротехник. Мина на «сносях»... Понимаете, при выстреле взрывное устройство приняло крайнее заднее положение... Теперь на боевом взводе. Мина не взорвалась случайно... Амортизация сыграла роль.

Любомиров. Все это теоретически. А практически?.. Какие есть шансы?.. И что бы ты сделал?

Пиротехник *(растерянно)*. Я знаю, что мину трогать нельзя.

Любомиров. Ну, это теория.

Пиротехник. Ну, теория. А тронете — и взорвется... Это практика.

Любомиров. Солдата надо спасать... Тут тебе и теория и практика.

Пиротехник. Я отвечаю за мину...

Любомиров. А я за жизни... *(Сурово.)* Посмотрите, есть ли рядом щели в земле. Если удастся извлечь мину...

Серафима. Щелей кругом много!

Любомиров *(пиротехнику)*. Тогда вы свободны! *(Киреевой.)* Аня, как рана?

Киреева. Кожу вокруг мины промыла и смазала йодом. Рану обложила стерильными салфетками. Ввела морфий и кофеин.

Любомиров. Пульс на голени и стопе прощупывается? *(Надевает марлевую повязку.)*

Киреева *(смутилась)*. Извините... Не проверила. *(Тоже надевает марлевую маску.)*

Любомиров. Прошу всех удалиться.

Киреева *(к Серафиме)*. Доложи начальнику госпиталя.

Серафима убегает.

Любомиров. Аня... А теперь уходи. Удались на безопасное расстояние.

Киреева. Товарищ генерал! О чем вы говорите?! Я ведущий хирург госпиталя... Приказать удалиться вам я не имею права... Но спасать здесь раненого — это моя работа.

Любомиров. Аня... Аннушка... милая... Ведь все может случиться... Зачем же вдвоем?.. Умоляю тебя... Это не женское дело... Ведь у нас еще сын...

Киреева. Алеша, нельзя тебе... Меня нетрудно заменить... Ты, может, один такой на весь фронт. Алеша... все будет хорошо. Я справлюсь... У меня руки не дрогнут. Уйди отсюда. Ну, прошу тебя, Лешенька... *(В ее голосе звучит мольба. Она строго смотрит на Любомирова и идет в операционную.)*

Любомиров медлит, смотрит ей вслед. Затем решительно направляется туда же.

Длительная пауза. На парусиновой стенке видны тени Любомирова и Киреевой, которые начинают операцию.

Затемнение.

Палатка Ступакова. Декорация без изменений. Ступаков стоит перед топографической картой и о чем-то размышляет. Потом подходит к столу и делает какую-то запись.

Ступаков *(размышляет вслух)*. Если они разрешат мне расположить госпиталь на два километра северо-западнее, а они, разумеется, разрешат, тогда Вера может не возвращаться... Санрота тридцатого будет работать в зоне моего передового хирургического отряда, и я прикажу командиру санроты, чтобы моя дочь...

Слышится топот, в палатку влетает взволнованная Серафима.

Серафима *(задыхаясь, говорит сквозь слезы)*. Ой, товарищ начальник!.. Там принесли Володю!.. Страшно ранен!.. Трогать нельзя... А он чуть живой...

Ступаков. Спокойнее, спокойнее, медсестра. Толком докладывайте... Раненые к нам каждый день поступают.

Серафима. Так Володя ж, Володя! Гвардии лейтенант Савинов!..

Ступаков. Савинов? Знакомая фамилия... Постойте! Тот самый! Из команды выздоравливающих?!

Серафима. Да. С которым Верочка утекла!

Ступаков *(сурово)*. Почему истерика?! Вы что, до сих пор не видели тяжелых ранений?..

Серафима. Его нельзя оперировать... Взорвется, и все погибнут...

Ступаков. Кто взорвется?

Серафима. Мина взорвется и всех поубивает...

Ступаков. Какая мина?!

Серафима. Немецкая... маленькая, как свеколка...

Ступаков. Что за чушь? Где мина?!

Серафима *(причитая)*. В ем, в бедре у него застряла!.. Не разорвалась!.. Пиротехник сказал — поубивает всех, если трогать будут!

Ступаков *(трясущимися руками берется за графин, наливает в стакан воду, вначале пьет сам, потом протягивает стакан Серафиме)*. Мина в человеческом теле... Операция сопряжена с гибелью не только раненого... Надо посоветоваться... *(Кидается к телефону, крутит ручку.)* Алло!.. Соедините по экстренному с «Сосной»! «Сосна»?.. Девушка, немедленно главного!.. Главного армейского хирурга!.. Любомирова! Как нет?.. Это Ступаков говорит! К нам поехал?! *(Кладет трубку, делает несколько шагов по палатке. Останавливается перед Серафимой.)* Срочно ко мне Анну Ильиничну!

Серафима *(с удивлением)*. Так она ж его оперирует!

Ступаков *(вздрагивает)*. Она что, не соображает?! Погубит и себя и людей... *(Бегает по палатке, позабыв о Серафиме, которая наблюдает за ним.)* Спокойнее, спокойнее, Ступаков. Так... Значит, взялась за операцию, не спросив ни совета, ни разрешения... Сейчас нагрянет начальство, а в госпитале чрезвычайное происшествие... Анна Ильинична героически рискует жизнью, спасая прославленного разведчика, а начальник госпиталя хирург Ступаков спокойненько отсиживается в палатке... Красиво, ничего не скажешь... *(Вдруг, словно впервые увидел Серафиму, останавливается перед ней.)* Вы подтвердите, что доложили мне о мине после того, как началась операция?

Серафима. Кому подтвердить-то... *(Что-то соображает.)* А-а, подтвержу! А чего ж, подтвержу, коли оно так и есть.

Ступаков. Тогда бегите к пропускному пункту и, как только подъедет машина Любомирова, сразу же позвоните мне!

Серафима. Так они уже приехали!

Ступаков. Когда?!

Серафима. Дак недавно. Приехали и целовались с Анной Ильиничной... А сейчас оба в операционной.

Ступаков (*ошеломленно*). Дура-а!.. (*Выбегает из палатки.*)

Затемнение.

Перевязочная палатка операционно-перевязочного блока. Декорация без изменений.

Сцена пуста. На парусиновой перегородке контрастно видны тени Киреевой и Любомирова, склонившихся над Савиновым.

В перевязочную входит Ступаков. Он в белом халате. Некоторое время наблюдает за ходом операции. За перегородкой вдруг что-то звякнуло. Ступаков в испуге отшатывается. Затем, овладев собой, нерешительно идет за перегородку.

Видно, как выпрямилась тень Любомирова. Слышен его голос: «Иван Алексеевич, прошу вас покинуть операционную...» Тень Ступакова неподвижна. Снова слышен голос Любомирова: «Я приказываю покинуть операционную!»

Ступаков возвращается на сцену, как бы невзначай встает в безопасное место — за шкаф с перевязочными материалами.

Напряженная тишина.

Видно, как Любомиров отходит к столику с инструментами, что-то берет на нем... Вдруг — ослепляющая вспышка, грохот взрыва и... темнота.

После длительной паузы слышны приглушенные звуки духового оркестра, играющего похоронную музыку.

Из затемнения — та же сцена; парусиновая перегородка порвана, иссечена осколками. На сцене один полковник Крикунов.

Крикунов (*нервно прохаживается, оглядывая помещение*). Зачем?! Зачем же они вдвоем?! Глупость какая! Непростительная глупость!

Входит Серафима, отдает честь.

Где начальник госпиталя?

Серафима. Подполковник Ступаков лежит у себя в палатке... Острый сердечный приступ... (*Тише.*) После похорон Анны Ильиничны...

Крикунов. А где остальное начальство?

Серафима. Замполит и начальник штаба поехали на место новой дислокации госпиталя. Говорят, наступать будем? Правда, что ль?

Крикунов. Наступать будем. А госпиталь осевого направления обезглавлен... Как чувствует себя генерал Любомиров?

Серафима. Плохо... Вся спина в осколочных ранах. Скрываем от него, что Анна Ильинична погибла. Сказали — в Москву на самолете отправили.

Крикунов. А этот лейтенант... как его?.. Савинов?..

Серафима. Без ноги остался... Это его на самолете-то и отправили. А генерал Любомиров верит, что Анна Ильинична-то жива...

Голос за сценой. Серафима! Где ты запропастилась?.. Коляску в палатку генерала!

Серафима *(Крикунову.)* Разрешите уйти? Это меня зовут... *(Убегает, столкнувшись на выходе с майором Артюховым.)*

Артюхов *(Крикунову)*. Майор медслужбы Артюхов! Представитель отдела кадров санитарного управления фронта.

Отдав честь, пожимает протянутую Крикуновым руку.

Не застал вас, товарищ начальник, на месте и вот решил следом...

Крикунов. Какие-нибудь новости?

Артюхов. Небольшая перестановка в руководстве. *(Достает из полевой сумки пакет с приказом.)* Вы лично назначены начальником фронтового нейрохирургического госпиталя... Поздравляю. Майор медслужбы Киреева назначена начальником этого госпиталя — вместо подполковника Ступакова...

Крикунов *(хмуро и будто безучастно)*. Майор Киреева погибла...

Артюхов. Как?! Вроде в эти дни не бомбили...

Крикунов. А Ступакова куда же?

Серафима ввозит на коляске перебинтованного генерала Любомирова. Их не замечают.

Артюхов. Подполковник Ступаков на ваше место назначен — начальником санотдела армии... На повышение пошел... Понравилось нашему начальству ваше представление на него... Да и прежняя лестная характеристика генерала Любомирова тоже в его личном деле...

Крикунов *(взрывается)*. Ступаков пойдет под трибунал, а не на повышение!

Любомиров *(горестно)*. Не шумите, дорогой Степан Степанович... Все несчастья на земле происходят от нас, добрячков, от недостатка твердости... И еще от неумения смотреть в грядущее... В Москву не звонили? Как там моя Аннушка?

Крикунов. Делается все возможное, Алексей Иванович... Сам Бурденко спасает...

Любомиров. Надеюсь, очень надеюсь. Ведь Николай Николаевич — светило из светил. *(Вздыхает. После паузы.)* В сорок первом я думал, что спихнул Ступакова с рук. Думал, пусть другие укрощают его себялюбие. Ан нет... вернулся он по мою душу... Теперь расплачивайся, Любомиров, терзайся совестью и болью сердца... *(Помолчав.)* А девчонка, глупенькая, молила: «...везите к отцу».

Артюхов. Простите, товарищ генерал, я что-то не понимаю... Если речь о Ступакове, так... вы же сами рекомендовали его и даже письменно...

Любомиров. Да, сам, сам... Всегда есть виновники того, что кто-то из недостойных оказывается не на своем месте. Вот и я так провинился. По мнимой доброте своей, по беспринципности сами сеем на земле зло. Иной раз хочешь избавиться от недостойного, и на учебу его!.. Или куда-то на выдвижение!.. Лишь бы от себя подальше... Проходит время... Глядь, а он уже недосягаем... И уже льются где-то чьи-то слезы или даже кровь... Или текут в песок народные денежки... Вот так-то... Жуй теперь, генерал Любомиров, горький хлеб истины и запивай из кубка жизни, где влага разбавлена горечью твоих слез...

Крикунов *(Любомирову)*. Давайте подумаем, как быть... Я тоже, как и вы, потрясен поведением Ступакова...

Входит Ступаков; услышав свою фамилию, он замирает на месте.

Любомиров *(будто сам с собой)*. Кто это сказал?.. Во времена социальных неурядиц каждый равнодушный становится недовольным, врагом — каждый недовольный, заговорщиком — каждый враг...

Крикунов *(с тревогой смотрит на Любомирова)*. Алексей Иванович... Вопрос серьезный. Ступакова назначили на санотдел, а во фронт надо докладывать, что он совершил преступление. По его вине погибли раненые, погибла даже его родная дочь...

Ступаков. Что?! *(Кидается к Крикунову.)* Что вы сказали?! Что с моей дочерью?! Какое преступление?! Какая вина?! *(Оглядывает всех.)* Что вы скрываете от меня?!

Любомиров. Мужайтесь, Иван Алексеевич... В одной из двух машин с ранеными, которые вы не приняли, была и ваша дочь Вера. За час до этого я ей сделал сложнейшую операцию...

Ступаков *(отшатнувшись, тихо)*. Вера... Девочка моя...

Затемнение.

ЭПИЛОГ

Та же гостиная квартиры Савинова. Та же декорация, что и в прологе. В той же позе постаревший Ступаков смотрит на Савинова. Тот снимает очки, напряженно всматривается в лицо Ступакова.

Савинов. Вы?..

Молчание.

Марина Гордеевна. Володя... Знаешь, товарищ утверждает, что он отец нашей Верочки... Что он — Ступаков.

Савинов. Иван...

Ступаков *(торопливо)*. Иван Алексеевич...

Савинов. А нам сообщили, что вы погибли... В штрафном батальоне...

Ступаков. Да, там многие погибали. А я вот не погиб. Выжил. Я живучий. Был в плену... Бежал. *(Помолчав, смотрит на фотографию Веры.)* Простите, вчера я тут прочитал в газете вашу речь на похоронах академика Любомирова, и захотелось встретиться, расспросить кое о чем... Это же его заботами я в штрафной батальон попал... И вдруг не могу поверить своим глазам. *(Указывает на портрет Веры.)* Это же моя дочь!.. Ведь она погибла — по моей вине...

В прихожей слышится шум и голос Веры: «Всем на построение!.. С оркестром, цветами и шампанским!» Входят Вера и Алеша.

Вера. Поздравляйте нас! Мы в списках! Теперь Алешка у нас студент!

Вера и Алеша *(хором.)* Ура... Ура... Ура... *(Увидев постороннего, осекаются.)*

Вера *(смотрит приветливо)*. У нас гости?.. Так почему вы так, стоя? Пригласи же, Володя, сесть... *(При-*

глядываясь к гостю, снимая шарфик.) Садитесь, садитесь, пожалуйста. *(Ступаков садится. Володе.)* Ах, какой ты невоспитанный... И будто не рад нам?.. Что-то случилось?

Савинов. Нет, нет, ничего, Верочка. Просто это товарищ ко мне.

Вера *(поглядывая на гостя)*. Вы так напомнили мне одного человека... А впрочем, может, показалось...

Ступаков *(смотрит, потрясенный)*. А вы... вы похожи на мою дочь... которая погибла *(теребит газету на столе)*.

Марина Гордеевна *(взволнованно Вере)*. Пойдемте-ка лучше, я вас накормлю. Вы же с утра не ели.

Савинов *(стараясь отвлечь Веру)*. Да, бывают иногда такие совпадения, сходства... Этот товарищ, Вера, ко мне, по поводу моего выступления на вчерашней панихиде.

Вера. А-а-а... Ну, тогда извините... Так что, Володя? Вечером придется отметить Алешино поступление в институт? *(Треплет шевелюру сына.)* Проходной балл — двадцать один, а мы двадцать три набрали! Разве не радость? И никаких поблажек? Представляете?

Марина Гордеевна *(радостно суетясь у буфета, внуку)*. Как не представить? Вот уж правда — радость так радость. Мать-то извелась совсем, пока ты сдавал...

Вера *(Марине Гордеевне)*. А вы, мама, разве не извелись? От окна не отходили: идет, не идет...

Алеша. Пап, можно, я ребят позову? Генку, Витьку... А Виталька принесет хорошие записи.

Савинов. Ну, конечно, зови. Кого хочешь. Праздник есть праздник.

Алеша. Я позвоню им из твоего кабинета. *(Уходит.)*

Марина Гордеевна. А есть кто будет?

Вера. Сейчас, мама, сейчас. *(Надевает фартук и обращается к Ступакову.)* Вы уж извините, я оставлю вас. Мы тут по хозяйству. *(Мужу.)* Надо к вечеру торт испечь. И пирог мясной. Побольше. Все-таки столько народу будет. *(Уходит на кухню.)*

Марина Гордеевна стоит в нерешительности, смотрит на сына и на гостя.

Савинов. Мама, помоги там Вере на кухне, пожалуйста...

Марина Гордеевна *(спохватившись)*. Хорошо, хорошо, я помогу. *(Уходит.)*

Савинов и Ступаков одни. Ступаков смотрит на Верину фотографию.

Савинов. Да, да. Это моя жена, Вера. И она жива. Ее тогда, в сорок третьем, чудом спас случай. И еще золотые руки профессора Любомирова... Вчера мы его похоронили...

Ступаков *(с радостью)*. А я жив! Остался в живых! *(Осекается и сникает.)* Представляете?.. Это необычная история моего спасения. Тогда же, в сорок третьем...

Савинов *(жестко останавливает)*. Не надо. Это уже другая история. *(Твердо.)* А что касается Верочкиного отца, то он погиб. Погиб. Понимаете? В сорок третьем! На Западном фронте, в штрафном батальоне. *(Многозначительно.)* А все остальное для нас уже не имеет значения.

Ступаков *(потрясенно)*. То есть как?! Как не имеет значения?.. Вы меня лишаете права на дочь, на внука?!

Савинов. Вы сами лишили себя этого права!.. Нет у вас ни дочери, ни внука! *(Смягчившись.)* Вы извините, сын поступил в институт, и сегодня у нас семейный праздник. *(Смотрит на часы.)* Так что время у меня ограниченно.

Ступаков поднимается, теребя газету.

Савинов. Вы хотели что-то спросить о профессоре Любомирове?

Ступаков. Да, собственно, нет.. Теперь уже нет. Здесь все написано.

Савинов. Да, там все сказано. И большего я ничего вам не смогу добавить.

Ступаков *(хотел подать руку, раздумал)*. Тогда что ж... до свидания. *(Уходя, смотрит на Верин портрет.)* Прощайте...

Савинов. Прощайте... Да, вы забыли газету. *(Догнав в дверях, отдает. Вернувшись, устало опускается в кресло. В раздумье молчит.)*

Входит из кабинета Алеша.

Алеша. Всех обзвонил. Витюха придет. И Генка. А у Витальки занято. Перезвоню потом. Ужас как есть хочется! *(Направляясь в кухню.)* Пап, а кто это приходил?

Савинов *(раздельно)*. Да так... Человек из прошлого... Случайно забрел.

Что-то напевая, с полотенцем через плечо появляется Вера.

Вера. Ну что, дорогие мои мужчины? Деловые визиты кончились? Можно и отдохнуть? Ах, сколько мы ждали этого дня? Так ведь, Алешка? *(Что-то ищет на полках буфета, перебирает баночки.)* Где же у нас ваниль? Не могу найти. Какой же торт без ванили? Володя!.. Алеша! Вы не брали ваниль?

Отец с сыном весело переглядываются, хохочут.

Алеша. Наша мамуля в своем репертуаре.

Вера *(перебирая)*. Не то... И это не то.

Достает какую-то баночку, трясет ее, открыв, заглядывает и... замирает. Что-то достав из баночки, медленно идет к Савинову.

Вера *(взволнованно)*. Посмотри, что я нашла. Помнишь? *(Раскрывает ладонь.)*

Савинов. Что это?

Вера. Посмотри. Вспомни. Это осколок снаряда.

Савинов. Осколок из моего плеча. *(Задумчиво.)* Снаряд отливали и начиняли взрывчаткой где-то на заводе в Германии, потом везли на восток, потом заряжали и наконец стреляли, целясь в меня и в моих солдат. *(Смотрит на приближающегося сына.)*

Алеша. Какой осколок, покажи, пап? *(Берет в руки.)*

Вера. Мы еле спасли тебя тогда... Если б не прекрасные руки хирурга Киреевой.

Савинов. И твои золотые руки. *(Целует руку жены.)* И все-таки он привел меня к тебе...

Алеша. Ну, пап, расскажи! Я ж тоже хочу все знать.

Савинов. Обязательно расскажу. Ты это должен знать. *(Повеселев, шутливо.)* Ты не забыл, сколько тебе лет-то?

А л е ш а *(обиженно)*. Ну, восемнадцать.

В дверях кухни появляется М а р и я Г о р д е е в н а: опершись о косяк, она прислушивается к разговору.

С а в и н о в. Так вот, мы храним его с мамой с тех пор, как встретились. *(Подкидывает на ладони.)* Как напоминание о прошлом.

В е р а. Да, о прошлом... *(Прижимает руку к сердцу.)* У меня заболело сердце... Ой... А кто это сейчас у нас был?.. *(Смотрит на мужа, затем на свекровь.)* Почему вы все так странно молчите?.. Да это же... Это же он!.. Отец мой!.. *(К Марине Гордеевне.)* Отец, правда? Отец?!

М а р и н а Г о р д е е в н а. Да, это он... Живой.

В е р а. Папа живой?! *(Умоляюще смотрит на Савинова. Кричит.)* Мой папа-а!.. *(Кидается в дверь.)* Папа, родненький, я хочу видеть тебя! Па-па-а-а!..

Н е м а я с ц е н а.

З а т е м н е н и е.

З а н а в е с.

Публицистические статьи

ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИЗМЕ

Историография накопила бесчисленное количество примеров, опираясь на которые великие умы человечества, начиная от отца истории Геродота, определили в объективных формулах, что главное в исторической науке — стремление проникнуть во внутреннюю, причинно-следственную связь событий, решительное утверждение достоверных фактов и отторжение вымысла. Марксистская историография взяла эти формулы на вооружение, очистив их от идеалистической мякины, наполнив подлинно научным светом и конкретным опытом истории. В видении философской науки и опыта истории выкристаллизовался и марксистский принцип подхода к действительности, заключенный в понятии «историзм». Выражая сущность сего принципа, В. И. Ленин учил: «...Не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь».

Писатель, связавший свое творчество с всемирно-историческим подвигом советского народа в Великой Отечественной войне, не сможет добраться до глубин истины и сделать серьезные обобщения, если не будет исходить из марксистско-ленинского историзма.

Минувшая война — уже история, зовущая к поискам мысли. Такой войны не знало человечество, таких жертв и разрушений не видел мир, таких последствий, какие принесла в социальном плане вторая мировая война, не мог предвидеть ни один титан буржуазной науки.

Вторая мировая война явилась великим уроком для человечества и наиболее тяжким испытанием для советского народа; урок этот никогда не должен забываться во имя будущего. Отсюда и наша жестокая потребность в точных и мужественно-правдивых оценках явлений

минувшей войны, которые дает и еще должна дать советская литература.

За минувшие после войны десятилетия советская литература обогатилась огромным опытом и создала нетленные художественные богатства. Написаны и приняты на вооружение читателями тысячи книг, посвященных борьбе советского народа с гитлеровским фашизмом. Многие десятки книг вошли в золотой фонд литературы — особенно те, которые появились в первое десятилетие после Победы. Они созданы людьми, прошедшими по фронтовым дорогам, познавшими войну на собственном опыте, и написаны о самом главном: как творилась Победа на земле, в воздухе и на море — в атаках, разведках, окопных боях, в тылу врага, в штабах частей и подразделений, в глубинах советского стратегического тыла. Главный герой этих произведений — простой советский человек, воин переднего края, вынесший на своих плечах главную тяжесть фронтового бытия и в полной мере испытавший ужасы войны... Книги М. Шолохова, Л. Леонова, А. Фадеева, Ю. Бондарева, М. Алексеева, Э. Казакевича, Н. Бубеннова, О. Гончара, И. Мележа, Г. Березко, В. Закруткина, В. Быкова, Н. Грибачева, В. Козаченко, И. Шамякина, А. Кешокова, В. Кожевникова, А. Первенцева, П. Федорова и других образовали наш золотой фонд. Он неустанно пополняется все новыми произведениями. Военная проза последних лет обогатилась талантливыми книгами О. Кожуховой, П. Сажина, А. Ананьева, Ю. Збанацкого, Я. Цветова, А. Адамовича, Г. Семенихина, И. Падерина, В. Карпова, И. Чигринова, С. Крутилина, Н. Камбулова и других.

Но время не стоит на месте. Раздвинулись горизонты видения сложностей военных лет: больших успехов достигла наша военно-историческая наука и советская военная мемуаристика; стали доступны для писателей архивы; ощутимее проявились характеры наших полководцев (в их печатных воспоминаниях и в личных общениях с писателями). Все это создало предпосылки для рождения произведений эпического плана. Однако... Трудно было перешагнуть через определенные наслоения и предвзятости, естественно возникшие в ходе борьбы с последствиями культа личности Сталина, нелегко давался поиск точки обозрения событий и определения возможных границ изображения.

И тем не менее, как и полагается в каждом поступа-

тельном движении вперед, появляются очередные проблемы, связанные с дальнейшим развитием темы Великой Отечественной войны в нашей литературе.

1

В силу сложившихся исторических обстоятельств сейчас, когда идет речь о новом этапе в художественном изображении всемирно-исторического подвига советского народа в Великой Отечественной войне, большую роль играет не только постижение художником объективной реальности и знание им подлинной глубины событий. Огромное значение имеет и то обстоятельство, как сам художник относится к постигнутой им реальности в ее взаимосвязях и причинностях, куда устремляет он свою мыслительную энергию в философско-эстетической трактовке событий. Все это нечто шире, чем «позиция художника», и тоже является объективной реальностью. И нет здесь никакого суесловия, ибо взгляды писателя на определенные периоды нашей истории, на те или иные события и процессы, художественно обобщенные в произведении, вторгаются с неизбежной закономерностью в сознание большинства читателей, особенно молодых.

Речь, разумеется, идет не о том, чтобы навязывать художникам определенные взгляды, понуждать их к принятию тех или иных политических, исторических, философских аспектов или концепций. Главное в том, что наше литературоведение и наша литературная критика, опираясь на течение живого литературного процесса, должны с предельной заинтересованностью поддержать с ее точки зрения концепции верные и подвергнуть доказательной критике расплывчатые или ошибочные. В выработке оптимального отношения к этим концепциям следует, на мой взгляд, опираться на единственно правильное положение, выработанное советской историографией. Оно наиболее четко сформулировано в передовой статье «Правды» от 14 февраля 1976 года:

«Коммунистам, всем советским людям свойственно целостное восприятие политики родной ленинской партии во все периоды ее деятельности, живое ощущение преемственности ее революционных, трудовых и боевых традиций. Тщетно недруги социализма пытаются чернить отдельные эпизоды и периоды из истории КПСС, противопоставлять их друг другу. Курс нашей партии

был, есть и всегда будет ленинским; ее отношение к действительности всегда было и будет критически революционным, творчески созидательным».

2

Не может быть двух мнений и насчет того, с каких подмостков должен всматриваться писатель в исторические дали — с сегодняшнего дня или с позиций тех времен, которым посвящено его произведение. Мне думается, что только высоты познаний, достигнутые современностью, только вершины сегодняшней прогрессивной мысли должны стать главным наблюдательным пунктом автора военно-исторического романа. Очень важно, чтобы пафос художнических исканий писателя опирался на новейшие достижения марксистско-ленинской науки сегодняшнего дня. Эти требования неотъемлемы от само собой разумеющейся обязанности художника знать весь строй мыслей, всю гармонию чувств своих героев, какими они (мысли и чувства) были в те далекие годы. Читатель ни на грош не поверит писателю, как показывает некоторый опыт, литературные персонажи которого, живущие и действующие, например, в грозном 41-м, судят о событиях, о политике, о личностях с горизонтов, прояснившихся для нас только после XX съезда КПСС. Не устами своих героев, не модернизацией их суждений и эмоций, а глубинной идейно-философской основой повествования, всем его строем мы обязаны прокладывать мостки из прошлого в современность, всей силой творчества обнажать уроки истории, без измышлений и псевдоноваторского моделирования, не становясь при этом в позу поучителей и ни в коем случае не вырывая читателя из естественного плена подлинности происходящего на страницах произведения, памятуя, что война создала свою правду бытия, свою логику измерений и оценок. Перекраивать то, что было, — значит грешить перед историей, перед читателем, перед своим святым призванием инженера человеческих душ.

Нельзя также чураться поучительных уроков нашей литературы, например творческой одиссеи «Петра Первого». Алексей Толстой не сразу нашел путь к научному пониманию истории. Петр Первый долгое время для писателя «торчал загадкой в историческом тумане». И только вхождение в историю через современность, осмысленную с марксистских позиций, помогло Алексею

Толстому настроить на должную волну свое художническое мироощущение.

При этом вспомним, сколь непросто относился к Петру Первому А. С. Пушкин. В своих записках он не без смятения писал: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, написаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, — вторые вырывались у нетерпеливого самовластного помещика».

Несомненно, что это суждение Пушкина тоже послужило для Алексея Толстого указующим перстом в воссоздании сложного и противоречивого образа Петра.

Оценивая ту или иную историческую личность, нельзя отрывать ее от своеобразия эпохи, от устремлений народных масс, от понимания или непонимания личностью реальных, активно действующих общественно-экономических закономерностей и от условий исторического развития на этом этапе государства и общества. Каждая личность есть порождение своей эпохи.

3

Главная и отличительная черта советского военно-исторического романа — крупноплановое изображение в нем народа и партии как решающей силы, таящей в себе начала исторических сдвигов и творящей эти сдвиги всей своей неукротимой активностью. Только такая позиция писателя, только взгляд на народ как на творца истории, взгляд на партию как на вдохновляющую и ведущую силу эпохи позволят ему воссоздать подлинную историческую правду в приемлемом объеме и без злокачественного субъективизма.

4

Но существует, на мой взгляд, проблема, которую можно бы назвать «объективным субъективизмом». Она отчетливо проявилась во многих мемуарных произведениях о Великой Отечественной войне и стала заметно влиять на художественную литературу.

Известно, что одно и то же событие, один и тот же факт могут по-разному отражаться в человеческом со-

знании, а с течением времени приобретают в памяти некоторую трансформацию. И поэтому вполне естественно, что каждая мемуарная книга несет в себе черты индивидуальности ее автора. В ней может быть свое особое видение войны, свои нюансы в оценках оперативно-стратегической обстановки и действий войск, свое отношение к конкретным личностям и явлениям.

Казалось бы, что этот «объективный субъективизм» нам только на пользу, ибо делает наши представления о событиях войны более разносторонними. Однако авторы некоторых военно-художественных произведений безоговорочно берут «точку видения» и «аспект отношений» иных военачальников на свое творческое вооружение, приобщаются к ним как к единственно правильным и этим лишают свои произведения должной обобщенности и философской глубины. Сие явление грозит развернуться в бедствие для литературы и особенно для художнических исканий молодых писателей.

Отдельные литераторы надеются на силу факта, документа, на близкое к точности воспроизведение тех или иных обстоятельств, почерпнутых в доступных источниках, забывая при этом о ведущем значении силы собственной внутренней убежденности, силы художественных средств, которыми писатель доказывает истинность своего видения и своих верований.

Но встает вопрос: в какой же мере писатель-баталист вправе опираться на военные мемуары? Могут ли печатные воспоминания военачальников являться первоисточниками истины, например, о каких-то конкретных этапах боевых действий? Тем более что нельзя сбрасывать со счетов еще одно обстоятельство: многие суждения о ряде явлений и событий, о конкретных личностях в иных мемуарных книгах, вышедших в 50-х и в первой половине 60-х годов, заметно отличаются от оценок тех же самых явлений, событий и личностей, которые даны в более поздних изданиях. Мне думается, что наличие «субъективного объективизма» в военной мемуаристике мы должны рассматривать как естественный процесс развития общественной мысли в оценках явлений второй мировой войны и как правомерное самоопределение некоторых концепций исторического движения. Поэтому писатели военной темы вправе (хотя наша критика не очень одобряет это) обращаться к военным мемуарам (особенно когда автор мемуарной книги является персонажем или прототипом создающегося художественно-

го произведения), подкрепляя их архивными материалами. Но при этом любой подлинный факт должен быть художественно раскрепощен, переплавлен и поглощен писательской мыслью. И пусть никто не думает, что это легкий путь. Обработка художественными средствами конкретного исторического материала всегда связывает писателя, сдерживает его фантазию, затрудняет выбор изобразительных средств и в целом очень замедляет процесс творчества, делает его мучительным.

5

Сейчас приходят в литературу молодые художники, не принимавшие участия в войне, но пишущие о ней. Задача тех писателей, которые вынесли войну вместе с народом на своих плечах, — оказать молодой смене всяческую поддержку. Молодежь, на которую не столь явственно давят литературные традиции и особенно правда факта и личное причастие к событиям, возможно, скорее найдет новые пути, новые формы и новые средства выражения для очередного шага вперед в военно-художественном творчестве. Мы должны подавлять в себе ревнивое чувство права на первородство в этой трудной и ответственной теме.

Надо также учитывать, что для тех, кто пережил войну в коротких штанишках, она не прошла бесследно в их памяти и в их чувствованиях. Надо помнить об остроте детского восприятия и о том, что «снизу» многое видится укрупненным. Пусть молодежь помножит свои знания на опыт старших, а ее зреющие таланты оплодотворятся творческими удачами и неудачами советской литературы.

Проблема вхождения молодежи в литературу — может быть, самая главная проблема нашей сегодняшней творческой жизни. Не надо только успокаивать себя ее кажущейся простотой. Мы должны бороться со своим консерватизмом, должны следить, чтоб не были зажаты наши тормоза, когда у нас просит лыжню молодая смена.

* * *

Неизмеримо велики социальные функции советской художественной литературы сегодняшнего дня. Они определяются современным процессом развития нашего

общества и международным положением СССР. Рождение и упрочение мировой социалистической системы выдвигает перед советской литературой дополнительные и очень серьезные требования: она должна сыграть и в других странах важную роль для полной победы там марксистско-ленинской идеологии. А тема Великой Отечественной войны — один из важнейших «болевых центров» нашей литературы. Зарубежные читатели, насытившись умозрительными, спекулятивными построениями буржуазных «советологов» и «кремленологов», наслушавшись злобных воплей Солженицына и его своры, должны из каждой новой нашей книги черпать главную правду о Великой Отечественной войне советских народов против немецкого фашизма.

1976

СЕРДЦЕ СОЛДАТА

Когда я встречаю на улице солдата, невольно испытываю волнение. Мне хочется сказать ему доброе слово или просто по-дружески подмигнуть. И не потому только, что при виде солдата вспоминается собственная военная молодость и служба в армии — это по-хорошему суровая школа мужества, которой не одно поколение парней обязано тем, что научилось уверенно шагать по жизни.

Главное в другом: когда видишь солдата, всегда помнишь, что перед тобой человек гордой, трудной и напряженной жизни, человек, в любую минуту готовый на подвиг, готовый к тому, чтобы по первому зову Родины грудью встать на ее защиту от посягательств врагов. Солдат всегда на боевом посту, его помыслы и устремления направлены к тому, чтоб над нашей землей светило яркое солнце и в нашем доме не утихала радостная песня мирного труда. Всегда он держит руку на железе, всегда он сердцем своим устремлен к командиру, которому Родина доверила приказывать.

А в это время его где-то недостаст в девичьих хороводах, где-то тоскует по нему мать, скучает сестра, вздыхает любимая девушка.

Да, служба солдатская — это одна из ярких и трудных страниц биографии мужской половины нашей молодежи. А такие страницы в биографии человека нельзя не уважать, нельзя, прикасаясь к ним, не испытывать

глубокого волнения, восторга. И очень приятно сознавать, что солдат Советской Армии — не только равноправный гражданин нашего государства, но и человек, окруженный всеобщим уважением и любовью.

Однажды мне довелось присутствовать на совещании офицеров в Н-ской воинской части. Когда закончилось обсуждение намеченных вопросов, меня попросили поделиться мыслями о последних художественных произведениях, посвященных военной теме. В это время старший лейтенант Белоусов, глянув на часы, что-то шепнул командиру части и поспешно ушел.

На второй день я случайно встретился со старшим лейтенантом Белоусовым на территории воинской части. Разговорились. Офицер высказал сожаление, что вчера не смог принять участие в беседе о литературе. Тогда я, в свою очередь, поинтересовался причиной его столь поспешного ухода. И вот что я услышал.

Два взвода из роты, которой командует старший лейтенант Белоусов, заступали в караул. Перед самым разводом караулов Белоусов узнал, что один из его солдат получил письмо с неприятной вестью. И старший лейтенант Белоусов решил немедленно подменить солдата.

— Живой человек ведь... — раздумчиво объяснил офицер свое решение. — Зачем оставлять хлопца наедине с тяжелыми мыслями?.. Послал я его на полигон хозяйственными работами заниматься. В труде и среди людей горе легче переносится.

В словах офицера я почувствовал такое участие к судьбе солдата!

Нахлынули раздумья — о воинской службе, о солдатской жизни, о высоком благородстве профессии офицера, которые мне захотелось вкратце изложить на бумаге. И разумеется, эти заметки отнюдь не претендуют на исчерпывающее освещение какого-либо круга вопросов воинского воспитания. Это, повторяю, лишь заметки...

В каждой груди бьется сердце — трепетное, горячее, способное любить и ненавидеть, испытывать счастье, радость и страдание. Каждый человек, будь он солдат или генерал, рабочий или академик, одинаково способен испытывать самые сложные душевные переживания. Подобно скрипке, которая звучит от малейшего прикосновения к ее струнам, человек откликается звучанием своих чувств на прикосновение к ним жизни. И откликается по-разному. От грубых ударов по струнам скрип-

ка издает раздражающие звуки, и, наоборот, в умелых руках она рождает пленительную музыку. Точно так же и человек: малейшее нарушение в обращении с ним этических норм рождает в его душе протест и негодование; на искренность же и уважение к себе он отвечает всеми своими добрыми качествами.

Хотя сказанное выше — аксиома, помнить о ней, понимать ее не только разумом, но и сердцем необходимо каждому, и в особенности сержантам и офицерам, как лицам, наделенным властью, призванным воспитывать и обучать подчиненных им людей, одетых в солдатскую форму.

Почему именно в первую очередь командир никогда не вправе забывать эти всем известные общечеловеческие истины? Потому, что иначе он не оправдает возложенного на него высочайшего доверия, не станет подлинным воспитателем, наставником своих солдат, не найдет ключа к их сердцам; потому, что командир — это отец солдата. Он отвечает не только за настоящее своих подчиненных, но и за их будущее.

В чем же главнейшем должно проявляться понимание командиром сущности человеческой психологии? На такой вопрос в какой-то мере отвечает и приведенный выше пример из командирской практики старшего лейтенанта Белоусова. Из этого примера, как и из тысячи других, вытекает совершенно определенный вывод: к солдату всегда надо относиться с уважением и заботой.

Данный вывод тоже, конечно, не является открытием. В нашей армии взаимное уважение начальника и подчиненного — элементарная норма поведения, непреложный закон, подкрепленный уставами. Хочется только сказать, что уважение к солдату должно проявляться в большом и малом, а главное, искренне.

Рассмотрим хотя бы такой абстрактный, но типический по обстоятельствам пример. Из деревни или из города отправляется на службу в армию парень. Преисполненный самыми благородными устремлениями, он зачастую рисует в своем воображении солдатскую жизнь в ярких романтических красках. Он жаждет подвигов, приключений и парадов под звуки фанфар. А на поверку оказывается, что солдатская профессия, хоть и интересная, почетная, но ой какая трудная, подчас буднично однообразная, требующая такого напряжения всех человеческих сил — физических и моральных, что только

высокое сознание своей священной обязанности перед Родиной помогает с честью преодолевать эти трудности.

Ну а если молодому воину покажется, что какая-нибудь очередная трудность вызвана не условиями службы, не задачами боевого совершенствования, а прихотью или нераспорядительностью, а то еще хуже — несправедливостью командира? Ведь и в этих обстоятельствах он обязан повиноваться? Да, обязан. Каждый хороший солдат и виду не подаст, что он осуждает в данном случае своего начальника. А как должен поступить начальник, чтобы в глазах подчиненных при подобных обстоятельствах не выглядеть в дурном свете?

На этот вопрос многие дадут такой железно правильный ответ: командир любого звания и занимаемой должности обязан придерживаться золотого закона — все рационально, что разумно. То есть подчиненные всегда должны понимать целесообразность, разумность своих усилий, на что бы они ни были направлены.

Но ведь специфика военного дела требует от командира приказывать, не мотивируя своих приказов, хотя каждый командир заинтересован, чтобы его подчиненные не только разумом, но и сердцем приняли приказ к исполнению.

Вот тут-то и играют важнейшую роль взаимоотношения, установившиеся между начальником и подчиненным. Если солдат чувствует, что командир ценит его, относится к нему, как к человеку, с уважением, требует с него хотя и строго, но справедливо, он всегда будет воспринимать любые его распоряжения без малейшей тени сомнения.

Разумеется, нелегкое дело, имея под своей командой много людей — будь это отделение или рота, — найти с ними душевный контакт, установить сердечные отношения. Ведь сколько людей, столько и характеров. И каждый характер требует своего подхода, учета его особенностей. Но на то сержант или офицер и называются воспитателями, на то занимаемая ими должность и отмечается соответствующими воинскими званиями. Они обязаны поставить себя среди подчиненных так, чтобы те всегда чувствовали отеческое внимание к себе.

Чертами характера командира должны быть простота, заботливость и требовательность. Доброе слово начальника облегчает солдату вещевой мешок и оружие в походе, делает тверже его шаг, крепче руку и зорче глаз. Казарма становится воистину родным домом, если ко-

мандир не забудет поздравить солдата с днем рождения, не оставит его без внимания во время болезни, поинтересуется домашними делами...

Это только небольшая частичка того, из чего складывается, в чем проявляется уважение командира к солдату, уважение, которое рождает у солдата к своему начальнику ответное уважение, помноженное на искреннюю, суровую любовь.

Могут, конечно, найтись люди, которые заметят: а если среди моих подчиненных есть люди мне несимпатичные? Почему я их должен уважать?

Вполне возможно, что в подразделении найдутся солдаты, не вызывающие по тем или иным причинам симпатий у командира. Ну и что ж? На то ты и воспитатель. Подави свою неприязнь! Ведь никто тебя не заставляет объясняться солдату в любви. Но коль он твой подчиненный, коль тебе вручена его военная судьба, не имеешь права относиться к нему предвзято. Ты отвечаешь и за его характер, который обязан формировать, и за его отношение к тебе как командиру. Ведь командир действует не только от себя лично, а и от лица службы. Часто же мы слышим эту сакраментальную формулу: «От лица службы объявляю...» Так будь добр, если не от себя, так от лица службы выказывай уважение к солдату. А служба обязывает относиться к своим обязанностям с душой. Следовательно, и твое отношение к подчиненному должно быть не наигранным, а подлинным. Ведь даже малейшая фальшь дойдет до сердца солдата. Не зря ж говорят, что сердце глухим не бывает.

Существует в армии непреложный закон: любой проступок военнослужащего командир не имеет права оставлять без внимания. Этот закон имеет и другую сторону: успех, проявление доблести должны быть замечены командиром, и замечены так, чтоб солдат это почувствовал. Пристальное, по-доброму заинтересованное внимание к успехам подчиненного — это и есть элементарное уважение к нему начальника.

Но при этом, разумеется, нельзя забывать, что солдат — не кисейная барышня, а армия — не институт благородных девиц. Добрые взаимоотношения подчиненного и начальника не исключают суровой требовательности последнего. Строгая и постоянная требовательность к солдату украшает командира не меньше любого воинского отличия. Но требовательность ничего общего

не имеет с бестактностью, грубостью и бессердечием, которые ставят командира в глазах подчиненного в самое низкое положение, какое бы звание он ни носил и как бы образован ни был.

Я знаю одного заслуженного офицера, который очень правильно рассуждает о человеческой добродетели, о высоком назначении командира как наставника и воспитателя подчиненных. Убежден, что и в размышлениях наедине этот офицер весьма правильно толкует о своем долге, достоинстве и чести, о нормах взаимоотношений с подчиненными. Но вот на практике поступками этого человека руководят порой случайные обстоятельства. О нем, а он, прямо скажем, не одинок, часто говорят: «Такому не попадайся под горячую руку». Придет на службу не в духе или получит замечание от вышестоящего начальника — и тогда беда подчиненным. А успокоится — милейший человек, да еще добродушно подтрунивает, что кое-кого из попавшихся на глаза вогнал в пот.

Человек, наделенный властью, если он дорожит своей честью, если он хочет, чтоб его распоряжения выполнялись не за страх, а за совесть, если он, наконец, понимает, что призван утверждать в характерах людей, зависимых от него, доброе и светлое, обязан придерживаться золотого правила: уважать подчиненного точно так же, как уважает он (командир) самого себя и как он желает, чтоб старший начальник уважал его самого.

1959

ВЕЛИЧИЕ ЗЕМЛИ

Уходящая в глубь тысячелетий история человека неразрывно связана с землей, на которой он обитал, которая его кормила и являлась ареной борьбы с природой и себе подобными. Занимательна эта история своей сложной и в то же время простой сущностью, и складывается она из множества непростых и разновеликих ступеней, по которым шагала жизнь из далекого прошлого.

Нелишним будет оглянуться на иные из этих ступеней, дабы мысль наша, согретая чувствами сердца, взволновалась, ощутив высоту, достигнутую человеком на своей земле и в борьбе за свою землю. Итак, молодея из глубины веков, земля будто сознательно избрала человека своим властелином и стала кормить его своими

дикорастущими плодами, злаками, травами. И начала пробуждать в человеке мысль о том, что любовь приносит счастье только при взаимности, а следовательно, человек обязан платить земле лаской к ней, не жалея усилий и не останавливаясь перед загадками природы...

И хотя человек в своей темноте долго удивлялся, как это удается земле выращивать сладкое и кислое, пряное и горькое, красное и зеленое, как удается ей взметать одни плоды на деревья, а другие холить под своим покровом, он, этот человек, уразумел главное: земля — ласковая мать его, которая становится недоброй мачехой, если не прикладывать к ней рук, если не помогать ей, если не бороться за нее.

Да, время — мудрейший учитель. Человек-потребитель постепенно превращался в человека-творца, и это превращение сопровождалось большими и малыми открытиями законов земледелия и плодородия. Земля щедро платила за это человеку добром.

Но не дремало и зло: человек стал превращаться в собственника, и дальнейшая его поступь в грядущее уже стала процессом социальным. А поскольку все великое начинается с малого, то и первобытное социальное неравенство несло в себе с каждой новой общественной ступенью то неравенство и те доклассовые, а затем классовые противоречия, которые явились предметом глубоких исследований передовых умов человечества и которые затем вылились в четкие формулы марксистского учения.

Все это выглядит будто бы просто, если б стремительной лавиной не нарастали вместе с общечеловеческим прогрессом социальные сложности. Мы не будем всматриваться в те времена, когда, случалось, брат убивал брата за вершок земли, за подпаханную межу, не будем говорить о ситуациях классовой борьбы высокого драматического накала. Сосредоточим свою мысль на событии самом разительном по масштабности и социальной заостренности. Оглянемся на Великую Отечественную войну советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Ничего подобного еще не видела история... Огромные пространства земли, которая родила хлеб, плодоносила, кормила народы крупнейшего государства и снабжала его промышленность сырьем, топливом и электроэнергией, — эти пространства стали ареной вторжения несмет-

ных фашистских полчищ, ареной кровопролитнейшего единоборства. Эта земля обильно поливалась кровью, усеивалась свинцом и железом, опалялась пожарищами, кромсалась гусеницами, становилась вечным покоем ее погибшим защитникам и лобным местом завоевателям.

И словно изменились все прежние физические понятия о земле, иную значимость обрели на время поля и леса, кустарники и луга, овраги и возвышенности, реки и речушки. Они как бы включались в сражение, становясь важными слагаемыми в грозных боевых действиях противоборствующих сил. Но самое главное, земля наша в эти трагические времена как бы обрела трубный голос, обращенный к ее защитникам. Он, вплетаясь в набатный хорал чувств патриотизма, совести, достоинства и чести, воспламенял в сердцах советских воинов огонь ненависти к захватчикам, придавал им богатырскую силу, возвышал их дух, обнажал величие целей борьбы против гитлеризма.

Советская земля — колыбель Октябрьской революции, обиталище воплощенных в дела бессмертных ленинских идей, грандиозная, полная многоцветья и радости панорама жизни советских союзных национальных республик — стала зовущим знаменем и символом непокорства. В ее оккупированных врагом областях заполыхала партизанская борьба, а те безбрежные пространства Советской державы, куда войне было не докатиться, словно бы с первозданной силой материнства и в едином ритме с героическим трудом народа взращивали все необходимое для фронта...

Так было. Ценой больших жертв мы пришли к Победе, вначале пережив горечь захвата врагом больших наших территорий, а затем испытав радость избавления родной земли от фашистской чумы.

С той поры, когда был повержен фашистский Берлин, миновало более тридцати лет. Давно зарубцевались раны фронтовиков. Многие из бывших воинов, отжив свое, уже спят вечным сном. Притушилась в сердце народа боль по тяжким утратам. Но только притушилась, ибо сиротские слезы навсегда опаляют сердце и омрачают память, а тоска вдовствующей женщины или потерявшей сыновей матери умирает вместе с ней.

А родная наша земля?.. Перепаханная жестокими плугами войны, начиненная рваным железом и свинцом, минами, снарядами и бомбами, она тоже залечила

свои раны, хотя эхо войны нет-нет да и вспугнет над ней тишину. Земля наша окружена великой заботой, ибо является она бесценным, самым главным богатством советского народа. Заботами хлеборобов давно наполнены животворной силой даже те неплодоносные пласты, которые война взметнула на поверхность почвы. Однако шрамы на лике земли будут видны еще десятилетия, будут напоминать людям о канувшем в прошлое лихолетье. Если бы современные лайнеры не уносили нас в поднебесье, откуда земля видится в голубом мареве, мы бы видели, сколь многочисленными «письменами» войны покрыты наши поля и луга, опушки лесов и окраины населенных пунктов. Я видел эти «письмена», пролетая на маленьком самолете над полями Орловско-Курского сражения... Вся панорама бывших траншей, ходов сообщения, огневых позиций артиллерии, командных пунктов просматривается будто сквозь кисею... Время от времени я бываю в тех местах, где проходила моя фронтовая юность. У деревни Валки Дзержинского района Минской области я и сейчас могу найти контуры орудийного окопа на обочине дороги, который мы вырыли 27 июля 1941 года... Мой друг писатель Михаил Алексеев, участник Сталинградской битвы, часто навещает место своего командного пункта и яблоньку, которая живет с тех давних времен.

Время неумолимо, однако не всесильно. Всесильны только люди, если иметь в виду доступное их возможностям. А возможности их оказались фантастическими. За короткий срок искалеченную войной землю они сделали еще плодородней. Сейчас, куда ни оглянись, есть над чем задуматься, есть чему удивиться и порадоваться.

Любовь советского человека к своей земле выражается не только в труде и в привязанности к родным местам, но и в песнях, в народных обычаях, в народном творчестве и в творчестве профессиональном. Неиссякаем поток книг, в которых на всю глубину чувств исповедуется любовь к родным просторам. Примечательно, что писатели послевоенного поколения с энтузиазмом подхватили в своих произведениях яркую, звучную и взволнованную песенность своих предшественников, обращенную мыслью и сердцем к матушке-земле. Сколько, например, воистину талантливых строк об этом можно прочесть в полюбившихся читателям книгах М. Алексеева и А. Иванова, В. Закруткина и С. Ворони-

на, О. Гончара и Н. Шундика, И. Мележа, М. Зарудного!.. Не утихает на советской земле песнь в ее честь и ее славу!..

1975

ЛЮБОВЬ МОЯ И БОЛЬ МОЯ

Каждый раз, когда я собираюсь навестить Винничину, испытываю, кроме волнующей радости, тревогу, что не сумею увидеть, распознать, осмыслить что-то самое главное, очень важное для меня как писателя. Что же есть это главное, в чем суть его?.. Трудно сразу ответить на такой вопрос, трудно облечь в слова чувства, которые смутно брезжат в сердце... Дело в том, что в каждую поездку главное бывает совершенно разным...

Соловьиная Винничина, благословенная земля! Как в каждом краю, обитают там счастье и горе, любовь и ненависть, добро и зло, обитает там все вечное и преходящее, из чего складывается человеческая жизнь. Но по моему, может наивному, убеждению, Винничина — это самая близкая к небу, самая живописная и песенная земля на планете. Такого мнения придерживаюсь я, наверное, потому, что там, в селянской хате, родился и вырос, что все там начиналось для меня впервые в жизни — от первого, самого дорогого слова «мама», первого шага по глинобитному полу, первой боли до первого радостного осознания, что я человек. Все, что есть во мне, в моем сердце — доброе и дурное, — все родилось там, и я не стыжусь восторженности, когда думаю и пишу о родном крае, о дорогих моих земляках. И надеюсь, что читатель не осудит меня, как не осудит другого человека за его сердечную любовь к матери...

Я помню Винничину двадцатых годов, помню свое полусиротское детство с пастушьими тропинками и зябкими рассветами. Нет, не замирало мое сердце от восторга, когда над темной гребенкой далекого леса величественно вставало огненное светило, зажигая на полях и лугах росное серебро. В сердце несмышленыша пастушка еще не просыпалась поэзия, еще не родилась чуткость к красоте. Пастушок относился к солнцу чисто потребительски — ему нужно было тепло, ему хотелось, чтобы быстрее спáла холодная роса, обжигающая босые ноги.

Детство почти всех селянских детей в те не столь

далекие годы протекало на пастбищах. И, как всякое детство, оно никогда не задумывалось ни над прошедшим, ни над будущим; оно жило настоящим, а природа не спешила совершенствовать его ум в ущерб еще не окрепшему сердцу; она как бы впрок откладывала самое себя в потаенные уголки памяти детей, чтобы, когда прозреют их сердца, воскреснуть в них живыми картинами, может, более яркими и более волнующими, чем те, которые они будут наблюдать вокруг себя в трудовой обыденности, отягощенные тревогами о земле и хлебе.

А пока хлопчики и девчата упивались своим настоящим, жили нехитрыми заботами, неосмысленно постигали сущность всего живого, что их окружало. С закатом солнца, смертельно усталые, брели они домой. В сумерках хаты присаживались к столу, где вечеряла из одной миски семья... Засыпали там, где смаривал сон, — на топчане, на лавке, на полатях либо на печке. Никто не имел понятия, что такое «моя кровать», «моя подушка». Одеяла и простыни заменяли домотканые рядна или старые свитки. Единственное, что каждый имел свое, — это ложку, ароматно пахнущую деревом. И никому в голову не приходило, что жизнь может быть иной, никто не задумывался, почему белый хлеб появлялся в хате лишь на рождество и на пасху, почему чай кипятили только для захворавших, хотя в каморке стоял мешок, а то и два сахара, полученного на сахарном заводе за сданную свеклу.

Каким все это кажется сейчас далеким и невероятным! Как не похож образ жизни нынешнего украинского села на ту отшумевшую жизнь! И детство — далекое Вчера, — как всегда, самое верное зеркало Сегодня. По его цветению легко распознать все содержание людского бытия.

Во многих селах Винничины побывали мы недавно с моим другом Николаем Козловским, известным фотомастером, старейшим корреспондентом «Огонька». Мне почему-то хотелось увидеть хоть одного босоногого хлопчика — ну не из-за бедности бегающего босиком, а хотя бы озорства ради. Не увидел. Смотрел на детей, которые выросли на той же земле, под тем же небом, что и я, разговаривал с ними, даже угадывал знакомые черты в их лицах, черты, передавшиеся им от родителей, известных мне. И кажется, совсем они другие, ничем не похо-

жие на наше пастушье племя двадцатых-тридцатых годов. Не потому, что все они хорошо одеты, со школьными портфелями или сумками, что многие — с велосипедами. Это дети новой эпохи, перед которыми жизнь уже успела раскрыться своими самыми лучшими, самыми прекрасными гранями.

Все это не ново и элементарно, но иногда нужно прикасаться к нему мыслями, чтобы явственнее ощущать всю глубину преобразований жизни народной.

И вот мы странствуем по живописным дорогам Винничины. Немировский шлях — добротное асфальтовое шоссе; по его обочинам раскинули могучие ветви липы-гиганты. Но нас тянет в «глубинку», и наша машина сворачивает на Гуменное, за которым распростерлись необозримые хлебные поля и свекловичные плантации. Вот она, богатая земля Винничины, та самая земля, о которой говорят: «Воткни в нее оглоблю — телега вырастет».

Нас сопровождает заместитель председателя Винницкого райисполкома Петр Павлович Чорный — действительно чернявый, густобровый крепыш. После того как мы побродили по хозяйству колхоза имени Мичурина, поговорили с доярками и поехали дальше — в село Александровку, затем в Оленовку, я уловил удивленно-насмешливый взгляд Петра Павловича. Этот взгляд как бы говорил: «Ничегошеньки ты из окна машины да при коротких остановках не увидишь и не поймешь». Но я видел именно то, что меня интересовало: строятся ли новые дороги, много ли осталось хат под соломенными крышами, есть ли в селах клубы, много ли телевизионных антенн поднялось над домами, шагнуло ли электричество в самые отдаленные переулки.

И тут мне вспомнился недавний разговор в Москве с прозаиком Анатолием Калининым, который постоянно живет в хуторе Пухляковском на Дону. «Как аккумулятор нуждается в периодической зарядке от источника электроэнергии, — сказал он, — так и писателю надо пополнять свои чувства, наблюдения, свой эмоциональный заряд от родной земли, от людей, среди которых он родился и вырос».

Какая верная мысль! Ведь нечто подобное происходит и со мной, когда я попадаю на родную Винничину. Да и сейчас, когда мы ездим по селам Винницкого района, я не могу сдержать радостного волнения от того,

что под колесами шумят новые дороги, что почти не встречаются соломенные стрехи...

В селе Михайловка нас ожидало приятное свидание с председателем колхоза имени Чапаева Явтухом Ивановичем Ксенчиным, награжденным орденом Ленина за успехи артели в выращивании свеклы. Мы с ним старые знакомые: в тридцатые годы Явтух Иванович был председателем колхоза в моем родном селе Кордышивка и славился не только как хороший хозяйственник, но и как автор всякого рода афористических изречений; это ему, например, принадлежит ставшее широко известным предупреждение выпивохам: «Не пей самогонки, а то ботва на голове вырастет».

Заговорили о делах в колхозе, о видах на урожай, о преимуществах выращивания свеклы перед зерновыми, о заработках механизаторов и животноводов, о степени обеспеченности работой колхозников зимой и летом. Картина довольно отрадная: артель с превышением выполняет государственные поставки и дает людям полную возможность иметь хороший заработок.

Я ощутил смутную тревогу от того, что не задал Явтуху Ивановичу какого-то главного вопроса, и, когда он приглашал нас на обед, я старался оттянуть время и подольше посидеть в тени на лавочке возле конторы колхоза. Наблюдательный Петр Павлович Чорный, то ли уловив мою тревогу, то ли обратив внимание на сбивчивость моих вопросов, предложил зайти в контору и познакомиться с документами артели. Но разве могли документы сказать больше, чем прямой разговор, тем более что я еще до этой поездки был оснащен цифрами вполне достаточно! И деликатно отказался заходить в контору. Тут же мелькнула догадка: «Не ждали ли нас в этом колхозе, если документы наготове?»

Я помню Явтуха Ивановича Ксенчина как рачительного хозяина, как председателя, умеющего ладить с людьми и всегда проявляющего о них заботу. Вспомнилось, как в голодный тридцать третий год он открыл в колхозе столовую для учеников начальной школы и однажды, когда я, третьеклассник, дежурил по столовой, дал мне тайком кусок хлеба сверх пайка.

За обедом Явтух Иванович, посмеиваясь, напомнил мне, что я не умел толком управляться с парой захудалых лошаденок на каких-то работах, а я предъявил ему претензию, что недополучил чашку меда за то, что пас колхозных телят, и мне этого меда жалко до сих

пор. Словом, велся то веселый, то грустный разговор, какой обычно ведется между старыми знакомыми, которые давно не виделись. А вот то главное, о чем нашептывала мне интуиция и что хотелось узнать, никак не удавалось выкристаллизовать в четко выраженную мысль... Так, не уяснив для себя какого-то самого главного вопроса, мы и уехали, взяв курс на Кордышивку, где нас в ряду других встреч ждала встреча со Светланой Дацюк.

Впервые я увидел ее два года назад в кордышивском лесу — самом прекрасном из всех лесов на земле. Я возвращался из знакомого ельника, который мы, второклассники, посадили в тридцать втором году. Закопали в землю еловые шишки, и сейчас на том месте вымахали могучие великаны, непривычно соседствуя с лиственными деревьями.

Над крутым лесным оврагом перекликались грибники. И вдруг мне навстречу вышла девушка с лукошком. Я замер на месте. Кажется, я ничего очаровательнее еще не видел!

— Добрый день, — певуче поздоровалась девушка, с любопытством посмотрев на меня бездонными, диковатыми глазами.

— Здравствуй, — ответил я и заметил, что под моим взглядом девушка чуть покраснела. Тут же, по сельскому обычаю, спросил у нее: — Чья ты такая?

— Сяньчина, — ответила девушка и, смутившись еще больше, заспешила к подружкам.

Идя к селу, я все думал о том, как богата земля красивыми людьми.

«Сяньчина», — звучал в моей памяти ее голос. И вдруг я вспомнил: Сянька — жена моего школьного дружка, Мити Дацюка!.. А девушка эта — их дочь Светлана!

И сердце мое зашлось от боли. Заметьте: девушка, когда я спросил, чья она, назвала имя матери, а не отца.

Дмитрий Павлович Дацюк... Вернулся с войны он в звании старшины, вся грудь в боевых наградах. Избрали его председателем колхоза. Трудные то были времена послевоенной разрухи. Многое удалось сделать Дмитру, а многое не удалось. За давностью не помню, как все произошло, но знаю, что Дмитро Дацюк оставил семью, родное село и переехал в соседний район. И там погиб — трагически, при загадочных обстоятельствах...

И вот мы ведем с его дочерью неторопливый разго-

вор. Перед нами сидела красивая девушка с загорелым лицом и несколько недоумевающими глазами. Ее лучистый взгляд с какой-то нетерпеливой деликатностью спрашивал: «Что вам от меня нужно?» А я с горечью размышлял над тем, что Светлана уже не казалась мне лесной русалкой (да простит она меня за такую откровенность), что два года, которые я не видел ее, будто бы чуть притушили красоту девушки, огрубили нежный овал лица. Но тут вспомнил, что когда впервые увидел ее, была весна; сейчас же — разгар лета, разгар полевых работ, а солнце да ветер никого не щадят, не пощадили они и Светлану. В памяти всплыла заключительная строфа поэмы Василия Федорова «Проданная Венера», по-иному прозвучали взволнованно-горестные слова:

За красоту людей живущих,
За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

Да, что поделаешь: приходится платить и человеческой красотой во имя того, чтобы жизнь не была уродливой...

На попечении Светланы Дацюк около двух гектаров свеклы! Тяжкий это труд, еще мало механизированный. Сколько раз, согнув спину, надо тяпкой переворошить такую площадь земли, вначале уничтожая сорняки, а потом и лишние всходы. Каждую свеколку приходится обласкать пальцами, оставляя в кустистом ряду самую сильную. Сколько часов, дней, недель надо провести на жаре и ветру в нелегкой работе! А потом в слякотную осень уборка свеклы...

— Тяжело? — с чувством виноватости спросил я у Светланы.

— Конечно, нелегко, — ответила она с веселой снисходительностью. — Но кому же, как не нам, молодым, за нелегкое браться! — И посмотрела на нас, как на неразумных детей.

В этом ее взгляде, в мимолетной улыбке, в певучем голосе проглянуло такое очарование, что мне опять погрезилась лесная королева из сказки и подумалось, что живописцы, наверное, вот в такие мгновения и постигают всеобъемлющую сущность человеческой красоты, запечатлевая ее сияние на полотне.

— Работаем же не за спасибо, — добавила Светла-

на, будто рассеивая какие-то наши сомнения. — Теперь все хотят работать...

Я уловил глубокий смысл в этих непростых словах...

...Наша «база» в Кордышивке — в новой, отлитой из шлакобетона хате Миколы Яковлевича Штахновского, шофера автобазы Степановского сахарного завода. Микола — муж моей племянницы Елены Борисовны, кордышивской учительницы. Несколько лет терпеливо возводил он хату, и сейчас у самого леса на краю села высится она, могучая, гордая, как некое оборонительное сооружение. Попутно замечу, что столбы для ворот и для штакетника Микола отлил тоже из смеси цемента и гравия (разумеется, на каркасе из толстой проволоки), и суждено им теперь целые века нести свое назначение.

Вечером Микола Яковлевич решил по случаю приезда гостей устроить иллюминацию — дать дополнительное освещение не только в хате, но и во дворе, в переулке. И перестарался: начисто сгорели пробки на щитке и даже перемычки на столбах. Все погрузилось во тьму. Но электрослужба в селе работает надежно: через полчаса на столбе уже сидел монтер и не в лучших выражениях «благословлял» обескураженного Миколу.

...Застольная беседа не располагает к деловым темам. Мы сидим в компании первого секретаря Винницкого райкома партии Василия Кирилловича Кравчука и секретаря по пропаганде Петра Трофимовича Кугая. Здесь и председатель колхоза имени Можайского Леонид Игнатович Веретинский, и уже знакомый читателю Явтух Иванович Ксенчин.

Петр Трофимович Кугай — непревзойденный мастер рассказывать анекдоты. И каменные стены хаты гудят от надсадного хохота. От небылиц переходим к былям.

— Недавно на колхозном собрании был случай, — рассказывает Леонид Игнатович. — Собрание уже к концу подходило, но председательствующий все выспрашивал, нет ли еще желающих выступать. А один дедок уснул в заднем ряду. Какой-то школьник, шутки ради, растолкал его и шепчет:

— Диду, чего ж вы молчите? Выступайте!

— Га-а! — проснулся дед. — Зачем мне выступать?

— Так решили ж на вашем огороде мельницу колхозную строить! Каменную!

— Что, что?! На моем огороде?! — И сорвался с места. — А ну дай слово, голова!

Вылетел дед на трибуну да как заорет:

— Вы что, сдурели?! Я столько лет в колхозе проработал, а вы мельницу на моем огороде?.. Кто дал право? За такие дела по шапке получите!

А собрание ничего не понимает. Все пялят на деда глаза, думают — рехнулся. Утихомирили только тем, что напомнили: права колхозников на приусадебные участки закреплены в партийных и государственных документах.

Постепенно переходим к разговору о самом главном — о задачах сельского хозяйства, выраженных в Директивах XXIII съезда КПСС. Василий Кириллович Кравчук — делегат съезда. Заметно, что в нем еще не улеглось волнение, вызванное пребыванием в Москве. Говорит он темпераментно, со знанием всех тонкостей проблем земли и крестьянина. Настроение у колхозников прекрасное. Повысились доходы колхозов, стал понастоящему весомым трудодень. Сыграли огромнейшую роль и решения о пенсиях для крестьян, о приусадебных участках и домашнем животноводстве.

А для меня из всего услышанного вызревают те самые главные, искомые вопросы, которые можно сформулировать примерно так: о чем мечтают сейчас колхозники, когда в их дом вошел достаток и городской быт? К каким идеалам устремлены теперь сердца крестьян? Каким бы они хотели видеть свое ближайшее будущее и будущее своих детей?..

Коль ясны вопросы, надо искать ответы на них. Этим мы и занимаемся в последующие дни. Очень хотелось встретиться с опытным механизатором Василием Семеновичем Шинкаруком. Но Василь еще на рассвете оседлал мотоцикл и растаял в безбрежности полей. Столкнулись близ усадьбы бригады со старым колхозником Ариеном Степановичем Гуменюком. С ходу неудобно расспрашивать о самом главное, но он будто угадал наши мысли и заговорил первым:

— Повезло людям, которые позже родились. Пришла жизнь, которую мужик в счастливых снах видел: и заработок хорош, и с землей стали по-хозяйски обходиться, и пенсия тебе полагается. Вот я, например: все у меня есть для хорошей жизни. Нет только сил: изработался... стар стал... А время пришло такое, что молодым хочется быть...

Удивительно, что почти эти же мысли высказал мой дядька — восьмидесятишестилетний Иван Исихиевич. У него еще и другая боль: вырастил Иван Исихиевич пятерых сыновей, и никто из них в село не вернулся — один погиб на войне, трое много лет прослужили в армии и в звании старших офицеров ушли в запас, а самый младший после действительной застрял на строительстве в Москве.

— Вот я и говорю, — размышлял мой дядька, — надо что-то делать, как-то объяснять теперешней молодежи: всем места в городах не хватит. Да и в селе сейчас не хуже, чем в городе. Селянин избавился от каторги, которая была при единоличном хозяйстве. Раньше работали как лошади, а теперь куда ни глянь — машины. И за трудодень добре платят, и свет, и радио, и читать есть что, и с огорода хорошая подмога.

Зная, что Иван Исихиевич любит «пофилософствовать», умышленно подначиваю его:

— Но при огородах трудно крестьянину избавиться от частнособственнической психологии.

— А ты не будь таким разумным!

— Почему?

— А потому, что не дело говоришь! Скажем, у вас в Москве многие покупают себе квартиры, дачи, машины. Так что, они тоже ломают свой характер в сторону кулацкого? Как ты думаешь?

— Квартира и дача дохода никому не приносят.

— И опять не то говоришь. Верно, огород и садок дают прибыль. Но дело не в прибыли, а в том, что, если у тебя квартира, машина и дача, купленные на скопленные гроши, ты чувствуешь себя собственником! А интеллигентам такие чувства ни к чему! Интеллигенция нам должна помогать избавляться от этой коросты.

Точка зрения старого колхозника насчет того, какие обстоятельства рождают мелкобуржуазную психологию, разумеется, не бесспорная, но любопытна хотя бы потому, что крестьян интересуют абсолютно все и подчас далеко не простые стороны нашей жизни.

Итак, кажется, я узнал многое из того, что не давало мне покоя. Но вот беда: Николаю Козловскому надо делать фотосъемки, а небо затянуто тучами. И я тревожусь, что не приглянется ему винницкая земля в сумрачном освещении непогожих дней. Солнце, будто дразня фотомастера, только изредка выглядывало из-за туч.

Выглянуло оно и в ту минуту, когда мы зашли в акациевый лес, раскинувшийся над огромными прудами Степановского сахарного завода. Непередаваема эта картина. Высокие, с неприятно шершавой корой деревья густо облеплены белыми гроздьями цветов. Даже трудно дышать от густого нежно-сладкого запаха. В ветвях — неумолчный, монотонный пчелиный гуд. И когда солнце бросило косые лучи на кроны тысяч акаций, будто свершилось волшебство: цветущие гроздья приняли светло-янтарный оттенок, словно засветились изнутри, и, кажется, еще нежнее и устойчивее заструился пьянящий аромат. Зарумянился внизу пруд, где-то в стороне встрепенулась кукушка и разразилась вещим звоном...

Затем мы опять бродили по улицам Кордышивки, разговаривали с людьми, прислушивались к далекой голосистой песне девчат, смотрели на молодые сады, поднявшиеся возле новых хат.

И я замечаю, как суровый Николай Козловский светлеет лицом: он присмотрелся ко всему, что нас окружает, понаслушался разговоров (может, передались ему и моя восторженная взволнованность, и моя тревога), и он завздыхал, задумался. Посматривал на небо в надежде, что тучи выпустят из плена солнце.

Но мне думается, что все-таки фотопленка не в силах отразить глубинное биение пульса жизни народной с ее радостями и печалями. Разве можно запечатлеть крик родившегося ребенка и тихую радость родителей? Разве сфотографируешь спокойствие повелителя земли — крестьянина, уверенного в завтрашнем дне? А как передать скорбь матерей, чьи сыновья не вернулись с войны, как рассказать об уснувшей боли, но вечно живой тоске овдовевших молодиц, как проникнуть в души выросших без отцовской ласки хлопцев и девчат? Да, раны земли, которые оставила война, рубцуются быстрее, чем раны человеческие.

А как передать необъятную доброту людскую? Добрых людей — море, а злых — что бодяков на хорошо ухоженной ниве.

Никогда не забуду слез на глазах первого секретаря обкома партии Павла Пантелеевича Козыря. Он рассказывал мне о судьбе своего товарища — Степана Гавриловича Поштарука — и говорил о человеческой сердечности.

Степан Гаврилович работал секретарем райкома партии, затем его избрали председателем райисполкома. А

двенадцать лет назад, один из первых тридцатитысячников на Винничине, он пошел в самый отсталый колхоз — в село Кукавка. Там избрали Поштарука председателем и взвалили на его плечи все беды колхоза: неурожаи, запущенное хозяйство, пустые каморы и пустую кассу. А со временем колхоз имени Богдана Хмельницкого стал одним из лучших в области.

Нежданно семью Степана Гавриловича подкараулила страшная беда. Их дочь Галя, студентка медицинского института, во время пожара смело кинулась в огонь, чтобы спасти двоих маленьких детей. Галя получила тяжелые ожоги и вскоре скончалась.

Более тяжкое горе трудно себе представить. И семья решила уехать из Кукавки, где все напоминало о Гале.

Степан Гаврилович созвал колхозное собрание, чтобы отчитаться о своей работе и избрать нового председателя... Колхозники решили по-иному.

— Ваше горе, Степан Гаврилович, это и наше горе, — заявили они. И нашли другие слова, идущие от самого сердца, от глубинной народной мудрости, и убедили Поштарука в том, что самая тяжкая беда переживается в кругу друзей. Единогласно постановили отправить Степана Гавриловича и его супругу, сельскую учительницу, в длительный отпуск и снабдить за счет колхоза путевками на курорт. Заверили, что все будут работать так, как еще никогда не работали, во имя памяти о Гале Поштарук, во имя большой человеческой любви ко всему праведному, настоящему, светлому.

— В этом — душа народная, — рассказывал Павел Пантелеевич Козырь, — чистая и честная, любвеобильная и искренняя...

Справедливые и мудрые слова! Душа народная щедро откликается на любые прикосновения к ней жизни. Именно на все прикосновения. Весь уклад нашего социалистического бытия научил людей не отделять себя, свою судьбу ни от событий, происшедших рядом, ни от событий в государстве и во всем мире. Родилось новое, совершенное общество, где каждый член его живет заботами, выходящими за пределы личных интересов.

Таков облик трудовых людей современного украинского села. Они научились мыслить широкими категориями.

Наполненной, интересной жизнью живет соловьиная Винничина. Как же не любить ее, если люди там добрые

и работящие, мудрые и веселые, если все там наполняет твое сердце радостью и поэзией, как не болеть о ней, если нет для тебя на земле более родного края?!

1966

РАЗУМ СНОВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ НИТЬ, А СЕРДЦЕ—ЗОЛОТУЮ

Иногда друзья или читатели спрашивают у меня, кто из художников слова прошлого наиболее глубоко потряс мое воображение и своим творчеством в какой-то мере способствовал зарождению моих писательских начал. Я всегда без колебаний называю Михаила Михайловича Коцюбинского.

Почему именно Коцюбинский?

На этот вопрос ответить уже труднее, ибо сказать кратко — значит ничего не сказать, а говорить пространно — можно растечься мыслью по древу...

И вот однажды я получил письмо из села Выхвостов, которое описано в знаменитом романе М. Коцюбинского «Фата Моргана». Учитель местной школы М. П. Таратын просил меня кратко написать о своем отношении к этому классику украинской литературы: такие отзывы Таратын собирает от всех писателей, когда-либо побывавших в Выхвостове. Вот тогда и родились эти отрывочные заметки...

Михайло Коцюбинский — истинно талантливый ваятель слова, признанный народный писатель, борец за правду, справедливость и красоту. Своим творчеством он еще шире раздвинул рамки нашего понимания исторических судеб украинского народа, особенно крестьян и трудовой интеллигенции. С сыновней любовью к Украине художник изобразил далеко не простой характер ее людей — лиричный и мускулистый, непреклонный и нежный, песенно-печальный... Читаешь Коцюбинского, и временами сердце рвется из груди от того, как пронзительно, с пониманием тончайших сложностей человеческой натуры всматривается он в душу простолюдина и как находит, кажется, единственно точные слова, краски и их оттенки, чтобы выразить любовь или ненависть, скорбь или радость, боль, восторг, надежду — все многообразие наполняющих жизнь чувствований и их

контрастов. Кто еще с такой взволнованностью, как Коцюбинский, показал, что забитый бедностью, темнотой и каторжным подневольным трудом селянин способен страдать или испытывать возвышенные чувства не менее глубоко и остро, чем те просвещенные и власть имущие «человеки», на которых он гнет спину? А чувство протеста крестьянина против неправды и социальных уродств, порывы его души к свободе и свету? А его неповторимый быт, национальные обычаи, его трудовая и мудрая своей значительностью, пусть внешне незатейливая, повседневность?.. Всем этим проникнуты творения писателя-демократа.

Да, Михайло Коцюбинский — это кричащая от негодования душа порабощенного в былом украинского трудового народа, трубный глас, протестующий против царившего социального зла и несправедливости. И роман «Фата Моргана» являет собой лучший образец воинствующего творчества художника-страстотерпца.

Есть у меня еще и чисто личные мотивы в моем отношении к Михайле Коцюбинскому. Он мой земляк: село Кордышивка в двадцати пяти километрах от Винницы — родины писателя. Дом Коцюбинского был в моей жизни первым Музеем, первым такого рода Святилищем, порог которого я с трепетом переступил. Потом моя жизнь сложилась так, что в голодные 1932—1933 годы я оказался в Чернигове, где поступил в пятый класс школы № 4 имени — да-да! — Коцюбинского! Тогда же я узнал путь и на Троицкую горку, где над придеснянскими просторами, близко к широкому небу, покоится прах великого сына Украины.

С седьмого по десятый класс учился я в Тупичевской средней школе на Черниговщине (тернисты пути сиротские...). И как же был изумлен, услышав, что село Выхвостов, по улицам которого хаживал когда-то Михайло Михайлович Коцюбинский, раскинулось невдалеке, за поднебесным частоколом стройных тополей, окаймлявших сад тупичевского колхоза. Значит, сидящие рядом со мной в классе хлопцы и девчата (Микола Таратын, братья Мисники, Иван Мамчур, Катя Желдак и другие) — внуки и правнуки людей, судьбы которых слились когда-то с судьбами героев «Фата Моргана»!

Потом было волнующее знакомство с Выхвостовом, было постигание его мнившейся загадочности, выяснение степени близости между героями «Фата Моргана» и их прототипами, узнавание описанных художником мест...

Недавно я впервые после Отечественной войны вновь посетил Выхвостов. Эта поездка была весьма знаменательна для меня не только как свидание с юностью моей, а и потому, что я взял с собой в Выхвостов своего сына Юрия, чтобы он мыслью и сердцем прикоснулся к этому священному месту Украины и воочию увидел, что наследники героев «Фата Моргана» живут сейчас иной жизнью — воистину прекрасной и безоблачной, и чтобы ясней понимал он сложности тех путей, которые ведут из глубин истории к нашим дням.

Нам, современным советским писателям, есть чему учиться у Коцюбинского. Он показал превосходный пример яркого художественного мастерства, верности правде жизни и высокого чувства сыновнего долга перед своим народом. Вспоминая в ряду множества его произведений цикл миниатюр, объединенных заглавием «Из глубины», хочется сказать перед светлой памятью Михайлы Михайловича его же словами, несколько перефразировав их и чуть дополнив на свой лад:

— Не устает сновать серебряную нить твой разум, а золотую — твое сердце, и в миллионных тиражах твоих книг не устает вышивать на канве прошлого ярчайшие картины отшумевшей жизни и глубоко волновать сердца твоих благодарных читателей... Нет, ты давно больше не одинок!..

Пусть льется из твоего сердца ручей в море людского горя... Пусть, как цветок для росы, будет раскрыта душа твоя для чужой беды, но то все в прошлом, то живая память народа о лихолетьях, то бессмертная память о тебе... Сфинкс действительно уже разгадан, а твое сердце давно нашло свою родную половину и слилось с ней... С тех пор ты больше не одинок!..

1972

ТЕМА ИЗБИРАЕТ ПИСАТЕЛЯ

Как ни странно, можно и в таком аспекте рассматривать взаимосвязь между темой, которую тот и иной писатель разрабатывает в литературе, и личностью самого писателя. Мне легче всего подтвердить правомерность такого взгляда своей же творческой биографией.

То обстоятельство, что я родился и вырос в украинском селе, а затем долгие годы, включая и пребывание

на фронте, служил в рядах Советской Армии, определило мое отношение к крестьянам и военным как к людям наиболее близким и понятным и сгруппировало в моем сознании увиденный жизненный материал таким образом, что он не мог не лечь в основу моих книг и фильмов. То есть тема революционного преобразования советской деревни со всеми психологическими переломами в душе крестьянина и тема армии, войны и народного подвига в войне стали естественной закономерностью, основным содержанием моих писательских размышлений и бдений за письменным столом и как бы всецело поработили меня.

Становление каждого писателя — процесс сугубо индивидуальный. Однако в развитии творческих начал все мы, видимо, в какой-то мере походим друг на друга, походим главным образом самим процессом роста. Да, элементарного роста, как растет всякий живой организм и даже как растет и обретает форму дерево. Рост этот разделен на различные стадии, он во многом зависит от питательной среды, от почвы, из которой берут не только начатие, но и жизненные силы наши корни. Эта почва и эта среда в конечном итоге и определяют главную тему наших творческих исканий.

Роман «Люди не ангелы» почти полностью вобрал все, что видел и пережил я в детстве, отрочестве и юности. В длительном, пятигодичном процессе написания романа давнее как бы воскресало в моей памяти и сердце, но это воскрешение вызывалось ищущей мыслью человека, далеко ушедшего от порога юности и выверившего свои наблюдения суровыми мерками многих уроков жизни. К тому времени уже был накоплен и кое-какой творческий опыт, что, разумеется, играет не последнюю роль в судьбе писателя и его будущих книг. Были три повести о фронтовой жизни («Следопыты», «Перед наступлением», «Сердце помнит»), повесть о первых днях войны «Человек не сдается». Была повесть в рассказах «Максим Перепелица», были многочисленные рассказы, очерки и несколько сценариев художественных фильмов. В какой-то мере я уже чувствовал себя готовым к написанию давно задуманного романа «Люди не ангелы», да и общественная мысль того времени активно настраивала многих писателей моего поколения на осмысление сложностей прошлого, связанных с переходом нашего крестьянства на рельсы социалистического хозяйствования.

Должен сознаться, что первую книгу романа «Люди не ангелы» (1960—1962) я писал запоем, в творческой лихорадке, мучительной и радостной. Давно отшумевшая жизнь вставала в моем воображении, кажется, более ярко, чем была она на самом деле; я будто заново переживал все, что сохранила моя память, заново постигал свое детство, ужасаясь одним картинам и обстоятельствам и радуясь другим... Вторая книга романа (1962—1965) писалась более спокойно, без запала; события, легшие в ее основу, еще как следует не отстоялись в сознании, в чувствах. Несколько раз ездил на родную Винничину, чтобы утвердиться в каких-то убеждениях, разобраться в сомнениях, еще и еще посмотреть на жизнь своих героев, посоветоваться с областным партийным руководством. И вполне закономерно, что в «современную» книгу улеглось кое-что и преходящее, но в то время казавшееся очень важным, серьезным, социально глубоким.

Мне думается, что самая главная книга писателя не может быть написана ни раньше, ни позже, а только тогда, когда написана. После романа «Люди не ангелы» во мне проснулась давняя мысль о самой главной своей книге — романе о Великой Отечественной войне. Но вот вплотную подойти к этой своей главной работе, к написанию романа о том времени, когда народ наш пережил не виданное историей потрясение, долго не решался, хотя бы потому, что о войне уже было создано немало художественных произведений, в которых с разной мерой мастерства, но с большой полнотой и достоверностью отображены и фронт, и тыл, и всемирно-историческая роль наших Вооруженных Сил в разгроме гитлеризма. Я не ощущал в себе возможностей сказать о войне какое-то новое слово, подняться в ее художественном осмыслении если не на чуть высшую, то пусть на иную ступеньку, несмотря на то что на фронте я был с первого и до последнего дня, многое видел, многое испытал. Пусть не осудят меня мои друзья фронтовые журналисты, особенно те, кто работал в дивизионных и армейских газетах, однако я с убежденностью замечу, что наше тогдашнее видение и понимание войны было не весьма широким. Фронтовые события мы наблюдали со своей журналистской вышки, с которой хорошо просматривались только самые горячие места переднего края, ротных, батальонных и полковых районов. И еще можно сказать, что нам удалось на собственном опыте хорошо

постигнуть фронтовой быт. Но... не имели мы возможности взглянуть на войну масштабно и поэтому не вынесли с собой ясного представления о работе высших штабов, о сущности таланта военачальника, о совокупности величайших сложностей и проблем, из которых складывалось планирование и осуществление крупных боевых операций.

Мне повезло несколько больше, чем моим фронтовым друзьям журналистам, но только позже. После войны я еще долго оставался в кадрах армии и не преминул воспользоваться возможностью обогатить свои познания законов войны, хотя бы в теоретическом плане, а в беседах со многими боевыми генералами уловить кое-какие присущие им психологические краски и оттенки, вытекающие из своеобразности мышления полководца, во многом основанном на особенностях боевой деятельности и на знании оперативного искусства. Как и все пишущие на военную тему, я с огромным интересом встречал и встречаю каждую новую книгу мемуаров о войне. Написанные крупными советскими военачальниками, эти книги довольно широко раздвигают для нашего видения рамки давно отгремевших грозных событий, показывают фон и сущность деятельности больших штабов и с яркими приметами конкретности приоткрывают особенности человеческой натуры полководца и главные побудительные причины для поиска полководческого решения. А если при этом есть еще представление об оперативном искусстве и методах его постигания в академических аудиториях и штабных учениях, есть знания из области истории войн и военного искусства — все это ощутимо вооружает писателей военной темы, как вооружило в какой-то мере и меня.

Разумеется, эти мои размышления весьма субъективны. Я исхожу только из своего опыта. Но буду далеко не искренен, если не назову главной причины, побудившей избрать ту форму повествования, которую я избрал в «Войне», а также объем, места и сущность событий, которые проявились в первых двух книгах. Оговорюсь, что в этом направлении уже много сделано другими писателями, да и, я убежден, еще будет сделано. В первых книгах «Войны» мне хотелось, не вступая в прямую полемику, поспорить с теми литераторами, военными историками и мемуаристами, которые в своих трудах весьма односторонне рассматривали события, предшествовавшие нападению гитлеровской Германии

на СССР, а также события начального периода Отечественной войны; хотелось, основываясь на изученных исторических фактах и на свидетельствах лиц, имевших причастность к происходившему, несколько с иных позиций рассмотреть причины наших неудач в начальный период гитлеровского вторжения. Иные историки и литераторы с прилежанием, достойным лучшего применения, порой не гнушаясь даже тенденциозными буржуазными источниками, собирали всевозможные факты и домыслы, которые очерчивали круг известных якобы Советскому правительству сведений о сроках начала гитлеровского вторжения. И делали из этого вывод: Советское правительство и лично Сталин были, мол, предупреждены о нависшей угрозе, но необходимых мер не приняли. Дальше этого вывода не шли, не анализировали ситуацию того времени и не сопоставляли исторические факты таким образом, дабы обнажилась главная истина: Советская страна задолго до войны уже напрягала огромные усилия, стараясь накопить необходимые средства, в предвидении вооруженного столкновения с миром капитализма; наши враги наблюдали за этими усилиями и тоже торопились, чтобы упредить военное возмужание Страны Советов. Что же касается просчетов Сталина в определении сроков начала войны и недосмотров в планах нашей стратегической обороны, то они, разумеется, имели место и имели свои причины, которые обусловлены связью явлений — внешнеполитических, внутриэкономических, военно-оперативных; но в конечном счете, как показала война, просчитался Гитлер со своим генералитетом...

Никто сейчас не возьмет на себя смелость утверждать, что сумеет исчерпывающе и всесторонне осветить в художественном произведении те далекие, но все еще воспаляющие нашу мысль события в их причинной взаимосвязи. Однако писатели военной темы, каждый в меру своих сил, активно стремятся высветлять это прошлое лучами правды — во имя настоящего и будущего.

Свою работу над романом «Война» я рассматриваю как весьма скромный и, может, не во всем удавшийся вклад в это важное и святое дело. Судить о нем — главному судье: читателю.

Иные критики (они есть и среди читателей), не решаясь отрицать права писателя на тенденциозность в своем творчестве, все-таки корят роман «Война» за его тенденции. И мне доставляет удовольствие сказать им,

что партийная тенденциозность присуща и моему мироощущению, которое в равной степени проявилось в романе «Люди не ангелы» и в романе «Война». Я горжусь тем, что исповедую почерпнутую из ленинского учения убежденность взглядов на жизнь, на место человека в жизни.

Я никогда не солидаризовался с теми, кто изображал теневые стороны нашей действительности с расчетом на подчеркивание своей «смелости» и на шумный успех у наших идейных противников. Вместе с тем я не уклоняюсь от изображения трудностей и невзгод на боевом пути строительства коммунистического общества. Роман «Люди не ангелы» именно и рассказывает о сложных временах нашей жизни, когда в советской деревне были допущены отклонения от ленинской политики партии. Однако главное в этом романе — звучание искренней веры крестьянства в правоту ленинских идей. Эта вера не пошатнулась на самых крутых поворотах истории, а когда на нашу Родину напали фашисты, она, эта святая вера, проявилась в величайшей самоотверженности всего советского народа, в том числе и крестьянства. Великая Отечественная война показала необоримую силу социалистического строя, сплоченность советских людей вокруг Коммунистической партии, единство духа и устремлений Советского правительства и всех народов и народностей, населяющих нашу страну. Именно этой тенденцией я старался пронизать свой роман «Война» и полагаю, что в нем продолжены тенденции, прозвучавшие в «Людях не ангелах».

1970

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПИСЬМАМИ

Передо мной лежит на столе горка писем — читательских откликов на публикацию первой книги романа «Война».

Многих читателей интересует, как родился замысел романа «Война», где и когда автор черпал для него материалы, в какой мере в романе соседствуют подлинность с вымыслом. А иные вообще приемлют «Войну» как документальное произведение. Приведу для наполнения разговора конкретностью выдержку из одного письма.

«Я прочел первую книгу Вашего романа «Война», напечатанного в журнале «Октябрь» № 12 за 1970 год... Ваш Федор Ксенофонтович очень похож на нашего командира 13-го мехкорпуса генерал-майора Ахлюстина Петра Николаевича, погибшего при выходе из окружения 16 июля 1941 года на реке Сож вблизи Славгорода (бывш. Пропойск) Могилевской области. Он погиб как Чапаев: будучи раненным, утонул в реке Сож на последней переправе к своим, когда под ураганным огнем противника выводил остатки своего корпуса за линию фронта (линия фронта была на реке Сож).

Еще раньше, 30 июня 1941 года, в Налибокской пуще переодетые в нашу форму немецкие диверсанты убили заместителя командира нашего корпуса генерал-майора Иванова Василия Ивановича. На моих глазах погибли в те дни многие товарищи из нашего корпуса. Я, будучи раненным, вынужден был остаться в лесах Белоруссии, потом попал к партизанам. Был начальником штаба партизанского отряда, а потом НШ 1-й Бобруйской партизанской бригады, которой командовал Герой Советского Союза Ливенцев Виктор Ильич. По совместительству пришлось выполнять обязанности ответственного редактора подпольной газеты «Бобруйский партизан». Фамилия моя — Кремнев Сергей Зиновьевич, до начала войны — начштаба отдельного батальона связи вновь сформированного в апреле — мае 1941 года 13-го мехкорпуса.

Штаб нашего корпуса находился в Бельске, южнее Белостока. Части корпуса в первый день войны занимали рубеж по реке Нурец. Дивизии вели бои у населенных пунктов Бряньск, Боцьки, Клещеле. Впереди нас на передовом рубеже 22 июня 1941 года вел бои непосредственно у границы 5-й стрелковый корпус, штаб которого также размещался до войны в Бельске. Между прочим, комиссар этого корпуса Яковлев Константин Михайлович тоже был в партизанах, затем в августе 1942 года был вывезен на самолете за фронт в действующую армию. Теперь он на пенсии, живет в Омске.

Я Вас убедительно прошу, когда будете издавать этот роман в виде отдельной книги, внесите дополнения о наших погибших генералах: Ахлюстине и Иванове. Это были очень заслуженные командиры, участники гражданской войны, награжденные орденом Красного Знамени еще в те годы. У меня есть адреса их родственников и земляков, есть фото.

Здесь, в Минске, живет бывший командир 11-го мехкорпуса генерал-полковник в отставке Мостовенко Дмитрий Карпович. Он занимал рубеж в первые дни войны по реке Лососьна, южнее Гродно (эта речка у Гродно впадает в Неман). Потом в июле 1941 года он вышел с группой через Полесье в Гомель и всю войну командовал танковыми соединениями. На второй день войны (23.6.41) на его КП был генерал Карбышев вместе с командующим 3-й армией генерал-лейтенантом Кузнецовым...»

Это письмо мне очень дорого. Оно словно дружеский голос из глубин самого романа, голос человека, многое сопережившего вместе со мной и с моими литературными персонажами. Мой генерал-майор Чумаков Федор Ксенофонтович — лицо вымышленное, однако, работая над его образом, особенно над чертами его характера как военачальника, я непрерывно обращался мыслями и к командиру 13-го мехкорпуса генералу Ахлюстину, на которого, как утверждает читатель Кремнев, похож мой генерал Чумаков, и к командиру 11-го мехкорпуса генералу Мостовенко, и к командиру 6-го мехкорпуса генералу Хацкилевичу. Мне очень хорошо известно, какую роль сыграли эти корпуса в невероятно тяжелые первые недели войны, а воображение позволило представить, через сколь огромные трудности, опасности, трагические ситуации прошли их командиры. И корпус генерала Чумакова я заставил по своему писательскому своеволию действовать в тех же местах и в той же сложнейшей обстановке...

Сам я тоже участвовал в событиях, которые развернулись в первые дни войны в пограничных районах Западной Белоруссии. Однако мотомеханизированная дивизия, в которую я приехал за двадцать дней до начала войны, располагалась чуть севернее, на участке соседней армии. Еще не укомплектованные полки дивизии в первый же день вторжения врага вступили в бой, и нам пришлось увидеть и испытать все то, что увидели и испытали другие части и соединения, внезапно оказавшиеся лицом к лицу с врагом.

Замысел каждой книги, как мне кажется, берет свое начало в бурном смятении чувств, которые потрясают ее будущего автора, и в их осмыслении. Для меня подобным смятением были, на удивление, не первые контратаки и атаки, в которых я участвовал, не первые бомбежки и окружения, а первая стычка и схватка с переоде-

тыми немецкими диверсантами, проникшими в автоколонну штаба нашей дивизии, который вместе с приданными подразделениями следовал с запада в направлении Минска. К этому времени мы уже были наслышаны о диверсантах. Более того, одним из них на третий день войны был тяжело (а может, и смертельно — об этом я не знаю до сих пор) ранен в живот командир нашей дивизии полковник А. И. Муравьев. Но появление их в нашей колонне оказалось немыслимо неожиданным и невероятным, а действия — предельно дерзкими, наглыми.

Случилось это в ночь на 27 июня близ деревень Валки и Боровая Дзержинского района Минской области. Переодетым в форму старших командиров Красной Армии диверсантам удалось расчленить надвое нашу огромную колонну, но затянуть в ловушку и разоружить не удалось. Как это случилось, я с определенной мерой подробностей описал в повести «Человек не сдается», а затем и в «Войне». Мы разоблачили и уничтожили около двух десятков диверсантов, хотя и сами понесли потери. Дело в том, что в растянувшейся на много километров колонне оказалось много «чужих» машин с беженцами и военнослужащими из других частей, отступавших на восток. Каждого незнакомого человека можно было в той ситуации принять за врага. И каждый незнакомый мог принять тебя за диверсанта и без предупреждения выстрелить тебе в лицо или в спину.

Однако превозмочь можно все. Наши командиры и политработники (мне запомнились батальонный комиссар Дробиленко, майор Маричев, младший политрук Лоб, погибший в схватке с диверсантом, младшие политруки Полищук и Таскиров) сумели организовать людей и взять инициативу в свои руки, сумели потому, что над нашими войсками витала неуловимая сила, именуемая духом веры и упорства. При всей внешней неразберихе и кровавой сумятице будто один нерв связывал тогда всех наших людей. В минуты растерянности, паники он словно посылал в мозг каждого импульсы надежды и стремления к сплоченности. Мне лично казалось, что в западных районах произошло какое-то дикое недоразумение. По какой-то невероятной случайности немцам удалось застать нас врасплох, и стоит нам опомниться от первого потрясения, организоваться и стать фронтом — тут же вражеское вторжение выдохнется. Была твердая надежда, что сплошная линия фронта возводится вдоль старых, до 1939 года, западных границ.

А когда ее там не оказалось, мы уповали на каждый очередной водный рубеж... Даже при самых отчаянных обстоятельствах, и не только в начальный период войны, а и во все последующие, все мы, смею это утверждать со всей категоричностью, выросшие при Советской власти, прошедшие до войны школу комсомола, школу Чапаева и Николая Островского, — все мы ни на одну секунду не сомневались, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Более того, в сорок первом году мы даже думали, что придем в Берлин гораздо скорее, чем это случилось.

Пережитое и увиденное весной и летом 1941 года жило во мне наиболее волнующим из всего, с чем я потом встречался на протяжении всей войны.

После войны я как кадровый военный остался для продолжения службы в армии. Осенью 1945 года был направлен в Симферополь для работы в газете «Боевая слава» Таврического военного округа. Там при областной газете «Крымская правда» стал посещать занятия литературного объединения, которым руководил Петр Павленко. В ту же осень начал писать повесть «Человек не сдается», все больше волнуясь от воскресавших в памяти батальных и иных картин и от надежд, что обязательно потрясу мир повествованием о том, что видел я в 41-м в Западной Белоруссии.

Помнится, как (кажется, весной 1946 года) наше Крымское литературное объединение собралось в Алуште, чтобы встретиться с С. Н. Сергеевым-Ценским. По фронтовой привычке тогда все мы, участники войны, еще ходили при орденах и медалях. И я заметил, что во время наших литературных бесед Сергей Николаевич часто косил глаза на мою сверкающую грудь. А беседы велись вокруг первых литературных опытов начинающих крымских писателей. Во время обеда в алуштинской столовой Сергеев-Ценский, сидевший за соседним с нами столом в компании Петра Павленко и Евгения Циповкина, поманил меня к себе пальцем и спросил:

— Какие вы книги написали? — При этом Сергей Николаевич почему-то провел рукой по моим орденам и медалям.

— Никаких, — ответил я.

— Не слышу! — Сергей Николаевич действительно плохо слышал.

— Никаких! — повторил я громко, смущенно оглянувшись на своих коллег. — Я еще напишу!

По залу прокатился смешок, хотя, если не подводит память, среди присутствовавших не один я был ничего не написавший, кроме газетных рассказов и очерков.

— Когда напишете, обязательно покажите мне! — очень громко сказал Сергеев-Ценский и обвел зал львиным взглядом из-под седых кустистых бровей.

Веселое оживление в зале растаяло.

Я действительно вскоре закончил повесть о первых днях войны, но показывать ее по своей неопытности никому не стал, а послал в Москву в один из толстых журналов. Это была, повторяюсь, весна 1946 года. А где-то в середине лета пришел из Москвы пакет, в котором я обнаружил свою рукопись и сопровождавшую ее разгромную рецензию, подписанную одним из московских литераторов. Она поразила меня не анализом литературных несовершенств повести, а категорическим осуждением всего ее содержания.

Не стану описывать, как я воспринял все случившееся. После одного из очередных собраний нашего литобъединения показал рецензию П. А. Павленко. Он тут же прочел ее и сказал:

— Приезжай ко мне в Ялту и привези рукопись.

Разумеется, я не мог не воспользоваться готовностью такого известного писателя принять участие в моей литературной судьбе. И вот мы сидим с ним на террасе его ялтинской дачи, он возвращает мне рукопись и с мудрой грустью говорит, щадя, конечно, мое самолюбие:

— Повесть написана слабовато... Но сейчас это не имеет значения. Главное, что я поверил всему, что в ней написано. Это — свидетельство очевидца... А повести пока нет. Да еще и не время для появления такой повести или романа... Ведь победа — вот она, рукой можно достать. Будто вчера мы ее завоевали. Народ наш живет чувствами победы. И пока не стоит омрачать эти чувства воспоминаниями о днях наших трагических неудач... А вот пройдет лет десять, может, чуть больше, ты заново перепишешь повесть, и тогда она окажется ко времени.

Все, о чем говорил Петр Андреевич, было, разумеется, справедливо. И точно, сбылось его предсказание. Забегая вперед, скажу, что именно через десять лет я вновь переписал повесть «Человек не сдается», опубликовал ее, а еще через два года по мотивам повести был поставлен на Белорусской студии художественный фильм.

Но прежде чем все это сбылось, я чувствовал себя в положении человека, которому надели на глаза чужие очки. Часто обращался мыслями к событиям весны и лета 1941 года, соотнося их с оценками военно-исторической литературы того времени и не имея сил ни согласиться с ними, ни опровергнуть их. И самое ужасное, что не приходила в голову весьма простая мысль: с позиций военного журналиста дивизионного или даже армейского масштаба невозможно было увидеть и постигнуть войну во всех ее измерениях и аспектах, а тем более невозможно утверждаться в каких-то своих собственных концепциях хотя бы на тот или иной период войны. Ведь одно дело быть участником событий, другое — еще и знать, как и во имя чего они замышлялись, как развертывались, обеспечивались и каким закономерностям они подвластны. Все это элементарно, однако эта элементарность была постигнута мной только после того, как история войн и военного искусства, оперативное искусство, философия стали для меня на несколько лет главным содержанием моей жизни, хотя я не смог бы ответить в то время, да и сейчас вряд ли отвечу, зачем мне для литературной работы надо досконально знать, например, военное искусство Древнего Рима и Карфагена или организацию феодально-рыцарского войска и вооружение рыцарей. Но программа предмета являлась законом, и пришлось изучать ее от войн рабовладельческих государств до грандиозных операций Великой Отечественной войны. А в итоге родилось у меня новое представление о войне, ее сущности и ее слагаемых, поиному стало видеться многое из того, что пережил сам и чему был свидетелем. А самое главное — обрелись подступы к осмыслению деятельности и особенностей характера военачальника. Появились при этом иные критерии оценок, стали заметнее трансформации взглядов некоторых мемуаристов или литераторов, вызывая иногда сочувствие, а иногда протест. Началась мысленная полемика с теми литераторами и историками, концепции которых не разделялись мной.

Наличие большой литературы о минувшей войне налагает на каждого писателя, который вновь обращается к этой теме, трудные обязанности не повториться и приоткрыть для читателя что-то новое. Не убежден, что мне в первых двух книгах романа «Война» удалось это сделать. Но я постарался объективно, в строгом соответствии с историческими фактами, беспристрастно со-

поставляя и анализируя события, опираясь на документы и весьма авторитетные свидетельства лиц, имевших причастность к происходившему в те трудные годы, рассказать то, что рассказал.

1971

ЕЩЕ СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

После публикации второй книги романа «Война» и особенно после издания двух книг вместе я получил многие сотни писем от читателей — пожилых и молодых, бывших фронтовиков и тружеников фронтового тыла, от военных, рабочих, колхозников, студентов, домохозяек. Высказывая свое отношение к роману, читатели часто задают вопросы, ответить на которые всем авторам многочисленных писем я физически не в состоянии. Понимаю, что вопросов было бы куда меньше, если б я сразу выдал на-гора̀ завершенный роман. Вот почему мне захотелось обратиться здесь ко всем моим читателям и к военным профессионалам — в прошлом или настоящем — и разъяснить им свой принцип наполнения романа документальностью.

Рождение книги — сложный и сугубо индивидуальный процесс творчества, неотъемлемый от процесса обогащения автора конкретным историческим материалом.

Каждая книга есть преодоленный писателем рубеж и новая вершина его художественных возможностей. Иногда эта вершина бывает ниже прежних, им же, писателем, достигнутых, но чаще оказывается значительно выше. И все это правомерно, ибо творческий труд складывается из многих духовных величин, которые в силу разных обстоятельств являются к писателю, сидящему за письменным столом, не всегда в должных и нужных емкостях.

Начало работы над книгой чем-то напоминает... ну, скажем, прорыв на поверхность подземных вод, которые затем бурно скатываются в низину и образуют озеро. Бывает, что писатель долгие годы готовится к прорыву на бумагу своих чувств и мыслей, сгруппированных в замысел. Случается, что, подойдя к созданию своего главного романа, он вдруг начинает понимать, что под-

сознательно готовился к нему всю жизнь. Ему подчас даже мнится, что вся его судьба складывалась именно таким образом, чтоб он имел право и имел творческие возможности засесть за написание именно этой книги.

Мне иногда мнится, что, если уж судьба уберегла меня на фронте, значит, нет и не может быть у меня более важной задачи, чем служить своим пером во имя памяти павших. И я писал военные повести, рассказы, сценарии к фильмам, не подозревая, что главная моя книга о войне ждет меня впереди. К этой книге я шел через серьезную литературную учебу, через изучение истории войн и военного искусства, философии, оперативного искусства.

Или, например, в 50-х годах свела меня судьба с бывшим заместителем командующего войсками Западного фронта генералом В. И. Болдиным. Он командовал сводной группой танковых корпусов, которая наносила первый контрудар по фашистским войскам южнее Гродно. Я был свидетелем и участником тех событий, и мне было интересно посмотреть на них глазами генерала Болдина. Много часов провели мы в беседах, и я, делая записи в блокноте, еще не знал, что закладываю первые кирпичи будущего романа.

Потом работа пошла более целенаправленно. Этому помогала и хорошая злость: она рождалась при появлении иных литературных или военно-исторических публикаций, в которых, например, сорок первый год рассматривался только как сплошная цепь наших поражений.

Готовясь к написанию романа «Война» и в ходе работы над ним, я многие часы провел над изучением документов, осмыслением боевых операций. Обо всем, что произошло в первые дни войны западнее Минска, у меня, кроме бесед с генералом В. И. Болдиным, были беседы с бывшим членом Военного совета этого же фронта генералом А. Я. Фоминых, с бывшим командиром 11-го мехкорпуса, который принимал участие в первом контрударе под Гродно, генералом Д. К. Мостовенко. Многие часы проведены в беседах с бывшим наркомом иностранных дел и заместителем Председателя Совнаркома СССР В. М. Молотовым, несколько меньше — с бывшим наркомом авиационной промышленности А. И. Шахуриным, с бывшим ответственным работником разведывательного управления Генштаба генералом Н. С. Дроновым, с участником летних боев 1941 года на Западном фронте генералом армии С. П. Ивановым

и многими другими людьми — свидетелями и непосредственными участниками исторических событий кануна и первого периода Великой Отечественной войны.

Еще Аристотель определил, что История преподносит нам то, что было, а Литература — т о, что могло быть; так сказать, включает элемент иллюзии. Наблюдением отмечено, что есть довольно большая категория читателей, которая охотней тратит свое время на чтение книг, содержащих в себе «то, что было».

Кроме того, читатель наш настолько вырос, а современная жизнь настолько прочно и плотно его подпирает со всех сторон новыми открытиями и проникновениями, что нынешней литературе, художественный уровень которой в общем-то достаточно высок, все-таки порой нелегко пробиться к сердцу требовательного, высокообразованного читателя, нелегко удивить его перегруженный всевозможной информацией разум, поразить глубиной новых прозрений.

Литература же о войне стоит на особом месте. Война во всех своих конкретных проявлениях настолько потрясла воображение очевидцев и современников, предоставила в наше распоряжение столько разительного человеческого материала, что его художественное осмысление подчас не в состоянии должным образом возвыситься над подлинностью факта, то есть не в состоянии потрясти читателя более глубоко, чем иногда потрясает документальное изложение имевшего место события.

Бывают разные подходы к этой проблеме.

П. В. Палиевский в своей интересной книге «Пути реализма» пишет, что на заре века Чехов яростно противился документальным «улучшениям» своих пьес, которые пытался делать увлеченный тогда бытовизмом К. Станиславский. И когда писателя спрашивали: «Непонятно, почему вы против? Ведь это реально», — он отвечает: «У Крамского есть одна картина, где чудесно выписаны все лица. Попробуйте вырежьте в одном из них нос и вставьте настоящий. Нос-то «реальный», а картина испорчена».

Для чеховского художественного мира это в самом деле золотое правило, утверждает П. В. Палиевский. Однако заметим от себя, что Чехов все-таки взял для подкрепления своих позиций пример не из драматургии, а из живописи. А это немаловажно, ибо каждый вид искусства создается по своим законам.

Например, если скульптор или живописец во всей реалистичности могут изобразить нагое человеческое тело, то прозаик не волен, изображая словесным рисунком это же тело, называть все вещи своими именами. Зато прозаику доступно описание многого другого, что неподвластно законам живописи, скульптуры, драматургии.

Итак, совершенно очевидно, что в рамках каждого вида искусства при соблюдении законов жанра документальность может находить свое место, не нанося вреда художественности, что подтверждается многими примерами.

В романе «Война» подлинные события и невымышленные личности занимают достаточно большое место по площади и в компонентах сюжета. Мне бы только хотелось пояснить свои принципы состыковки подлинного факта с вымыслом.

Вот пример из имевшей место оперативной обстановки в начале июля 1941 года на Западном фронте... Сцена из второй книги в палатке командарма Ташутина, куда вызывают генерала Чумакова и где он встречается с Тимошенко и Мехлисом, на самом деле, если исходить из правды жизни, должна бы произойти на командном пункте 20-й армии, в палатке генерал-лейтенанта Курочкина. Но тогда я был бы скован при введении в повествование генерала Чумакова, отдавая ему столь пространное место, а главное, обязан был изобразить более или менее точную оперативную обстановку в полосе 20-й армии. Но это ослабило бы напряженность драматургии романа. Поэтому я перенес психологическую и портретную характеристику генерала Курочкина на генерала Ташутина — вымышленного героя, хотя фамилия «Курочкин» тоже параллельно упоминается. Такое смещение сделано для того, чтобы ввести в действие войсковую оперативную группу Чумакова, не нарушив подлинного расположения войск 20-й и 21-й армий и не внеся путаницы в замысел маршала Тимошенко о проведении операции, начавшейся 5 июля.

В чем суть этой операции?

Во-первых, ее задача состояла в том, чтобы ликвидировать угрозу со стороны вражеской группировки, наступавшей на Витебск. К этому времени Тимошенко как раз вступил в командование фронтом, и ему надо было во что бы то ни стало стабилизировать обстановку. С этой целью он предложил Ставке план и отдал

командующему 20-й армией директиву на осуществление контрудара силами 7-го и 5-го механизированных корпусов в направлении Сенно и Лепель.

Сталин, рассматривая этот план, предложил нанести еще вспомогательный удар 2-м и 44-м стрелковыми корпусами из района восточнее Борисова в направлении Лепель, Докшицы, в тыл 57-го мехкорпуса немцев.

Рядом с этими корпусами я поставил вымышленную оперативную группу генерала Чумакова и постарался создать для нее оперативно-тактическую обстановку, сходную с той, в которой действовали 2-й и 44-й стрелковые корпуса. Это позволило распоряжаться судьбами литературных героев согласно замыслу романа...

Во многих читательских письмах заметное место отводится судьбе бывшего командующего Западным фронтом генерала армии Д. Г. Павлова и его соратников. Высказываются разные точки зрения о степени их виновности, о соразмерности вины и кары и так далее. К сожалению, к тому, что написано в романе, я ничего не могу прибавить. Могу только прочесть, что написал мне по этому поводу первый член Военного совета Западного фронта, бывший соратник Павлова, генерал-лейтенант Александр Яковлевич Фоминых. Высказывая свое отношение к роману, он замечает:

«О Д. Г. Павлове. Тысячу раз прав профессор Романов Н. И., говоря, что «не у всех вместе с очередной генеральской звездой начинает сиять новая звезда во лбу...». Это целиком относится к Дмитрию Григорьевичу. Обвинять в этом генерала армии нельзя: виновата природа. Не все могут быть государственными деятелями или маршалами.

На важнейшие вопросы того времени: «Будет ли война с Германией?», «Когда можно ожидать войны с Германией?» и т. д. — Павлов всегда отвечал односложно: «Об этом знает Сталин».

Совет профессора Романова Н. И. — обязательно иметь умных и деятельных помощников — воспринимался однобоко. Дмитрий Григорьевич уважал умных, но... со звонкими каблучками».

Добавлю, что мне пришлось поработать довольно много, по крупицам собирать материал о Д. Г. Павлове. А такой установленный мной факт, что генерал Павлов арестован 4 июля 1941 года в городе Довске (Белоруссия), поставил было меня в тупик, из которого я долго не мог найти выхода. В самом деле, почему смещенный

четыре дня назад командующий фронтом оказался в нескольких километрах от района жесточайших боев? Что он там мог делать?.. Вопрос был неразрешим до тех пор, пока не отыскались живые свидетели событий. Подчеркиваю: свидетели... Когда вышла книга, в потоке читательских писем я нашел и такие, в которых рассказывались подробности описываемых мною событий, и убедился, что правда факта и правда художественного обобщения оказались в одном русле, не противореча друг другу даже при том обстоятельстве, что я позволил себе сместить место событий в здание Гостиного двора и ввести в них своего литературного героя — генерала Чумакова.

Когда проникаешь мыслью в глубь того, что содержится в письмах, когда соизмеряешь свои, легшие в роман, замыслы с теми чувствами, которые они вызвали у читателей, и начинаешь ощущать единство своего видения и оценок прошлого с видением и оценками читателей — это ли не самая большая награда для писателя! Мне особенно дороги те строки, в которых бывшие фронтовики, определяя отношение к роману, вспоминают свои военные дороги и своих фронтовых побратимов. А разве не вздрогнет сердце при мысли, что, может быть, написанное о войне (не только мной, а и моими коллегами) побудит молодых читателей пристальнее всмотреться в героическую сложность и трагичность тех будто бы и далеких, а для нас, фронтовиков, всегда близких лет, заставит глубже задуматься над величием советского человека, который во имя будущих поколений (уже пришедших в сегодняшнюю жизнь) без колебаний решался на полное самоотречение. Ведь стоит только напомнить иному читателю, что в годы войны были, прямо скажем, иные мерки жизни, иные оценки достоинств человека как воина или труженика, что было иное суждение о человеческих радостях, горестях и в целом — о человеческом счастье, стоит начинающим жизнь юноше или девушке задуматься над этим, как воспламеняется великая очистительная сила — их совесть — и начинает быть строгим судьей, взыскательным наставником и надежным врачевателем.

Но это лишь один из многих аспектов, которые, может, даже подсознательно тревожат писателей военной темы, когда они садятся за свою очередную книгу.

Главное же, смею заметить по собственному опыту, гнетет забота, как выстроить и наполнить повествование большой правдой жизни, судеб и характеров, чтобы книга привнесла что-то новое, важное, хоть в какой-то мере обогащающее уже существующую литературу о Великой Отечественной войне. И, разумеется, всегда тревожит мысль, чтобы написанное тобой вплелось, пусть маленькой веточкой, в вечно живой венок народной памяти на надгробии погибших героев, коих миллионы...

Сейчас, конечно, легко из звучных слов слагать цветистые фразы. А вот тем людям, которые первыми испытали страшную сумятицу чувств, вызванных внезапным нападением врага, было очень нелегко. Я могу говорить об этом с пониманием всей трагичности сложившейся в приграничных районах ситуации, потому что в ту пору сам находился там. Как развертывались приграничные сражения, сейчас хорошо известно по документам, учебникам, мемуарным и художественным произведениям. Но тогда, в июне 1941 года, даже для тех, кто руководил первыми сражениями, многое было неясно, не говоря уже о нас, рядовых и командирах начальных звеньев. Каждому из нас тогда казалось, что ты находишься на самом трудном участке, в центре событий, и всех нас не покидала мысль: остановить врага, выстоять, а если погибнуть, то успеть бы прежде узнать, что происходит...

Погибли многие тысячи, так ничего и не узнав. Многие, умирая, полагали, что началась не война, а вооруженная пограничная провокация. И вышестоящим штабам, вплоть до Генерального штаба, в первые дни войны очень трудно было оценивать обстановку, ибо заброшенные в наши прифронтовые тылы переодетые в форму командиров Красной Армии, милицейских работников и в иные одеяния немецкие диверсанты разрушали линии связи, применяя изуверскую хитрость, истребляли на дорогах наших так называемых в то время делегатов связи.

Казалось бы, гитлеровские дивизии добились возможности с ходу сломить сопротивление наших войск и торжественным маршем устремиться в глубь советской территории.

Адольф Гитлер на это, между прочим, и рассчитывал.

За три дня до нападения Германии на СССР, 19 июня

1941 года, германское верховное главнокомандование поторопилось издать директиву № 32, в которой излагались задачи гитлеровских войск после победы над Советским Союзом. Вот их суть: завоевание Средиземного моря, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока при одновременном возобновлении «осады Англии». Вслед за этим нацистскому руководству казалось возможным порабощение Индии и перенесение боевых действий на территорию США.

Первые успехи немецко-фашистских войск, их выход в южные районы Эстонии, к Пскову, на рубеж среднего течения Северной Двины и Днепра, были расценены гитлеровским руководством как полный выигрыш войны против Советского Союза.

Вот что заявил 4 июля 1941 года Гитлер на совещании в ставке: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить».

Это, повторяю, было сказано Гитлером 4 июля 1941 года.

Так что же случилось в наших приграничных областях? Кто сдержал гитлеровские армии, дав возможность нашему командованию подтянуть силы из глубины страны? Ведь действительно наши войска прикрытия оказались в отчаянном положении из-за нарушения снабжения боеприпасами, горючим, при полном господстве немцев в воздухе.

Если ответить на эти вопросы краткой общей формулой, то надо повторить известную истину, что на вооружении войск прикрытия Красной Армии оказалось в полной боевой готовности такое оружие, как ВЕРА в наши идеалы, как ВЕРНОСТЬ своей Родине и Коммунистической партии. И это не просто красивые слова, это реальные понятия, ибо со словами любви к Родине, партии наши полки шли в штыковые атаки и эти слова у многих тысяч бойцов были последними в их жизни...

А если эту общую формулу развернуть картинно, то надо обстоятельно рассказывать, как все было. И многие писатели уже рассказывали — одни с большей мерой достоверности, другие с меньшей.

1975

КУЗНЕЦЫ ВЫСОКОГО ДУХА

Когда с высоты возраста обращаешь взор на давнюю пору своей молодости, на те годы, в которые будущее с какими-то свершениями грезилось за далекой розовой дымкой, то с горечью отмечаешь, что где-то прошел не по той дороге, сделал кое-что не так, как надо было сделать, а кое-где подруга неопытности — самонадеянность тоже сыграла с тобой злую шутку... Сетовать на все это особенно не приходится, и не потому, что молодость имеет право на ошибки и заблуждения, а главным образом потому, что не они, эти ошибки и заблуждения, были сущностью постижения моим поколением истин человеческого бытия и столбовой дорогой в будущее. Вся атмосфера жизни в годы нашей молодости была пропитана романтикой подвигов, навеянной «Чапаевым» и Павкой Корчагиным, многими другими книгами и фильмами, а также песнями того времени и еще благоговейным отношением простых людей к красноармейской, особенно командирской, форме. И все мы страстно мечтали стать если не летчиками, то в крайнем случае моряками, а на худой конец — танкистами или артиллеристами. Слово «лейтенант» или «капитан» звучало для нас сладчайшей музыкой, а непостижимо высокое слово «комиссар» вообще повергало в священный трепет. В этом слове звучала для нас вся история гражданской войны, все самое героическое и благородное, светлое и бессмертное. Не у всех хватало храбрости даже в дерзновенных мечтах увидеть себя комиссаром, тем более что комиссарскому званию предшествовали тоже звучащие гордо и призывно «младший политрук», «политрук»...

И когда во время финской войны я оказался курсантом Смоленского военно-политического училища, не было конца моей радости. Училище как раз и готовило политработников ротного и батарейного звена. В мечтах я не только проводил политинформации и политзанятия, занимался другими видами воспитательной работы, но уже и ходил впереди атакующих цепей на врага... А чтобы мечты обретали хоть какую-нибудь реальность, я писал рассказы о воинских подвигах. Рассказы читал на занятиях училищного литературного кружка, которым руководил ныне широко известный поэт, публицист и прозаик Николай Грибачев; несколько из них даже напечатал в областной газете «Рабочий путь», а в мае

1941 года был приглашен в Минск на совещание молодых красноармейских писателей, что потом сыграло важную роль в моей жизни.

И вот 30 мая 1941 года нам присвоили воинское звание «младший политрук» и разослали по разным военным округам. Я попал в Особый Западный. Приехал за назначением в Минск, где в отделе кадров политуправления округа меня уже ждал пакет с предписанием. Взглянув на название должности, на которую назначен, я не поверил своим глазам: «политрук противотанковой батареи». Счастью моему не было предела. Я боялся, что это сон. Уходил из отдела кадров, не чуя под собой ног... И вдруг, когда буквально летел по коридору, из кабинета вышел батальонный комиссар в кавалерийской форме. Я узнал в нем инструктора по печати политуправлении округа Матвея Крючкина, с которым совсем недавно познакомился на писательском совещании. Осведомившись о причине моей радости, батальонный комиссар Крючкин почти силой отнял у меня предписание и безапелляционно изрек:

— В округе голод на журналистов! Поедешь секретарем дивизионной газеты...

Трудно было мне расставаться со своей заветной мечтой. В снах я продолжал водить бойцов в атаки, не подозревая, что снам этим надлежало сбыться очень скоро. Грянула война. Наступили дни тяжелейших испытаний. Реальность оказалась весьма далекой от картин, которые недавно рисовало восторженное воображение. Но в этой жуткой реальности образ комиссара и политрука нисколько не лишился того привычного и восхищающего ореола. Более того, юношеская фантазия оказалась беднее всего происходящего.

Я глубоко убежден, что еще не оценена по достоинству та грандиозная роль, которую сыграли политработники в начальный период Великой Отечественной войны, особенно политработники старшего звена — комиссары. Являясь участником трагических событий, которые разыгрались в июне 1941 года западнее Минска, я вынес оттуда такое ощущение, что, не будь с нами комиссаров, все обернулось бы во сто крат трагичнее. При этом нисколько не хочу умалять роль командиров, которым в казавшейся неразберихе и кровавой сумятице хватало работы по выяснению непрерывно меняющейся обстановки и организации отпора врагу. Однако, поскольку уже в первые дни немалая часть наших войск

оказалась разобщенной, очень важно было, как выяснилось, видеть впереди контратакующих цепей не только политруков рот, а и комиссаров батальонов и полков. Понимая, что главная задача — задержать врага, замедлить темпы его наступления на восток, они останавливали людей и спокойно, но с определенной категоричностью приказывали (даже командирам) развертываться в боевые порядки вправо и влево от магистралей и окапываться. При этом сами оставались тут до конца, продолжали наращивать силы, помогали командирам приводить людей в боевое состояние.

Кажется, не было оживленного перекрестка, переправы через речку, не было заслона, который выбрасывался навстречу врагу, где бы не слышался голос человека с красной звездой на рукаве. Ко всему они были причастны, везде находили себе неотложное дело.

Помню даже такой необычный случай. Штаб нашей 209-й мотострелковой дивизии закопался в землю на лесных высотах близ городишка Кресты в Западной Белоруссии. Командир дивизии полковник Муравьев, начальник отдела политпропаганды полковой комиссар Маслов и начальник особого отдела (фамилию не помню) сидели возле штабной палатки и выслушивали доклады командиров подразделений из разбитых частей, отступавших на восток и задержанных развернувшимися впереди нашими штабными подразделениями. Я, в то время желторотый секретарь дивизионной газеты, вертелся поблизости, снедаемый труднообъяснимым любопытством: хотелось взглянуть на сидевшего в окопе под охраной военфельдшера штабной санчасти, с которым до войны (три дня назад) в местечке Ивье жил по соседству; военфельдшер был приговорен военным трибуналом к расстрелу «за членовредительство» (прострелил себе ногу) и ждал утверждения приговора в вышестоящем штабе. В это время на высоту к палатке приконвоировали задержанного на дороге майора. Майор предъявил начальству документы и объяснил, что следует с двумя грузовиками, в которых сидят его саперы, на восток для выполнения задания по охране мостов. А я, оказавшись свидетелем этого объяснения, был потрясен: в майоре узнал недавнего курсанта Смоленского училища; два года подряд наши роты ежедневно в одном коридоре, а затем по соседству в лагерях выстраивались на утренние осмотры и вечерние поверки. Всего

лишь три недели назад мы вместе закончили училище, и вдруг вижу в петлицах своего однокашника не два кубика младшего политрука, а две шпалы, да еще на рукавах золотые шевроны строевого командира. А «майор» между тем, получив разрешение следовать дальше, отдал начальству честь, четко повернулся кругом и... увидел меня. Побледнел, отвел в сторону глаза и зашагал к дороге. Я окликнул его по фамилии, но он будто не расслышал. Я еще раз окликнул. На мой взволнованный голос обратил внимание полковой комиссар Маслов и тоже крикнул:

— Товарищ майор!..

«Майор» остановился, устремив притворно-недоумевающий взгляд на полкового комиссара.

— Вы что, знакомы? — спросил у меня Маслов.

— Да. — И в двух фразах все объяснил.

— Ошибаетесь, товарищ младший политрук, — растянул губы в подобие улыбки «майор».

— Ну как же? — Я сбивчиво начал что-то говорить, а «майор» тут же с дьявольской усмешкой на бледном лице все опровергал.

Полковой комиссар Маслов смотрел то на меня, то на «майора». К нам уже подходили комдив и начальник особого отдела.

— А не являетесь ли вы, младший политрук, засланным провокатором? — сурово спросил, не спуская с меня глаз, полковой комиссар. — Ведь вы у нас новичок?

Я остолбенел от неожиданного поворота событий, видя при этом, как рука Маслова скользнула к кобуре и выхватила пистолет.

— Руки вверх! — скомандовал полковой комиссар, но приказ был обращен не ко мне, а к «майору», и вовремя, потому что «майор» тоже схватился за оружие. Его успели скрутить, затем не без трудностей и не без потерь обезоружили солдат в двух грузовиках, которые оказались переодетыми фашистами.

В моем сознании никак не укладывалось, что в нашем училище пребывал среди нас враг — с чужим именем и чужой биографией. Но — речь о полковом комиссаре Маслове. В несколько секунд он осмыслил ситуацию и принял единственно правильное решение: обрати он первые слова не ко мне, а к «майору», кто знает, кому бы раньше удалось выхватить оружие!

Попутно вспоминается мне, что именно заместитель Маслова — батальонный комиссар Дробиленко — рас-

крыл секрет подделки немцами документов. Он обратил внимание, что все наши документы были прошиты обыкновенной, ржавеющей от пота и времени проволочкой, оставляющей на бумаге рыжие следы, а тут вдруг стали встречаться партбилеты и удостоверения, сверкающие хромированной проволочкой... Просчитались немцы на мелочи, и этот просчет обнаружили политработники.

О какой стороне деятельности войскового организма ни подумай, ко всему причастны политработники. В то же время они причастны к самому главному: к высокому воинскому духу людей, как кузнецы этого духа.

...Попробуем представить себе накал чувствований человека, решившегося во время боя закрыть своим телом амбразуру вражеского дота или броситься с гранатами под гусеницы вражеского танка. Человек этот, даже если он находится в состоянии крайнего аффекта, все-таки отдает себе отчет в том, что у него нет ни малейшего шанса остаться в живых. А ведь свой поступок он совершает не по чьему-то принуждению или приказу — решается на него сам, по своей воле, исходя только из целесообразности, вытекающей из обстановки, сложившейся на поле боя. Сразу же оговоримся, что такие поступки ничего общего не имеют с фанатизмом, который, как известно, не возвышает, а ослабляет нравственные чувства; фанатизм, по утверждению Наполеона, приходит только от гонения... Так что же испытывает человек, героически отважившийся на трагический, последний для него шаг?

Можно, конечно, вообразить весь сложный комплекс чувств воина, идущего на самопожертвование. Это особенно легко сделать людям, побывавшим на войне и не раз подвергавшим себя смертельным опасностям. Можно даже эти чувства тщательно проанализировать, назвать поименно, определить эмоциональную окраску каждого, найти их истоки, побудительные причины и так далее. Но при этом мы обязательно будем пристально всматриваться в душу самого человека, совершившего подвиг, человека как личности, как индивидуума, и перед нами с естественной закономерностью, помимо нашей воли, вырисуется образ благороднейшего рыцаря, в первую очередь беспредельно и сознательно преданного тому делу, ради которого он взял в руки оружие, до конца верного своему народу и Отечеству. А уж потом

мы будем размышлять над такими сопутствующими категориями, как храбрость, мужество, решительность и тому подобное.

Но ведь все названные выше духовные качества, начиная с сознательности и преданности, нужны воину и когда он поднимается в атаку или идет в разведку, когда терпит в окопе холод и голод, когда обороняет свой рубеж, отражая штурм противника, или подвергается массированному артиллерийскому обстрелу. Верно, нужны, хотя проявить их коллективно, как говорят, «на виду», куда легче. Не зря твердят в народе, что «на миру и смерть красна». Когда, например, идет в атаку ротная цепь, да еще если атакует весь полк, солдата греет надежда — авось меня пуля обминет и на сей раз, авось осколок не заденет... Но даже и при наличии этой естественной надежды солдат выполняет поставленную задачу не только потому, что согласно приказу, как учил Суворов, знает свой маневр и делает в бою то, что ему надлежит делать во имя выполнения поставленной задачи и достижения общей цели, а и потому, что, помимо воинского мастерства, он еще вооружен любовью, преданностью, верой и ясным пониманием идеалов, за которые готов отдать жизнь. Это элементарные истины, но истины прекрасные, возвеличивающие наше социалистическое общество. О них никогда нелишне размышлять с охватом не только следствий, но и причин. Ведь даже если такие яркие случаи, как самопожертвование, оставить в особом ряду, а рассматривать лишь будничность минувшей войны, то и без этого ясно, из каких родников черпало наше общество духовные силы, особенно там, на фронтах вооруженной борьбы с фашизмом, где психологическое напряжение чувств было беспредельным. И главная сущность этих высоких нравственных сил, не боюсь повторить азбучную истину, — любовь, преданность, вера и верность. Не затрагивая их истоков, хочется в то же время напомнить, что в сложных фронтовых условиях в многотысячных массах армии надо было еще суметь аккумулировать накал этих человеческих чувств, устремить их в нужном направлении, с учетом обстановки и предстоящих задач, да и в ходе выполнения самих задач, на каждом очередном этапе подготовки и проведения боя... Это не такое уж простое дело — воспламенять чувства великого множества людей, стоящих на пороге между жизнью и смертью, когда война смотрит им в глаза всеми своими устрашаю-

ще-кровавыми проявлениями, когда каждый воин должен превозмочь естественное чувство самосохранения, как бы перечеркнуть личную судьбу и всецело подчинить свои помыслы и действия достижению общей цели.

Кто желает более предметно убедиться в справедливости сказанного выше, пусть прочтет хотя бы книгу генерал-полковника М. Х. Калашника «Испытание огнем», изданную военным издательством в серии «Военные мемуары». Она относится к числу тех документальных книг, которые заставляют как бы заново пережить войну и смотреть на нее с более высокой вышки, в иных, несравнимо более широких и новых ракурсах, а воинский подвиг, вообще его нравственную сущность, осмысливать в неразрывном единстве с деятельностью Коммунистической партии на фронтах Отечественной войны. Книга эта, пожалуй, одно из тех мемуарных произведений, в котором с глубоким знанием дела, непосредственно и просто повествуется о деятельности на войне политработников Советской Армии. Ведь именно политработники, полномочные представители Коммунистической партии в армии, и явились в грозных условиях войны той силой, которая сумела все лучшие и светлые чувства, рожденные в человеке не только его природой, но и социалистическим строем, советским образом жизни и воспитанием, всколыхнуть по-особому, собрать воедино, ярко осветить мыслью советского патриотизма, идеями ленинизма и обратить, с одной стороны, словно в броню от страха и безволия, а с другой стороны — в могучие крылья, которые смело и решительно несли воинов вперед на врага.

Все участники войны прекрасно помнят об этом, а книга «Испытание огнем» не только будоражит наши воспоминания, но и возвышается над ними как достоверный человеческий документ, который воскрешает конкретные деяния на фронте политработников и партийных организаций 47-й армии, прошедшей с боями от Северного Кавказа до Берлина. Автор был в этой армии начальником политотдела, и все, о чем он пишет, — лично виденное и пережитое.

Я не ставлю перед собой задачу делать полный анализ и давать всестороннюю оценку книге (это удел критиков). Вместе с тем мне хотелось бы отметить ее появление как важное событие в военно-исторической ли-

тературе, за которой внимательно слежу, с проблемами которой, как писатель, связал себя не на один год. Книга примечательна и своеобычна во многих отношениях. Она по значимости содержания далеко выходит за рамки одной армии и дает широкое представление о деятельности политотделов армий на фронте вообще — в самые различные периоды предбоевого и боевого состояния войск. Перед нами встает подлинный политический штаб времен войны, откуда направляется партийно-политическая работа в соединениях и частях, входящих в состав армии, штаб, в котором на основе обобщения передового опыта, подсказанного самой жизнью в боевых условиях, разрабатываются новые формы и методы пропагандистско-воспитательной работы во всех звеньях сложнейшего войскового организма. Эти методы и формы, как мы видим в книге, в постоянном совершенствовании и обновлении, в зависимости от того, какую задачу, какими силами, каким национальным составом, в какое время года, на какой местности и даже на чьей территории решает армия. А она, как упоминалось выше, воевала в предгорьях Кавказа, форсировала Днепр и удерживала знаменитый Букринский плацдарм, освобождала Ковель, штурмовала Берлин — это только некоторые этапы ее боевого пути. Автор «Испытания огнем» последовательно и всесторонне раскрывает содержание партийно-политической работы на каждом этапе, с учетом всех условий и обстоятельств. И эта работа предстает перед нами как подлинное высокое искусство — плод неутомимых усилий коллектива политработников и их верных помощников — коммунистов и комсомольцев из подразделений.

Ближайшие помощники командиров, политработники армии не знают на фронте отдыха. Они в ответе не только за политико-воспитательную деятельность, формам которой нет числа, за работу партийных и комсомольских организаций, за содержание армейской и дивизионных газет — с них спрос и за работу тыла, который обеспечивает людей переднего края питанием, обмундированием, оружием, боеприпасами, и за работу военно-медицинских учреждений, транспортных, дорожных и других служб, без которых немыслимы боевые действия армии. Это они, политработники, через громкоговорители с переднего края обращались со словами правды к вражеским солдатам, это они составляли листовки, которые разбрасывались над расположением войск против-

ника. На их плечи ложилась и первая политическая работа среди советского населения на освобожденных от врага территориях, им приходилось разъяснять освободительную миссию Советской Армии среди народов тех стран, куда вступал, преследуя гитлеровцев, советский воин. Особенно это нелегко было делать среди немецкого населения, одураченного гитлеровской пропагандой.

Или даже такие подробности: армия ведет наступление в полосе, где как раз оказываются знаменитые исторические места, прославившие русское оружие, — поле Полтавской битвы, в которой 1709 году русская армия под командованием Петра Первого разгромила шведов; реки Стырь и Стоход, где в 1916 году русские войска под командованием А. А. Брусилова разгромили австро-германские армии; селение Кунерсдорф на территории Германии, близ которого в августе 1759 года русские войска под командованием генерал-аншефа П. С. Салтыкова наголову разбили прусскую армию Фридриха Второго.

Естественно, политотдел армии не мог пройти мимо таких обстоятельств. В частях и подразделениях проносился в каждом случае шквал митингов и бесед, посвященных героической истории нашего народа.

«Замечу сразу же, — не без юмора пишет автор, — что бой за Кунерсдорф в апреле 1945 года не стал таким знаменитым, как Кунерсдорфское сражение 1759 года: на этот раз гитлеровцев вышибли из села всего два батальона 601-го стрелкового полка, которым командовал полковник М. М. Пазухин. Но наши бойцы нисколько не жалели об этом!»

Как видим, все старались учитывать политработники. В книге это показано на множестве самых разнообразных примеров. В то же время очень убедительно, в живых картинах и ярко выписанных эпизодах изображена подчиненность всей партийно-политической деятельности боевым задачам, которые решала армия, показано единство устремлений и человеческое взаимопонимание командиров-единоначальников и политических работников. И как следствие — конкретные результаты совместной деятельности штабов и политорганов.

В чем же выражаются эти результаты, какими показателями определяются итоги всех усилий политработников? Ведь важна не впечатляющая сумма проведен-

ных бесед, митингов, собраний, личных встреч. Важно не количество активно действующих агитаторов и пропагандистов и даже не само число вступающих накануне сражения в партию и комсомол. Важен конечный результат всего комплекса проводимой партийно-политической работы. То есть рождены ли и воспламенены ли в сердцах огромной массы воинов те самые чувства и мысли, которые помогут им преодолеть страх и робость, помогут ощутить побуждающую силу своего гражданского долга и в ходе самого сражения лучшим образом выполнить поставленную командиром задачу и совершить немыслимое; и как глубоко понимают воины свою священную миссию в обобщающем смысле — отстоять с оружием в руках честь и независимость Советского Отечества, освободить от порабощения фашизмом многие народы... Как определить наличие таких чувств и чем измерить их глубину и накал? Как узнать, принесла ли воспитательная работа необходимые плоды? Только бой подводит итоги всему и дает всестороннюю оценку предшествующей подготовке во всех ее звеньях.

В книге живет и действует немало прославивших себя во время войны командиров и командующих, всем им автор находит пусть не всегда пространные, но зато яркие и убеждающие характеристики, которые вновь заставляют проникаться к ним верой и уважением. Среди таких широко известных нашему народу военачальников можно назвать А. А. Гречко, К. К. Рокоссовского, П. П. Корзуна, Ф. Ф. Жмаченко, Н. И. Гусева, В. С. Поленова, Ф. И. Перховича, Г. С. Лукьянченко и многих других, чьи имена много раз звучали в период Великой Отечественной войны в сообщениях с фронтов и в приказах Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Наряду с полководцами в книге дана еще одна, довольно большая галерея имен и их психологических портретов, очерченных по-солдатски скупо, но с той емкостью и выразительностью, за которыми явственно ощущается глубина чувств, видятся люди с большой душой, самоотверженные, до конца преданные делу, которому они служат, и умеющие глубоко проникать мыслью в сущность явлений и определять самые злободневные задачи. Их имена не было принято упоминать в победных приказах Верховного Главнокомандующего, и принадлежат они членам военных советов фронтов и армий, начальникам политуправлений и политотделов — людям, в полной мере и самым непосред-

ственным образом причастным ко всем боевым свершениям, достигнутым нашими войсками на фронтах борьбы с германским фашизмом.

В книге мы видим активно действующими таких широко известных политработников Советской Армии, как С. Ф. Галаджев, С. Е. Колонин, И. Н. Королев, С. С. Шатилов, К. В. Крайнюков, А. Д. Окороков, К. Ф. Телегин, А. И. Колунов...

Мне особенно дороги воспоминания о Сергее Федоровиче Галаджеве, ныне уже покойном, как дороги они многим, кто имел счастье встречаться с ним на своем жизненном пути. Генерал Галаджев был начальником политуправления 1-го Белорусского фронта. Автор пишет о нем как о незаурядном человеке, прекрасном организаторе, чутком и внимательном советчике. «Настоящий коммунист-ленинец, он обладал талантом политработника крупного масштаба, отличался высокой партийной принципиальностью, любовью к людям». И еще немало взволнованных слов — искренних и справедливых. Рассказывая уже о заключительном этапе войны, М. Х. Калашник пишет:

«По вечерам, когда я возвращался из поездок, меня вызывал к аппарату ВЧ начальник политуправления фронта генерал С. Ф. Галаджев. Подробно интересовался настроением людей, их отношением к местному населению (речь идет о населении Германии. —*И. С.*). Я докладывал обстоятельно и откровенно, благо при разговоре по высокочастотной связи никто не подслушивает. Сергей Федорович требовал самой решительной борьбы с любыми, даже с малейшими отступлениями от воинского порядка. По складу характера Сергей Федорович был, в сущности, очень добрым и отзывчивым человеком, однако, как опытный политический руководитель, непримиримо относился к расхлябанности. Этого он требовал и от нас».

Я очень хорошо знал генерала Галаджева, имел честь под его началом несколько лет служить после войны, когда он был начальником политуправления Сухопутных войск. Невысокий, темноволосый, со смуглым восточным лицом; темные грустные глаза, казалось, смотрят тебе в самую душу, смотрят с вопрошающей мудростью и будто видят что-то самое главное. Неуютно чувствовали себя люди, которые, докладывая ему о

выполненном задании, делали поспешные выводы о чем-либо или о ком-либо или составляли непродуманные документы. Он не прощал предвзятости, мелких суждений и суесловия. Зато сам показывал образец отточенности мысли, обоснованных решений, внимательного отношения к людям.

Книга «Испытание огнем», как и книга К. В. Крайнюкова «От Днепра до Одера», как и многие другие лучшие военно-мемуарные произведения, уже завоевавшие широкую популярность, становятся в буквальном смысле литературным явлением. Их роль в развитии военно-художественной прозы и драматургии огромна хотя бы уже потому, что они, исповедуя на основании живой истории главную правду о войне, в которой мы одержали великую победу, создают прочный барьер против неправды, где бы она ни прорастала. А для необозримого моря читателей в этих книгах — живой пульс тех героических лет, когда усилиями советского народа, его Вооруженных Сил под руководством Коммунистической партии были повергнуты в прах фашистские полчища и человечество было спасено от коричневой чумы.

1971

В ТО ГРОЗНОЕ ЛЕТО

К 40-летию Смоленского сражения

Трудно вспоминать о том тяжком времени. Трудно и больно, хотя уже прошло с тех пор сорок лет. Больно от понесенных нами в первые недели войны больших потерь, от постигшей нас нравственной оглушенности и от того, что тогда мы даже не могли осмыслить в полной мере происшедшее. Идя в первые контратаки, прорываясь из одного вражеского окружения и попадая в другое, вгрызаясь в землю на каждом выгодном рубеже, чтобы обороняться, мы напряженно ждали решительного перелома в событиях. А война все брала и брала свой страшный оброк, унося жизни бойцов, командиров, политработников... За минувшие сорок лет не откликнулся ни один мой сослуживец из 209-й мотострелковой дивизии, в которой я воевал первые недели войны и о людях которой продолжаю и сейчас писать

в своих книгах и статьях — не хочется думать, что их нет в живых...

В конце июня и начале июля 1941 года всем нам, кто в составе главных сил Западного фронта сражался в окружении западнее уже захваченного врагом Минска, казалось, что, стоит выиграть хоть немного времени, и подоспеют резервы, линия фронта стабилизируется. Мы ощущали трагизм происходящего, но не знали тогда главного: ведя свыше двух недель упорные бои в больших и малых «котлах», наши части сковали около 25 нацеленных на Москву вражеских дивизий — почти половину состава группы армий «Центр».

Смоленск казался тогда далеким тылом, нам и в голову не могло прийти, что на тех самых высотах, где мы, курсанты Смоленского военно-политического училища, всего лишь месяц назад постигали азы управления взводами и ротами, скоро развернутся кровавые бои с врагом.

А Смоленск, 29 июня превращенный жестокой бомбежкой в развалины и пожарища, уже воевал. В который раз в своей истории он вставал на путях к Москве преградой захватчикам!

Смоляне — жители Смоленска и области — последовали своей исторической традиции: сотни тысяч их сразу же стали в строй вооруженных защитников Родины, в том числе 24 тысячи коммунистов и 32 тысячи комсомольцев. В городе была сформирована бригада народного ополчения, а в районах области — десятки истребительных батальонов, групп самообороны и ополченческих отрядов, 2,5 миллиона пудов хлеба и много других продуктов передали фронту смоленские колхозники с началом войны. А как не вспомнить те противотанковые рвы, окопы и траншеи, которые были вырыты руками жителей города и области, явившиеся потом опорными рубежами для наших отступавших войск. Триста тысяч юношей и девушек, стариков и женщин трудились тогда на оборонных работах.

Помню похороны и братскую могилу на опушке леса близ Хиславичей: гитлеровские воздушные асы с бреющего полета напали на безоружных людей, рывших окопы, и убили восьмерых студентов смоленских вузов, Мы поклялись над их могилой отомстить фашистам. Затем один наш батальон, прикрывая отход остатков штаба 209-й мотострелковой дивизии и его спецподразделений, защищался в тех окопах до последнего бойца...

Ставка принимала меры по непрерывному усилению Западного фронта. Но достигнуть равновесия сил не удавалось: господствовавшая в воздухе авиация врага поражала наши коммуникации, и подходившие из глубины страны эшелоны опаздывали. Противник нависал над районами их выгрузки, расчеты и графики рушились, прибывавшие полки и дивизии вводились в бой разрозненно. В них вливались подразделения и группы, которым удалось вырваться из вражеского кольца. Пробились в район Могилева остатки и нашей 209-й моторизованной дивизии. Ее командир полковник Муравьев был тяжело ранен, начальник политотдела полковой комиссар Маслов убит. Нас, группу командиров и политработников, распределили в части, дравшиеся на Смоленской возвышенности.

10 июля немецко-фашистские войска, имея двукратное превосходство в живой силе, самолетах, артиллерии и четырехкратное — в танках, начали наступление на Смоленск. В августе фашистское командование рассчитывало захватить Москву, к началу сентября выйти на Волгу, достичь Казани и Сталинграда.

Младший политрук, я тогда не мог постичь события во всей их масштабности. Но спустя десятилетия, с той поры, как начал писать роман «Война», вновь, но по-иному переживаю это сражение, сопоставляю то, что видел сам, и почерпнутое в беседах с военачальниками, с рядовыми участниками боев, в архивных документах. Большое впечатление произвела на меня карта за 12 июля 1941 года, с которой работал командующий Западным фронтом маршал С. К. Тимошенко. На карте видно, как он маневрировал не очень богатыми резервами, как перенацеливал ведшие бои соединения.

Сгруппировав в ударный кулак часть подоспевших сил 19-й армии И. С. Конева и силы правого крыла 20-й армии П. А. Курочкина, командующий фронтом обрушил в районе Витебска неожиданный контрудар на выдвинутый из резерва вермахта для развития наступления моторизованный корпус. В тот же день части 22-й армии Ф. А. Ершакова внезапным контрударом из Полоцкого укрепрайона разгромили фашистскую моторизованную дивизию. Части 21-й армии Ф. И. Кузнецова и 13-й армии Ф. Н. Ремезова остановили фашистов на Рославльском направлении.

Но, несмотря на величайшие усилия наших войск,

обстановка все-таки складывалась в пользу противника.

Против трех армий Западного фронта, оборонявшихся в полосе от Витебска до Быхова, противник в середине июля перешел в наступление главными силами своих 3-й и 2-й танковых групп при поддержке большей части сил 2-го воздушного флота. Наша 19-я армия вынуждена была отойти на северо- и юго-восток, и противник устремил в образовавшуюся брешь две танковые дивизии. К вечеру 15 июля они прорвались в район севернее Ярцева, охватывая с северо-востока тылы советских войск.

Над Смоленском нависла реальная угроза. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин получил 14 июля приказ возглавить оборону города. Но он уже был не в силах предпринять действенные меры. В мои руки попали неопубликованные воспоминания командарма. В них он рассказывает, какие трудности пришлось испытать 16-й армии в первые недели войны. Армия прибыла под Смоленск разрозненно. Часть ее сил, в том числе и все танковые соединения, была передана 20-й армии. У Лукина остались лишь две дивизии, растянутые по фронту и действовавшие ударными подвижными отрядами.

Непосредственно Смоленск защищала ополченческая бригада полковника П. Ф. Малышева. Когда вечером 15 июля после тяжелых боев немцы с трех направлений ворвались в город, батальоны Малышева и подразделения, отошедшие за крепостные стены, вступили в ожесточенный бой, защищая каждый дом, квартал, каждую улицу. Короткая июльская ночь прошла в жесточайших схватках. К утру южная часть Смоленска была захвачена врагом. Мосты через Днепр были взорваны полковником Малышевым; не самовольно, как ошибочно утверждается в некоторых мемуарах, а согласно приказу командования 16-й армии — это мне удалось установить по архивным документам.

Но и после взрыва мостов сражение за Смоленск продолжалось. Соединения и части несколько пополнившейся 16-й армии неустанно контратаковали врага, пытаясь выбить его из города, и одновременно отражали попытки фашистских войск перехватить дороги между Смоленском и Дорогобужем. В этот район 21 июля начала отходить 20-я армия. Как и 19-я, она уже находилась в окружении. С 21 июля по 7 августа согласно при-

казу Ставки была нанесена серия контрударов по сходящимся на Смоленск направлениям. В них участвовали оперативные группы армий Резервного фронта и группа генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Контрудар поддерживала авиация: к имевшимся на Западном фронте 370 самолетам Ставка нашла возможным выделить еще 270.

Эти удары помогли 20-й и 16-й армиям вырваться из кольца, отойти за Днепр.

В захваченных противником районах Смоленской области к середине июля действовали 32 подпольных райкома партии, 31 подпольный райком комсомола, 19 партизанских отрядов. Их деятельность направлял и координировал подпольный обком ВКП(б) во главе с первым секретарем Д. М. Поповым.

Вражеская группа «Центр» была сильно ослаблена. За первые три с половиной недели Смоленского сражения ее моторизованные и танковые дивизии потеряли до 50 процентов личного состава. До их пополнения и ликвидации угрозы флангам группы армий «Центр» гитлеровское командование вынуждено было отложить наступление на Москву. Впервые в ходе второй мировой войны немецко-фашистским войскам пришлось на главном стратегическом направлении перейти к обороне.

Развернувшееся по фронту на 650 километров и в глубину на 250 километров Смоленское сражение не утихало все лето и первую декаду сентября 1941 года. Оно складывалось из многих больших и малых наступательных и оборонительных операций.

В тех боях мне наиболее запомнилось наше наступление в направлении Духовщины с рубежей рек Царевич и Вопь, в котором участвовала 64-я стрелковая дивизия полковника А. С. Грязнова. Я тогда работал в ее газете «Ворошиловский залп». Как и многих работников политотдела, меня по существующему тогда обычаю послали в один из стрелковых батальонов «личным примером обеспечивать успех атаки».

Штаб 64-й дивизии раскинул землянки в овражистом лесу северо-западнее деревни Рядыни. К командным пунктам полков добираться оттуда было более или менее безопасно, но подступы к речке Царевич, вдоль которой тянулся рубеж нашей обороны, простреливались противником. Поэтому в батальоны нам было приказано идти с наступлением сумерек. А пока была середина дня, и я заторопился к землянке разведотделения

штаба, куда только что доставили трех пленных. Их допрашивал начальник разведотделения майор Селезнев. Запомнился он мне высоким, крупнотелым и неприветливым. На просьбу разрешить присутствовать на допросе в качестве работника газеты майор довольно резко приказал убираться и не мешать работать. Возмутившись, я пошел искать комиссара дивизии, чтобы пожаловаться. В это время налетели «юнкерсы»...

После бомбежки, когда проходил близ землянки майора Селезнева, увидел такое, что вспоминать страшно. От прямого попадания бомбы погибли все — и майор, и переводчик, и пленные, и бойцы-конвоиры... С тяжким сердцем вышел я из леса и напрямик, через поле неубранной ржи побрел в сторону передовой, усыпая путь золотыми слезами зерна. Они падали на серую колчеватую землю, как только рука прикасалась к колоскам. Это плачущее поле еще усиливало лежавшую на душе тяжесть от всего, что довелось пережить с первого часа войны. Думал я и том, что майор Селезнев прогнал меня сегодня от гибели.

В штабе полка, замаскировавшемся в заросшем мелколесьем овражке, узнал, что прибыло пополнение — несколько маршевых рот московских ополченцев и что сейчас перед ними выступает полковой комиссар А. Я. Гулидов. Через минуту я уже был в недалеком перелеске, где ждали ночи ополченцы. Гулидов тут же приказал мне с наступлением темноты отвести две роты ополченцев в батальон и «отвечать за них головой». Вид ополченцев меня несколько смутил: многие были с бородами, в очках; все они казались мне, двадцатилетнему, стариками.

Но когда на второй день на рассвете (это было 1 сентября) после короткой артподготовки мы устремились к задернутой туманом речке, ополченцы показали себя молодцами. Они вплавь и вброд перебирались через Царевич, четко выполняли команды и обходили оживавшие пулеметные немецкие гнезда. В атаку поднимались дружно и бесстрашно... В тех боях каждый бросок вперед начинался атакой, которую возглавляли, как тогда было принято, политработники, командиры взводов, рот, батальонов и даже подчас командиры полков. Это приводило к большим потерям среди командного состава. Уже на четвертый день боев в батальоне я остался единственным кадровым политработником, а среди командного состава — несколько сер-

жантов. Положение усугублялось еще и тем, что начались ливневые дожди, затруднявшие подвоз боеприпасов и продуктов, а также эвакуацию раненых.

Не могу не вернуться к тем чувствам, которые вызвал первый услышанный нами залп «катюш». Помню, когда поднялись в очередную атаку, вдруг сзади что-то могуче и оглушающе загрохотало, и над нашими головами к вражеским позициям, исторгая пламя, с ревом устремились невиданные длинные снаряды. От неожиданности мы упали на землю.

Так вступило в бой новое, мощное оружие — знаменитые реактивные минометы.

В ходе Смоленского сражения, в сложностях его оперативно-тактических ситуаций проявился и окреп военный талант многих советских командиров. Как символ военного мастерства, мужества, решительности и поныне звучат фамилии Рокоссовского, Конева, Курочкина, Лукина, Маландина, Соколовского, Захарова, Масленникова, Руссиянова, Галицкого, Крейзера, Лизюкова С. П. Иванова, Плиева и других.

Особо хотелось бы сказать о Г. К. Жукове. С конца июля до середины сентября 1941 года он командовал Резервным фронтом и успешно провел одну из важных в Смоленском сражении операций по разгрому ударной группировки немецко-фашистских сил на «Ельнинском выступе». В ходе этой операции войска 24-й армии Резервного фронта нанесли поражение двум танковым, одной моторизованной и семи пехотным дивизиям врага и ликвидировали самый удобный плацдарм для рывка фашистских войск на Москву. Отличившимся в боях 100-й и 127-й стрелковым дивизиям 24-й армии было присвоено звание гвардейских. Скоро стала 7-й гвардейской и наша 64-я стрелковая дивизия.

Изучая сейчас полководческое искусство Г. К. Жукова, размышляя над особенностями его непростого характера, я, как военный писатель, снова утвердился в мысли, что он, в обход «правил» оперативного искусства (на что и обижались немецкие генералы), иногда дерзко и с умыслом пренебрегал некоторыми «формальными необходимостями» при выработке того или иного оперативного решения. Будучи высоко одаренным полководцем и следуя строгой логике своего разума, Жуков искал такие неожиданные решения, которые бы, исходя из тех же «формальных необходимостей», противник не разгадал. Избавленная от шаблона мысль Жукова

раскованно диктовала ему нужный план действий, предусматривавший и некоторые запасные «ходы» — например, дополнительный маневр артиллерийским огнем, резервами и даже главными силами.

10 сентября войска Западного, Резервного и Брянского фронтов по приказу Ставки прекратили наступательные операции.

Так закончилось Смоленское сражение, ставшее символом мужества и стойкости Советских Вооруженных Сил. На смоленской земле нашли гибель многие полки и дивизии агрессора, собиравшиеся вступить в Москву.

1981

ПЕРЕД ЛИЦОМ ВРЕМЕНИ

Навечно в памяти народной

Работая над документами, связанными с битвой под Москвой, прочитал слова маршала Жукова, которые меня, участника тех событий, политрука из 7-й гвардейской стрелковой дивизии, особенно взволновали. «25 ноября, — писал Г. К. Жуков, — 16-я армия отошла от Солнечногорска. Здесь создалось катастрофическое положение. Военный совет фронта перебрасывал сюда все, что мог, с других участков фронта. Отдельные группы танков, группы солдат с противотанковыми ружьями, артиллерийские батареи и зенитные дивизионы, взятые у командующего ПВО генерала М. С. Громадина, были переброшены в этот район. Необходимо было во что бы то ни стало задержать противника на этом опасном участке до прибытия сюда 7-й гвардейской стрелковой дивизии из района Серпухова...»

Надо вспомнить, что те войска, которые, отступая от границы, вели бои в Белоруссии, понесли тяжелейшие потери. Под Могилевом, Витебском, Смоленском вступали в действие войска, выдвинутые из глубины страны. И вот теперь под Москвой в тяжкие ноябрьские дни надо было сдержать врага до тех пор, пока не подойдут новые резервы и изъятые с других участков фронта силы.

Мы, рядовые воины, в ходе ошеломляющих событий не успевали задаться вопросом: как и почему случилось такое, что за несколько месяцев враг достиг

Москвы? Эти вопросы, а тем более ответы на них пришли позже, на последующих этапах войны и после нее.

Помню, в первые дни войны, буквально в самые первые, нам, недавним курсантам военного училища, даже не верилось, что это воистину война. Все хотелось спросить у кого-то: чего они лезут? Что им тут надо?.. Мы не хотим их убивать, сами не хотим умирать, зачем все это?

Ощущение войны как непоправимой трагедии пришло ко мне в день, когда после очередной бомбежки увидел в высокой траве при дороге молодую мертвую беженку с узелком вещей и возле — ее малого ребенка, который молча теребил грудь матери. Ветер трепал ее разметанные волосы... Этого ребенка я отдал шоферам, едущим в тыл, взяли с неохотой, упирались. «Грудной ведь. Что мы с ним делать будем? Лучше куда-нибудь в медсанбат...» Но я, помню, упрямо и зло твердил: «Людям отдайте, людям... Ведь живое дитя! Люди возьмут».

Долгими были с того момента пути-дороги войны. Недаром один день войны считается за три. Были, конечно, рядом со смертью и смех, и любовь, но главное — ненависть. А та лежавшая в траве убитая мать с живым младенцем на груди навсегда останется в памяти символом несправедливости грабительских войн...

Сегодня хочется вспомнить хотя бы некоторые образы, назвать некоторые имена.

Для меня, сотрудника дивизионной газеты «Ворошиловский залп», события Московской битвы продолжались по-рабочему, буднично, но острее и драматичнее — с переброски нашей дивизии из-под Серпухова под Москву, на Ленинградское шоссе. Во время этой переброски было промозгло, студено, сине. Помнится, на дорогах был сплошной гололед — бич даже опытных шоферов. А нашей редакции предстояло вести машины из-под Серпухова через Москву в Химки... Перед этим при бомбежке у нас погибли почти все шоферы. И мне (правда, еще под Ярцевом чуть-чуть научившемуся держаться за руль) предстояло вести автобус с наборными типографскими кассами и прочим оборудованием. Теперь понимаю, что только от отчаяния и безвыходности можно было решиться на такое. Но в переднем грузовике был наш весельчак и заводила, москвич с замашками одессита Аркаша Марголин — прекрасный во-

дитель и, по его словам, знаток Москвы. До сих пор светло и с улыбкой вспоминаю о нем.

Из-под Серпухова мы выехали рано. От напряжения и старания я весь взмок и так держал руль, что побелевшие пальцы порой сводило. Москва запомнилась сосредоточенной, пустоватой. Там и тут улицы пересекали баррикадные нагромождения из мешков с песком, железных противотанковых ежей. Окна домов сплошь были перечеркнуты бумажными крестами.

Пересекли мост через канал. Начались Химки. Это был, конечно, не тот многоэтажный завидный город, каким видим его сейчас. Это был городишко — Химки сорок первого года. На перекрестках стояли регулировщики с флажками, на обочинах — указатели... Мы остановились в деревне Бутаково, разместились в нескольких ее избах.

Редактор газеты старший политрук Михаил Каган, с которым мы уже, как говорится, пуд соли съели, приказал мне садиться в полуторку, которую водил курянин красноармеец Захаров, ехать на розыски политотдела дивизии, доложить начальству, что редакция на месте и что газета к завтрашнему утру будет выпущена и доставлена на полевую почту.

Нелегко было вновь завести истрепанную полуторку шоферу Захарову. Навсегда запомнился каторжный труд шоферов в лютую зиму подмосковной битвы. Для того чтобы завелись машины, надо было разводить под картерами костры, греть для радиаторов воду. А как все это удавалось шоферам самого переднего края, которые, например, доставляли пушкарям снаряды?.. Костры под фронтовыми грузовиками в морозно-синем предутреннем тумане, в стылой дымке перелесков, полян, во дворах и на обочинах, на передовых позициях и в обозах — эти пылающие костры возле темных силуэтов еще холодных машин так и светятся в памяти. Они сопровождали нас всю войну. Благодарю память, что сохранила имена водителей: Губанов, Залетный, Поберецкий, Исайченко...

Ехали по узкому Ленинградскому шоссе в поисках штаба и политотдела 7-й гвардейской дивизии. На коленях развернул топографическую карту. Вот они, названия деревень и местечек, ставшие прифронтовой полосой: Черная Грязь, Дурыкино, Ложки, Пешки, Ржавки, Крюково, Сходня... Помню, смеялись мы с Захаро-

вым (он яркий мужик, постарше меня был, свекольно-румяный, в нахлобученной по брови серой ушанке с вдавленной в мех красной эмалевой звездочкой: очень нравилась мне эта ушанка, а некогда белые прекрасные полушубки наши уже были черны от мазута и дыма костров), шутили с ним: «Ничего, пробьемся как-нибудь в Ржавки через Ложки-Пешки по Черной Грязи...»

Именно там, у Черной Грязи, произошел с нами курьезный случай, впрочем, такой, какие в то время приключались довольно часто. Мы пристроились к колонне грузовиков, везших снаряды, и вдруг справа из-за придорожной лесной полосы неожиданно, страшно, пронзительно загрохотало, завыло, казалось, в ушах тотчас лопнут перепонки. Мы с Захаровым непроизвольно схватились за головы. Через мгновение я осознал, что это был залп «катюш», я уже слышал их раньше. Но было поздно. Машина, потеряв управление, слетела в кювет и ткнулась в сугроб. Такое же случилось еще с несколькими грузовиками. А над головами все выло и выло. Когда наконец стихло, мы выбрались из кабины и, поняв, что с машиной все в порядке, вдруг начали хохотать, показывая пальцами друг на друга. Вот, мол, отмочили!..

Но в общем-то было не до смеха. Надо спешить. По дороге уже шли мощные бензовозы, они-то с легкостью и вытащили из кювета нашу полуторку. Помню, разыскивая штаб дивизии, проскочили Дурыкино, где нас вдруг остановили «маяки» с флажками — дальше нельзя (линия фронта опять приблизилась), дальше — враг. Пришлось возвращаться. Штаб и командный пункт нашей дивизии нашли в Больших Ржавках, у церкви. Доложил полковому комиссару Гудилову, что редакция дивизионной газеты прибыла, что приступила к работе и что «Ворошиловский залп» к утру будет готов и доставлен в первый эшелон.

Сейчас мне трудно вспомнить, тогда ли, на обратном пути в редакцию, или когда в очередной раз ехал за материалом на передовую, куда было рукой подать, но точно знаю, мы ехали в той же нашей обшарпанной полуторке, все с тем же милым моему сердцу румяным курянином Захаровым, приближаясь все к той же Черной Грязи. Как же все-таки его имя? В памяти только звучит его голос: «Красноармеец Захаров прибыл по вашему вызову».

Дорога шла перелесками, по кривой влево и чуть под уклон. За нами и впереди еще шли машины. А вдали у редколесья, не доезжая села, вереницей выстроились грузовики, бензовозы. И тут в небе послышался гул, обложной, тягучий. «Юнкерсы» шли бомбить Черную Грязь. И вот впереди заухало, загрохотало. Потом «юнкерсы» стали пикировать на нас, вырастая в размерах, словно в кино — крупным планом. Выскочив из кабины, я скатился вправо под откос, а Захаров кинулся влево, куда-то подальше от машины. Я лежал в снегу темным кулем, словно придавленный грохотом. И каждый самолет, казалось, пикировал прямо на меня (потом проверял: это мнилось тогда почти каждому). Непроизвольно хотелось вжаться в снег, в неподатливую твердую землю.

До сих пор жива в памяти картина: горит, полыхает Черная Грязь — стена пожарища, пылает бензовоз, черные шлейфы дыма тянутся в белесое небо, где-то в стороне Химок бухают наши зенитки. Было, правда, тогда у меня еще одно острое чувство — как бы не загорелась и наша машина, открыто темневшая на дороге: ведь в ней два рулона бумаги — бесценный груз! Молил: только бы уцелела, только бы пронесло! Но не пронесло. Очередной самолет с пике врезал по ней очередью зажигательных пуль, и она вспыхнула. Пожалуй, самое горькое чувство на войне, когда нельзя ничего поделать, невозможно помочь... Потом все стихло, только трещали в огне дома и дымили на дороге горящие машины. Пошел искать Захарова. И то, что увидел по ту сторону дороги, ближе к горящим домам, кажется, не должно бы поддаться описанию. На белом снегу, среди черных воронок лежали тела убитых. Только три цвета были перед глазами — белый, черный и кроваво-красный. Трупа Захарова не нашел. Он погиб не от пули, а от взрыва. В стороне от воронки поднял его серую окровавленную ушанку со звездочкой: был уверен точно — это его...

Знаю, что останки для могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены были взяты на 41-м километре близ Ленинградского шоссе. Может, кто-то из нашей 7-й гвардейской?..

На следующий день утром мы все-таки сделали очередной номер газеты, напечатали на бумаге, взятой в Химкинской районной типографии, и Михаил Каган, наш редактор, решил сам доставить часть тиража газе-

ты на передовую. Помню, мы прощались с ним во дворе дома, того самого старого дома, что единственным остался сейчас. Лицо, побитое оспинами, не румяное, а скорее обветренное. На прощание он дал мне распоряжение пополнить запасы бензина и, улыбнувшись, по-штатски взмахнул рукой, хлопнул дверцей кабины. Провожая старшего политрука, не думал, что вижу его в это синее бессолнечное утро в последний раз...

Как многократно уже мысленно повторено это словосочетание: «Не думал, что вижу в последний раз» — так оно, к несчастью, и случалось. И не однажды. Миша Каган ни в этот день, ни позже в редакцию не вернулся. Более того, последующие номера «Ворошиловского залпа» были подписаны: «За редактора политрук И. Стаднюк»...

При очередном моем выходе на передовую «за материалом» саперы, охранявшие минное поле на Ленинградском шоссе и по его обочинам, рассказали мне о виденном: наша машина где-то за Ржавками проскочила передний край, не заметив «маяков» (линия фронта за ночь опять придвинулась), въехала в расположение противника. Не сразу гитлеровцы ударили по полуторке из противотанковой пушки: дали ей углубиться, приблизиться. Затем было два выстрела. Миша Каган и шофер Залетнов успели, очевидно, понять, что попали к врагу. О чем они подумали в последнюю минуту? Какие слова произнесли? Или их жизни оборвались с первым залпом, со взрывом? Не знаю. И ответа на это не будет.

Образ старшего политрука Михаила Кагана, черты его характера и внешности я воскресил в романе «Война» в образе редактора дивизионной газеты Михаила Казанского, и мне этот образ особенно близок и дорог.

О Московской битве можно и нужно писать подробно и тщательно, не упуская ничего. Как, впрочем, и о других битвах. Но эта наша победа близ столицы была для Красной Армии, для страны, для народа решающей.

Не отдали Москву.

1981

САМОЕ ГЛАВНОЕ

(Важные странички из прошлого)

Будапешт начала января 1945 года. Наши войска доколачивают окруженную немецко-фашистскую группировку.

Бои шли в кварталах Пешта, которые примыкали к набережной Дуная. Все больше сжималась железная подкова и вокруг Буды, на той стороне реки.

Как всегда, хотелось увидеть самое главное, осмыслить самое значительное... Но где оно — это самое главное, в чем его сущность?

Может, в том, что этот город, сражению за который предшествовали тяжелые бои в междуречье Тисы и Дуная и на отсечном оборонительном рубеже по линии озер Веленце и Балатон, что этот город вот-вот полностью будет очищен от фашистской нечисти, хотя здесь каждая улица, каждый дом превращены гитлеровцами в неприступную крепость?..

А может, главное в том, что, несмотря на ожесточенность боев, советские воины сумели сохранить в Пеште почти все выдающиеся творения архитектуры — гордость венгерского народа, что здесь, в Будапеште, завершается освобождение от фашистских варваров Венгрии — родины великих борцов за свободы Ференца Ракоци и Лайоша Кошута, родины Шандора Петефи, Габора Эгрешши, Лоранда Этвеша, Имре Кальмана, Михая Мункачи, Матэ Залки и многих других выдающихся представителей венгерского народа, внесших неоценимый вклад в мировую науку, литературу и искусство?

А может, в те январские дни 1945 года наиболее значительным было то, что вопреки гнусной фашистской клевете о зверствах большевиков, Советская Армия, вступившая в пределы венгерской столицы, первым делом оказала помощь раненым, облегчила участь голодающего городского населения?..

И все-таки самым главным, самым значительным, видимо, было другое: далеко позади остались тяжелые времена 1941 года, когда Советской Армии пришлось отступать, позади оборона Москвы и Сталинграда, советская земля полностью освобождена от фашистской нечисти.

Этими соображениями я поделился с подполковни-

ком Звягинцевым — командиром истребительно-противотанкового дивизиона, с которым нас связывала давняя дружба. Звягинцев, конечно же, с этим согласился и со знанием дела начал рассказывать о значении Будапешта как важного стратегического пункта, как экономического и политического центра, который являлся источником снабжения и главнейшим опорным узлом немецко-фашистских войск, прикрывавших пути к Австрии и Южной Германии.

Разговаривали мы со Звягинцевым на его командном пункте, в верхнем этаже углового дома где-то в конце улицы Юлаён, откуда открывался вид на мост Франца-Иосифа (он находился еще в руках противника), на Буду и гору Геллерт, на которые из-под облаков пикировали наши самолеты.

Я напомнил Звягинцеву июнь 1941 года, Западную Белоруссию, где развернулись полные драматизма события. Санитарную машину, в которой везли тяжело раненного Звягинцева, остановил полковник Муравьев — командир 209-й мотострелковой дивизии, шедшей навстречу фашистам. Комдива интересовала обстановка в районе Гродно.

— Говорить можете? — спросил он Звягинцева, тогда еще капитана.

Небритое, посеревшее лицо, воспаленные глаза... Звягинцев тяжело дышит и с трудом приподнимается на локтях.

— Говорить? — переспрашивает он у полковника.— Кричать надо, а не говорить!.. Напали фашисты, а мы не готовы. Под бомбами и пулями женщины и дети гибнут... Солдаты дерутся до последнего патрона. Но что сделаешь против сотен танков?.. Отступаем.

Это было 24 июня 1941 года, Звягинцев был тяжело ранен. Погибли от фашистской фугаски его жена и двое детей. А теперь он пришел в Будапешт — столицу последнего сателлита фашистской Германии.

Наш разговор прервал шум в коридоре. Солдат-автоматчик привел на КП дивизиона девушку — исхудалую, тонкую, как молодой кленок, с горящими от возбуждения глазами. Солдат объяснил, что девушка под обстрелом перебежала к нам из квартала, занятого фашистами. Она что-то взволнованно говорила, но никто из нас ничего не мог понять.

Вскоре на КП появился пожилой венгр, понимавший

по-русски. Он объяснил нам, что девушка просит не стрелять снарядами по дому, который находился где-то на правом фланге дивизиона. Дом этот, оказывается, старинный памятник архитектуры, построенный знаменитым венгерским архитектором Поллаком. Фашисты превратили его в опорный пункт.

— Как же выкурить оттуда гитлеровцев? — задумался подполковник Звягинцев.

— Вы все можете, — взволнованно заговорил старый венгр. — Мы давно знали, что русские солдаты придут в Будапешт. Они все могут...

Выжидающе, с мольбой в глазах смотрела на командира дивизиона девушка-мадьярка...

К вечеру дом, в котором засели фашисты, был взят штурмом. По нему не ударил ни один наш снаряд.

А утром старый венгр-переводчик пришел на КП дивизиона с целой делегацией жителей Будапешта. И у каждого своя просьба.

«Не дайте немцам взорвать мосты через Дунай. Это гордость Будапешта...»

«В бункерах у Национального театра прячутся фашистские офицеры и салашисты. Выкурите их...»

«Могут ли русские дать машины, чтобы выехать из Будапешта, где очень голодно?»

Однорукий парень предлагал свои услуги: он знал подземный ход к городской ратуше. По нему можно проникнуть в тыл к немцам...

И тогда я впервые подумал о том, что сейчас, когда Советская Армия вступила в Будапешт, самым главным и самым значительным является то, что венгерский народ видит в ней свою освободительницу, своего избавителя от фашистского ига, своего друга.

Это «самое главное» подтверждалось затем сотнями примеров. Я помню, с какими чувствами дружбы рабочие Чепеля показывали нам свои заводы. Помню энтузиазм будапештских артистов, когда в оперном театре собрались слушать «Сильву» советские офицеры. Никогда не забыть, как после окончания войны венгерские крестьяне провожали наши полки, возвращавшиеся на Родину.

И не только в Венгрии. Нам приходилось бывать в Румынии, Чехословакии, Югославии, Австрии. И очень радостно было ощущать доброе, сердечное отношение к Советской Армии освобожденных от фашизма народов.

Это «самое главное» запечатлено во многих произведениях советской литературы. Однако сейчас, с высот прошедшего времени, видится больше и дальше. И хочется надеяться, что появятся у нас новые книги — масштабные, глубокие, посвященные подвигу Советских Вооруженных Сил, содравших с тела измученной Европы коричневую коросту фашистской чумы. Так велит время.

1965

ПРИМЕЧАНИЯ

Третьей книгой романа «Война» И. Стаднюк завершил создание огромного эпического полотна о великой битве советского народа с немецко-фашистскими захватчиками в ее первый, самый тяжелый период. Произведение, которое потребовало от писателя напряженных творческих усилий (от замысла до публикации третьей книги прошло более двадцати лет!), в 1983 году было удостоено Государственной премии СССР.

«Война» Ивана Стаднюка — это война, какой отразилась она в его собственной фронтовой судьбе, — писал в статье в «Правде» от 6 октября 1983 года Михаил Алексеев, — у каждого участника Великой Отечественной была с в о я война. Так следует понимать замысел писателя, хотя он и не ограничился описанием лишь того, чему был сам свидетелем в битве за Смоленск. Получив сразу после войны высшее филологическое и военно-историческое образование, Стаднюк полностью использовал полученные знания и как военный историк. Это дало ему возможность выходить из окопов в штабы батальонов, полков, дивизий, корпусов, армий, фронтов и в Ставку Верховного Главнокомандования... Но военный историк Иван Стаднюк вышел на трудную дорогу не один, неоценимую помощь ему оказал Иван Стаднюк — художник, талантливый и уже многоопытный писатель. Соединившись, эти двое и одержали творческую победу. «Война», составленная из трех томов, стала популярным произведением у многомиллионного читателя. Написанная с позиций правды и партийности в их самом высоком понимании, трилогия служит и долго будет служить делу военно-патриотического воспитания советских людей, особенно нашей славной молодежи».

Третья книга романа посвящена героическому, самоотверженному противостоянию Красной Армии наступающим гитлеровским войскам в районе Смоленска с 10 по 20 июля 1941 года (кстати, в 1982 году Смоленский городской Совет народных депутатов при-

своил И. Стаднюку звание почетного гражданина Смоленска, чем писатель безмерно гордится). «На Смоленской возвышенности, — читаем мы в третьей книге, — развернулось уже не только противоборство сил при явном превосходстве врага на суше и в воздухе, но началась яростная схватка умов, началось сражение двух военных доктрин. Нравственное потрясение советских воинов, как следствие глубокого вторжения врага в просторы России, Белоруссии, Украины и Молдавии, постепенно ослаблялось. И все явственнее усиливалось нравственное потрясение гитлеровского генералитета, видевшего, как неотвратимо рушатся его расчеты на молниеносную, триумфальную победу над Красной Армией». Весь ход романа неоспоримо свидетельствует: уже тогда, в эти трудные, трагические дни, начался долгий, героический, оплаченный самой высокой ценой — людскими жизнями — путь к Великой Победе, путь, приведший советских воинов-освободителей к стенам поверженного рейхстага. Размышляя над страницами романа, читатель понимает, в чем кроются истоки этой будущей победы: они в силе социалистического строя, в крепости духа советских людей, в чувстве кровного братства народов многонациональной страны, в том, что во главе ее стояла и стоит Коммунистическая партия, в том, что в суровых боях ковалось высокое военное искусство советских полководцев, постигавших науку побеждать еще в годы гражданской войны.

Критика отмечала возросшее мастерство писателя в изображении народного подвига. Так, Бор. Леонов в статье «Следуя правде истории», рассматривая идейно-художественные особенности романа И. Стаднюка «Война», писал об умении писателя создавать запоминающиеся образы не только вымышленных, но и исторически реальных героев. На примере образа маршала С. К. Тимошенко критик показал, как, какими приемами «осуществляется художественная «переплавка» реального, исторического в образ литературный». «Внутренний монолог маршала, облеченного высочайшими полномочиями в чрезвычайных условиях, привносит в образ ту самую доверительность, искренность, которые «растворяют» деловую, документальную характеристику этого человека, знакомую читателю по исторической и мемуарной литературе, делают его облик на страницах романа живым, осязаемым... Причем это не единственный писательский прием в художественном постижении характеров исторических и воплощении их в образной системе романа. Мы находим в нем и раздумья героев о судьбе своих родных и близких, оказавшихся в трагических ситуациях, и яркие сцены, исполненные драматизма, где со всей полнотой заявляет о себе сам характер».

«Обращает на себя внимание и тот факт, — писал критик, — что в третьей книге И. Стаднюк более строг и экономен в обрисов-

ке вымышленных персонажей, чем в двух предыдущих. То ли к такой манере повествования обязывала его сама атмосфера Смоленского сражения, когда уже нельзя было оперировать вымышленными военными соединениями, то ли опыт работы над многоплановым полотном обрел свою жесткую логику, но, во всяком случае, от этого роман, по-моему, только выиграл: стал более точным, более динамичным, а вместе с тем или вследствие этого — художественно более убедительным. Драматизм событий отныне стал определять внутреннюю его драматургию, которая в первых книгах нередко как бы дополнялась личными взаимоотношениями героев. Писатель теперь не столь пристально следит за чувствами Ирины и Виктора, за «кознями» Рукатова, за «похождениями» Глинского в форме майора Птицына. И сами эти персонажи как бы отодвинулись на периферию повествования. Однако это не ослабило роман, а, напротив, вывело движение романного хода событий на стремнину истории» («Знамя», 1980, № 11). Автор говорит о «Войне» «как о произведении заметном и значительном, достойно продолжающем традиции литературы советской баталистики». «Стремясь... постигать правду истории и природу народного подвига, писатель исследует сложную сущность великих героических событий в масштабах государства и личных судеб героев, проявляя при этом высокую ответственность художника-гражданина», — подчеркивает критик.

Читателя, конечно, интересует, как же сложатся дальнейшие судьбы героев «Войны». В интервью «Литературной газете» от 7 ноября 1983 года в связи с присуждением ему Государственной премии писатель сказал, что продолжает разрабатывать тему войны, «перенося события предыдущего романа под «крышу» нового, который будет именоваться, видимо, «Москва, 41-й». К осени 1984 года И. Стаднюк завершил работу над романом «Москва, 41-й». Роман «Москва, 41-й» продолжает события первого этапа Смоленского сражения, нашедшие отражение в романе «Война»; автор описывает упорные бои Красной Армии за Ярцево, Ельню, рождение советской гвардии, занятие обороны нашими войсками по рубежу реки Вопь. Много внимания уделено в романе образу замечательного полководца — начальника Генерального штаба, а затем командующего Резервным фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Показаны усилия Советского правительства по созданию антигитлеровской коалиции государств. Роман «Москва, 41-й» будет печататься в журнале «Молодая гвардия».

Рассказы публиковались в разные годы в журнале «Советский воин», в библиотечке этого журнала и в однотомниках автора: «Сердце помнит» (М., Воениздат, 1962) — «Лейтенант Вернидуб», «Ле-

на», «Пан». Печерица и лопатка», «Жизнь, а не служба». «Лена» — один из самых ранних рассказов. Впервые был опубликован в смоленской областной газете в конце 1940 года. Автор доработал его при подготовке этого однотомника. Рассказ «Жизнь, а не служба» печатался также в однотомнике «Человек не сдается» (М., Воениздат, 1964).

«Горький хлеб истины». Драма. Написана в конце 60-х годов по мотивам повести «Плевелы зла» (см. примечания ко 2-му тому настоящего собрания сочинений) для Винницкого музыкального драматического театра имени Садовского. Поставлена в ряде театров Украины и РСФСР. В 1975 году Винницкий театр с успехом показал ее на гастролях в Москве.

Опубликована в журнале «Волга» № 10 за 1972 год, в репертуарном сборнике «Наша эстрада» (М., Воениздат, 1974), в однотомнике «Хлеб истины» (М., «Московский рабочий», 1975).

В 1984 году пьеса под названием «Белая палатка» включена в репертуар Центрального академического театра Советской Армии. Готовя пьесу к новой постановке, автор значительно переработал ее, усилив пролог и эпилог, а также усложнив драматургию в целом. В этом виде произведение и предлагается вниманию читателей.

Характерами и судьбами своих героев (Наварин из повести «Плевелы зла», Рукатов из романа «Война» и Ступаков из «Горького хлеба истины») автор утверждает, сколь много зла несут подобные им люди, если позволить им иметь власть.

Публицистические статьи. «Заметки об историзме» опубликованы в сборниках «Сокровенное» (М., Воениздат, 1977), «Сокровенное» (М., «Современник», 1980). В основу статьи положено выступление автора на заседании комиссии «Проблемы художественного изображения революции и Великой Отечественной войны в литературе» VI съезда писателей СССР (см. стенографический отчет «Шестой съезд писателей СССР». М., «Советский писатель», 1978).

«Сердце солдата», «Величие земли», «Любовь моя и боль моя», «Разум сновал серебряную нить, а сердце — золотую», «Тема избирает писателя» — статьи, опубликованные в газетах «Красная звезда», «Сельская жизнь», в журнале «Огонек». Печатались также в вышеназванных сборниках автора.

«Размышление над письмами», «Кузнецы высокого духа», «Еще слово к читателям» опубликованы в журнале «Октябрь» и в тех же сборниках.

Статья «В то грозное лето» написана к 40-летию Смоленского

сражения, опубликована в газете «Правда» 13 августа 1981 года и дополнена автором для настоящего издания.

Статья «Перед лицом времени» написана к 40-летию битвы под Москвой и опубликована в газете «Правда» 3 декабря 1981 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Стаднюк И. Ф.

С 76 Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 4. Война: Роман; Рассказы; Горький хлеб истины: Драма; Публицистические статьи. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 462 с.

В пер.: 1 р. 90 к. 100 000 экз.

В четвертый том Собрания сочинений И. Стаднюка вошли: третья, завершающая книга романа «Война», за который писатель был удостоен Государственной премии СССР (книга раскрывает противоборство Красной Армии наступающим гитлеровским войскам в районе Смоленска в июле 1941 года); рассказы разных лет; драма «Горький хлеб истины», созданная писателем по мотивам повести «Плевелы зла», и публицистические статьи, в которых автор рассуждает об истоках творчества, о становлении писателя, о верности им своей теме, о назначении человека — любить и защищать Родину.

С $\frac{4702010200—165}{078(02)—85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985 г.

ББК 84Р7 Р2

ИБ № 4245

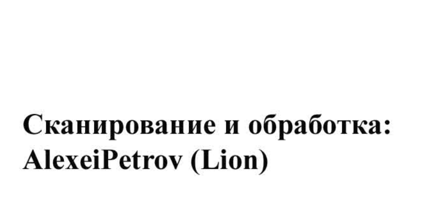
Иван Фотиевич Стаднюк

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ. Т. 4.

Редактор **А. Гремицкая**
Художник **А. Шевцов**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **Г. Василёва, Т. Пескова**

Сдано в набор 21.11.84. Подписано в печать 30 04.85. А01866. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,76. Учетно-изд. л. 25,5. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 90 к. Заказ 1831.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.


Сканирование и обработка:
AlexeiPetrov (Lion)





1 р. 90 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ